

Зоя Ольденбург

Костер Монсегиора.

История альбигойских крестовых походов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда Филипп Август, величайший из французских королей – предшественников Генриха IV, – «собирал Францию» на равнинах Фландрии [1], часть его вассалов под эгидой католической церкви занималась на земле Лангедока тем же, но на свой манер.

История гласит, что победитель Бувине умел, когда следовало, быть и твердым, и безжалостным. Но, несомненно, и тому свидетельство – завоевание Нормандии, его воспринимали бы совсем по-другому, если бы не позорная память о резне, пожарах и истязаниях, которую оставили крестоносцы в Лангедоке и тем замарали страницы истории Франции.

В то же время, отмежевавшись по мере сил от соображений эмоционального и морального порядка и реально взглянув на вещи, трудно не признать, что установление власти французских королей в Лангедоке – событие колоссальной важности, жизненно необходимое для Франции, радикально изменившее ее внешние и внутренние структуры и придавшее ей совершенно новый облик.

Овладение Нормандией открыло Франции морские пути на Север, покорение Лангедока дало ключ к средиземноморскому бассейну и, не считая бесчисленных торговых выгод, позволило по-новому планировать политику в отношении Италии. С другой стороны, королевство с сильным влиянием германской культуры становится открытым влиянию Окситании – прямо наследующей латинскому духу, но вынужденной (как и весь Лангедок) подчиниться проникновению франко-бургундского военно-клерикального феодального духа с его стремлением подмять под себя более независимый социальный уклад городов и замков-крепостей. Начался процесс взаимопроникновения рас и цивилизаций, обеспечивший будущее величие Франции.

И все же нельзя забывать, какая цена была заплачена в итоге: тридцать пять страшных лет народ Лангедока, миролюбивый, но готовый биться насмерть за свою веру, страдал от нашествия полчищ поджигателей, грабителей и головорезов с крестом в одной руке и с мечом в другой. Предлагаемый вашему вниманию труд воссоздает весь ужас этой бесконечной муки, завершившейся чудовищным костром у подножья ныне священной горы. И я восхищен героическими усилиями автора, который, приводя множество объективных доказательств, склонен все же скорее оправдывать, чем осуждать жестокости, творившиеся именем Христа, и стойко проходит до конца свой тяжкий путь.

Жерар Вальтер

ГЛАВА I

ПРЕДПОСЫЛКИ КРЕСТОВОГО ПОХОДА

1. Начало

10 марта 1208 года папа Иннокентий III бросил торжественный клич к бою и объявил крестовый поход христиан против христиан. Поход этот был справедлив и необходим: край населяли еретики «ужасней сарацинов».

Папский призыв прозвучал через четыре года после взятия крестоносцами Константинополя. Врагом был объявлен Раймон VI, граф Тулузский, кузен короля Франции, шурина королей Англии и Арагона, соединенный вассальной клятвой с этими тремя монархами и с германским императором; герцог Нарбоннский, маркиз Прованса, сюзерен Ажене, Кэрсии, Руэрга, Альбижуа, Коменжа и

Каркассе, граф Фуа – словом, один из величайших вельмож западного христианского мира, первая персона Лангедока.

В эпоху, когда знатность соответствовала могуществу, все именитые граждане, от королей до скромных землевладельцев, были воинами, ибо войны велись непрерывно – у сеньора всегда находился повод вторгнуться в соседские владения. Более того, век предшествующий ознаменовался могучим рывком западных народов в сторону Святой Земли. Воин-пилигрим, даже преследуя чисто материальные цели, в XII веке был твердо уверен, что сражается во имя Господа. Знать, потерявшая каждого десятого на полях Палестины, вряд ли отдавала себе отчет в бесплодности приносимых жертв. Но уж локальные войны, которые она должна была вести по обязанности, казались ей мелкими и пошлыми.

Во время четвертого крестового похода Симон де Монфор, рыцарь, чья воинская доблесть не вызывала сомнений, отказался поднять оружие против христианского города и пойти в услужение дожу, а не папе. Большинство крестоносцев не последовало его примеру, после взятия католического города Зары двинулось на Константинополь и тем выдало с головой свои истинные цели. Франкское рыцарство, не менее других склонное к захватам и грабежам, осталось после случившегося скандала сильно разочарованным. Пусть крестовые походы превратились в бесполезные предприятия, пусть Святая Земля привлекала лишь немногих любителей приключений – для большинства рыцарей и прочего военного люда этот путь заслужить отпущение грехов и снискать бранную славу все еще оставался и необходимостью, и подчас истинной страстью, и нередко источником средств к существованию. Что же тут много размышлять о необычности нового крестового похода, раз уже прозвучал призыв папы?

Правда, не надо забывать о космополитизме знати той эпохи, когда английское рыцарство болтало по-французски, итальянские и испанские трубадуры сочиняли на языке «ок», а в школах трубадуров учились немецкие миннезингеры; когда, наконец, сложность феодальных связей и перекрестные браки привели к тому, что все знатные фамилии оказались родственниками. При этом довольно трудно поверить в реальность священной войны против графа Тулузского.

Анафема, обрушенная Римом на землю Окситании в марте 1208 года, разрывает надвое историю католического христианства. Освящение войны христиан против христиан должно было не только разрушить моральный авторитет Церкви, но и исказить сам принцип этого авторитета. То, что папа полагал обычной мерой защиты общественного порядка, по воле событий превратилось в систему репрессий, которая вскоре сделала Рим объектом ненависти и презрения всего христианского Запада.

Сами же обстоятельства, заставившие Иннокентия III расвирепеть на графа Тулузского, вполне оправдывают его призыв к войне: все дальние и ближние владения графа были охвачены ересью, а 14 января 1208 года один из офицеров графа убил папского легата Пьера да Кастельно.

Убийство легата, полномочного посла папы, было тяжким преступлением, вполне оправдывающим объявление войны. Церковь не обладала светской властью и могла ответить на кровное оскорбление только доступными ей средствами духовного воздействия. Зато они были страшны, перед отлучением и запретом на богослужение трепетали даже монархи и во избежание гнева Церкви были готовы к любым переменам в своей политике и частной жизни. Английский король Генрих II, отлученный в 1170 году от Церкви за убийство Томаса Бекета, заслужил у папы прощение только после унижительного публичного покаяния, а во Франции не забыли долгие месяцы запрета 1200

года за негласный развод короля Филиппа Августа. Отлучение от Церкви было равносильно гражданской смерти и освобождало близких и подданных от всех обязательств по отношению к отлученному. Запрет парализовал жизнь страны, отлучая население от отправления религиозных обрядов, необходимых большинству почти как хлеб насущный. В Германии папа вмешивался в избрание императора и норовил посадить на трон своего кандидата вопреки воле немецких князей. Англию он предал запрету за то, что король Иоанн упорствовал в выборе архиепископа по своему вкусу.

Филипп Август сдался, Иоанн принес покаяние и отдал свою корону, чтобы вновь получить ее из рук папского легата. Король Арагонский, князь-католик, занятый бесконечным крестовым походом против мавров, спешит в Рим присягнуть папе и принять от него корону, так как прекрасно знает, что дружба Рима – это гарантия внутренней стабильности.

Папа Иннокентий III умел обращаться с католическими монархами как с вассалами. Но в случае с графом Тулузским папа понимал, что привычное оружие бессильно. Бесполезно предавать анафеме страну, уже почти открыто отпавшую от римской Церкви.

Преступление Раймона VI состояло в том, что он правил страной, где могущество Церкви пошатнулось, а он ничего не предпринимал для изменения такого положения вещей. Крестовый поход против страны, пребывавшей уже 1000 лет в христианской вере, был нацелен на свержение законного суверена и защиту от ереси его подданных. Чтобы спасти Церковь от опасности, грозившей ей с юга Франции, следовало подчинить неблагонадежный край силе, способной действовать без пощады. Программа этой задуманной с размахом операции изложена в письме Иннокентия III королю Франции незадолго до убийства легата: «Твоя задача – согнать графа Тулузского с его земли, очистить ее от сектантов и дать ей добрых католиков, которые под твоим началом смогут верно служить Господу»[2].

Земли графа Тулузского уже более века славились как рассадник ереси. Правда, во всех христианских странах наряду с воцарением господствующей Церкви постоянно зарождались более или менее серьезные ереси. В эпоху крестовых походов не только славянские страны, но и весь север Италии были охвачены непрерывной войной между католиками и еретиками. На юге Франции еретики, не будучи в большинстве, давно составляли весьма значительную часть населения. Церковь отчаянно сопротивлялась, отлучала, прибегала к помощи светских властей, но ее усилия (по крайней мере, в этом крае) приводили лишь к тому, что ереси стремительно распространялись. И Иннокентию III уже около четырех лет было ясно, что одолеть ересь можно лишь масштабной военной экспедицией.

Убийство Пьера де Кастельно – одно из тех политических убийств, которые (в большей даже мере, чем расправа с герцогом Анжемским) надо считать не столько преступлением, сколько великим грехом. Есть основания полагать, что сам граф Тулузский вовсе не приказывал убивать. Легат же апостольского престола в Лангедоке, архидиакон Магелонский, аббат-цистерианец из аббатства Фонфруад Пьер де Кастельно уже давно воевал со светской оппозицией церковной власти.

Во имя обращения заблудших Пьер де Кастельно развил бурную политическую деятельность. Вместе со своим приближенным Арно-Амори, аббатом из Сито, он ополчился на лангедокских прелатов, заподозренных в потворстве ереси или, по крайней мере, в неказании ей сопротивления: в 1205 году он отрешил от должности епископа Безье, затем епископа Вивьера. Затем легаты

сфабриковали процесс против примата Окситании Беренгера II, архиепископа Нарбоннского. Но тот не дал себя запугать и вступил в открытую борьбу с ними.

Наконец, в конце 1207 года Пьеру де Кастельно удалось создать лигу баронов Юга, в задачи которой входило преследование еретиков. Раймон VI отказался присоединиться к лиге, и, судя по утверждению Петра Сернейского, слуга Господа (Пьер де Кастельно) подталкивал сеньоров Прованса выступить против их сюзерена [3]. Более того, почувствовав недовольство графа, легат публично отлучает его от Церкви и бросает ему проклятие: «...хорошо сделает тот, кто лишит вас имущества, а тот, кто забудет вас до смерти, получит благословение». Отлучение возымело действие, граф Тулузский сдался и снова произнес обеты, которые от него требовали.

После одной из самых бурных ссор с графом в Сен-Жиле Пьер де Кастельно в сопровождении епископа Кузеранского демонстративно покинул Тулузу. На другое утро у переправы через Рону один из офицеров свиты графа заколол легата мечом.

Оценивая деятельность Пьера де Кастельно, следует заметить, что легат был человеком неуживчивым и умел приобретать врагов. Однако именно в тот момент, когда отношения графа Тулузского с Церковью стали особенно натянутыми, убийство посланника папского престола стало последней каплей, переполнившей чашу. Иннокентий III, давно задумавший крестовый поход против страны, пораженной ересью, получил впечатляющий повод для объявления войны.

Папский престол не располагал наемной армией. Крестовые походы, столь популярные в минувшем двенадцатом веке, были прежде всего войнами добровольных ополчений, хотя в них и участвовали высокопоставленные сеньоры. Папа никак не мог заставить графа Тулузского присоединиться к крестоносцам в том случае, если его не удастся убедить; успех предприятия всецело зависел от доброй воли участников.

Папа велел разослать всем епископам Франции предписания развернуть широкую пропаганду нового крестового похода. Миссионеры, апеллируя к крови Пьера де Кастельно, призывали с церковных амвонов сжалиться над несчастной страной и помочь ей освободиться от скверны ереси. По свидетельству Гильома Пюилоранского, Арно-Амори, чувствуя себя бессильным вернуть Господу заблудших овец, «привлек на свою сторону ту часть Франции, что всегда готова служить Господу, договорился с баронами и королем, а простой народ с восторгом откликнулся на призыв к войне против еретиков во имя Церкви с теми же индульгенциями, что объявлялись всегда для крестоносцев, бороздивших моря во спасение Святой Земли»[4].

«...А кто не примет крест [5], да не пьет больше вина и не ест с накрытого стола ни утром, ни вечером, и да не носит он платья ни пенькового, ни льняного, и да будет он после смерти погребен как пес...»[6]. Эти слова, которые автор «Песни» вкладывает в уста Арно-Амори во время его поездки в Рим, никак не могли быть произнесены в Риме, ибо в это время легат был во Франции. Но, видимо, они довольно точно передают обычный тон этого непримиримого прелата.

Пропаганда имела такой успех, что король Франции, который поначалу (из страха потерять изрядную часть своего воинства) старался ограничить размах движения крестоносцев, был вынужден отказаться от своей затеи.

Добровольцы прибывали из Нормандии и Шампани, Анжу и Фландрии, из Пикардии и Лимузена. Крестьяне и горожане, вступавшие в ряды крестоносцев вслед за рыцарями, строились под знаменами своих сеньоров или епископов. Теперь трудно точно оценить размеры армии; цифры,

приводимые историками, очень приблизительны. Несомненно, однако, что по масштабам эпохи это была очень большая армия и на современников она произвела сильное впечатление.

2. Крестоносцы

Прежде, чем разобраться детально, чем же была ересь, спровоцировавшая альбигойский крестовый поход, и представить себе ту землю, что стала подмостками одной из самых жестоких драм нашей истории, нужно составить представление о людях, которым хватило дерзости двинуться войной на христианскую страну, близкую им по расе и языку и не имевшую намерений ни на кого нападать.

Выше мы уже говорили, что крестовые походы прочно вошли в обиход западной знати. Помимо четырех крупных крестовых походов сюзерены то и дело снаряжали вооруженные экспедиции, в которых участвовали, кроме их вассалов, добровольцы различных рангов и состояний. В большинстве своем крестоносцы были французами как с севера, так и с юга Франции. Христианская империя, возникшая на Ближнем Востоке, была империей франков. Она непрерывно нуждалась в новых силах, и западные королевства вот уже сто лет исправно платили в Святой Земле тяжелую дань человеческих жизней.

Отнюдь не все воины-пилигримы вдохновлялись бескорыстными чувствами. Церковь, без разбора благословлявшая всех участников крестового похода, вплоть до честолюбивых авантюристов, разбойников и грабителей, вселяла в них уверенность в том, что их опасное занятие есть самый завидный для воина способ служения Господу и спасения души. Так что крестоносцы, отправлявшиеся в Святую Землю, извлекали немалую выгоду из папского благословения, получая и отпущение всех грехов, и весомый шанс прославиться и разбогатеть.

Идея такого вдвойне выгодного предприятия завораживала. Правда, поражение за, поражением в Сирии и Палестине и приближающийся крах империи франков несколько поумерили пыл искателей приключений, а новая латинская империя в Константинополе при всей перспективности не имела притягательности Гроба Господня. Но даже при этом многие воины – прежде всего во Франции – успели приобрести такую же потребность в крестовых походах, как мусульмане – в паломничестве в Мекку. Поэтому не следует удивляться тому, что новый папский призыв был благосклонно воспринят в северных провинциях Франции.

Индальгенции, обещанные за новый крестовый поход, были те же, что и за походы в Святую Землю, а сил на него требовалось гораздо меньше. Ко всему прочему, это был удобный повод отсрочить уплату долгов и уберечь свое добро от случайных посягательств, так как имущество крестоносца объявлялось неприкосновенным на все время похода.

В итоге солидную часть крестового воинства – будь то рыцари, горожане или простой люд – составляли те, кто, крепко нагрешив, жаждал Божьего прощения, те, кто, запутавшись в долгах, спасался от кредиторов и прежде всего те, кто дал обет вернуться в Святую Землю и теперь был рад от него уклониться, отправившись поближе. Все они готовились к походу в оружейных залах и караульных помещениях графских и епископских замков рядом с воинами-профессионалами, воспринимавшими каждый повод подраться как подарок судьбы. И все они нашивали крест на свое походное платье, что само по себе было могучим эмоциональным стимулом даже для самых сдержанных.

В иных условиях никакой папской анафеме не удалось бы в глазах этих людей превратить в одночасье графа Тулузского в вероотступника и предателя.

Лангедок не отделяли от Франции ни моря, ни тысячи лье. И все же это была чужая, почти враждебная страна. Южные бароны, стремясь сохранить независимость, опирались то на короля французского, то на английского, входили в альянс то с королем арагонским, то с императором германским. Признавая себя вассалом короля Франции, граф Тулузский на деле был для него не столь подданным, сколь малонадежным соседом, и привык принимать сторону то Германии, то Арагона, королю которого приходился шурином, а тот, в свою очередь, был дядюшкой единственного графского сына. Лангедуальские [7] бароны, даже не будучи вассалами короля, были французами по национальной традиции и культуре и не желали иметь ничего общего с теми, кого они пренебрежительно называли «провансальцами».

Первыми из крупных баронов приняли крест Эд II, герцог Бургундский, и Эрве IV, герцог Неверский. Эти сеньоры знали, за что идут сражаться: ересь уже проникла на их территории, и они желали пресечь ее дальнейшее распространение. Рыцарей, воодушевленных чистой и бескорыстной верой и подобно Симону де Монфору или Ги де Левису считающих себя истинными «воинами Господними», съехалось на призыв Иннокентия III тоже достаточно много. Правда, французская знать давно уже привыкла смешивать свои собственные интересы с интересами Господа.

Вера крестоносцев, бестрепетно уничтожавших во славу Божию себе подобных, сегодня поражает своей примитивной прямолинейностью: простая человеческая мораль отступала, когда ставились на карту интересы Бога. Последний же был тогда настолько ближе к людям, что никого не шокировала странная приземленность его потребностей. Во Франции, как и в других христианских странах, вера была живой и глубокой – и поэтому имела склонность к крайним проявлениям. Пронизывающее и общественную, и личную жизнь религиозное чувство доходило до буквального символизма, который мы сегодня принимаем чуть ли не за фетишизм. Изучая историю альбигойских войн, не следует забывать, что людьми двигали не только политические мотивы, но и глубокие чувства, страсти, не будь которых – не было бы жестокостей, отличавших эти войны. Да и самих войн могло не быть.

Война не являлась ни результатом деяний нескольких фанатиков или авантюристов, ни реакцией римской Церкви на ересь. В ней отразились глубинные процессы, свойственные средневековой цивилизации с ее концепцией Бога и мироздания. До наших дней не обращалось должного внимания на то, что в XII и XIII веках с особой силой проявлялось стремление выразить сверхъестественное в простых, конкретных и реальных формах. Преследуя или монополизировав в зависимости от своих выгод те или иные образы античной или кельтской мифологии, Церковь превратила святых в фольклорные персонажи, а языческих богов или полубогов – в святых. Христианин обитал в мире, где жития святых и Священная История занимали то место, которое в наши дни занимают театр, кино, иллюстрированные журналы и нянюшкины сказки. Светская литература, в большей мере чуждая религии, существовала в виде «малого жанра» и была доступна узкому кругу грамотной и лишь поэтому читающей элиты. Творчество же молодых западных народов, жадных до всего нового, находивших поэзию даже в самых будничных занятиях, было целиком пронизано религиозностью, зачастую принимавшей языческие формы, едва тронутые христианизацией.

Каждый собор был настоящей Библией для бедных, более того – огромной книгой, которая вводила верующего в мир истории, науки, морали, знакомила с тайнами прошлого и будущего. Современное состояние соборов XII века не дает нам полного представления об их былом великолепии. И снаружи, и изнутри они были изукрашены и раззолочены, статуи и фронтоны главных входов были

разноцветными, нефы, расписанные фресками, покрывали ковры, драгоценные восточные ткани, расшитые золотом знамена. Ларцы с мощами, алтари и чудотворные образа были зачастую сокровищами, бесценными и по материалу, и по исполнению. Народ бедствовал, разбогатевшая буржуазия была эгоистична, знать афишировала свою расточительность, прелаты старались не отстать от знати ни в роскоши, ни в драчливости. И если в этих краях, где постоянно вспыхивали междоусобицы, эпидемии, пожары, люди голодали, на дорогах не было спасения от грабителей, храмы сохранялись в первозданной красоте – вера была крепка. Такое упорное стремление материализовать божественное начало свидетельствует о глубокой любви к близкому, осязаемому, понятному идеалу и презрению к человеческой жизни. Храмы воздвигала вера почитателей священных реликвий.

Французы-северяне отнюдь не все были почитателями папы. В 1204 году епископы Франции выступили против легатов, пытавшихся помешать Филиппу Августу заключить мир с Англией. Бароны пребывали в постоянной вражде с аббатами и епископами, а простой люд не желал платить церковную десятину. При всем том население было глубоко религиозно и относилось к священным местам как к своему национальному достоянию. А поскольку ересь, охватившая окситанские земли, резко противостояла любым движениям римской Церкви, то миссионерам, мобилизованным легатом Арно, не составило большого труда натравить толпу на «врагов Господа».

Слухи, которые кочевали по городам Франции и которым вторит хронист Петр Сернейский, – еще не самое ужасное из всего того, что рассказывали о еретиках. Добрых католиков преследовали образы солдат из свиты графа Фуа, оскверняющих церковный алтарь, режущих каноников или толкущих пряности руками или пятками разломанных распятий. Еретики отрицали Святое Причастие и утверждали, что вкушающий облатку, символ тела Господня, впускает в себя демона; они поносили святых и объявляли их окаянными. Слова папы «они хуже сарацинов» походили при этом на сущую правду. Аудитория римских проповедников вовсе не состояла из гуманистов, и образ разбитого распятия действовал на нее сильнее, чем вид растерзанного человека.

Король вел себя как человек государственный, не проявлял особенной обеспокоенности развитием ереси, а к крестовому походу был расположен даже менее, чем того требовали приличия. Он написал папе, что сомневается в законности такого предприятия и примет крест лишь после того, как папа обяжет короля Англии не вторгаться во Францию и узаконит специальный налог для содержания крестоносцев. В феврале 1209 года, в разгар подготовки армии к выступлению, Иннокентий III пишет Филиппу Августу: «Тебе мы особенно доверяем в деле Церкви Божией. У армии правоверных, поднявшихся на борьбу с ересью, должен быть командир, которого слушались бы беспрекословно. Мы просим Твою Королевскую Светлость выбрать своей волей человека решительного, благоразумного и законопослушного, который повел бы под твоим знаменем бойцов за святое дело»[8]. Но король и сам откажется, и сына не пошлет, и даже не возьмет на себя ответственность назначить доверенного действовать от его имени. И крестовый поход, в котором папа хотел использовать короля Франции как легальное светское оружие Божьего суда, останется тем, чем он и был на самом деле: войной, развязанной Церковью. Бароны, принявшие крест, станут солдатами Церкви, а в военачальники себе выберут папского легата, аббата из Сито Арно-Амори. Очередь короля Франции придет позже.

Среди баронов, принявших крест в 1209 году, известны уже упоминавшиеся Эд II, герцог

Бургундский, Эрве IV, граф Неверский, а также Гоше де Шатийон, граф де Сен-Поль, Симон де Монфор, Пьер де Кутерней, Тибо, граф де Бар, Гишар де Боже, Готье де Жуаньи, Гийом де Роше, сенешаль Анжуйский, Ги де Левис и другие. Военачальниками были также и архиепископы Реймский, Санский, Руанский; епископы Отена, Клермона, Невера, Байе, Лизье, Шартра, приняв крест, возглавили экспедиционные корпуса, состоящие как из воинов, так и из пилигримов, несведущих в военном искусстве, но жаждущих послужить делу Господа.

Прошел год со дня смерти Пьера де Кастельно, и Лангедок начал понемногу осознавать нависшую над ним опасность.

Графа Тулузского, при всем уважении к нему крестоносцев его сословия, дискредитировали слухи о причастности к убийству легата, а поскольку это преступление не являлось достаточным поводом для остракизма у баронов, которые сами вечно были на ножах с клерикалами, то папская пропаганда была вынуждена сгущать краски до самой черной. Петр Сернейский, верный представитель экстремистского клана Христова воинства, явно возводит напраслину на ненавистного графа. И нравы его омерзительны, он не чтит таинство брака (невелик грех, среди баронов тех времен верные мужья – большая редкость), и женат он был пять раз, и две из его отвергнутых жен еще живы, и в юности он соблазнял наложниц собственного отца (правда, обвинение запоздалое, графу уже 52 года). Его причастность к убийству Пьера де Кастельно всем известна (хотя сам папа осмеливался выражать лишь полууверенность). В качестве доказательства хронист приводит рассказ о том, как Раймон VI водил убийцу по своему домену и говорил при этом: «Смотрите на этого человека, он один любит меня по-настоящему и сумел сделать все, что я пожелал...» Эти слова казались горькой иронией. Но вряд ли Раймон VI мог позволить себе подобную шутку: осторожный политик, не забывающий о сохранении выгоды, граф Тулузский если бы и повелел убить (что само по себе маловероятно), то уж никак не назвал бы исполнителя. А если убийца и не был наказан, то, по-видимому, лишь из уважения к общественному мнению: в тех краях поднявший руку на ненавистного легата выглядел в глазах сограждан героем. Здесь и папа, и вожди крестоносцев не ошибались: ответственность за убийство взяла на себя вся страна, и графа можно было сдать толпе правоверных только как хозяина этой страны. А вина его в глазах правоверных была чудовищной: он не только относился к ереси спокойно, он ей потворствовал.

Свидетельства тому многочисленны, и вряд ли все они исходят от врагов графа. Утверждали, что он окружал себя еретиками, оказывал им подчеркнутое уважение и даже подумывал отдать им на воспитание сына. Известно было, что он не только систематически преследовал церкви и монастыри, но и, присутствуя при мессе, заставлял своего шута передразнивать священника. Его видели преклоняющим колена перед служителями еретического культа, однажды в припадке ярости он вскричал: «Воистину этот мир создан дьяволом – ничего не получается, как я хочу!» Короче говоря, устами Петра Сернейского (склонного к словесной неводержанности, но точного выразителя образа мыслей своего круга) Церковь считала графа «порождением дьявола, пропащим преступником, сосудом греха»[9]. Иннокентий III в оценках не отставал: «...жестокий и безжалостный тиран, человек бесчувственный и презренный»[10].

Но именно здесь Церковь и крестоносцы натолкнулись на самое серьезное затруднение – «безжалостный тиран» молниеносно объявил противникам, что всегда был сеньором христианской земли, обратился за поддержкой к королю Франции и императору Германии, а после неудачи

(монархи были на ножах и оба потом не простили графу этого демарша) объявил себя послушным сыном Церкви, готовым подчиниться любым условиям папы.

Историки подвергли решение графа Тулузского жестокой критике, усмотрев в нем доказательство коварства, или, по крайней мере, слабости. Но не тот человек был Раймон VI, чтобы сказать: «Все пропало, кроме чести». Казалось, честь его мало волнует, он стремится уменьшить тяготы и бедствия войны, которые падут на всех его подданных, и еретиков, и католиков, состоявших в явном большинстве. Доказательства твердой веры графа нужны были вы прежде всего им, а у своих противников граф выбивал почву из-под ног: если нет врага, то с кем воевать? Ересь, враг без лица, не имеет ни армий, ни штабов, ни короля, ни папы. Война, лишённая конкретного противника, теряет смысл.

Но останавливать Божье воинство было уже поздно. Покорность графа никого не обескуражила и лишь разожгла ненависть его врагов, ослабив их позицию и никак не послужив интересам Церкви. И армия солдат христовых вторглась в страну, прекрасно понимавшую всю чудовищную несправедливость этого шага. Религиозная война стала войной национальной.

3. Окситания

Пока крестоносцы готовились к войне, папа Иннокентий III, на все лады проклиная графа Тулузского, вел с ним переговоры. Граф обещал полное повиновение. Он лишь хотел обсудить сроки капитуляции с другим легатом, а не со своим заклятым врагом Арно-Амори. Папа направил к нему латранского нотариуса Милона и геновского каноника мэтра Тедиза. Однако если граф думал получить более милосердных судей, то ошибся – эти двое были во всем послушны аббату из Сито. «Все сделает аббат из Сито, ты лишь будешь инструментом в его руках. Он у графа на подозрении, ты – нет».

В своей игре папа отвечал ложным милосердием на ложное повиновение, о чем и писал своим полномочным представителям (аббату из Сито и епископам Рица и Кузерана): «Нас настойчиво спрашивают, как следует вести себя крестоносцам в отношении графа Тулузского. Последуем совету апостола: «Я взял вас хитростью...» Воспользуйтесь мудрым умолчанием, дайте ему до поры повоевать с мятежниками. Так будет легче сокрушить споспешников Антихриста, нежели дать им объединиться для сопротивления. И тем проще мы справимся с ними, если граф не бросится им помогать. Быть может, зрелище их полного краха поможет графу опомниться. Если же он будет упорствовать в своих заблуждениях, то, изолировав и ослабив его, можно будет без труда с ним покончить».

В Сен-Жиле, где погиб Пьер де Кастельно, в июне 1209 года состоялась церемония публичного покаяния. Казалось, справившись с недругом, Церковь ясно дала понять, чего стоит могущество сильных мира сего перед лицом могущества Бога.

Три архиепископа и девятнадцать епископов собрались в просторной церкви Сен-Жиля, которая и по сей день свидетельствует о богатстве и огромном авторитете графов Тулузских. Толпа высокопоставленных сановников, вассалов и писцов заполнила церковь и пространство перед папертью. Между двух огромных львов, стерегущих вход в храм, были выставлены особо почитаемые святыни. Графа в покаянной одежде, с веревкой на шее, голого по пояс вывели на паперть, и он, положив руку на ковчег со святыми мощами, поклялся в повиновении папе и легатам. Тогда Милон, набросив ему на плечи епитрахиль, произнес публичное отпущение грехов и, хлеща

его розгами по спине, повел в церковь. Толпа, хлынувшая следом, забила церковь до отказа, полностью заблокировав вход. Графа ввели в крипту, где был похоронен Пьер де Кастельно. Современники, везде видевшие знамена, усмотрели в этом совпадении кару за совершенное преступление.

Перед этой жестокой церемонией графу вменялось в обязанность подписаться под следующими условиями: он должен принести публичное покаяние всем епископам и аббатам, с которыми враждовал; он лишился всех прав на епископства и религиозные заведения; он был обязан распустить всех рутьеров и наемников, защищавших его владения; не доверять важных должностей евреям; не поддерживать еретиков и выдавать их крестоносцам; считать еретиками всех, на кого донесло духовенство; представлять на рассмотрение легатов все жалобы на них; соблюдать все условия мирных соглашений, продиктованные легатами. Этим актом повинения граф, по сути дела, признавал в своих владениях настоящую диктатуру Церкви. Он, однако, рассудил, что не все статьи договора реально выполнимы и что время работает на него.

Тотчас же по отпущении грехов Раймон VI внезапно изъявляет желание принять крест – неожиданное решение, если учесть, что граф всегда старался уберечь еретиков. «Очередное лукавство! – пишет Петр Сернейский. – Этот человек принял крест лишь для того, чтобы оградить себя и свои владения и скрыть свои чудовищные планы»[11]. Совершенно очевидно, что Раймон VI пытался добиться доверия папы через головы легатов, от которых не ждал ничего хорошего. На это 26 июля Иннокентий III пишет ему: «Сначала ты был причиной серьезного скандала, теперь стал примерным христианином... Мы желаем тебе только добра. Можешь быть уверен, мы не допустим, чтобы тебя обижали»[12]. Дипломатический пассаж, ни к чему серьезному не обязывающий. Но Раймон VI разыгрывает эту карту до конца.

Граф Тулузский – не единственное главное действующее лицо драмы, которая разворачивалась в его владениях; его личность – зеркало противоречий, слабостей, грехов и добродетелей его страны. Его поведение не столько продиктовано собственными стремлениями, хорошими или дурными, сколько в точности следует всем сложным поворотам ситуации, в которой очутилась Окситания в году бедствий. Человеческий характер графа не противоречил его роли, и никак нельзя сказать, чтобы ноша была ему не по плечу. Он настолько идентифицирует свои интересы с чаяниями населения Окситании, что воспринимается уже не просто как правитель, а скорее как поистине законный суверен, чье предназначение – быть символом своего народа. Со всеми своими слабостями и недостатками Раймон до конца остался гуманистом перед лицом бесчеловечности своих противников, порожденной религиозным фанатизмом, амбициями или просто невежеством. Так что в эпоху, когда приговоры народам выносились на основании поведения правителей, он совершил серьезную ошибку, которая не могла остаться безнаказанной: он был правителем терпимым.

Терпимость не считалась добродетелью, и, несомненно, Раймон VI никогда ею не похвалялся. Его предки так же жгли еретиков, как и все короли по соседству. Но к концу XII века ересь распространилась настолько, что, судя по букве закона, людей надо было сжигать тысячами и пускать по миру не одну страну. Граф не мог далее преследовать еретиков просто потому, что они составляли большую часть его подданных. То, что для других стран было чудовищно скандальным, для юга Франции давно стало злом неизбежным, которое уже и злом не назовешь. «...Отчего же, – спрашивал Фульк, епископ Тулузы, рыцаря Понс Адемара, – вы не прогнали еретиков с ваших

земель?» «Мы не можем так поступать, – отвечает рыцарь, – мы выросли с ними, у нас есть среди них родственники, и мы видим, что они – люди честные» (Гильом Пюилоранский). И далее историк продолжает: «Так заблуждение под личиной порядочности внесло смуту в слабые головы».

Таковы факты.

Попробуем все же разобраться, как могло случиться, что целая страна, долгое время исповедовавшая католические традиции, пришла к молчаливому одобрению религиозного течения, ставившего своей целью разрушение католической Церкви.

Чтобы понять такое, нужно бросить хотя бы беглый взгляд на историю Окситании XII века, на политическую и социальную обстановку и, прежде всего, на духовный и моральный климат этой провинции, которая являлась в ту эпоху крупным очагом западной культуры.

Владения графов Тулузских были столь же обширны, как и земли, прямо подчинявшиеся французской короне. Страна «языка ок» (*langue d'oc*) не отличалась особым могуществом, хотя и обладала независимостью. Статус графа Тулузского, вассала короля Франции, почитался ниже, чем, к примеру, статус графа Шампанского или герцога Бургундского. Однако от Тулузы до Парижа далеко, наречие севера Франции отлично от южного, и власть французского короля на юге в значительной мере номинальна. С другой стороны, граф Тулузский получил часть своих доменов от английского короля, сюзерена еще более далекого и тем более – номинального. Крупные вассалы графа Тулузского одновременно являются вассалами короля Арагона, который в Лангедоке владеет Монпелье и виконтствами Карла и Мийо. Арль – имперское владение... Такое многообразие сюзеренов *de facto* гарантирует независимость страны: пока император далеко, король Англии озабочен защитой своих обширных владений от посягательств короля Франции, король Арагона расширяет свои земли по ту сторону Пиренеев и занят бесконечной войной с маврами, а король Франции пытается распространить свою власть до естественных границ окрестных земель – граф Тулузский может жить спокойно. Все эти сюзерены с их борьбой за сферы влияния для него лишь покровители, но никак не хозяева.

Это не мешало, правда, англичанам и арагонцам опустошать в XII веке земли Тулузы и Руэрга, подчиняя постепенно графство Тулузское своему влиянию. Раймон V, отец Раймона VI, всю жизнь оборонялся от опасных соседей, а его главные вассалы – графы Монпелье, Фуа и Коменжа и виконт Безье – считались союзниками арагонского короля. Раймон V приходился шурином Людовику VII, будучи женат на его сестре Констанс, и король не раз защищал его от англичан. Однако он так обращался с женой, что рассорился с французским королем и принес вассальную клятву Плантагенетам. Престарелый король Англии, Генрих II, воевал в то время со своим сыном, Ричардом Львиное Сердце, который не преминул с отрядом рутьеров ворваться в тулузские земли. Как видим, политическая ситуация была достаточно напряженной, но графы Тулузские свою независимость отстаивали. Короли же Франции, Англии и Арагона, домогаясь союза с династией Раймонов Тулузских, выдавали за них замуж своих сестер. И на своей земле Раймоны не подчинялись никому. В то же время в собственных провинциях их власть была столь же эфемерна, как и власть королей Франции в их владениях. Тренкавели, виконты Безье, имевшие в подчинении Каркассе, Альбжуа и Раза и владевшие землями от Тарна до Пиренеев, считались вассалами арагонского короля. На протяжении всего XII века графы Тулузские вели безуспешную борьбу с возрастающим могуществом Тренкавелей. Графы Фуа, сидевшие у себя в горах, тоже не очень подчинялись Тулузе, с которой их

объединяло лишь соперничество с Тренкавеллями. Объединение вассалов против Тулузы то складывалось, то распадалось, в зависимости от сиюминутных интересов его участников.

Все это наводило бы на грустные размышления о политической ситуации в Лангедоке накануне крестового похода, если бы дела на остальных западных территориях обстояли хоть немного лучше. Но и французские короли воевали с лигой вассалов, и в Англии феодалы ссорились с королями, примкнувшими к Великой Хартии, и земли Германии и Италии были ареной постоянной войны имперцев за свои местные интересы... В эпоху, когда моральные обязательства человека перед сеньором и Церковью были, казалось, реальны и непререкаемы, действия этого человека во многом следовали пословице «Мой дом – моя крепость». Люди не рассуждали о свободе, но поступали так, как если бы не имели иных идеалов и ценностей кроме этой свободы. Города восставали против законных сеньоров, едва заподозрив их в посягательстве на права самоопределения. Епископы не подчинялись королям и даже папам, сеньоры воевали с епископами – словом, понятие собственной чести для всех было главенствующим. На юге Франции этот образ мыслей достиг апогея, поскольку страна гордилась своей древней культурой, богатством, славным прошлым и жадно воспринимала все новое.

Таким образом, получалось, что на деле граф Тулузский вовсе не был полновластным хозяином своих вассалов. В собственных владениях он не мог даже созвать армию, а был вынужден ее нанимать. При необходимости собрать своих вассалов граф часто не знал, к кому обращаться; в отличие от северных провинций, где наследовал старший сын, на юге наследственное имущество делилось между всеми детьми умершего, и через несколько поколений замки насчитывали по 15-16 совладельцев, которые, в свою очередь, в результате брака или наследования, были совладельцами еще и других замков. На деле крупные владения имели не хозяев, а управляющих. Братья и кузены не ладили друг с другом, и фьеф не составлял военного единства, как это было во Франции.

В крупных городах граф тоже не был властелином. Каждый из городов представлял собой суверенную республику и подчинялся суверену только тогда, когда последний оставлял его в покое. Находясь на перекрестке торговых путей, города на юге Франции процветали в большей мере, чем в других местах. Буржуа пользовались огромными привилегиями. Все обитатели города получали с момента поселения статус свободных граждан, гарантировавший такой уровень защиты, при котором никто, кроме городского трибунала, не имел права их судить, если даже они совершили преступление в сотне лье от стен города.

Город управлялся консулами; этот пережиток римского права все еще составлял основу локальной юрисдикции. Консулы или капитулы выбирались из буржуа и городской знати, и здесь буржуа были уравнены в правах с рыцарями. Такой измены кастовым традициям северная знать никогда не простит южанам. Богатый буржуа являлся крупным сеньором, и уверенность в своих правах позволяла ему соперничать с рыцарем. Ради защиты своих свобод буржуа не останавливались ни перед чем: в 1161 г. жители Безье убили в церкви Магдалины своего епископа. За это они были жестоко наказаны, но дух свободолюбия маленьких республик только укреплялся и ожесточался в борьбе с превышениями власти.

Церковь, институт наднациональный, принципиально организованный и подчиненный единственному руководителю, вынуждена была в силу обстоятельств подпасть под влияние всех этих беспорядков. Она жестоко преследовалась наравне со светскими властями, ее богатства

порождали вождение, ее авторитет воспринимался как посягательство на независимость каждого прихожанина. Епископы имели зычные голоса, крепкие кулаки и по праву считали себя хозяевами страны после Бога и папы. Но претензии эти не были ничем оправданы. Как и все крупные феодалы, они владели землями, приносившими изрядный доход, и часто их больше заботила защита собственных владений, чем наставление паствы на путь истинный. Их можно понять: волком завоешь, когда под угрозой окажется гарант моральной свободы Церкви – ее наследственные земельные наделы.

Не внемля увещаниям папы, епископы становились все более непопулярны в своих диоцезах. Население не помогало им отражать набеги феодалов, их обвиняли в праздности, в безразличии к бедным и в пристрастии к крестовым походам. Аббаты, тоже жившие, как баре, благодаря богатству монастырей, также встречали не лучший прием. Низшее духовенство совсем отбилась от рук и впало в такую немилость, что епископы зачастую вербовали кадры буквально из первых встречных. По свидетельствам всех католических документов той эпохи, Церковь на юге Франции не имела ни престижа, ни авторитета: она была «мертва». Католическое население было вынуждено либо довольствоваться Церковью, которая вводила в искушение даже лучших прихожан, либо искать другой выход для своих духовных устремлений.

При всем том Окситания вовсе не походила на преисподнюю, где царят хаос и анархия: она была страной не самых строгих правил, но в то же время страной крепкого единения. Это было единение цивилизации, незримая нить, связующая детей одной земли общим образом мыслей и чувств. В конечном итоге, вовсе не одно лишь богатство буржуа заставляло рыцарей считаться с ними. И династия графов Тулузских, вечно занятых распрями со своими вассалами и епископами, пользовалась в народе любовью и безусловным уважением.

Окситанские крестьяне жили в достатке, несмотря на частые войны, раз за разом опустошавшие их поля. На дорогах, по свидетельству современника (аббата Этьена из Сен-Женевьев, будущего епископа Турне), разбойничали баски и арагонцы, те самые рутьеры-наемники, к услугам которых, помимо регулярной армии, часто прибегали южные бароны. Однако у дорог селения попадались редко, по большей части поля и виноградники находились под защитой городских стен, в хорошо укрепленных предместьях. Земля обильно плодоносила, и процветание города напрямую зависело от достатка крестьянских хозяйств. Не только буржуа, но и большинство крестьян считались свободными людьми, и в тех фьефах, где было несколько хозяев, они практически не подчинялись никому.

Буржуа – это привилегия: буржуа не только свободен, он пользуется поддержкой общины, и развитие торговли и ремесленничества вот-вот приведет к образованию класса с осознанием собственного достоинства и собственных прав. В развитии Лангедока мощь буржуазии сыграла определяющую роль. Земля трубадуров была землей большой торговли, где социальная значимость буржуазии начала затмевать социальную значимость знати. Правда, то ли из комплекса приниженности, то ли из снобизма, буржуа все еще домогались титулов. Но эта роскошь не имела смысла: когда буржуа реально уравниваются с аристократией, это и так означает, что они в силе.

Важнейшими торговыми артериями, по которым шли с юга на север и с севера на юг товары и сырье, были Рона и Гаронна, а важнейшими торговыми портами издревле считались Марсель, Тулуза, Авиньон и Нарбонна. Крестовые походы, обогатившие западные города, принесли удачу и

Лангедоку – одновременно и «проходному двору», и ключу к восточным землям. Отбывающие покупали здесь все необходимое, прибывающие продавали трофеи; местная знать – бродяги и авантюристы – за бесценок отдавала свое имущество банкирам, финансировавшим очередную поход в Святую Землю. И часто выходило, что свободы и привилегии, которые невозможно отобрать силой, община покупала у своего суверена, вечно рыскающего в поисках денег. Горожане признавали только консульскую власть, а граф Тулузский, не имевший легальных полномочий, мог добиться послушания своих подданных только в рамках общинных законов.

Все горожане пользовались правом купли, продажи и обмена без налогов и податей. Браки были свободными. Подданные других стран пользовались теми же правами без расовых или религиозных ограничений. Община была центром общественной жизни, выборы консула выливались в грандиозные празднества наравне с религиозными – с процессией и колокольным звоном во всех церквях. Вся жизнь горожанина от рождения до смерти была связана с городской улицей, и получение благословения на брак у священника явно уступало в торжественности моменту, когда новобрачные проходили перед облаченными в парадные красные одежды с горностаевой опушкой консулами, которые вручали им цветы и фруктовые ветви. Так общественная жизнь коммуны, пронизанная религиозными обычаями и духом, становилась мощным фактором секуляризации.

Пышность южных городов возбуждала вполне понятную зависть северных. Ни Париж, ни Руан не шли ни в какое сравнение с Тулузой или Авиньоном. Великолепие романских церквей в южных городах, уцелевших во время войн и не разрушенных временем, может дать представление о том, как прекрасны были сами города, очаги расцвета ремесел, искусств, важнейшие религиозные и культурные центры. В крупных городах имелись математические, медицинские, философские и астрологические школы. И не одна Тулуза, но и Нарбонна, Авиньон, Монпелье, Безье были университетскими городами задолго до открытия там университетов. В Тулузе философия Аристотеля преподавалась наряду с новейшими достижениями арабской философии, в то время как в Париже она все еще находилась под запретом церковных авторитетов. Это существенно поднимало престиж тулузской школы.

Постоянный контакт с мусульманским миром устанавливался благодаря купцам и арабским врачам, приезжавшим с востока и из-за Пиренеев. Иноверцы вовсе не считались врагами. Евреи, многочисленные и сильные, как и во всех больших торговых городах, тоже не были исключены из общественной жизни в силу религиозных предрассудков. Их врачи и учителя пользовались большим почтением, у них были свои школы, где занятия велись бесплатно, иногда в форме публичных лекций, и многие горожане не считали для себя зазорным их посещать. Нам известны имена доктора Абрахама из Бокэра, мудреца Симона и раввина Якова из Сен-Жиля. Иудаистские и мусульманские апокрифы имели хождение среди духовенства и населения. Более того: евреи входили в состав консулатов и магистратов некоторых городов.

Так что хорошо это или плохо, но в Окситании светская жизнь начала постепенно наступать на религиозную и теснить ее.

Знать «плыла по течению». Одни историки представляют ее пустой, легкомысленной, «дегенерировавшей», другие видят в ней красу рыцарского и куртуазного духа эпохи. Но, видимо, в последнем случае это была «обуржуазившаяся» образованная знать главным образом невоенного склада, начавшая уже забывать, что ее традиционное предназначение и смысл жизни заключены в

военном ремесле. Хотя, когда на карту ставились интересы окситанского рыцарства, оно становилось весьма драчливым и ничуть не уступало в удали северянам.

В разрозненной, децентрализованной стране, которой, по большому счету, не от кого было обороняться, всякий дрался лишь за себя, враги быстро становились приятелями (и наоборот), а постоянное мелкое соперничество никем не принималось всерьез. И так же мало, как они считались с мнением друг друга, буржуа и знать прислушивались к увещаниям Церкви, потерявшей силу и авторитет, а, следовательно, уязвимой. Епископы разорялись в стычках с крупными и мелкими баронами, самих же баронов столкновения с клерикалами мало заботили, они были выше этого. Далеко было время, когда ряды того класса, который мы называем интеллигенцией, пополняла почти исключительно Церковь. Уже более века в христианских странах книжное слово было воспринято светской культурой, и латынь перестала быть единственным литературным языком. Литература занимает все большее место в жизни не только высших классов, но и простонародья. Северные французы, немцы и англичане охотно читают романы, наряду с религиозным театром робко заявляет о себе театр светский, а поэзия и музыка становятся повседневной необходимостью и для знати, и для буржуа.

Любопытный факт: литература юга Франции не оставила нам романов, а вот южная поэзия занимает в Европе ведущее место и по древности, и по силе лирического вдохновения. Ее превосходство повсеместно признавалось, ей подражали в германоязычных странах, а для французских, итальянских и каталонских поэтов единственным литературным языком считался окситанский. Не забудем, что и Данте намеревался поначалу писать свою «Божественную комедию» на языке «ок». Для нас невозможно помыслить о южной аристократии, чтобы на ум сразу же не пришли трубадуры: увлечение поэзией было исключительно сильно, и аристократы старались выстраивать свое поведение согласно литературному идеалу эпохи. При этом, естественно, знать во многом витала в облаках, хотя, если вдуматься, то и аристократы времен Людовика XIV почитали за особую честь присутствовать при утреннем туалете короля. А для рыцаря XII века честь предполагала определенное презрение к благам мира сего, соединенное с преувеличенным почтением к собственной персоне. Что же такое по сути своей есть обожание Прекрасной Дамы, божественной и недостижимой Возлюбленной, как не желание заявить во всеуслышание, что объект поклонения определяется не божественным промыслом, а собственным выбором?

Позднейшие толкователи договорились до того, что объявили Прекрасную Даму то ли образом катарской Церкви, то ли неким эзотерическим откровением. Действительно, поэмы некоторых трубадуров имеют схожие черты с мистическими арабскими поэмами. Но это, без сомнения, реминисценции чисто литературные, поскольку в ту эпоху никому не приходило в голову видеть в поэзии что-либо, кроме воспевания любви. Но не менее справедливо и другое: поэзия трубадуров воспекает, скорее, путь морального и духовного обновления через любовь, чем самую любовь. Все эти терзания, вздохи, долгие ожидания и смерть ради метафоры одновременно искренни, страстны и нереальны. Кажется, что поэт прежде всего стремится поведать миру о красоте своей страдающей души.

Это беспокойное эгоистическое общество, с его безумным и страстным расточительством (достаточно вспомнить владетеля Венуса, приказавшего на потеху гостям сжечь живыми 30 лошадей), с его пристрастием к наиболее бесполезным из искусств, с его жадной несбыточной

любви, свидетельствует нам об определенных особенностях образа жизни аристократии. За показной фривольностью скрывается, быть может, желание отстраниться, отказ серьезно относиться к вещам, которые того не стоят. Но когда придет опасность, то, оправившись от потрясения, окситанская знать сумеет постоять за себя, покажет пример несгибаемого патриотизма и докажет, что ее слабость как силы политической вовсе не означает отсутствия силы жизненной.

Нам доподлинно известно, что аристократия не только терпимо относилась к ереси, но и всячески ее поддерживала. Таким образом, новая религия завоевала тот единственный класс населения, который мог отстаивать дело Церкви с оружием в руках, как того требовал крестовый поход.

Окситанская земля, изначально католическая, естественным путем, без подталкивания и революций, стала землей ереси. Новая доктрина так хорошо акклиматизировалась, что уже невозможно было отличить зерна от плевел; оставалось либо не обращать внимания, либо идти до конца. В безжалостной войне, длившейся более 10 лет, еретики были, однако, лишь поводом. Вожди крестового похода стремились подчинить себе всю страну. Помимо ликвидации ереси, крестовый поход придаст им новые силы. Но на это потребуются столетия, и достичь этого удастся лишь ценой обессиливания и обескровливания Окситании.

ГЛАВА II

ЕРЕСЬ И ЕРЕТИКИ

1. Истоки

Существование ересей неотделимо от существования самой Церкви: где догма – там и ересь. Вся история христианской Церкви есть история борьбы с ересями, такой же кровавой и беспощадной, как и с нехристианскими религиями. Начиная с VI века Западная Европа уже оправилась от шока, вызванного внешними нашествиями [13], но все еще жила в страхе перед новыми. В религиозной жизни наступила относительная стабильность, и Церковь пользовалась авторитетом и уважением.

Тем не менее, ереси возникали снова и снова. Деятельность поверженных последователей ариан и манихеев постоянно возрождалась то в виде молчаливого компромисса с ортодоксальной Церковью, то в виде открытой оппозиции. Злоупотребления, неизбежные для господствующей Церкви, постоянно порождали реформаторские устремления, которые часто принимали характер ересей, расходящихся с официальной доктриной. Сельские ереси походили на еле тронутый налетом христианства кельтский мистицизм, ереси монастырские были плодом отважных монашеских медитаций или зарождались на кафедрах теологии, ереси городские приобретали характер социальных бунтов.

Однако на севере Италии и на юге Франции Церковь столкнулась с совершенно иной ситуацией: речь шла уже не о демонстрации местной или личной независимости, но о настоящей религии, угнездившейся в самом сердце христианского края и претендующей называться единственно истинной. Традиционные методы религиозного убеждения, применяемые Церковью к своим заблудшим чадам, наталкивались на непроходимую стену: еретики вовсе не были христианами-диссидентами, они черпали силы в осознании своей принадлежности к религии, никогда не имевшей отношения к католицизму и более древней, чем сама Церковь.

Изрядную часть еретиков, как в Италии, так и в Окситании, составляли вальденсы и другие секты реформаторского толка, которые Церкви удалось вернуть в свое лоно после долгих политических ухищрений. Мы же поведем речь об очень крупной ереси, в которой слились реформаторские

движения наиболее крайних позиций – о ереси катаров.

Религия катаров («чистых») пришла с Востока. Современники считали катаров манихеями и арианами. И в самом деле, еретические секты, возникавшие в Западной Европе с XI века, по большей части считались «манихейскими». Но всего лишь считались. Сами еретики не объявляли себя приверженцами Мани, и вполне возможно, что Церкви манихейского направления в Испании, Северной Африке и в самой Франции давно уже открестились от этой своей ветви, приведшей к анафеме и кострам. Не осталось никаких манихеев, остались одни «христиане».

Современные историки (Фернан Ниэль) пишут, что учение катаров было не ересью, а религией, не имевшей ничего общего с христианством. Точнее было бы сказать, что оно не имело ничего общего с тем христианством, которое сформировалось за 10 веков существования Церкви. Религия катаров – это ересь, возвратившаяся к временам, когда догматы христианства еще не выкристаллизовались, и античный мир, столкнувшись с новой верой, искал пути ассимиляции с этой чуждой, чересчур динамичной и живучей доктриной, чьи явные противоречия смущали привыкшие к ясности античные умы.

Гностицизм, синтез античной философии с христианством, не признававший сотворение Богом злого начала и материи, не исчез, хотя отцы Церкви его и прокляли. Дух его всегда был живуч в Церквях Востока, а его влияние на западные традиции гораздо сильнее, чем принято считать. Гностики повлияли на Мани, последователя персидской религии, где Добро и Зло представляли два основных начала. Но и учение Мани повлияло на гностиков, и в результате этого глубинного взаимопроникновения черты дуализма, возникающие в христианском учении, стали называть манихейством.

Наплодив множество сект по всей Европе и Азии, жесточайше разгромленные, манихеи исчезли, и имя Христа затмило имя Мани. В Армении и Малой Азии попытку открыто соединить манихейство и христианство предприняли павликиане, но в 862 году греки вынудили их сдаться, и множество павликиан по приказу императора было депортировано на Балканский полуостров. Там и зародилось учение, которое ляжет потом в основу учения катаров.

С VII века на Балканах, к югу от Дуная, существовало царство болгар, народа, пришедшего из Азии. На этой территории переселенные павликиане отправляли свои обряды до того момента, пока греки и римляне не обратили славянское население Болгарии в христианство. В том виде, в каком оно пришло во Францию, учение катаров появилось в Болгарии в X веке под названием богомилства.

Мы не знаем, действительно ли основателя этой религии звали Богомилом, было ли это его прозвище или же, по славянской традиции, этим именем обозначали некий символический персонаж, а потом оно стало восприниматься как собственное, принадлежащее реальному человеку.

Православные авторы той эпохи упоминают также попа Иеремию. Так или иначе, истоки секты были темны, а распространялась она с непостижимой быстротой. Поскольку революционные тенденции богомилства тревожили правящие классы, секта подвергалась гонениям и в Болгарии. Но, несмотря на это, число приверженцев новой религии росло. Кроме того, богомилы рассылали многочисленных эмиссаров по всей территории Средиземноморья. Новая религия захватила Боснию и Сербию, где угнездилась так прочно, что могла поспорить с государственной, и продержалась вплоть до вторжения турок в XV веке.

В XI веке доктрина богомилов распространилась на севере Италии и на юге Франции. У нас нет

сведений, что именно позволило ереси катаров так быстро проникнуть сюда из Болгарии и были ли в этих краях пережитки манихейства. Мы знаем лишь, что катарская вера, поборов противников, продвигалась со скоростью лавины, и к XII веку, несмотря на преследования, стала полуофициальной религией, насаждая в стране свои традиции, свою историю и строгую иерархию. Движение вышло из подполья, ставшего бессмысленным. В 1167 году болгарский епископ Никита (или Никетас), именуемый «папой катаров» (что, несомненно, происходит от созвучия слов «поп» и «папа»), приезжает из Константинополя с миссией укрепить молодые лангедокские общины и созывает Собор катарских епископов и священнослужителей в Сен-Феликс де Караман близ Тулузы. Уже сам по себе этот факт говорит о том, что перед лицом римской Церкви Церковь катаров не боялась заявить о своей универсальности и наднациональном единстве. Это больше не была ни секта, ни оппозиционное официальной Церкви движение – это была настоящая Церковь.

Светские власти, напуганные размахом движения, попытались прибегнуть к акциям устрашения: Раймон V, граф Тулузский, задумывал даже крестовый поход с участием королей Франции и Англии, а папа Александр III отправил в Тулузу представительную делегацию во главе с кардиналом-легатом Пьером Сен-Хризогоном. Убедившись в бесплодности предприятия, легат ограничился показательной экзекуцией: он велел схватить и высечь Пьера Морана, почтенного, богатого, всеми уважаемого престарелого буржуа, известного своей дружбой с катарами. Отбыв трехлетнее покаяние в Святой Земле, Пьер Моран вернулся в Тулузу героем и был торжественно избран капитулом. Демарш легата лишь приумножил популярность новой веры.

Легко объяснить успех учения катаров несостоятельностью римских клерикалов, алчностью буржуа и аристократии, только и ждущих предлога завладеть церковным добром, и страстью ко всему новому и у тех, и у других. Почва, как видим, была благодатной для семян новой религии. Но благодатная почва не объясняет еще сути дела. Причины необычного успеха этой религии следовало бы искать в ней самой.

2. Догма

Мы не собираемся здесь подробно анализировать догмы и рассуждения Церкви катаров, во-первых, потому, что, несмотря на скудость материалов, литература на эту тему очень обширна, а во-вторых, сами материалы мало что могут сказать о том, чем же была в действительности эта исчезнувшая религия. Это так же трудно, как по форме черепа воспроизвести черты живого лица. Здесь больше предположений, чем точных указаний. Мало того, что религия катаров умерла насильственной смертью, она столь методично обесценивалась и дискредитировалась, что даже тому, кто не имеет никаких предубеждений против нее, она может показаться нелепостью, противоречащей здравому смыслу. Это удел всех мертвых религий. В конце концов католическая вера людей средневековья так же чужда нам, как и вера катаров.

Мы можем лишь попытаться, бегло ознакомившись с основными догматами, сделать кое-какие выводы из дошедших до нас фактов и составить себе хотя бы приблизительное представление о том духовном климате, в котором развилась и погибла эта религия.

Сразу же возникает вопрос: несло ли на себе учение катаров отпечаток эзотеризма? На эту мысль наводят некоторые указания, и в том числе само существование замка Монсегюр с его необычной конструкцией. Но даже если эта религия имела свои таинства и секретные обряды, они были столь искусно законспирированы, что сами совершенные ни разу не проронили о них ни слова. Пример

тому – обращенный в христианство и ставший инквизитором совершенный Ренье Саккони. Некоторые моменты катарской доктрины, в частности, их обычай отказа от пищи или их ритуальные праздники, остаются темными для нас, отчасти потому, что инквизиторам не приходило в голову об этом спрашивать на допросах. Из многочисленной и разнообразной литературы катаров только несколько документов по случайности не были уничтожены, и мы не знаем, представляли они собой что-то важное или всего лишь отражали общие положения учения. Более того, у катарской Церкви, как и у любой другой, тоже были свои ереси и свои несогласные и, без сомнения, существовали внутренние секты более эзотерического толка, о которых могла не знать основная масса верующих. Зато известно доподлинно, что катары были искусными проповедниками и не делали никаких тайн из своего учения. Они много и охотно участвовали в теологических дебатах и конференциях, где их ученые крепко стояли против католических легатов и епископов. Эти публичные дискуссии – например, на коллоквиуме в Ломбере в 1176 году или во время кампании евангелизации, развернутой святым Домиником в 1206-1208 годах, – показывают нам лангедокских катаров страстными ораторами, вовсе не склонными прятаться за некие тайны, якобы недоступные профанам. Напротив, они основывают свою доктрину на соображениях здравого смысла, упрекая католические таинства в суеверии и магии.

Верно, однако, и то, что мы не знаем об этой доктрине ничего, что выходит за рамки ее противопоставления официальной Церкви, то есть знаем лишь ее негативную часть. Существует мнение, что, поскольку учение катаров почти ни в чем не было согласно с Церковью, то на основании этих разногласий можно составить довольно полное представление об их доктрине. Но это не так: как раз более вероятно, что не дошедшая до нас позитивная часть учения и содержала секрет его необычайной популярности.

Таким образом, о религии катаров нам известно: 1) ее «заблуждения», т. е. расхождения с католической Церковью; 2) часть внешних проявлений: ее организация, жизнь и нравы верующих, некоторые обряды и церемонии. И здесь мы оказываемся в положении чуждого христианству человека, которому пытаются описать мессу, не объяснив ни ее духовного, ни эмоционального, ни символического значения. Мы внимаем с чувством почтения, которое рождает в нас глубокий мистический опыт, и ничего не пытаемся объяснить.

«Заблуждения» катаров многочисленны. Они восходят к традиции гностиков, провозглашая абсолютное отделение Духа от материи. Как все последователи манихеев, катары дуалисты и верят в наличие двух равноправных начал: доброго и злого. Если одни катарские теологи верят, что обе эти силы существовали изначально, то другие утверждают, что сила зла – творение вторичное, падший ангел. Как бы ни появилось Зло – из первоначального вневременного хаоса или от злой воли Божьего творения, – все катары признают, что добрый Бог не всемогущ. Зло ведет с ним беспощадную войну и оспаривает у него победу за победой, которые все равно будут уничтожены «скончанием времен». В эпоху, когда в Дьявола верили так же твердо, как в Бога, подобная теория никого не удивляла.

Но вот чего христиане никак не могли признать в учении катаров, так это его основополагающего утверждения: материальный мир никогда не был создан Богом; он есть творение Сатаны. Не входя в детали сложнейшей космогонии, объясняющей падение Сатаны и ангелов зла и сотворение материи, мы можем утверждать, что для катаров воспринимаемый нами в ощущениях материальный мир (включая, как гласят учения большинства сект, солнце и звезды) есть мир дьявольский и проявление

Зла.

А человек? И он тоже творение Дьявола, поскольку сделан из плоти и крови. Но Дух Зла был бессилён сотворить жизнь и попросил Бога вдохнуть душу в глиняное тело. И Бог сжалился над незадачливым творцом, однако частичка Божественного Духа не пожелала оставаться в грубо сляпанном подобии Сатаны. Путём длительных ухищрений Демон некоторое время удерживал ее в плену, а потом толкнул наших прародителей Адама и Еву к плотскому единению и тем окончательно заставил Дух увязнуть в материи. Согласно доктрине некоторых школ, при акте воспроизведения поколений, восходящих к Адаму, Дух Божий, подобно пламени, разлетается на множество бесконечно делящихся искр. Самая приемлемая интерпретация этой теории такова: Демон, Люцифер или Люцибел то ли утащил за собой, то ли уговорил с помощью соблазнов уйти с ним на землю множество душ, сотворенных Богом и живущих при нем в блаженстве. Здесь и есть неисчерпаемый источник, дающий начало человеческим душам, обреченным тяжело страдать потому, что они заключены в тела. (В космогонии катаров материальный мир – лишь низший вид реальности, наиболее безвозвратно отошедший от Бога; есть множество иных миров, где возможны различные пути к спасению.)

Демон – не кто иной, как Бог Ветхого Завета, Саваоф или Ялдаваоф, грубый подражатель доброго Бога, творец жалкого мира, где, несмотря на все старания, ему не удалось создать ничего долговечного: души ангелов, по слабости своей нисшедшие в материю, остаются абсолютно чуждыми этому миру, живут в страдании, лишённые имен, отделённые от Духа, который они носили в себе до падения.

Здесь существуют разночтения между разными катарскими сектами. Некоторые из них утверждают, что число этих пропащих душ ограничено и они перемещаются из одного тела в другое, следуя бесконечной веренице рождений и смертей; в этом учение сближается с индуистской доктриной об реинкарнации и карме. Другие же, напротив, верят, что каждое новое рождение заставляет спуститься если не с неба, то из сопредельного с небом пространства одну из ангельских душ, соблазненных Демоном, – отсюда хорошо известный ужас катаров перед актом воспроизведения, актом жестоким и насильственным, отнимающим душу у неба и низвергающим ее в материю. Как бы там ни было, катары очень почитали учение о метемпсихозе в том виде, в каком оно изложено у индуистов, с той же математической строгостью посмертного воздаяния: человек, живущий правильно, воплощается в существе, более способном к духовному прогрессу; преступник после смерти рискует возродиться в теле, отягощенном наследственными болезнями и пороками или вовсе оказаться в шкуре животного. Помимо этих скорбных скитаний среди смертей и возрождений, у падших душ нет никакой другой надежды на избавление и обретение своей небесной родины, кроме надежды на сошествие Посланца Доброго Бога в материальный мир.

Добрый Бог – сама чистота и радость, однако, не ведая зла, он знает об отторгнутых от него душах небесных и хочет их вернуть. Но он бессилён им помочь, их разделяет пропасть, и он не может иметь никаких сношений с миром, созданным Князем Зла. Среди окружающих его созданий ищет он Посредника, кто мог бы установить контакт с падшими небесными душами. И призывает Иисуса, который, согласно учению катаров, представляет собой либо совершеннейшего из ангелов, либо второго, после Сатаны, Сына Божьего. Термин «Сын Божий» не предполагает равенства между Отцом и Сыном, Иисус – не более чем эманация, образ Божий.

Иисус сходит в нечистый материальный мир, не отвергая никаких контактов с ним, из сострадания к душам, которым он должен указать обратный путь на небесную родину. Однако чистота не может по-настоящему взаимодействовать с материей, и оттого телесность Иисуса – всего лишь видимость, он не «воплотился», а, скорее, «вотенился». Но чтобы усыпить бдительность Демона, он подчиняется земным законам. Демон распознает Посланца и пытается его убить, а прочие недруги Господа в ослеплении полагают, что Иисус по-настоящему страдает и погибает на кресте. В действительности бесплотное тело Иисуса не может ни страдать, ни умереть, ни воскреснуть. Он невредимым возвращается на небо, указав своим последователям путь к спасению. Его миссия завершена, он оставил на земле Церковь, обладающую Святым Духом, утешителем плененных душ.

Ибо Демон, князь мира земного, немало потрудился, чтобы разрушить созданное Иисусом и помутить человеческий разум. Над истинной Церковью восторжествовала ложная, которая присвоила себе имя «христианская», а на самом деле исповедует противоположную доктрину, доктрину Дьявола. Истинная же христианская Церковь, обладающая Святым Духом, – это Церковь катаров. А римская Церковь есть зверь и блудница вавилонская, и послушные ей не спасутся. Все, что из нее исходит, отмечено печатью рока. Ее таинства – не более чем ловушки Сатаны, они заставляют людей верить, что путь к спасению заключен в плотских обрядах и пустых жестах. Ни вода крещения, ни хлеб причастия не несут в себе Святого Духа, ибо они материальны. Облатка не может быть частицей тела Христова, потому что, как утверждали с грубой иронией катары-проповедники, если собрать все облатки во всех странах за 10 веков, то тело Христово получится с огромную гору. Крест никак не может быть предметом поклонения, скорее, наоборот – он должен вызывать ужас как орудие пытки Иисуса. Ведь балку, которая свалилась и убила ребенка, не водружают на почетное место для поклонения (аргумент наводит на мысль о том, что катары с большим вниманием, чем принято думать, относились к распятию – иначе с чего бы им пугаться креста, если Иисус не испытывал крестных мук?).

Если крест – орудие Дьявола, то все образы и предметы, которые Церковь чтит как священные – суть творения лукавого, насадившего под личиной христианства царство гнуснейшего язычества. Иконы и тем более священные реликвии – не более чем идолы, обломки вонючих костей, деревяшек и лоскутья тряпок, собранных где попало и выдаваемых шустрými мошенниками за останки благословенных тел и предметов; и тот, кто им поклоняется, чтит творения Демона. В конце концов, все святые были грешниками, служителями Дьявольской Церкви, и все они достойны быть прокляты вместе с праведниками Ветхого Завета, созданиями Бога Зла.

Святая Дева вовсе не мать Иисуса, потому что у Христа не было тела, и если уж он для видимости хотел от кого-нибудь родиться, то Мария тоже должна была быть бестелесной, ангелом, принявшим облик женщины. Возможно, она являлась символом Церкви, принявшей в себя Слово Божье.

Приняв за принцип сотворение мира духом зла, катарская Церковь единым махом приговорила все проявления земной жизни: все, что исходит не из духовного источника, обречено на полную гибель и не заслуживает ни любви, ни уважения. Если наиболее осязаемая форма зла на земле – это Церковь, то на власти светской тоже лежит вина, поскольку ее сила зиждется на понуждении и часто на убийстве (войны и карательное правосудие). Семья тоже достойна осуждения, ведь она поддерживает земные привязанности; а брак к тому же еще и преступление против Духа, поскольку он обрекает человека на телесное бытие и ведет его к риску стать причиной потери еще одной

украденной для земли души. Любое убийство, даже убийство животного, есть преступление: тот, кто убил, отнял у души шанс воссоединиться со Святым Духом и насильственно прервал путь покаяния, ибо, даже пребывая в шкуре животного, душа имеет право на шанс возродиться в лучшем качестве. Поэтому нельзя носить оружие, чтобы не рисковать кого-нибудь убить, даже защищаясь. Нельзя есть животную пищу, ибо она нечиста; яйца и молоко также под запретом, так как они – продукт акта воспроизведения. Нельзя ни лгать, ни присягать, нельзя владеть никаким мирским имуществом.

Но даже соблюдающий все эти условия еще вовсе не спасен: спастись и воссоединиться со Святым Духом может лишь тот, кто войдет в катарскую Церковь и примет возложение рук ее священнослужителя. Только тогда человек возродится к новой жизни и может надеяться после смерти войти в царство Божественной красоты, хотя бы до той поры, пока чей-нибудь очередной грех не стащит его на землю.

Ада как такового не существует, ибо непрерывное возрождение в новом теле уже само по себе ад. Однако слишком длинная цепь реинкарнаций во зле может вовсе отнять возможность спасения. Души, созданные Демоном, тоже не имеют пути к спасению. Их трудно отличить, но можно предположить, что часть тех, чье осуждение предрешиено, составляют короли, императоры и церковная католическая верхушка. Остальные души смогут спастись, но их земные скитания продлятся до тех пор, пока они не найдут пути к спасению. В конце концов осязательный мир исчезнет, Солнце и звезды погаснут, огонь осушит воды, а воды погасят огонь. Пламя уничтожит души демонов, и настанет мир вечной радости.

Вот резюме доктрины катаров, из которого видно, что их вероисповедание по стольким позициям расходится с традиционным христианством, что остается только задать себе вопрос: как же получилось, что католическое население так легко отказалось от веры отцов в пользу явной ереси? Здесь уместны были бы два замечания. Во-первых, неусердие народа во всем, что касалось Церкви – и об этом заявляли сами папы, – часто объяснялось его невежеством в вопросах религии. Во-вторых, и мы на этом настаиваем, противники катарского вероисповедания были заинтересованы в выпячивании его заблуждений и придавали особое значение тем моментам вероучения, которым сами катары такого значения не придавали, так что по очень многим пунктам речь может идти скорее о различиях в интерпретации, чем о ереси как таковой.

Конечно, нельзя отмахиваться от иноверческих сторон катарской религии, но им нужно отвести подобающее место. Если вдуматься в факты, то наиболее шокирующими в глазах католиков были те из них, которые казались логически вытекающими из ортодоксальной доктрины. Именно поэтому их и расценивали как опасные.

И в самом деле: дуализм катаров, который их недруги с наслаждением раздували, есть не что иное, как естественное развитие веры в Дьявола, столь важной в средние века. Скрытое манихейство всегда присутствовало в наставлениях Церкви. Дьявол – конкретная реальность, о его могуществе постоянно твердили католические проповедники, поэтому не мудрено осудить как творения Дьявола любые проявления светской духовности, даже невинные – такие, как музыка или танец. Церковь так далеко зашла в этом вопросе, что трудно представить, что тут могли прибавить катары. Цивилизация средних веков, изначально монашеская, испытывала отвращение и презрение к материальному миру, и если и не называла его творением Дьявола, то вела себя так, словно таковым его считала. Где это видели до Франциска Ассизского хоть одного монаха, воспевающего красу Божьего мира? Когда это

монахи прославляли брак, умилялись младенцам или превозносили земные радости? Большинство праздников и обрядов, где любовь к земной жизни занимает значительное место, – пережитки либо языческой, либо древнееврейской традиции; чисто же христианский подход к любви теоретичен и отличается немощностью.

Разумеется, это не относится ко всей Церкви в целом, а лишь к ее наиболее ревностным и почитаемым служителям, таким, как святой Бернар, ополчившийся не только против фривольностей светской жизни, но и против излишне богатого убранства храмов: соблазняющая глаз красота отвлекает от молитвы. В эпоху, когда потребности ость в воплощении и материализации святых проявлялась ярче, чем в любую другую, когда города и их окрестности объединялись в усилия построить Святой Деве или местному святому дворец, рядом с которым королевский казался жалкой хижинкой, – в ту же самую эпоху каждый ревностный католик полагал, что мир погряз в продажности и что единственный путь к спасению – это монастырь. Между миром, который создал Дьявол и терпит Бог, и миром, который создал Бог и извратил Дьявол, разница невелика, по крайней мере на практике.

Катары осуждали телесность и брак до такой степени, что отказывались от любой пищи, связанной с воспроизведением рода. Мы увидим, правда, что это осуждение не было абсолютным. Но и католическая Церковь занимала сходную позицию по отношению к браку: брак запрещен католическим священникам так же, как и катарским; правоверные же терпят его только как средство борьбы с похотью. А вот в отношении к женщине католическая Церковь более жестока, чем катарская. Услышав, как святой Петр Дамианский обзывает наложниц клира «приманками Сатаны, рыбьими душами, похотливыми жирными свиньями, грязной вонью притонов», невольно ужаснешься перед женщиной, этой извечной дьявольской западней. Едва прикрытое систематическое осуждение плоти и брака влечет за собой неприятие мира, где все, начиная с травы под ногами, подчинено закону воспроизведения. Когда в полемике с катарами католические священники заявляют, что человек, состоящий в браке, может спастись, это для них лишь индульгенция человеческой слабости. Или, как мы еще увидим, они ничем в этом вопросе не отличаются от катаров.

Если в жизни молодых народов в XI-XII веках начался блистательный взлет искусств и цивилизации, и радость бытия, переполнявшая их, была глубокой и сильной, то никак нельзя сказать, чтобы церковная мысль хоть как-то это отражала. Как и учение катаров, католицизм был религией души, озабоченной только своим спасением. И если у Церкви тоже было материальное, иногда даже чересчур материальное тело, то оно пребывало в вечном противоречии с собственной доктриной. Из католических догм катаров больше всего приводили в негодование учения о Троице и о Воплощении, затрагивавшие больше теологов, чем простых верующих. В своем отрицании единства Троицы катары были настоящими арианами. Однако слова Символа веры: «et ex Patre natem aute omnia saecula»[14] подразумевают, помимо единосущия, известное первенство Отца. Так же и у катаров: Иисус был Сыном, рожденным прежде всех век, и неизвестно, верно ли соперники катаров истолковывали эту мысль. Несомненно одно: катары всегда проявляли такое благоговейное отношение к фигуре Христа, какого не мог бы превзойти ни один католик; можно сомневаться в чем угодно, но только не в «христианстве» катаров. Что же касается Воплощения, чудесного рождения Христа, сохранения девственности Марии после Его рождения, Воскресения и Вознесения, то все это

будто бы специально создано, чтобы внести сумятицу в умы. Сами католики, казалось бы, подспудно признают, что телесность Иисуса так или иначе отличалась от земной телесности.

В действительности же что было абсолютно неприемлемо для католиков в доктрине катаров, так это неприятие ими католической Церкви как таковой. Нужно особо подчеркнуть, что катары несли своей пастве лишь две святыни: Христа и Евангелие. Евангелие было единственной и необходимой книгой, заменявшей и крест, и потир; ее читали на языке простонародья, понятном всем и каждому, ее многократно растолковывали в бесчисленных проповедях и диспутах. Ведь о толковании Евангелия катарами мы знаем лишь из дошедших до нас записей их полемики. Однако проповедники, обращавшиеся к верующим, не вели с ними споров. Они приближали Христа к своей аудитории, убирая покровы догмы, традиций и суеверий, которыми за века обросло учение. Достаточно прочесть, к примеру, «Золотую легенду», записанные в XII веке более древние предания, чтобы отдать себе отчет, как мало общего было у христианства с народной традицией.

Против этой опасности Церковь была вооружена слабо и пресекала все попытки перевести священные книги. Самый безупречный католик подозревался в ереси, если проявлял желание читать Евангелие на народном наречии; а ведь часто сами священники не знали латыни. Развал официальной Церкви на юге дошел до того, что священники не могли проповедовать – их никто не слушал. Церковь сама уничтожила ключ к пониманию и лишила себя возможности бороться с противником, который шел на все, вооружившись именем Христа.

Катары объявляли себя последователями традиции более древней, более чистой и более близкой к учению апостолов, чем римская Церковь, и требовали считать себя единственными христианами Святого Духа, ниспосланного им через Христа. Казалось бы, в этом они отчасти правы: катарский ритуал, из которого до нас дошли лишь два документа, датированных XIII веком, свидетельствует (и о том же пишет Жан Гиро в своей работе об инквизиции), что эта Церковь, без сомнения, располагала очень древними текстами, восходящими к первоначальной Церкви.

Жан Гиро, сравнивая обряд инициации и крещения катехуменов [15] первоначальной Церкви и обряд инициации у катаров, пришел к выводу, что у обоих обрядов наблюдается стойкий параллелизм, который не может быть случайным. Неофит-катар, как и катехумен-христианин, принимался Церковью после испытательного срока и с одобрения старшего в общине. Вхождение в Церковь катаров, как и крещение в первоначальной Церкви, допускалось лишь по достижении вполне сознательного возраста и нередко бывало испрошено уже на смертном одре.

Священнослужитель, принимавший неофита, именовался Старшим (senhor), что явно представляет собой перевод понятия presbyter (священник). Акт отречения катехуменов от Сатаны аналогичен акту отречения катаров от римской Церкви. Кроме помазания миром, символизирующим Святой Дух, и окунания в крещальную купель (обряд, который катары отвергали за его связь с плотским началом, предпочитая простое наложение рук), принятие катехумена в первоначальную Церковь во всем походит на принятие постуланта в Церковь катаров. Так же похожи обряд исповеди в католической Церкви и отпущения грехов у катаров.

Некоторых инквизиторов, особенно Бернара Ги в XIV веке, очень задевала эта общность, и они кричали об «обезьянничании» с католического крещения. Поскольку мы лучше их осведомлены об обрядах первоначальной Церкви, то должны отметить, что катары всего лишь следовали традиции более древней, чем официальная Церковь, и скорее они могли бы сказать, что римская Церковь впала

в ересь, нарушив изначальную чистоту обрядов Апостольской Церкви.

Ритуальный текст, которым мы располагаем сегодня, определенно восходит к очень древней эпохе (хотя две имеющиеся версии, одна на окситанском языке, другая на латыни, датированы XIII веком). Был ли этот текст завезен с Востока и переведен болгарами? Где и в каких условиях он хранился и каково его истинное происхождение? Он составлен по большей части из цитат из Евангелия и Посланий с бесконечными ссылками на Отца, Сына и Святого Духа и на евангельские эпизоды. Его мог бы одобрить любой правоверный католик; читая его, чувствуешь аромат и мощь первоначального христианства, а вовсе не теологические спекуляции секты, которой приписывают еретическую доктрину. Там нет ничего, что хотя бы отдаленно указывало на манихейский дуализм, отрицание Воплощения и Причастия, на теорию метемпсихоза; наоборот, там есть утверждения о крещении водой, противоречащие катарской доктрине. Из всего этого можно заключить, что текст намного старше самого учения. Но уже сам факт, что катары (которым не были чужды ни дерзость, ни вкус к теологическим спекуляциям) не пожелали ничего в нем менять, говорит о том, что ритуал прекрасно выражал доктрину, а «заблуждения», в которых их упрекала католическая Церковь, были в учении, по всей вероятности, вторичными и относились к космогонии и к философии жизни, а не к существу веры.

Если же судить о религии по молитвам и обрядам (а пока еще это лучший способ суждения), то немногие уцелевшие катарские тексты могут только заставить нас склониться перед их простотой, ясностью и возвышенностью. Этот ритуал, чудом избежавший уничтожения, перевешивает все, что за века было сказано и написано о катарах их противниками.

3. Организация и экспансия

Религия катаров стремилась к точному соблюдению всех наставлений доктрины. Путь к спасению узок, это, скорее, дорога для избранных. И здесь катарская Церковь снова неожиданно сближается с католической в обычае снисхождения к слабым и в вере в абсолютную силу таинства: катары, как и католики, полагают необходимым на пути спасения священное действие возложения рук служителя культа на верующего, дабы передать ему частицу Святого Духа, которым уже осенен наставник. Речь идет вовсе не о символическом жесте: обряд *consolamentum* (утешения), с точки зрения катаров, обладает сверхъестественной силой, заставляющей Святой Дух снизойти на того, кто принимает благословение. Каков бы ни был сан священника, возложение рук призывает Святой Дух, и именно здесь таятся ключ и сердцевина жизни катарской Церкви.

Независимо от того, признают или нет катары апостольский принцип наследования, они утверждают, что Святой Дух может быть передан только безгрешными руками. Но безгрешная чистота – непреложное требование к служителю культа, и случаи признания *consolamentum* ложным из-за недостойности наставника крайне редки. Человек, принявший в себя снизошедший Святой Дух, становится «христианином» и умирает в этом мире, чтобы возродиться в царстве Духа. Он должен без рассуждений и компромиссов подчиниться всем требованиям новой религии, а требования эти жестче, чем к монаху, принявшему постриг. Лишь очень немногие способны до конца пройти такой путь спасения. Но катарская Церковь в равной мере признает и *consolamentum* предсмертный, и нам известно множество случаев, когда неопиты прибегали к этому обряду, скорее, в предчувствии приближающейся смерти, нежели в качестве гарантии чистоты веры. Тогда таинство совершается над человеком, который не является ни избранным, ни безгрешным, и в этом пункте Церковь катаров

заслуживает тех же упреков в механистичности обрядов, что и католическая. Однако при сходстве ситуаций катары придают таинству особую торжественность, подчеркивая, что столь бесценный дар, который другие заслуживают, посвящая Богу свои жизни, простой человек может получить, лишь когда страдания уже отрешили его от мира.

По принятии Святого Духа верующий становится новым человеком: с этого момента даже легкое прегрешение расценивается как святотатство, и он рискует утратить Святой Дух, которого был удостоен. Известны случаи, когда совершенные принимали *consolamentum* несколько раз в своей жизни, и происходило это либо из-за провинности, либо по причине ослабления веры; так что, по всей вероятности, таинство это вовсе не было таким безжалостным, каким его обычно представляют. *Consolamentum*, соответствующий сразу нескольким таинствам: крещению, причастию, конфирмации, рукоположению в духовный сан и соборованию, представлял собой очень простой обряд. Ему предшествовал долгий период инициации, когда postulans должен был в течение года, а иногда и дольше, жить в «доме совершенных», где испытывалась истинность его призвания. Это было время новициата, и иногда случалось, что под конец испытания, если наставники не были уверены в твердости postulans, ему отказывали в таинстве. Если же он признавался достойным, его представляли общине для утверждения. После этого он готовился ко дню посвящения – в посте, бодрствовании и непрерывных молитвах.

В назначенный день postulans вводили в зал, где уже собрались все верующие, – у катаров не было храмов, они отправляли свои обряды в частных домах; в городах они жили коммунарами, причем каждый совершенный обязан был отдать все свое имущество в пользу Церкви. В этих домах, специально посвященных культу, находились и лечебницы для больных. В больших городах бывало обычно по несколько таких домов.

Помещение, где катары собирались для молитв, не носило никаких признаков культовой принадлежности. Выбеленные известью стены, очень простая мебель: несколько скамеек и стол, накрытый ослепительно белой скатертью, на которой лежит Книга (Евангелие) и такие же ослепительно белые полотенца. Стол служит алтарем. На другом столе или сундуке стоят кувшин с водой и таз для мытья рук. Единственное украшение этого строгого зала составляет несметное множество зажженных белых свечей, символизирующих небесный огонь Святого Духа, снизошедший на апостолов в Пятидесятницу. В присутствии собрания верующих postulans подводят к столу, перед которым уже стоят священнослужители, диаконы [16] или просто совершенные. Они облачены в длинные черные одежды, символы отречения от мира. Совершенный и два его помощника долго моют руки, прежде чем прикоснутся к священному тексту, и церемония начинается.

Совершающий церемонию разъясняет postulans догмы религии, в которую его принимают, и те обязательства, которые на него налагаются. Затем он читает «Отче наш...», комментируя каждую фразу и заставляя postulans ее повторять. Затем будущий совершенный должен торжественно отречься от католической религии, в которой он воспитан, и, трижды преклонив колена, испросить право быть принятым в истинную Церковь. Он должен посвятить себя Богу и Евангелию. Он обещает никогда не есть ни мяса, ни яиц, ни другой животной пищи, навсегда отказаться от занятия торговлей, не лгать, не произносить клятв и не отречься от веры даже под страхом смерти от огня, воды или любой другой смерти. Затем он должен публично покаяться в грехах и попросить

прощения у общины. После отпущения грехов он снова торжественно перечисляет все принятые обязательства. Только теперь он готов воспринять Святой Дух.

Таинство совершается в тот момент, когда служитель культа кладет священный текст на голову postulanta, а его помощники возлагают на него руки, моля Бога воспринять его и ниспослать ему частицу Святого Духа. В этот миг человек обновляется, он «рожден Святым Духом».

Присутствующие вслух читают «Отче наш...», служитель культа произносит первые семнадцать стихов Евангелия от Иоанна: «В начале было слово...», а затем снова «Отче наш...».

Неофит принимает «поцелуй мира» от того, кто отправлял службу, потом от его помощников. Затем он целует того из присутствующих, кто находится ближе к нему, и «поцелуй мира», братское приветствие, как огонь эстафеты, передается от верующего к верующему, пока не достигнет последних рядов. Если postulanta – женщина, то «поцелуй мира» передается в более символической форме: восприемник прикасается Евангелием к ее плечу и локтем к ее локтю. Новый «утешенный»[17] всегда будет носить черную одежду, он – «удостоенный», и знаки своего нового достоинства он уже не может снять. Позже, когда преследования заставят совершенных быть осторожными, знаком удостоения станет шнурок, который мужчины будут носить на шее, а женщины на поясе под одеждой. Уже сама торжественность, с которой катары обставляли «удостоение», говорит о его высокой священнической сути. Удостоенный (чаще всего катары упоминались именно под этим названием) входил в религию в полном смысле этого слова, принятом также и в католичестве. Он оставлял все свое имущество общине и начинал, подобно апостолам, странническую жизнь, посвященную молитве, проповедям и милосердию. Местный епископ или диакон назначает удостоенному товарища, выбирая его среди остальных совершенных. Теперь «socius » или «sotia »[18] (если речь шла о женщине) будет сопровождать неофита в его странствиях, делить с ним все труды и лишения и никогда с ним не расстанется.

Можно сказать с полной определенностью, что катарская Церковь как таковая состояла целиком из одних священников, поскольку каждый из совершенных мог отправлять любой обряд. Неофит, получивший опасную привилегию пополнить ряды совершенных, становится «христианином на особом положении»; где бы он ни появился, рядовые верующие обязаны ему «поклоняться», по традиции, трижды преклоняя колена и кланяясь со словами: «Просите Господа, чтобы Он сделал меня добрым христианином и указал мне путь к праведному концу». Совершенный попросит Господа, но не ответит: «Молись и ты за меня, грешного». Формальное равенство верующих, от папы до последнего преступника, признаваемое ортодоксальными христианами, не существует в этой религии реалистов. Согласно их доктрине, совершенные составляют высший эшелон человечества, Святой Дух, присутствующий в них с момента таинства, не может жить в простых смертных. (Слово «parfait » – совершенный, очевидно, здесь следует понимать как производное от «paracheve » – заверченный, укомплектованный, то есть человек, имеющий тело, душу и Дух. Совершенные после таинства consolamentum обрели свой Дух, свою божественную частицу, которой их лишил первородный грех.) Мы столкнулись с парадоксом: мощная Церковь, непрестанно овладевающая новыми территориями, привлекающая на свою сторону знать, буржуа и мастеровых, в рядах активных членов насчитывает несколько сотен, по большей мере несколько тысяч человек. Мы еще вернемся к вопросу о простых верующих и об их роли в этой Церкви, которая, казалось бы, уделяет им так мало внимания. Несомненно, что-то здесь от нас ускользнуло, поскольку, несмотря на

кардинальные отличия совершенных от простых верующих, мы видим, что паства ведет себя точно так, как и должно добрым христианам, а поведение совершенных ничем не отличается от поведения добросовестных священников, пекущихся о своей пастве. В Лангедоке в каждой провинции был свой катарский епископ, в каждом мало-мальски значительном городе или местечке – свой диакон. Ни епископов, ни диаконов не утверждают ради горстки верующих. Епископы считались духовными пастырями больших общин и проявляли гораздо больше заботы о своих новообращенных согражданах, чем католические епископы о своих правоверных. Причина проста: Церковь, борющаяся за существование, гораздо внимательнее к своим почитателям, чем официальная. Верующие были далеки от того, чтобы объединяться без помощи пастырей, и не должны были чувствовать себя вне духовной опеки.

Это не умаляет справедливости суждения, что ядро, живую сердцевину катарской Церкви составляли совершенные. Мы знаем, какими они были: духовники в полном смысле этого слова, избранные и проверенные с таким тщанием, что даже в процветающей Церкви составляли ничтожное меньшинство. Они вызывали восхищение даже у своих заклятых врагов. За годы войны на юге Франции их осталось всего несколько сот, остальные погибли на кострах (жгли в основном совершенных) или во время резни; некоторым удалось спастись, укрывшись в горах или уйдя в Италию. Однако за весь период крестового похода и последующие годы известны только три случая отречения совершенных: один из отречшихся – неофит, еще не принявший *consolamentum*; другой, Понс Роже, был разагитирован самим Домиником, и мы можем заключить, что он принадлежал к совершенным лишь по тяжести покаяния, наложенного на него святым. Третий, Гульельм де Солье, отрекся в 1229 году, чтобы избежать костра, и купил себе жизнь ценой доноса на своих братьев. Если вдуматься, что такое смерть на костре, то просто оторопь берет при мысли о том, что из сотен сожженных нашелся всего лишь один предатель.

Однако не только за мужество, ярко заявившее о себе в годы войны, совершенные пользовались таким уважением. Противники единодушно признавали их высокую душевную чистоту. По сути дела, папа и святой Доминик оказали им величайшую честь, решив «бороться с еретиками их же оружием», после чего Доминик, следуя их примеру, отправился проповедовать босиком и в рубище, существуя на милостыню.

Совершенные брали не только непреклонным аскетизмом и презрением к мирским благам: народ не случайно называл их «добрыми людьми». Нынче это выражение утратило первоначальный смысл [19], а они были в прямом смысле слова добрыми. Уже одно это название отмечает мнение об учении катаров как о религии печальной и равнодушной к мирским благам, которые она презирает. Худые, бледнолицые и длинноволосые люди, одетые в черное, поражали воображение сограждан не столько своим аскетизмом, сколько необыкновенной добротой. Неуживчивый аскетизм вряд ли привлек бы кого-нибудь. А эти люди, будь то мужчины или женщины, путешествующие попарно, куда бы ни зашли – в деревню, в замок или пригород, – везде пользовались безграничным уважением. Подобные умонастроения окситанцев не обошли стороной и графа Тулузского. Однажды, указав на бедно одетого, израненного совершенного, он сказал: «Я предпочел бы быть этим человеком, нежели королем или императором»[20].

Моральный авторитет совершенных был так высок, что Церковь лишь робко отваживалась поднять голос и попытаться обвинить их в лицемерии. Прежде всего придирались к тому, что они якобы

афишировали свой аскетизм. И вправду, «добрые люди» были упорными постниками: они не прикасались к «нечистой» пище, трижды в год голодали, сидя на хлебе и воде, и скорей умерли бы, чем съели хоть крошечку чего-нибудь неподобающего их вере. Практика воздержания от пищи, распространенная во всех религиях (в восточных сильнее, чем в западных), играла в жизни совершенных особую роль: во всех случаях – и в глазах народа, и в глазах Церкви – они были людьми, которые постоянно голодают. Отец Козма [21] пишет, что богомилы тоже выглядели бледными и изможденными: лишения накладывали свой отпечаток на внешность.

Подобно йогам или факирам, совершенные, по всей вероятности, даже увлекались голодовками, и порой казалось, что они хотят себя уморить. Видимо, этим объясняется легенда об эндуре (добровольной смерти от голода), хотя достоверно известен лишь один подобный случай в XIV веке, когда агонизирующая религия катаров во многом уже утратила свой первоначальный смысл. На самом же деле совершенные испытывали ужас перед убийством любого живого существа и скорее умерли бы сами, чем зарезали даже цыпленка (по этой причине повесили еретиков в 1052 году в Гозларе, в Германии) – так что ни под каким видом они не пошли бы на самоубийство. Эти хулители земной жизни относились к ней вместе с тем с абсолютным почитанием и никогда не допустили бы человеческую волю, изначально склонную к дурному, до насильственного вмешательства в движение души по пути спасения. Совершенные не искали мучений, и их мужество перед лицом смерти порождалось скорее пламенностью веры, нежели равнодушием к жизни.

Совершенных сразу можно было узнать по мягкой, раздумчивой речи, привычке постоянно молиться и рассуждать о Боге. Вышеупомянутый Козма усматривает в этом лукавство и признак гордыни: они никогда не повышают голоса, не говорят резко и вообще открывают рот только для благочестивых слов и молятся прилюдно, лицемерно поминая имя Господа всуе. Это волки в овечьих шкурах. Своей показной набожностью они завлекают простаков.

Возможно, молитвенная практика совершенных подчинялась каким-то особым канонам, близким к восточной традиции. Часто приводимый пример совершенного, явившегося к Бербегуэре, супруге владетеля Пюилорана, и сидевшего на стуле «неподвижно, как ствол дерева», безучастно ко всем вокруг, заставляет думать об индуистских святых в состоянии экстаза. Однако ясно, что, сидя сиднем на стуле, не завоеешь людские сердца. Совершенных любили прежде всего за их милосердие.

Сами бедняки, они распределяли пожертвования верующих для поддержания бедных; когда же дать было нечего, они всегда находили слова утешения и предлагали свою дружбу, не гнушаясь обществом самых обездоленных. Часто они были прекрасными врачами, что парадоксально для людей, столь презирающих тело. Искусная пропаганда? Пусть так, но невозможно стать хорошим врачом, не уделяя хоть сколько-нибудь любви и внимания телу: милосердие нацелено на тело в той же мере, что и на душу. Процессы инквизиции приводят свидетельство некоего шевалье Гульельма Дюмьера: врач – совершенный, самоотверженно ухаживавший за ним, покинул его после того, как он отказался отречься от католичества. Случай необычный: медики, поступавшие таким образом, рисковали остаться не только без клиентуры, но и без потенциальных неофитов.

О том же самом гласит свидетельство жены некоего Гильома Вигуэра, которая, хотя муж и пытался обратить ее в катарскую веру «при помощи палки» (малоэффективное средство убеждения), отказалась, потому что «добрые люди» ей сказали, что ребенок, находящийся в ее утробе, не кто иной, как демон. Должно быть, супруги не отличались интеллектом, а совершенный – тактом, но

этот пример лишь подтверждает правило: проповедники, говорящие такие вещи пастве, вряд ли смогут снискать репутацию добрых людей.

Известно, что милосердие совершенных отнюдь не распространялось только на адептов их секты, и именно это притягивало к ним несчастных. Можно сбить с толку богачей и хитрецов, но простой народ не проведешь: не помогут ни угрозы, ни увещания, люди ответят любовью только на сердечную доброту и сострадание.

Все свидетельства сходятся на том, что совершенные завоевывали сердца верующих главным образом личным примером, и самым ярким свидетельством привлекательности их духовной жизни для нас остается небывалый успех их апостольской миссии.

Второстепенные причины, которые благоприятствовали распространению учения катаров, столь многочисленны и очевидны, что одно их перечисление заставляет думать, что новая религия и без таких почитаемых апостолов смогла бы отвратить южные народы от римской Церкви. Наиболее показательная (и наиболее возмутительная для христианского мира) черта этой религии – абсолютное неприятие церковных догм и самых священных символов – взбудоражила и ужаснула жителей тех областей, где Церковь была сильна, а ересь встречалась редко. На юге же Франции прогресс ереси шел бок о бок с упадком Церкви, и трудно сказать, какой из двух феноменов был определяющим; то, что рассказывали о южной церковной верхушке времен крестового похода, могло заставить усомниться в святости Церкви даже самых ревностных католиков.

Вот что сообщает нам Иннокентий III о лангедокских клерикалах и в частности о Беренгере II, архиепископе Нарбоннском: «Слепцы, разучившиеся лаять собаки, симониты, торгующие справедливостью; богатым они отпускают грехи, а бедных клеймят. Они не блюдают законы Церкви: занимаются накопительством, поручают богослужения неграмотным и недостойным священникам. Вот где причина распространения ереси, вот откуда пренебрежение сеньоров и черни к Господу и его Церкви. Священники в этих местах – притча во языцех. А корень зла – это архиепископ Нарбоннский: он не ведает иного Бога, кроме денег, у него кошелек вместо сердца. За десять лет службы он ни разу не был в своей провинции и не посещает собственный диоцез. За посвящение епископа Магелонского он запросил пятьсот золотых су, а когда к нему обратились за субсидией в пользу христиан Востока, он отказал. Когда освобождается должность священнослужителя, он не торопится с объявлением имени преемника: ждет барыша. Он вдвое сократил количество каноников Нарбонны, чтобы присвоить пребенды, и точно так же подмял под себя вакантные диаконии. В его диоцезе монахи и каноники занимаются ростовщичеством, промышляют адвокатством, жонглерством и врачеванием». Документ так красноречив, что к нему трудно что-либо прибавить, однако папу волнует еще и то, что баилем при архиепископе состоит главарь арагонских рутьеров, а попросту говоря – бандит с большой дороги. Папа напрасно метал на голову Беренгера громы и молнии: непробиваемый старик, больше озабоченный защитой своего добра, чем интересами диоцеза, держался до 1210 года и сдался только тогда, когда крестовый поход начал оружием пробиваться к успеху.

Епископ Тулузы, Раймон Рабастан, выходец из среды еретиков, непрерывно враждовал со своими вассалами и, чтобы пополнить казну, сдавал в аренду земли епископального домена. Когда наконец в 1206 году он был низложен за симонию, его преемник, Фульк Марсельский, аббат Тороне, нашел в кассе епископства всего 45 тулузских су. Не было даже эскорта для сопровождения епископской

упряжки мулов к водопою (епископ не рисковал подвести мулов к городской поилке скота без охраны). Кредиторы гонялись за ним по пятам до самого капитула. Епископство Тулузское, пишет Гильом Пюилоранский, погибало.

Законы Лангедока той эпохи предписывали аббатам и епископам выбривать тонзуры и носить подобающее их положению платье; им было запрещено надевать украшения, играть в азартные игры, произносить клятвы, сажать за свой стол гистрионов и музыкантов, валяться по утрам в постели, допускать фривольности во время службы и отлучать направо и налево. Они были обязаны сноситься со своим синодом минимум раз в год, не брать денег за рукоположения в духовные чины, не совершать за деньги недозволенных браков и не аннулировать законных завещаний.

Если уж прелаты дошли до таких нарушений, то что говорить о людях светских? Известно, что ни один уважаемый горожанин больше не желал, чтобы его дети шли в священники. По свидетельству Гильома Пюилоранского, «церковные службы внушали мирянам такое отвращение, что теперь вместо того, чтобы сказать: «Уж лучше стать евреем, чем сделать то-то и то-то», стали говорить: «Уж лучше стать капелланом...».

Прелаты, появляясь на публике, прятали тонзуры, зачесывая волосы с затылка на лоб. Дворяне редко готовили детей к церковной службе, да и в церкви являлись только дети их вассалов, чтобы внести церковную десятину. Епископы брили тонзуры кому попало [22]. Низший клир, набранный наугад, третируемый епископами, презираемый населением, влачил столь жалкое существование, что, по свидетельству Иннокентия III, приведенному выше, священники повально дезертировали и стремились найти ремесло повыгоднее.

Такое плачевное положение вещей вызывало протест не только у папы, но и у иноземных епископов, особенно цистерцианцев, в частности Джона Солсбери. Жоффруа де Витеза не стесняется в выражениях в адрес клерикалов. Он говорит, что они носят светское платье, едят скоромную пищу и ругаются: «Мне известен, монастырь, где правят четыре аббата».

Отношение мирян к клиру еще суровее. Трубадуры слагают гневные и ехидные стихи против роскоши, разврата и продажности прелатов. Там говорится, что их конюшни богаче графских покоев, что они едят дорогую рыбу и соусы с заморскими пряностями, а любовницам дарят драгоценные украшения. Все они лицемеры, их занимают пустяки вроде женских побрякушек и вовсе не заботят ни милосердие, ни справедливость. Богатого они любят, бедного притесняют. Самые резкие нападки на нравы Церкви становились общими местами сатирической литературы, да и в среде самих клерикалов были делом обычным.

Много религиозных зданий было брошено по вине отбившихся от рук священников, в некоторых церквях народ собирался, чтобы попеть и поплясать. Такое развитие событий шло бок о бок с укреплением катарской Церкви, и часто священники, бросившие храмы, шли слушать проповеди «добрых людей».

Надо принять во внимание, что, вслед за пренебрежением к клиру, народ охватывало пренебрежение к религии вообще. Что же до высших классов, то если они и не были в числе еретиков, то их терпимость в эпоху всеобщей веры не могла не вызвать скандала. И если так было в обществе искренних католиков – а это более чем достоверно, – то их католичество было иным, чем католичество папы, легатов или верующих и других краях. Знать более всех насчитывала скептиков и равнодушных к религии, которые открыто заявляли, что ни папа, ни вся Римская империя не стоят

поцелуя их дамы сердца.

Конечно, не следует слишком уж буквально понимать пассажи папы, монахов и сатирических поэтов: Церковь, которая могла еще позволить себе подобные выражения и могла переносить все нападки, никак на них не реагируя, – это была все же сильная Церковь. И вовсе не все диоцезы Лангедока были разорены епископами вроде Беренгера Нарбоннского, и вовсе не все церкви были заброшены, а таких католических хронистов, как Гильом Пюилоранский, можно заподозрить в сознательном сгущении красок, дабы доказать, сколь необходим был крестовый поход. Победа определенного режима часто обусловлена слабыми сторонами предыдущего, но в данном случае слабость веры ни при чем. В эпоху крестовых походов на юге Франции было не так уж много приходов, брошенных лихими прелатами, и совсем не все прихожане крупных соборов Альби и Тулузы относились к Церкви с презрением. Однако верно и то, что отпадение многих католиков от Церкви, столь себя дискредитировавшей, не было чрезмерным грехом.

Факты, приведенные выше, ясно показывают, что население, подпавшее под влияние катарских миссионеров, не получило достаточных религиозных наставлений, чтобы отразить аргументы этих блестящих пропагандистов. Среди новообращенных есть буржуа, городская знать, родовитые дворяне, прелаты, монахи, ремесленники, даже аббаты, епископы, теологи, а также церковные ученые [23]. Никаких выгод от обращения к ереси они не имели, но религиозные обращения редко были связаны с конкретной выгодой. Ересь побеждала не столько благодаря религиозному невежеству населения, сколько благодаря силе своей доктрины. Судя по всему, ересь воспринималась искренними католиками как более чистое выражение их ортодоксии.

Что бы там ни говорили об аристократическом и антигуманном характере этой религии избранных, ее священники были бесконечно ближе к своим верующим, чем католические пастыри. Такие же бедняки, как и простой люд, они разделяли все его заботы; не гнушались усесться за ткацкий станок или помочь вязать снопы; примером собственной жизни, более суровой, чем у самого последнего бедняка, они возрождали надежду у впавших в отчаяние. Та сила, которую они являли собой, не нуждалась ни в помпе, ни в пышных церемониях. Они были тем, чем сами себя называли: Церковью любви, и никогда не добивались своего силой. И их Церковь становилась сильнее, потому что у всех новообращенных возникало чувство причастности к сообществу, внутренне более богатому, более спаянному и живому, чем католическая Церковь.

Мы мало знаем о «верующих», нам неизвестно даже их приблизительное количество. Мы знаем, что население некоторых пригородов и замков целиком составляли еретики, что в некоторых местностях, например, в долине Арьежа, их было большинство, а в других местах – наоборот. И прозвище «ткачи» относилось явно к еретикам, но при всем этом масса верующих кажется нам сегодня чем-то зыбким и гораздо менее организованным, чем это было на самом деле. Ни в одном официальном документе нет и намека на эту организацию: дальнейшее развитие событий покажет, что у этих людей не было ни малейших оснований публично заявлять о себе.

Такая организация существовала. Каждая провинция имела своего епископа, которому помогали «старший сын» и «младший сын». Перед смертью епископ передавал свои полномочия «старшему сыну», «младший сын» занимал место старшего, а новый «младший» избирался собранием совершенных. В каждом крупном населенном пункте был свой диакон, действовавший совместно с большим или меньшим числом совершенных. Известно, что было их всегда немного. Вся

административная и финансовая часть церковной организации лежала на плечах верующих, живущих в миру: те, кто побогаче, обеспечивали содержание общинных домов; кто победнее, служили гонцами, связными или проводниками. Где бы ни остановились с проповедью совершенные, они находили пристанище в доме кого-либо из верующих, известного своей честностью или ревностной верой. Когда в протоколах допросов инквизиции мы читаем, что в доме такого-то или такой-то принимали совершенных, можно полагать, что верующего почитали достойным этой чести не случайно и что он принадлежал к своего рода аристократии среди верных адептов религии.

В общинных домах всегда жили несколько человек, изъявивших желание воспринять Дух Святой и посвятивших свою жизнь изучению заветов Церкви и молитвам. Это была либо молодежь, с детства доверенная родителями совершенным на воспитание, либо обращенные уже в сознательном возрасте; хотя они еще и не были «удостоены», но уже не принадлежали к простым верующим. Существовала также категория верующих, живущих в миру, но соблюдающих часть обетов, наложенных на совершенных: чистоту, посты и молитвы. И были также те – и таких было большинство, – кто жил, как все обыкновенные люди, и удовлетворялся присутствием на службах и почитанием совершенных.

Теоретически у них не было никаких обязательств, кроме *melioramentum* [24], т. е. почитания совершенного, процедуры очень простой и состоявшей в троекратном преклонении колен перед совершенными в просьбе: «Молите Бога, чтобы он сделал меня добрым христианином и помог умереть достойно». Совершенный благословлял верующего и говорил: «Да сделает тебя Господь добрым христианином и да поможет он тебе умереть достойно». Не имея более никаких религиозных обязательств, верующий мог даже (хотя и осторожно) посещать католическую Церковь. Однако катары редко ходили в церковь, разве что в те дни, когда того требовали обряды, или вследствие устрашения. Они в Церкви не нуждались.

Искренне верующие, если они не принимали участия в таинстве, регулярно (раз в месяц) совершали *aparelhamentum* [25]: они должны были прилюдно покаяться в грехах и попросить прощения у Бога. Это не было настоящей публичной исповедью, это было раскаяние, которое выслушивали великодушно, давали высказаться до конца, а потом мягко журили, особенно за леность и противление воле Божией. Совершенный, принимавший покаяние, назначал наказание, как правило – пост и молитву. Катары молились много, но молитвы их состояли в основном из многократного повторения «Отче наш...» на окситанском наречии с заменой выражения «хлеб наш насущный» на «присносущный» и из размышлений над комментарием к тексту «Отче наш...». Существовали и катарские молитвы [26], но «Отче наш...» – это была основа всего, центр культа как для совершенных, так и для простых верующих.

Несмотря на то, что верующие катары не принимали участия в таинствах, их религиозная жизнь, как мы видим, была даже более интенсивной и содержательной, чем религиозная жизнь католиков – по той причине, что катарская Церковь, если и не подвергалась преследованиям, то все же была на нелегальном положении. Верно, что в некоторых местностях она перестала быть нелегальной, и во времена крестового похода многие переходили в катарскую веру, чтобы быть как все или даже по соображениям выгоды. Но новая Церковь продолжала сохранять характер Церкви в изгнании. Каждый, становившийся еретиком по убеждению, мог укрепить свою веру еще живыми

воспоминаниями о кострах. В конце XII века катарская община владела значительными средствами: не только совершенные, люди по большей части состоятельные, оставляли ей все, чем владели, но и простые верующие на смертном одре отписывали свое имущество новой Церкви. Многие богатые верующие щедро жертвовали ей деньги, земли, дома или замки. Несмотря на обет бедности, который они свято блюли и никогда не нарушали, совершенные принимали все эти пожертвования и распоряжались ими в интересах Церкви. Их обвиняли в алчности и скупости (обвиняли в основном враги, друзья – никогда). А ведь помимо постоянной помощи бедным общины содержали свои «дома», бывшие одновременно и школами, и монастырями, и больницами. Кроме того, они создавали трудовые коммунуны, в частности, большие ткацкие мастерские, где молодежь воспитывалась и проходила новициат. Многие знатные дамы отдавали свои дома и имущество общине и основывали настоящие обители для бедных девочек и для дочерей знати, желающей посвятить Богу свое дитя. В горах Арьежа формировались объединения отшельниц, где вдовы, юные девушки, давшие обет целомудрия, и замужние женщины, покинувшие мужей и семьи ради служения Господу, жили в пещерах или хижинах, предаваясь молитвам и размышлениям. Эти отшельницы пользовались в народе большим уважением и снискали себе репутацию святых.

Важность той роли, которую играли женщины в катарских общинах, отмечалась неоднократно. В этом нет ничего удивительного. Напротив, известно, что при возникновении любой новой религии талантливые проповедники неизбежно возбуждают волну коллективного энтузиазма, – а мы бы добавили еще: энтузиазма истерического, – которому женщины подвержены гораздо больше мужчин. И не только ревностный проповедник новой веры, а и любой мало-мальски заметный проповедник всегда соберет вокруг себя экзальтированных дам, готовых воспринять любое его высказывание как изречение Евангелия. Не забудем, что в том же Лангедоке за святым Домиником пошло поначалу больше женщин, чем мужчин. То же самое и с катарскими проповедниками: женщины обычно острее воспринимают новое учение и опережают своих более спокойных и благоразумных мужей.

Кроме того, на юге Франции женщина вообще пользовалась большей моральной независимостью, чем на севере. И если почитание дамы стало общим местом в литературе, то дама реальная за долгий период времени сумела заставить себя уважать. Это именно из Окситании распространилась по всей Европе традиция куртуазной любви, и если южные сеньоры подчас вели себя не по-рыцарски, на словах они были рыцарями всегда. На ум приходит знаменитая фраза Этьена де Миниа (сопровождавшего святого Доминика), брошенная им Эсклармонде, сестре графа Фуа: «Ступайте за прялку, мадам, вам не подобает рассуждать о подобных вещах». Можно без преувеличения представить, какое презрение вызвала эта реплика у пожилой гранд-дамы, владелицы обширных земель, вдовы, матери шестерых детей, так хамски поставленной на место. Надо было поистине быть чужаком, чтобы позволить себе такую вольность. Лангедокские дамы (в отличие от французских) вовсе не ощущали себя привязанными к прялке; они зачастую были образованнее своих супругов. Но это в светском обществе; общество же религиозное считало их низшими по определению.

Религия катаров, отрицая сущность полов, как и все реалии плотской жизни, провозглашала равенство мужчин и женщин. Правда, и католицизм этого равенства не отрицал, но на практике всегда оставался религией решительно антифеминистской. У катаров женщины, принявшие Святой Дух, могли, как и мужчины, передать его наложением рук, хотя практиковали это лишь в

экстремальных случаях и гораздо реже, чем мужчины. О епископах или диаконессах – женщинах сведений нет. Активная роль апостолата оставалась за мужчинами, более приспособленным к тяготам и опасностям страннической жизни. К женщинам-совершенным относились с не меньшим пиететом, и часто они становились настоящими матерями для своих общин. Женщин-совершенных было меньше, чем мужчин, но не намного. Повествуя об «удостоенных» еретиках, схваченных крестоносцами, историки той эпохи не называют точных цифр, хотя у нас не создается впечатления, что среди арестованных мужчины превалировали. Эти «добрые христианки» осуществляли свой апостолат среди женского населения. Они много занимались воспитанием девочек, уходом за больными и врачеванием, поскольку в ту эпоху женщины предпочитали лечиться у медиков одного с ними пола. Наконец, чаще, чем мужчины, они посвящали себя жизни созерцательной.

Женщины же из простых верующих были, напротив, более многочисленны и, как правило, более отважны, чем мужчины. Все они, от знатных дам, смолоду окруженных воздыхателями и поэтами, а во вдовстве обратившихся к молитве и делу милосердия, до простолюдинок, прислуживающих за столом или пересекающих страну из конца в конец в качестве гонцов, были заметнее, чем мужчины. Причина тому очень проста: мужчин, даже глубоко верующих, связывало множество обязательств – профессиональных, социальных или военных, которых они не могли нарушить. В обществе, где большая часть человеческих взаимоотношений обуславливалась клятвой, мужчины не смели открыто исповедовать религию, которая клятвы запрещала. А женщины, более свободные в этом смысле, могли посвятить себя религиозной деятельности без страха нарушить иные обязательства.

Кроме того, накануне крестового похода простая осторожность заставляла мужчин не особенно афишировать свои убеждения. Даже если граф и большинство феодалов поддерживали еретиков, так не могло долго продолжаться – ведь римская Церковь была могущественна и держала часть административной власти в стране. Вот почему еретиков часто принимали в домах женщин (таких, как Бланш де Лорак, Гульельмина де Тоннейн, Фабрисса де Мазероль, Ферранда, Серрана, На Байона и др.). Таким образом, отцы, мужья и братья оставались укрытыми от закона: ведь с ересью только мирились, ее не признали официально. И позже граф Фуа, покровитель еретиков, муж и брат совершенных, попытался откреститься от ответственности за деятельность своей сестры Эсклармонды: «Если моя сестра была дурной женщиной и грешницей, то я вовсе не должен погибать за ее грехи»[27]. Этим мы, однако, не хотим сказать, что при случае мужчины демонстрировали меньшую преданность вере, чем женщины.

4. Социальные и моральные аспекты учения катаров

На том, что было уже сказано относительно моральных или, скорее, аморальных качеств катаров, стоит остановиться более внимательно, ибо как раз с этой стороны противники и нападали на учение. О глубине и значимости религии судят по тому влиянию, которое она оказывает на верующих. Но не могли же те, кто был призван бороться с катарами, заявлять, что ересь делает людей милосердными и добродетельными. Они и твердили без конца о лицемерии совершенных и о дурных нравах их приверженцев.

Что до совершенных, то их поведение перед смертью навсегоды смыло все подозрения в лицемерии. Однако их самоотверженность в глазах современников-католиков выглядела так странно, что их стали обвинять в тайных постыдных пороках и, в частности, в гомосексуализме (видимо, причина этих подозрений – в обычае совершенных одного пола жить попарно, никогда не расставаясь со

своим *socius* или *socia*). Даже убеждаясь в чистоте нравов совершенных, католические полемисты находят ее неестественной и видят причиной аскезы ожесточение и зависть к тем, кто не отказался от мирских радостей. Из этого можно лишь заключить, что священники и монахи того времени были очень далеки от целомудрия и бедности, иначе добродетели совершенных никого бы не шокировали.

Но следовало ли ожидать, чтобы в обществе, где даже клир не мог подать надлежащий пример добродетели (о чем свидетельствует переписка пап, епископов и аббатов, не говоря уже о светской литературе), люди светские вели себя более строго? Все то, что говорилось об аморальности некоторых катаров, в полной мере можно отнести и к их современникам – католикам. Частная же жизнь аристократов (о жизни простых людей мы знаем меньше) говорит о том, что вольность нравов была всеобщей. Средневековое общество, особенно на юге, как раз мало отличалось лицемерием, а тщеславие, сластолюбие и роскошь вовсе не считались пороками, которые надо скрывать.

С другой стороны, упрек в общении с недостойными людьми, часто адресуемый совершенным, очень похож на тот, что бросили фарисеи Иисусу, обвиняя его в поисках дешевой популярности. Более того, в своем апостольстве совершенные, как и католические миссионеры, прежде всего должны были заниматься деклассированными, париями, морально неустойчивыми, которые далеко не всегда воспринимали их проповеди. Но поскольку милосердие совершенных было широко известно, изрядное количество паразитов искало возле них под видом обращения спасения от нищеты. И вряд ли стоит судить общину по этим самым слабым ее членам.

Истинно верующих катаров, тех, что душой и телом были преданы Церкви, присутствовали при обряде *consolamentum* и принимали у себя совершенных, обвиняли в том, что они жили с наложницами, а некоторые имели незаконных детей (бастардов). Действительно, часто упоминают катаров, присутствовавших на еретических церемониях в сопровождении своих наложниц (*amasia* – возлюбленная): «*Willelmus Raimundi de Roqua et Arnauda, amasia ejus; Petrus Aura et Boneta, amasia uxoris ejus; Raimunda, amasia de Othonis de Massabrac, etc.*»[28] – «Виллельм Раймунди де Рохия и Арнауда, его возлюбленная; Петрус Аура и Бонета, его возлюбленная супруга; Раймунда, возлюбленная Отона Массабрака, и т. д.». Для католической Церкви женщина, не прошедшая обряд венчания, автоматически считалась наложницей, а катары могли иметь все основания не венчаться в католическом храме, чьи обряды они презирали, и уж тем более имел эти основания молодой Отон де Массабрак, рыцарь гарнизона Монсегюра, катар в третьем или четвертом поколении, преследуемый инквизицией еретик. Как бы там ни было, само по себе нежелание венчаться в церкви не указывает на испорченность нравов; в предшествующем веке многие женщины очень строгих нравов отстаивали свои права на гражданский брак. Известно, что адепты новых религий, как правило, тяготеют скорее к пуританству, чем к вольности нравов.

С другой стороны, инквизиторы были единодушны в том, что брак для еретиков – институт сатанинский: «Они утверждают, что познать плоть своей жены равносильно инцесту с матерью, сестрой или дочерью»[29]. Можно ли с достоверностью утверждать, что в своих проповедях совершенные распространяли такие чудовищные идеи? И могли ли подобные заявления толкнуть верующих к инцесту с матерями и дочерьми? Вполне возможно, что сплетни, о которых толкует Бернар Ги (даже если они и имели под собой основание), не относились к самим совершенным или к тем, кто ожидал инициации, т. е. к людям, для которых брак, а тем более брак, благословленный Богом, был таким же скандалом, каким он был для католического монаха или священника. Во все

времена католическая Церковь считала, что грех по слабости, тем более, если за ним следует раскаяние, не так тяжок, как клятвопреступление освященного брака. Видимо, в этом смысле следует понимать и ригоризм совершенных.

«Добрых матерей» упрекали в том, что они зачастую очень резко осуждали продолжение рода и объявляли беременных женщин нечистыми грешницами. Однако (и это доказывает *relevailles* – церемония очищения) и католическая Церковь признавала изначальную нечистоту акта рождения. Но при этом для католиков дитя – милость Божья, а не проклятие, поскольку в католической теологии присутствует неизъяснимая тайна божественной любви к той же самой мерзкой и слабой плоти. Но эту мудрость, восходящую к древнему иудаизму и, возможно, к некоторым языческим традициям, католическая Церковь с трудом увязывала со своей системой ценностей. Средние века, эпоха рационалистическая и влюбленная в логику, казалось, даже Богу отказывала в возможности четвертого измерения.

Упреки в аморальности в адрес катаров тем более странны, что многие из них, и прежде всего женщины, воспринимали брак как компромисс с Церковью. Ковинана из Фанжо, обращенная св. Домиником, «отошла от своих заблуждений и вышла замуж», «Бернарда три года жила в ереси, но затем вышла замуж и имеет двоих детей»[30]. Никто не утверждает при этом, что до брака обе девушки вели дурную жизнь, наоборот – они лишь соблюдали девственность. И в Реймсе в 1175 году [31] сожгли девушку, обвинив ее в принадлежности к катарам, только за то, что она хотела любой ценой остаться девственницей. Получается, что катаров узнавали и по распущенности, и по чистоте нравов.

Нам скажут, что все это относится к элите, а как обстоит дело с остальными? Что ж, вполне возможно, что среди горячо верующих попадались такие, кто, не чувствуя в себе сил побороть соблазн, отказывались от супружеской жизни и удалялись от мира, но все равно потом впадали в грех и бросали тень на репутацию общины. Даже если совершенные и не отворачивались от подобных «заблудших овец», вряд ли они были заинтересованы в поощрении распущенности, тем более что именно за это они наиболее сурово осуждали католиков.

Случай с юной еретичкой, сожженной в Реймсе, очень показателен с точки зрения менталитета гонителей катаров: Родольф, аббат из Коджесхолла (Англия), рассказывает, что архиепископ Реймский однажды прогуливался в сопровождении своей свиты в окрестностях города. Один из клира, Жерве Тильбюри, увидел в винограднике молоденькую девушку, подошел к ней и начал приставать с весьма недвусмысленными предложениями. Девушка, «не осмеливаясь взглянуть на него, серьезно и скромно отвечала», что не может ему отдаться, потому что «если я потеряю девственность, то тело мое тотчас же будет осквернено, и я безвозвратно обреку себя на вечную муку». В таком обороте речи юный каноник распознал еретичку и тут же донес на нее епископу, гулявшему со свитой неподалеку. Девушку вместе с наставницей приговорили к сожжению, и она приняла смерть с мужеством, поразившим всех присутствующих. Неизвестно, однако, что должно было больше удивить – героизм юной безымянной мученицы или то, что ее судьи, а вслед за ними и хронист, сочли вполне естественным, что каноник пытается изнасиловать девушку, а потом выставляет свое бесстыдство в качестве аргумента против жертвы. При таком падении собственных нравов в кого могла бросить камень Церковь?

Жизнь основной массы верующих катаров мало чем отличалась от жизни простых католиков. Более

того, изучая списки знатных семей, открыто принимавших учение катаров, никак нельзя прийти к выводу, что эта религия отрицала семейную жизнь и осуждала браки и рождение детей. Судя по тому, что семьи были большими, а старинные традиции общественной жизни, связанные с катарской Церковью, передавались от отца к сыну, все обстояло как раз наоборот. Эти списки указывают на то, что семейные связи были прочными и почитаемыми. Самые преданные верующие – «обратившиеся в новую веру по причине гонений» – признавали, что все они были воспитаны в вере катаров матерями, бабушками, дядьями, тетками и т. д.; они женили своих сыновей на дочерях катаров и на смертном одре принимали *consolamentum* от братьев и свекров. Такие знатные дамы, как Бланш де Лорак, в окружении многочисленных сыновей, дочерей, внуков, зятьев и невесток, воспитанных в традициях учения катаров, были настоящими центрами кланов. Владетели Ниора, Сен-Мишеля, Феста, Фанжо, Мирпуа, Кастельбона, Кастельвердена, Кабаре, Миравалья и т. д. все были известными еретиками, и показания свидетелей изобилуют упоминаниями членов этих фамилий, состоящих в разных степенях родства, что наводит на мысль о чрезвычайной крепости семейной солидарности, кстати, вообще характерной для феодальной эпохи. Как видно, разлагающее влияние религии катаров не коснулось этих семей, из поколения в поколение составлявших ее опору. Следовательно, утверждения, что учение представляет общественную опасность как фактор, дезорганизуемый семью, абсурдно.

Верно, что некоторые особенно преданные вере женщины удалялись от мира при живых мужьях; по большей части они были уже в преклонном возрасте, их дети выросли и вступили в брак. Чаще всего они дожидались вдовства, как Бланка де Лорак или Эсклармонда де Фуа, бывшие обе многодетными матерями.

Еще одним, правда, более редким обвинением в адрес катаров было подстрекательство паствы к анархии в результате непризнания светской власти, запрета на насилие и клятвы. Это обвинение кажется на первый взгляд более обоснованным, чем предыдущее. Катары действительно утверждали, что светская власть установлена не Богом, а Сатаной. Однако ни катары Лангедока, ни вальденсы, близкие к катарам по убеждениям, не проповедовали революционных устремлений, как это делали богомилы. И катары вовсе не настаивали на обязательной бедности верующих, как это делали вальденсы. Адепты учения катаров были в основном люди зажиточные. Во всяком случае, катары никоим образом не толкали своих верующих на любые открытые выступления против мирских властей, полагая, что в мире, где правит Князь Тьмы, не годится никакая организация общества.

Тем не менее верующие, живущие в миру, исповедовали религию, отрицавшую все основы мирской общественной жизни. Не расшатывало ли это их дисциплину, их ощущения обязательств по отношению к суверену и к закону? Могли ли катары быть примерными гражданами, если они постоянно чувствовали тщету и второстепенность общественной жизни? Но разве католическая Церковь не внушает постоянно своей пастве, что небесная родина важнее земной? Отчего же ее не обвиняют в распространении анархии?

Катарам предъявляли множество обвинений, но даже Петр Сернейский, свидетель в высшей степени пристрастный, видимо, был недалек от истины, когда утверждал, что катары «предавались роскоши, дракам, грабежу и убийствам, клятвопреступлениям, и были замечены в различных извращениях». Ясно, что речь идет о высшем сословии – сюзеренах и рыцарях. Не надо при этом забывать, что все то же самое говорилось и в адрес аристократов, не замеченных в ереси. Постоянная вражда ноблей и

клерикалов порождает отталкивающий образ рыцаря. Если полагаться только на писания церковников, то, за исключением нескольких воинов Христовых, рыцари предстают перед нами грубыми животными, подчиненными низменным инстинктам, жадными до роскоши и славы и находящими радость лишь в войнах и грабежах. Светская литература, в свою очередь, не замечает или презирает клерикалов. Епископы (если они не раскраивают черепа сарацинов, как Тюржи) представлены в лучшем случае как фигуры декоративные. И в тех странах, где глубока католическая вера, аристократия и клерикалы кажутся живущими в разных мирах, в постоянном соперничестве и ненависти. Французская аристократия на юге была не хуже, чем в других краях, но ко всем прочим грехам ей вменялось в вину открытое неприятие католической религии. Что же тут удивляться, что на ее голову сыпались все упреки, на которые Церковь была так щедра по отношению к аристократии католической?

Северные бароны вовсе не всегда соблюдали данные клятвы и использовали малейшую возможность, чтобы восстать на сюзеренов, которым клялись в верности на Евангелии. Южные бароны, верующие катары, то есть адепты религии, которая запрещала все клятвы, смотрели на свои клятвенные обязательства как на неизбежную формальность, лишённую морального смысла (или, по меньшей мере, чувствовали себя более свободными давать клятвы, следуя собственным интересам). Так кто же чаще был «клятвопреступниками», северяне или южане? С другой стороны, религия катаров осуждала любую ложь, а это обязывало к определенному прямодушию в манере поведения. Только о тех, что ввали и противоречили сами себе на каждом шагу, можно сказать, что их подталкивали к этому религиозные убеждения. Однако даже самые честные верующие вынуждены были, время от времени, поддерживать контакты с католической Церковью, которая выполняла большинство административных и правительственных функций в стране, и эти контакты, конечно, носили отпечаток лицемерия. Справедливо будет сказать, что многие из мелких дворян целиком порвали с официальной Церковью: в Тулузе, Арьеже, в Каркассе не только деревни, а местами и целые районы давным-давно отошли от католического культа; все их обитатели перед смертью получали *consolamentum*, совершенные отправляли катарские обряды в покинутых церквях. В качестве примера приводят обычно замок Термес, где до прихода крестоносцев не служили религиозных служб более 25 лет. Файдиты (сеньоры, согнанные с владений крестоносцами) были слишком прямолинейны в вере, чтобы симулировать подчинение католической Церкви, и их было много. Так что логично было бы заключить, что люди, способные жертвовать за веру и имуществом, и безопасностью, вряд ли предаются роскоши, грабежам и дебошам.

Буржуа южных городов были вполне боеспособны. Рыцари, и богатые и бедные, если не крутились при дворе или на празднествах, явно не проводили три четверти года за возделыванием своих садов: содержание доменов вынуждало постоянно обороняться с оружием в руках от соседей, бандитов и даже от непокорных вассалов и баилей. Катарская Церковь так же, как и католическая, не превращала волков в ягнят; но она, несомненно, со всей страстью декларировала неприятие убийства: приверженец учения не имел права воевать даже за святое дело. И так обстояло дело по крайней мере в течение первых лет крестового похода.

Катары исповедовали идею высокой ценности и достоинства жизни: они отказывали в доброте Богу Ветхого Завета за то, что Он утопил все земное население и погубил войска фараона и жителей Содомы; за то, что Он одобрял убийства и приказал иудеям вырезать население Ханаана. С точки

зрения католиков смерть злоумышленников не составляла ни малейшей проблемы; мораль катаров была более требовательна к нюансам. Основываясь на Евангелии, они отрицали смертную казнь и вообще всяческое наказание, связанное с лишением жизни или свободы. По их мнению, преступника надобно не наказывать, а перевоспитывать. Конечно, говорить так было легко, ибо вся юстиция подчинялась их противникам. И никаких трудов не стоило объявить, что гуманная доктрина расценивается Церковью как позор. И выходит, что XIII век не столь уж жесток и кровожаден, как его принято изображать, если подобная доктрина снискала себе столько адептов.

Те, кто слушал проповеди совершенных, должны были испытывать то чувство человеческой солидарности, которого не ведали рыцари, полагавшие, что заслужат для себя рай, перебив сарацинов. Заявить, что убить сарацина так же жестоко и преступно, как убить отца или брата, не считалось аморальным, но это было неосторожно. Мы увидим потом, что война вынудит совершенных отступить от своей жесткой позиции и позволить верующим сражаться; более того, они будут даже подбадривать их в бою. Но не исключено, что именно их пацифизм определил относительную слабость сопротивления Окситании в начале войны.

5. Борьба с «Вавилоном»

Все эти соображения наводят на мысль, что доктрина катаров могла представлять некоторую социальную опасность, тем более что объективно изучить ситуацию практически невозможно за отсутствием конкретных данных. Но нам доподлинно известно, что в Лангедоке все, кто представлял власть, от князей и баронов до консулов и крупных буржуа, в общей сложности потворствовали ереси. Анархический характер учения столь мало беспокоил владетельных сеньоров и консулов, что они примыкали к нему сами и вовлекали жен и сестер. Если религия катаров и была настроена воинственно, то не по отношению к светским властям, а по отношению к Церкви.

Церковь на протяжении веков была, как мы уже отмечали выше, соперником и недругом знати. Если, благодаря крестовым походам, Церковь и сумела мобилизовать к своей выгоде воинский пыл и дух соперничества рыцарства, то не пошедшая в крестоносцы знать стерегла свои владения от Церкви, зарившейся на них по праву сильного. Церковь, в свою очередь, век от века богатея за счет пожертвований, завещаний и увеличения податей, все более обмирщалась. Она владела огромными доменами и содержала милицию для их охраны. А некоторые епископы, как, например, Беренгер Нарбоннский, дошли до того, что в сборе податей прибегали к помощи разбойников. Конечно, такое случалось редко, но сам факт свидетельствует о том, что Церковь неплательщиков не баловала. В сборе налогов с населения, и без того небогатого, Церковь конкурировала с феодалами, раздражая последних богатством своих земель и замков и возбуждая давнюю неприязнь воинов к носителям тонзур. Повсюду, где только было возможно, дворяне старались ввязаться в тяжбу или драку с епископами и аббатами. Прелаты же в конце XII века начали злоупотреблять отлучениями, которые были крупной административной неприятностью, но уже не вызывали прежнего ужаса, а зачастую вообще не давали эффекта.

Если в странах, где доктрина официальной Церкви не ставилась под сомнение, этот антагонизм между Церковью и знатью существовал хотя и постоянно, но в тлеющей, хронической форме, то в стране могущественной ереси этот антагонизм разрастался до состояния открытой войны. Следует ли думать при этом, что владетельные сеньоры становились еретиками из корыстных побуждений, имея в виду завладеть имуществом Церкви? Определенно, высокие бароны Лангедока, и в первую

очередь сам граф Тулузский, славились как захватчики церковного добра. Раймон VI сам признавал в 1209 году, что участвовал в репрессиях против монахов и аббатов, взял под стражу епископа Везонского, низложил епископа Карпентрасского, конфисковал замки и селения, принадлежащие епископам Везонскому, Савеллонскому, Родесскому, а также аббатам из Сен-Жиля, Сен-Понса, Сен-Тибери, Гэйнака, Кларака и т. д.[32], что в равной мере указывает как на хищность устремлений графа, так и на богатства епископов и аббатов. Знать так же, как и простой люд, упрекала Церковь в чрезмерном богатстве, явно не соответствующем доходам от церковной деятельности.

Графы Тулузы и Фуа и виконты Безье конфисковывали церковное имущество ради собственного обогащения и в то же самое время делали богатые пожертвования Церкви и аббатствам. Такой стиль поведения, видимо, был продиктован скорее интересами локального порядка, чем ясно намеченной политикой. С появлением ереси катаров, а позднее вальденсов, в Лангедоке появилась и развилась глубокая, активная ненависть к католической Церкви, пронизавшая все слои населения.

Ошибочно было бы думать, что эта ненависть была спровоцирована только пропагандой совершенных. Страсти накалялись еще и потому, что нападки на официальную Церковь поддерживались большим числом католиков. Более того, одной из основных причин успеха проповедей катаров была их антиклерикальная направленность (что само по себе выносит строгий приговор Церкви), причем это объяснение мы находим у католических историков, которых никак нельзя заподозрить в антиклерикализме. Поскольку Церковь в Лангедоке была непопулярна и потеряла способность выполнять свои функции, пропаганда ее противников иной раз подогревала низменные страсти и провоцировала скандалы и беспорядки.

Конфискация церковного имущества была для крупных и мелких феодалов естественной реакцией на непомерные аппетиты прелатов. В то же время бедняки вздыхали с облегчением при мысли о том, что не надо будет платить десятину и многочисленные поборы за отправление обрядов, и для них отпадение от старой веры не было пустяком. А тех, кто отвернулся от Церкви, в которую, пусть смутно, пусть неуклюже, но верил, навязчивая пропаганда часто толкала на гнусности, и совершенные должны нести за это свою долю ответственности. Новая вера, пустив корни в Окситании, породила настоящий фанатизм. Нельзя сказать, что он охватил все население (в целом катары и католики прекрасно уживались друг с другом), но и утверждать, что его вспышкам были подвержены одни бандиты и разбойники, тоже нельзя.

Петр Сернейский приводит случаи, когда некий Юг Форэ особо тяжко осквернил церковный алтарь, а еретик из Безье напал на священника, выхватил у него потир и опоганил его [33]. В протоколах инквизиции зафиксировано, что некий Б. из Квидера мочился на тонзуру священника. Видимо, факты такого рода случались относительно нечасто, поскольку даже противники еретиков, заинтересованные в том, чтобы их обнародовать, приводят их как редкость. Но тот же Петр Сернейский сообщает, что граф Фуа, поссорившись с монахами из Сент-Антонена, сеньорами Памьера, приказал двум своим рыцарям отомстить монахам за то, что они изгнали из города одного из знатных совершенных. В результате один каноник был изрублен на куски, другому вырвали глаза, после чего граф Фуа собственной персоной ворвался в монастырь, устроил там попойку, а монастырь спалил. Точно так же он осадил монастырь святой Марии, а когда монахи сдались, не выдержав голода, ворвался в него и разграбил. В другой церкви он приказал отломать от распятия руки и ноги, и его солдаты использовали их для растирания специй, а один из оруженосцев проткнул распятого

Христа копьем, требуя от Него выкупа. Идет ли здесь речь о клевете? Возможно. Но если католик Раймонд VI обвинялся в сожжении церкви вместе с находившимися там людьми, то для графа Фуа такие выходки были делом обычным. В данном случае свидетельства гласят скорее о проявлении brutality характера, чем об антиклерикальном рвении, но все эти выходки спровоцированы глубокой ненавистью к католической Церкви. И если потом Раймон-Роже де Фуа торжественно засвидетельствует перед папой свою принадлежность к ортодоксии, он сделает это, несомненно, под нажимом своего клана. Этот неутомимый забияка, этот непримиримый враг крестоносцев представлял собой наиболее яркий пример пылко верующей, фанатичной и задиристой катарской знати.

Сеньоры, подобные графу Фуа, обладали достаточной силой, чтобы надеть крупных гадостей Церкви. Простые же верующие, не такие могущественные, но столь же ревностные, не жгли монастырей и не конфисковывали их, чтобы поместить там совершенных, но со священниками обращались грубо, а церкви и кладбища разоряли. Несомненно, этим промышляли и бродяжничающие солдаты или просто хулиганы, всегда ищущие, что бы разрушить; объявив себя еретиками, они могли спокойно безобразничать и не бояться навлечь на себя общественный гнев. Власть имущие, благоволившие к ереси, не наказывали хулиганов; население, фанатичное или просто ненавидевшее клерикалов, их поощряло. Свидетельства современников категоричны: не только в районах, охваченных ересью, но и в тех, что оставались в католической вере, не возникло движений против святотатств, учиняемых истинными или ложными еретиками.

Особая ненависть катаров к кресту (орудию унижения Бога) и к мессе (высшему святотатству, ибо месса подразумевала под частицей божественного тела мерзкий кусок материи, обреченный на разложение в утробах верующих) побуждала их к яростным нападкам на наиболее священные из догм католической Церкви. Сам факт, что эти нападки уже ни у кого не вызывали протеста, доказывает, насколько единодушным было презрение к Церкви в этих краях. Города, оставшиеся в католической вере, и не пытались ее защитить местными крестовыми походами или резней, что делает им честь, но одновременно показывает, насколько в Лангедоке была сильна катарская Церковь. Многие епископы и аббаты происходили из семей еретиков и относились к ереси спокойно. Кюре и каноники братались с совершенными и с простыми верующими отчасти из оппортунизма, отчасти из симпатии к доктрине, за которой они чувствовали моральную силу. И при всем том для катаров Церковь была врагом номер один, блудницей вавилонской, прибежищем Сатаны, проклятым местом, и они никоим образом не принимали того, что полагали суевериями и тяжкими заблуждениями.

Все свидетельства сходятся в одном: в католической стране, где изрядная часть земель, власти и имущества находилась в руках Церкви, которая контролировала и санкционировала все события частной и общественной жизни, народ был к этой Церкви либо равнодушен, либо враждебен. Новая Церковь отвоевала себе позиции безо всякой войны, была почитаема всеми и уже начала играть роль объединяющего начала, явно имея целью разоружение Церкви официальной, оказавшейся в изоляции. Католическая Церковь постоянно чувствовала опасность нового могучего движения, шаг за шагом теряла связь с жизнью страны, приобретала характер замкнутой касты и не занималась ничем, кроме защиты своих интересов.

Накануне потрясений и катастроф, в результате которых Лангедок потеряет независимость, Церковь

уже не представляла ни справедливости, ни порядка, ни мира, ни милосердия, ни Бога: она представляла папство. Поистине трагическая ситуация, в которой она оказалась, привела к наихудшему варианту смешения ценностей и заставила Церковь подчинить идею морали защите своих сиюминутных интересов.

Все католические историки (как в XIII, так и в XX веках) настаивают на том, что ересь была очень опасна для «инфицированной» ею страны. Но факты подтверждают, что если в чем и таилась подобная опасность, так это в самом крестовом походе. Опасна была бурная реакция Церкви на нависшую над ней угрозу. Не надо забывать, что, несмотря на многочисленные превышения власти, Церковь играла все же объединяющую роль в обществе и составляла один из основных общественных механизмов, может, не самый отлаженный, но незаменимый. Отбирая у Церкви имущество, князья и консулы в ней нуждались и не помышляли возвыситься над нею. В то же время в народном сознании, подогреваемом проповедями катаров, она шаг за шагом теряла свои позиции, лишаясь вовсе смысла существования. Было бы ошибкой утверждать, что дух тирании, нетерпимости и сектантства был присущ одним католикам: обе партии в пылу открытой борьбы постоянно поносили друг друга. Совершенные не шли, правда, дальше словесных баталий, но они обладали уже достаточным авторитетом, чтобы повести за собой фанатиков.

Можно ли хоть на миг представить себе папу, который в порыве евангельского вдохновения издает буллу, предписывающую аббатам и епископам раздать церковное имущество бедным и идти проповедовать, живя на милостыню? Ну, а если не этим радикальным средством, которое, в случае применения, могло повлечь за собой пугающие последствия, то как еще можно было реформировать Церковь, чьи внутренние беды проистекали из ее светского могущества? Сила катаров заключалась отчасти в бедности и отсутствии ответственности за мирские дела. А католическая Церковь была администратором, подчас жестоким и корыстным, но опытным, способным достойно встретить практические трудности, о которых ее недруги и не подозревали.

Самый серьезный упрек, которого заслуживают катары, это тот, что был уже справедливо предъявлен католикам: религиозная нетерпимость. Они не предавали своих врагов в руки светского правосудия и не разжигали костров (не имея на то ни средств, ни желания), но они огульно чернили и поднимали на смех веру, которая сама по себе заслуживала уважения. Конечно, дело здесь и в недопустимом поведении священников и прелатов, и в косности церковной администрации, и в непостоянном характере южан. Ведь и во времена язычества жрецы порой хулили тех, кто осквернял языческий культ и оскорблял изображения богов.

Катары сформировали в Лангедоке полуофициальную Церковь, общество, которое не было уже ни тайным, ни подпольным и насчитывало среди своих адептов и высоких баронов, и людей из народа. Их Церковь не была единственной еретической Церковью в стране. Желая лучше разъяснить своим читателям ситуацию в Лангедоке накануне крестового похода, Петр Сернейский признает, что из всех еретиков юга вальденсы были «скверными, но гораздо менее, чем другие», и что «во многом они веруют так же, как и мы»[34]. Вальденсы, гораздо менее многочисленные, чем катары, пользовались особой симпатией низших слоев населения (хотя к этой секте принадлежала и одна из сестер графа Фуа). Их учение, как указывает процитированное выше свидетельство, стремилось привлечь к себе тех, кто не принимал злоупотреблений Церкви, но оставался верен католицизму. Оно было гораздо менее революционно по догме, чем учение катаров, но исповедовало тот же

протест против организации и ритуалов католической Церкви.

Секта вальденсов была более молодой: ее основатель, Пьер Вальдо, начал проповедовать около 1160 года в Лионе, почему это движение и называют часто «лионскими бедняками» или «лионцами». Пьер Вальдо, богатый лионский купец, был очень благочестив и, дабы лучше постичь Писание, затеял перевести его с латыни, о чем и попросил своего друга Этьена д'Ансе. Впоследствии Этьен погиб при несчастном случае, и Пьер Вальдо, потрясенный гибелью друга, решил посвятить себя служению Господу. Он продал все свое имущество и раздал его беднякам, а сам начал жить на милостыню и проповедовать. У него нашлись последователи, и вскоре организовалось благочестивое содружество светских людей, поставивших себе целью жить, подобно апостолам, в бедности и нести в народ слово Божье.

У Вальдо было множество учеников, которых он снаряжал проповедовать по пригородам и деревням в окрестностях Лиона. Их проповеди звучали и в общественных местах, и в церквях. Архиепископ Лиона Жан де Бельмен был очень встревожен: не обладающая никаким церковным мандатом группа «неграмотных идиотов» из мирян взяла на себя смелость толковать Священное Писание на свой лад! Это был скандал. Тем временем движение снискало себе множество адептов. Когда в 1180 году архиепископ запретил Вальдо и его ученикам проповедовать, они ответили, что лучше слушаться Господа, чем людей, привели в пример святого Петра перед лицом синедриона и продолжали проповедовать. В ответ на поступившую от них апелляцию папа Люций III подтвердил осуждение, произнесенное Жаном Бельменом. Тремя годами позже папа обнародовал в Вероне [35] закон, объявляющий «лионских бедняков» еретиками наряду с катарами.

Так ученики Пьера Вальдо из непослушных католиков попали в еретики.

Признание самого факта еретичества только усилило их непокорность. Постепенно они перешли к открытому отрицанию институтов Церкви, а потом и своих собственных принципов. «Еретики, – писал Бернар из Фонткода в своем трактате против вальденсов, – это те, кто поддерживает старую ересь или создает новую, а также те, кто заявляет, что не надо слушаться ни священников, ни римской Церкви, *quod dictu horribile est!* (что само по себе ужасно!), но только лишь одного Бога». Теперь позиция вальденсов ясно определилась: они создали ересь нового толка (в противоположность катарам, которые ассимилировались с манихеями), состоявшую в неповиновении воле римской Церкви и следовании только воле Божьей.

Вальденсы порицали Церковь, базируясь на том, что ее предстоятели в своей коррумпированности не могут быть проводниками благодати. Отрицая принцип священства, они отрицали и таинства, включая крещение и причастие, и пришли в конце концов к отрицанию всего католического культа и большей части его догм. Они не верили ни в реальное присутствие Христа при таинстве мессы, ни в святых, ни в чистилище. Молиться следовало лишь самому Христу, единственному посреднику Бога, и незачем молиться о мертвых, поскольку после смерти человек либо спасется, либо понесет кару – и это при том, что культ святых и моления о мертвых имели в средние века огромное значение, трудно представимое сегодня. Вальденсы отказались от празднования религиозных праздников, однако отмечали воскресения, а также дни, связанные с культом Пречистой Девы, апостолов и евангелистов. Таким образом, их религия была сильно упрощенным ортодоксальным христианством. Как и католики, они веровали в богодухновенность Ветхого Завета, в Троицу, в Воплощение, в реальность страданий и воскресения Христа, в Страшный Суд – словом, во все положения Символа веры в

традиционной церковной интерпретации (хотя они не читали ни Символа веры, ни любой другой католической молитвы, кроме «Отче наш...»). Они объявили, что по вине папы Сильвестра, основателя римской Церкви, католическая Церковь впала в ересь, и все, что она устанавливала и провозглашала после IV века, было заблуждением.

Ересь вальденсов, несмотря на отрицание некоторых основополагающих догм христианства, например, причастия, состоит целиком в неприятии именно римской Церкви. Это, скорее, были усердные реформаторы, чем еретики; они не изобрели новой доктрины, хотя у них было свое богослужение, свои молитвы и литература; оформленности и конструктивности учения катаров они не достигли. Проповедями бедности и трудолюбием они привлекали к себе в основном низшие слои населения, которые считали их более праведными христианами, чем католических священников. Несмотря на то, что после 1184 года они официально числились еретиками, еще в начале XIII века симпатии к ним были велики; католики называли их «божьими бедняками», охотно им подавали и позволяли распевать в церквях свои гимны [36]. Впоследствии папы объявили вальденсов столь же опасными еретиками, как и катаров.

Дело в том, что по крайней мере в Лангедоке оба еретических движения, очень мало похожих друг на друга и при случае впадавших в жаркие споры, столь часто путали одно с другим, что теперь нам бывает трудно определить, о какой из ересей шла речь в той или иной местности, особенно если дело касалось простых верующих. Эта путаница происходила, во-первых, потому, что обе ереси были в равной мере ненавистны римской Церкви, а, во-вторых, потому, что вальденсы как более молодая секта копировали организацию и стиль поведения катаров. Как и катары, они имели своих совершенных и верующих; церемония возведения совершенных в это достоинство тоже называлась *consolamentum*, состояла в наложении рук, следовала за передачей имущества общине и обязывала к обетам бедности и целомудрия. Общины вальденсов не имели епископов и управлялись старейшинами, диаконами и священниками, их организация напоминала организацию религиозного ордена. У них были дома, похожие на обители, где совершенные постились, молились и размышляли. Их воздержание не было таким строгим, как у катаров, и не имело под собой догматической основы; однако, как и катары, они слыли аскетами.

Они посвящали свою жизнь проповедям и прежде всего толкованию Священного Писания, которое они делали доступным народу, распространяя большое количество экземпляров Библии, переведенной на народный язык. Хотя многих из них и обвиняли в невежестве, они были мастерами в наставлениях верующих и, как и катары, имели свои школы, где растолковывали детям Евангелие и послания апостолов.

Женщины-совершенные у вальденсов проповедовали наравне с мужчинами, поскольку право на проповедь у них признавалось за всеми христианами. И в этом они были более революционны, чем катары, у которых проповедующие женщины встречались очень редко.

Как и у катаров, их основной и почти единственной молитвой была «Верую...», и они должны были ее произносить определенное количество раз (иногда от 30 до 40), причем много раз в день: В отличие от катаров, у которых исповедь происходила публично на церковных собраниях, вальденсы могли исповедоваться и получать отпущение грехов у одного из своих братьев.

И, наконец, как и катары, вальденсы очень сурово относились к римской Церкви, которую они именовали Вавилоном, и не упускали случая заклеить ее «суеверия» и заблуждения. В этом, по

крайней мере, они были целиком солидарны с еретиками, от которых в этих краях их отличало прозвище *ensabates*. И очень возможно, что в Лангедоке, где доминировали катары (вальденсы были наиболее многочисленны в Альпах и в Ломбардии), дело пришло к тому, что вальденские общины прониклись идеями катарских общин и переняли их обряды.

Среди крестьян и ремесленников, несомненно, вальденсов было много, среди высших классов – меньше, о чем свидетельствует список из 222 еретиков, составленный в Безье в 1209 году, в котором только 10 фамилий помечены «*val.*» (*valdenses*). И хотя их преследователи и заявляли, что вальденсы «намного менее вредны», чем катары, вряд ли в процессе гонений между ними делалось какое-нибудь различие. Катарская Церковь, более сильная и организованная, постепенно затенила маленькую Церковь лангедокских вальденсов, а общие страдания крепко спаяли их воедино.

В эпоху альбигойских войн, казалось, все население Лангедока принадлежало к еретикам или, по меньшей мере, открыто им симпатизировало. Точнее, население было очень веротерпимо. Поэтому, чтобы драться с крестоносцами, вовсе не нужно было становиться адептом религии катаров, достаточно было быть порядочным человеком. Война чисто на религиозной почве вряд ли привела бы к гражданской войне.

В наши намерения не входило оценивать религию катаров, мы всего лишь хотели обрисовать конкретную ситуацию. Факты, которыми мы располагаем, свидетельствуют о прогрессе молодой религии. Она сильна даже в полуподпольном положении, способна проникнуть в общество, пороки которого свободно обличает, не сливаясь с ним. Она становится лицом к лицу с официальной религией, уверенной в своих привилегиях, коррумпированной и потерявшей свой авторитет из-за сделок с совестью, к которым она привыкла, защищая свои интересы.

Римская Церковь не могла сдержаться и не покарать ересь со всей строгостью, как не может человек, на котором загорелась одежда, не погасить огонь всеми доступными средствами. Правда, даже в такой ситуации не все средства законны. Но мы увидим, что Церковь, с течением времени и в силу обстоятельств достигшая тоталитарной мощи и гнета, уже имела тенденцию не обращать внимания на законность средств, если дело шло о ее мирских интересах.

ГЛАВА III

ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ ЕРЕСИ

1. До Иннокентия III

Не следует удивляться, что реакция католической Церкви на религию катаров была жесткой – полное и бескомпромиссное неприятие. Римское христианство вовсе не отличалось терпимостью. Сильная религия, ставшая государственной, склонна в любом возражении видеть святотатство и оскорбление Бога. Церковь бессильна дистанцироваться от фанатиков – как человек не в силах отрубить собственную руку или ногу. Мало какая религия, по крайней мере, на Западе, способна выжить без фанатизма.

Святой Франциск Ассизский был другом святого Доминика, а святой Доминик – другом Симона де Монфора. То, что ставилось на карту – самое существование Церкви, – оправдывало фанатизм, и не нужно относиться легковесно к чувствам, толкавшим католиков на насилие.

На юге Франции катарская Церковь не представляла опасности ни для общественной морали, ни для общественного уклада, ни для гражданской власти; она представляла опасность для католической Церкви. В XII веке Церковь была настоящим государством в государстве, организованной, часто

деспотической силой, с которой сами короли вели постоянную борьбу и редко достигали успеха; не будь Церковь неотъемлемой частью средневекового общества, вряд ли ей это удалось бы. Но прогрессирующий упадок Церкви в Лангедоке, связанный с развитием учения катаров, привел к возникновению ситуации, до той поры немыслимой и невозможной в глазах верных католиков: в самом сердце христианского мира могущественная страна с древними христианскими традициями, центр процветающей торговли, всеми почитаемый очаг цивилизации, была на грани того, чтобы не просто обойтись без католической Церкви, но и вовсе отказаться от нее в пользу новой религии.

Эта новая религия попирала не только материальные интересы Церкви, ее иерархию и привилегии, но и ее духовную сущность, завоеванную трудами и мучениями, вызревавшую веками, освященную молитвами тысяч признанных и непризнанных святых, ее мистическую жизнь, целиком базирующуюся на ежедневном таинстве мессы и на реальном и постоянном присутствии Христа в своей Церкви. Христова Церковь впитала и переплавila традиции древних цивилизаций, она помогала бедным и воздвигала храмы, изобретала или вновь открывала науки, формировала школы, создавала несравненные по великолепию произведения искусства, сделала Бога доступным для самых обездоленных и подчас унижала сильных мира сего. Ее традиция покоилась на основании, которое нельзя было поколебать, не поставив под угрозу все здание средневековой цивилизации. Крест и облатка были не просто аксессуарами, а составляли сердцевину христианской веры.

Новая религия, отрицавшая не только наиболее священные традиции, но и сами основополагающие догмы католической Церкви, не могла с ней мирно сосуществовать.

В ту эпоху мысль, что истина может иметь два лица, была невозможна. Допустить существование ереси означало признать, что облатка не есть истинное тело Христово, что все святые – обманщики, а кресты на кладбищах и церквях – не более чем перекладыны для ворон. Есть вещи, терпеть которые противоправно: ведь никто не назовет терпимым человека, позволившего публично надругаться над собственной матерью.

Негодование католической Церкви было тем более законным, что ее недруги, вскормленные и взращенные в христианских традициях, обратили против нее оружие, которым она же их снабдила: разве не Церковь внушила еретикам понятия чистоты и милосердия и требовала соблюдения этих понятий? А теперь еретики подняли руку на Церковь, осуждая ее во имя этих же понятий. Ведь римская Церковь, какой бы «Церковью дьявола» она ни была, допустила экспансию катарской веры, а теперь на нее нападают с именем Христа, которое за прошедшие века она заставила полюбить.

В самом применении силы не было ничего необычного: оно являлось частью неизбежного компромисса официальной Церкви со светскими властями. Во всех христианских странах существовала церковная юстиция, которая карала за преступления, совершенные клиром, за преступления против нравственности, за колдовство и сделки с Дьяволом.

Церковь не смешивала огульно колдунов и еретиков и в этом плане демонстрировала большую гибкость, чем светские власти. Так, святой Бернар, повествуя о резне еретиков в Кельне, пишет папе: «Народ Кельна превысил меру. Если мы и одобряем его благочестивое рвение, то не можем одобрить того, что он совершил»[37], поскольку вера есть дело убеждения, ее не навязывают силой. В XI веке Вазон, епископ Льежа, протестовал против жестокости французов, приказавших вырезать всех, кого они сочли катарами: аскетизм совершенных был давно и широко известен.

Церковь в канун Инквизиции была не более нетерпимой, чем светское общество. Конечно, ее можно

обвинить в том, что она сама создала этот дух нетерпимости, который порой оборачивался против нее. Однако было бы бесполезно пытаться отделить церковное сознание от сознания христианского населения. Католицизм и интернациональная администрация, представленная армией функционеров, подчиненных архиепископу Римскому, – разные вещи.

Церковь располагала слишком большими полномочиями, чтобы избежать соблазна их превысить. Однако чаще всего она удовлетворялась наведением общественного порядка в доменах, относящихся к ее компетенции, и наводила его с большей или меньшей жестокостью – смотря по обстоятельствам. Сжечь человека за колдовство не считалось более аморальным, чем повесить за кражу окорока. Если Церковь и проводила карательные акции, то лишь потому, что держала в руках большую часть административных функций. Причем она их вовсе не узурпировала: просто в ту эпоху их некому было взять на себя.

Те, кто открыто исповедовал религии, противоречащие церковному учению, и не желал изменить свои взгляды, по закону подлежали смерти через сожжение. Однако истинным оружием Церкви против ереси было убеждение – правда, походившее порой на запугивание. Заподозренный в ереси находился под угрозой отлучения со всеми вытекающими последствиями, отлученный от Церкви оказывался практически выброшенным из общества. В странах, подобных северной Франции, где и клир, и население были одинаково фанатичны, апостольский престол должен был думать о том, как сдерживать религиозный пыл, а не о том, чтобы засылать миссионеров. На юге Франции, известном очаге ереси, папы организовывали проповеднические компании и пытались выправить нравы Церкви.

Эти попытки не возымели результата, если обратиться к свидетельству Иннокентия III об окситанском клире. Проповеди тоже успеха не имели.

Святой Бернар сам отправился в 1145 году проповедовать на Юг в компании с легатом Альберихом, епископом Остийским, и Жоффрау, епископом Шартрским. Его свидетельство категорично: ересь торжествует. «У храмов нет прихожан, у прихожан нет священников, у священников нет совести. Повсюду христиане без Христа. Таинства смешаны с грязью, праздники утратили торжественность. Люди умирают во грехе. Детей совращают с пути Христова, лишая их благодати крещения»[38]. Вот как обстояло дело за 60 лет до крестового похода. Даже если предположить, что святой Бернар в своем благочестивом ужасе сгустил краски, его слова указывают на упадок религии в тех районах, где он побывал.

В кафедральном соборе Альби в день своего приезда святой Бернар проповедовал тридцати прихожанам. Правда, через три дня огромная церковь уже не вмещала толпу желающих послушать проповедь святого. Но этот интерес вспыхнул, как солома, и погас; миссия святого Бернара успеха не имела.

Крестовый поход проповедников, посланный папой Александром III в 1179 году, несмотря на насильственное отречение и показательное осуждение Пьера Морана по прозвищу «Иоанн-евангелист», был еще менее успешен. Несколько еретиков для виду покаялись, но после отъезда легатов население в ответ на вторжения чужаков в дела страны стало открыто поддерживать ересь.

На следующий год папа начал думать о том, чтобы просить поддержки у светских властей. На Вселенском соборе в Латеране в 1179 году он заявил: «Хотя Церковь, как говорит о том святой Лев, довольствуется святым, духовным судом и не прибегает к кровавым акциям, она вынуждена, однако,

опереться на светские законы и просить поддержки у князей, дабы страх перед мирским наказанием заставлял людей исполнять духовный долг. И так, поскольку еретики, которых одни именуют катарами, а иные патаренами или павликианами, много преуспели в Гаскони, Альбижуа, в Тулузе и в иных землях, где открыто распространяют свои заблуждения и совращают неразумных, мы предаем их анафеме вместе с теми, кто им потворствует»[39].

Это уже признание собственного бессилия: папа констатирует, что Церковь больше не в состоянии бороться с ересью доступными ей средствами. На юге Франции и на севере Италии Рим приказывает светским и духовным властям объединиться для полицейского преследования еретиков. После Веронского собора папа Люций III приказывает епископам отправиться в свои диоцезы на розыск еретиков и предписывает сеньорам и консулам помогать епископской миссии под страхом отлучения и запрета. Папский легат Анри, аббат из Клерво, позднее епископ Альбонский, не ограничивается соборами, чтобы исправить нравы клира. Он смещает архиепископа Нарбоннского и собирает католических сеньоров для осады Лаваура, одного из главных очагов ереси в Лангедоке (1181).

Тактика крупных лангедокских феодалов по отношению к Риму не меняется: они дают и не держат обещания. Для них это единственно возможный стиль поведения. Если Раймон V под давлением политических обстоятельств еще пытался открыто поддержать Церковь, то его сын, понимая роль еретиков в стране, делал все возможное, чтобы жить в мире с обеими религиями.

Раймон VI наследовал своему отцу в 1194 году. Четырьмя годами позже тридцатитрехлетний кардинал – Лотарио Конти, выходец из высокородной римской семьи, пользующийся известностью в своем городе и ценимый в церковной среде, был избран папой и наречен Иннокентием III. Его таланты и склад характера вызвали такое восхищение, что, несмотря на молодость, на то, что его предшественник Целестин III (из семьи Орсини, по традиции враждующей с Конти) держал его в отдалении от дел, и на то, что он еще не был возведен в сан, решение кардиналов было почти единодушным, и на следующее утро после смерти Целестина III молодой кардинал был провозглашен главой христианского мира.

Он взялся за эту роль с неумолимым рвением: за 18 лет понтификата он показал себя настоящим наместником Бога на земле, диктуя Его волю королям и народам, невзирая на личные интересы и не пасуя перед практическими трудностями, с которыми могли столкнуться его указания. Будучи одновременно и теоретиком, и человеком дела, он постулировал абсолютное превосходство Церкви и видел свое призвание в том, чтобы править королями и заставить их служить интересам Господа.

Если уж Иннокентий III сумел укротить Филиппа Августа и Яна Безземельного, добиться вассальной клятвы от короля Арагонского, бросить немецкое рыцарство против северных язычников, а франкское – против сарацинов (крестовый поход, приведший против его воли к взятию Константинополя, что, однако, поможет ему потом попытаться добиться власти над греческой Церковью), если ему удалось повсюду посадить своих легатов, чтобы те командовали княжеской политикой, то совершенно ясно, что он не потерпит позора иметь под боком страну, где народ и власти публично высмеивают Церковь.

И тем не менее Иннокентий III, главный вдохновитель крестового похода против ереси, вовсе не был фанатиком. В своих наставительных посланиях он предстает перед нами человеком осмотрительным, умеренным и справедливым. В случаях ереси, о которых ему донесли епископ Озерский и архиепископ Санский, он сомневается, медлит, требует доказательств, проводит

дознание и кончает тем, что признает подозреваемых невиновными. При посылке легатов в Лангедок Иннокентий III, стремясь искоренить причину, а не следствия беды, начал с препирательства с епископами и светскими властями. Он полагал, что «наглые еретики» распоясались вследствие дурного поведения духовенства. Но этот папа, державший в повиновении королей, не справлялся со своими подчиненными: авторитет Церкви – палка о двух концах. Действительно, легаты отстранили от дел Гильома Роксельского, епископа Безье, Никола, епископа Вивьера, Раймона Рабастанского, епископа Тулузы, и Беренгера, архиепископа Нарбонны. Мера хоть и революционная, но отнюдь не повысившая авторитет папы в высшем клире. Архиепископ Нарбонны и епископ Безье отказались повиноваться, ссылаясь на некомпетентность легатов. Их процессы затянулись надолго: Беренгер был низложен уже в разгар крестового похода, а Гильом Роксельский был убит в 1205 году, в конце подготовки к процессу. Раймон Рабастанский, доведший епископальный домен в Тулузе до столь плачевного состояния, держался в течение долгих месяцев. Попытка реформы, предпринятая папой, начинала обретать черты борьбы двух кланов: местного духовенства и духовенства, прямо подчиненного папе, особенно монахов-цистерцианцев.

Папа не мог далее опираться на епископов, он вынужден был дать «carte blanche» легатам и предоставить им право действовать по собственному усмотрению. Если со стороны духовенства легаты наталкивались на более или менее явное сопротивление, то светские власти встречали их в штыки.

Сеньоры и консулы свидетельствовали свою верность Церкви и отказывались преследовать еретиков. Граф Тулузский, уже однажды отлученный Целестином III за расправу над монахами, помирился с Церковью, получил прощение у нового папы и продолжал поддерживать катаров, грабить аббатства и превращать обители в крепости. Легат Пьер де Кастельно получил очередную порцию заверений и формальных обещаний, которые граф, как и раньше, не сдержал. При таком стиле отношений между Церковью и ересью катарские лидеры, теоретически заслуживающие самой суровой кары, бесстрашно появлялись на публике бок о бок с епископами и затевали с ними теологические дискуссии.

В первые десять лет своего понтификата, особенно в пятилетие между 1203 и 1208 годами, Иннокентий III бросил все силы на проповедническую кампанию. С твердостью человека, уверенного в том, что истина на его стороне, он надеялся вернуть Церкви заблудшую паству, искоренив невежество, к которому привела нерадивость духовных пастырей. Как и его предшественники, Григорий VII и Александр III, он пытался обратить тех, кто упорствовал меньше других. Так, в 1201 году он дает «смирненным», предшественникам святого Франциска Ассизского, несправедливо обвиненным в ереси, устав, в котором прослеживается влияние вальденсов. В 1208 году он берет под свое покровительство Дюрана де Хуэска, обращенного вальденса, и разрешает ему основать орден, напоминающий еретические общины. Этим «бедным христианам», к которым клир относился очень подозрительно, поддержка папы придает смелости, а папа видит в их движении зародыши глубокой церковной реформы посредством мирского или полумирского проповедничества.

Но по отношению к явным еретикам эта примиренческая политика не годилась, хотя папа и признавал, что осуждению подлежит не догма, а воинствующая Церковь. И он одинаково сурово обходился и с вальденсами, и с катарами.

Проповедники были призваны и разсланы. В первую очередь ими являлись сами легаты, испытанные в вере монахи-цистерцианцы, члены ордена, реформированного святым Бернаром. Этот орден представлял партию строгости, чистоты нравов и дисциплины, партию непримиримости, ударную силу Церкви. Легаты пытались действовать убеждением, но в стране, отпавшей от Церкви, они оказались низведены до уровня проповедников, которых никто не слушал. Легаты перешли к угрозам, но и угрозы уже не действовали. Тогда они ринулись в драку и, вынужденные признать право своих недругов на существование, вызвали их на конференцию, чтобы схлестнуться в споре лицом к лицу.

Мы уже упоминали о Пьере де Кастельно, архидиаконе Магелонском, монахе из цистерцианской обители Фонфруад. В компаньонах у него был брат Рауль, тоже из Фонфруада. Чтобы придать их миссии больший вес, папа назначил им в наставники и попутчики аббата из Сито, генерала ордена, и, следовательно, одну из первых персон Церкви. Арно-Амори, кузен виконта Нарбоннского, в прошлом аббат Грансельва, одного из наиболее крупных цистерцианских монастырей, был родом из здешних краев, и его обуревало страстное желание извести ересь, с которой он был знаком не понаслышке.

Как случилось, что орден, укрепленный святым Бернаром в традициях строгости и послушания, избрал главой этого прирожденного скандалиста, весьма далекого от христианского милосердия? И уж если он не обладал евангельским даром возвращения заблудших в лоно Церкви, то должен был бы по крайней мере организовать проповедническую кампанию. Но что значило здесь апостольское рвение, и что могли сделать эти монахи, которым заведомо не доверял народ, в стране, где сам святой Бернар потерпел поражение?

Легаты пустили в ход свой личный авторитет. Дебаты, организованные ими, имели явный успех. Чтобы еще более возбудить интерес аудитории, они распорядились в каждом городе, где они появлялись, избирать жюри для оценки весомости аргументов обеих партий. С высот своего статуса официальных носителей истины они снизили до уровня скромных проповедников, призванных убеждать и рассуждать во имя доказательства превосходства своей доктрины. Жюри, составленное наполовину из католиков, наполовину из еретиков, в принципе имело право признать их поражение и присудить пальму первенства противникам. Они рассчитывали на триумф ортодоксальных истин. В 1204 году Пьер де Кастельно и брат Рауль участвовали в одной из крупнейших конференций в Каркассоне в присутствии весьма прокатолически настроенного Пьера Арагонского. Тринадцать католиков и тринадцать катаров были приглашены в качестве арбитров. Бернар де Симор, катарский епископ Каркассона, проповедовал открыто, излагая доктрину своей Церкви. Но если присутствие короля и могло еще перетянуть чашу весов в пользу легатов, то в дискуссии это сделать было трудно. Пьер де Кастельно и Арно-Амори собрали толпу любопытных – южане были вообще любители послушать ораторов, – но разглагольствования легатов возымели действие лишь на католиков, а для еретиков остались пустым звуком.

Конференции не возбудили никаких беспорядков или стычек между приверженцами обеих религий. Католикам в этих местах явно недоставало воинственного духа. Более того, папские миссионеры, окруженные блестящим эскортом, в роскошных одеяниях, с богатым караваном скарба и провизии составляли разительный контраст суровой простоте катарских священников. О них говорили: «Глядите-ка, наместники – всадники у Бога, который ходил только пешком, богатые миссионеры

бедного Бога, окруженные почестями посланцы Бога униженного и презираемого»[40].

Эта миссия, заранее обреченная на провал, нашла неожиданных помощников в лице испанцев, прибывших из Рима, где папа отказал им в разрешении отправиться на юг России обращать в христианство язычников-куманов. Несомненно, Иннокентий III полагал, что вдохновенные миссионеры нужнее в Лангедоке. В августе 1205 года легаты встретили в Монпелье епископа Осмского, дон Диго де Асебес, в сопровождении субприора Доминика де Гузмана. Старый епископ и его молодой компаньон (Доминику тогда было 35 лет) предложили легатам поддержку в борьбе с ересью и дали ценные практические советы. Один совет, хоть и пришел с опозданием, был сам по себе великолепен: испанские миссионеры велели легатам и их приближенным слезть с лошадей, распустить эскорт, отказаться от комфорта и приема, приличествующего их рангу, пуститься в путь пешком, живя на подаяние, и почитать знаком своего достоинства лишь монашеское одеяние, а багажом – часослов и сочинения, необходимые для обращения еретиков.

Те, кто видел уже аббата из Сито, окруженного почестями, достойными князя Церкви, были очень удивлены переменой его костюма и не без оснований высказывались насчет «волка в овечьей шкуре». Катарским миссионерам не нужны были советчики, чтобы жить в бедности, а для легата и 12 аббатов, привлеченных им в 1207 году после созыва капитула ордена, подобное поведение было не более чем средство пропаганды. Позже выяснится, что Арно-Амори вовсе не был склонен ни к смирению, ни к бедности – не то, что испанские проповедники.

Канонизированный через 13 лет после своей кончины, Доминик де Гузман уже при жизни снискал себе репутацию святого. Источники наших сведений о святом Доминике – это его ревностные ученики, которые явно преувеличивали достоинства своего кумира. Однако достоверно, что еще в юности он поражал братьев и наставников пылкостью веры и мощью интеллекта. Вместе с будущим епископом Диго де Асебесом он принимал активное участие в реформе канонической службы в своем диоцезе; в 1201 году его назначили приором и главой капитула.

Мы уже говорили о том, что он мечтал обращать в христианство язычников, и только прямое приказание папы отвратило его от этого предприятия, чтобы отправить миссионером к еретикам. Конечно, у Церкви было достаточно пылких проповедников, но к практическим результатам привела только миссия Доминика. Вот как говорит об этом Гильом Пюилоранский: «Случилось так, что в наше время и в наших краях распространялась ересь, пока не родился благословенный орден доминиканцев, чья деятельность принесла обильные и ценные плоды не столько для нас, сколько для всего мира»[41].

2. Святой Доминик, его апостольство и поражение

Широкое движение религиозных реформ, которое волею случая обрело жестокий характер из-за своей связи с Инквизицией, зародилось на каменистых дорогах Лангедока, где под палящим летним солнцем пылили босыми ногами двое проповедников, выпрашивая себе с коркой хлеба право быть выслушанными. Епископ Осмский, старенький и утомленный, вынужден был через год вернуться в Испанию умирать. Однако он делил с Домиником изрядную часть его скитаний и принимал участие в дискуссиях в Сервиане, Безье, Каркассоне, Верфее, Монреале, Фанжо и Памьере.

В перерывах между дискуссионными конференциями, на которые приглашалось высшее катарское духовенство, Доминик обходил деревни, пригороды и замки, демонстрируя образ жизни более суровый, чем у совершенных. Далеко не везде и не всегда его принимали хорошо. «Гонители

истины, – пишет Иордан Саксонский, – не слушали его, выкрикивали ругательства, забрасывали грязью и привязывали к спине пучки соломы». Но такие пустяки не могли смутить пылкую душу Доминика. Тот же Иордан приводит ответ, который получили от святого еретика, спросившие его: «Что ты будешь делать, если мы тебя схватим?» «Я буду умолять вас, – ответил он, – не убивать меня сразу, а отрубать мне руки и ноги одну за другой, чтобы продлить мучения, пока я не превращусь в обрубок с выколотыми глазами, плавающий в собственной крови; вот тогда я заслужу венец мученика!»[42].

Чисто испанские передержки этой тирады должны были смутить его собеседников, и хотя они и настаивали, что он – посланец Дьявола, но отдавали себе отчет, что ничего с этим бесноватым поделать не могут. С пенопением бродил он по деревням, а жители бросали ему вслед угрозы и ругательства. Притомившись, он засыпал прямо на обочине.

Однако даже самые горячие последователи святого более охотно вспоминали о его чудесах (кстати, малоубедительных), чем о числе обращенных им еретиков. Само перечисление дискуссионных конференций поучительно: святой Доминик и епископ Осмаский проповедуют в Монпелье – безуспешно. В Сервиане катарские священники Бодуэн и Тьери, видя их смиренное поведение и сбитые в кровь ноги, согласились на диспут. После восьмидневных дебатов оба католических миссионера не добились ничего, кроме некоторых знаков уважения в католических селениях. В Безье испанцы после пятнадцатидневных проповедей совместно с легатами и дискуссией с совершенными достигли очень скромных успехов: им удалось обратить нескольких верующих.

В Каркассоне за восемь дней проповедей они не добились ничего. В Монреале они встретились с Гийабертом Кастрским, самым знаменитым катарским проповедником, «старшим сыном» катарского епископа Тулузы, с диаконом Бенуа Термесским, Понсом Жорданским и со многими совершенными. Согласно сведениям Гильома Пюилоранского, катар Арно Хот публично заявил, что «римская Церковь, которую защищает епископ Осмаский, не является ни святой, ни Христовой супругой, а наоборот – супругой Дьявола и доктриной демонов. Это Вавилон, который Иоанн Богослов в Апокалипсисе называл матерью блуда и всякой гнусности, опьяненной кровью святых и муками Иисуса Христа. Рукоположение в сан римской Церкви ни свято, ни установлено Господом Иисусом Христом. Никогда ни Христос, ни апостолы не устанавливали распорядка мессы, каков он есть теперь». Епископ Осмаский пытался доказать обратное, опираясь на Новый Завет. «О горе! – восклицает историк. – Как же низко пал статус Церкви среди христиан, если миряне позволяют себе подобные богохульства!»[43]. Судьи, призванные высказаться по поводу этого диспута, настолько не сошлись во мнениях, что вынуждены были разойтись, так и не приняв никакого решения.

А в Верфее, который один раз уже дурно встречал святого Бернара, посланцы папы и их противники, катары Понс Жордан и Арно Арифат, вообще плохо поняли друг друга, то ли из-за языковых трудностей, то ли по причине неясной манеры выражаться у спорящих сторон. Епископ Осмаский удалился в негодовании, будучи уверен, что еретики представляют себе Бога в виде сидящего на небе человека, чьи ноги так длинны, что достают до земли! «Будьте вы прокляты, – твердил он, – неотесанные мужланы, в коих я тщился найти хоть какую-нибудь тонкость ума!»[44].

Последняя конференция состоялась в Памьере, под высоким покровительством графа Фуа, предоставившего для дебатов свой замок Кастела. Вместе с епископом Осмаским и Домиником выступал Фульк, новый епископ Тулузы и Наварры, новый епископ Кузеранский. В Памьере было

много катаров и вальденсов, и обе секты делегировали своих ораторов. В дебатах участвовала сестра графа Эсклармонда, совершенная, страстная защитница еретиков. Здесь католическая миссия имела большой успех: вальденс Дюран де Уэска со товарищи принял покаяние. В остальном же достижения были более чем посредственными.

Миссия распалась, епископ Осмаский вернулся в Испанию, легат Рауль тоже уехал, Арно-Амори вызвали во Францию по делам ордена, Пьер де Кастельно (очень непопулярный в стране) был слишком занят своими распрями с феодалами, чтобы посвятить себя проповедничеству. Доминик в одиночку тащил эту ношу, проповедуя по дорогам и деревням, зимой и летом, питаясь хлебом и водой, ночуя на голой земле, изумляя народ своей твердостью и страстной убежденностью речей. Когда подумаешь, что он начал проповедовать в 1205 году, а в июне 1208 года крестоносцы вторглись в страну, – становится жаль, что этот настоящий апостол католической Церкви имел слишком мало времени, чтобы завершить дело, которое могло привести к осязаемым результатам. И все же – доминиканец времен Людовика Святого Этьен де Саланьяк приписывает основателю ордена жестокие слова, свидетельствующие о том, что христианское долготерпение не входило в число добродетелей святого: «Столько лет, – заявил он толпе, собравшейся в Труйе, – я пытался заставить вас услышать слова смирения. Я убеждал, я умолял, я плакал. Но, как говорят в Испании, где бессильно благословение, сработает палка. Мы поднимем против вас князей и прелатов, а они – увы! – призовут народы, и многих покарает меч. Разрушат башни замков, снесут стены, и вы окажетесь в рабстве. Вот пример, до чего может довести насилие, если кротость потерпела поражение». Но что такое «столько лет» в деле обращения? Святой Доминик бросил дело, едва начав его.

Он был не из тех проповедников, в которых нуждалась Церковь. Она слишком многое прощала себе, чтобы иметь право на подобные угрозы, тем более, если хотела завоевать сердца верующих. Одно слово, подобное тем, что мы цитировали выше, было способно навсегда отвести от святого Доминика тех, кого он мог обратить примером своего милосердия и мужества. Священники-катары никогда не угрожали своим подопечным карающим мечом. Отдавая должное силе личности Доминика, его энергии, вере, его полной самоотдаче, можно только изумляться, как мало ему удалось достичь в христианской стране, где истины, которые он проповедовал, должны были быть близки сердцам слушателей. Как бы ни коротко было его апостольство, сама его личность, казалась бы, должна привлечь массу последователей. На самом же деле речь идет всего о нескольких именах: юные затворницы Фанжо, Понс Роже и несколько женщин и детей, о которых ничего не известно. Несомненно, с куманами он бы больше преуспел.

Этот парадокс объясняется двойственностью положения, в котором он очутился: представляя Церковь, все время готовую захватить «палкой», он мог лишь терять доверие, и нужно было обладать сверхчеловеческим мужеством, чтобы добровольно защищать религию, которая убеждению предпочла насилие. И пока Доминик страдал от колкостей насмешников, папа продолжал слать депеши королю Франции, убеждая его пойти войной на ересь. Легаты всеми средствами вынуждали графа Тулузского преследовать еретиков. Церковь же, разводя теологические дебаты с катарскими священниками, вовсе не отказывалась от законодательства, которое, будь оно приведено в действие, отправило бы тех же самых священников на костер, разорив и пересадав их паству. В таких условиях самая искренняя и жаркая проповедь воспринималась как позорное лицемерие.

Церковь обязана была бороться, но силы были неравными: сильная вековыми традициями и авторитетом, католическая римская Церковь на юге Франции начала приобретать черты чуждой политической силы, которую презирали, ни во что не ставили, пытались обмануть ложной покорностью, короче – превратить в нечто настолько жалкое, что ее пастве было от чего заплакать кровавыми слезами. Она пыталась вернуть утраченное, но ошибки и компромиссы, личные амбиции и неверные представления о честности, вольные и невольные превышения власти заставляли ее пасть еще ниже. Зло было таким застарелым, что нам представляется жестоким целиком перекладывать ответственность за него на Иннокентия III и его слишком усердных священников.

Если уж такой святой, как Доминик, столь страдал от позора ереси, что даже забыл о том, что палка – оружие, недостойное Христа, чего же удивляться, если люди послабее его почли себя вправе защищать Церковь оружием? И уж если положение вещей таково, что святой вынужден играть жалкую роль полицейского, чего же удивляться тому упорному сопротивлению, которое население юга Франции оказывало католическим проповедникам?

И все же святому Доминику удалось произвести выдающееся обращение: то был Понс Роже из Тревиля, что в Лорагэ. На него налагалось следующее покаяние: три воскресенья подряд кающийся из деревни в церковь идет голым по пояс, а за ним следует священник и хлещет его по спине розгами; он носит власяницу с двумя нашитыми на груди крестами; всю жизнь ему разрешено есть мясо, яйца и сыр только в дни Пасхи, Рождества и Пятидесятницы, а три дня в неделю предписано отказываться от рыбы, растительного масла и вина. Трижды в год он должен поститься и каждый день ходить к мессе, соблюдать полное воздержание и раз в месяц предьявлять свою покаянную грамоту тревильскому кюре. В случае неповиновения он будет отлучен как еретик и клятвопреступник [45].

Помимо этого случая подлинного обращения – единственного, о котором сохранилась память, – результаты деятельности святого Доминика в канун крестового похода ограничились основанием монастыря в Труйе, положившего начало ордену доминиканцев и почти сразу занявшего значительное место в жизни Церкви.

Однажды, в один из вечеров 1206 года, святой Доминик вошел в церковь Фанжо, чтобы помолиться после публичной проповеди. Тут к его ногам пали несколько юных девиц и поведали, что их воспитывали совершенные в еретической вере, но речи святого заставили их усомниться в истинности этой религии. «Просите Господа, – говорили они, – чтобы он открыл нам веру, в которой мы будем жить, умрем и спасемся». «Мужайтесь, – ответил святой, – Господь никого не хочет потерять, Он покажет вам повелителя, коему вы служили до этой минуты». Одна из них рассказывала потом, что они тотчас же увидели демона в образе шелудивой собаки [46].

Было ли это видение плодом дара внушения святого или девичьей экзальтации – неясно, да и трудно принимать всерьез подобные рассказы. Может статься, речи святого возбуждали скорее страх и ненависть к ереси, чем любовь к Церкви? Как бы там ни было, юные обращенные боялись, что их новая вера ослабеет, и святой Доминик решил создать для них обитель, где они смогут жить в защите от искушений.

Обитель не замедлила обзавестись пожертвованиями: в 1207 году архиепископ Нарбоннский присоединил к ней церковь Сен-Мартен в Лиму. Позже успешные операции крестового похода обогатят монастырь имуществом богатых еретиков.

Мы снова вернулись к деятельности святого Доминика в период крестового похода и к основанию ордена доминиканцев. Оставим его в Лангедоке, «зараженном» ересью, где он выполняет свою миссию, тем более трудную, что ему противостоят проповедники – аскеты, неустрашимые и твердые в своей вере, как и он в своей, но гораздо более известные и почитаемые в этих краях. Вполне вероятно, что совершенные, в свою очередь, тоже представляли его веру и милосердие как лицемерную тактику, внушенную демоном. Кампании по евангелизации если и не добивались обращения еретиков, то, по крайней мере, служили для подогревания религиозного пыла католиков. А тем временем в 1206 году в самой Тулузе и ее окрестностях чрезвычайно деятельный и пылкий человек организовал настоящее движение католического сопротивления ереси.

Фульк Марсельский, епископ Тулузы, избранный на место проштрафившегося Раймона Рабастанского, через 24 года после своей смерти будет иметь почетную привилегию фигурировать в Дантовом «Рае» в виде души, полной радости, звонкой, как смех и сверкающей, как рубин на солнце. Этот счастливчик помещен поэтом на небо Венеры, ибо он пылает любовью столь сильной, что даже Дидон не идет с ним в сравнение «...и так давно, что в этом чувстве поседел...»[47]. Марсельский буржуа, уроженец Жена, по призванию пошедший в трубадуры и воспевавший прекрасных дам, высоко ценился как поэт. Когда же седина побелила его волосы, он забыл жар своих страстей ради одной самой горячей привязанности и в 1195 году стал аббатом в Торонете; через 10 лет Фулька приписали к Тулузскому епископату. Его рвение и энергия были известны всем. Провансалец по происхождению, он не имел привязанностей в графстве Тулузском и не был склонен к потворству или компромиссам. И, наконец, он хорошо знал свет, обладал прекрасным ораторским даром и как признанный поэт продолжал воспламенять публику благочестивыми сирвентами и канцонами, как некогда очаровывал любовными поэмами.

Приехав в 1206 году в упадочное и, можно сказать, несуществующее епископство, Фульк добился уплаты десятин и порядка в делах (недаром был из рода купцов). Ему удалось достичь популярности среди городских католиков. Историк Гильом Пюилоранский, служивший в 1241 году нотариусом епископства Тулузского, а с 1242 по 1247 годы – капелланом графов Тулузских, говорит с благоговейным восхищением о епископе, умершем за 40 лет до описываемой эпохи. Фульк оставил по себе хорошую память в церковных кругах Тулузы; совершенно справедливо замечено, поскольку тех, у кого он оставил дурную память, должен быть легион.

В действительности волнующий образ епископа-трубадура, умершего в 45 лет за написанием песнопения в честь небесной зари, вызывает больше изумления, чем почтения. Мы наблюдаем его энергичную деятельность, похожую, скорее, на деятельность лидера экстремистской партии, чем епископа. Гильом Пюилоранский восхваляет его за то, что он принес гражданам Тулузы «не худой мир, но добрую войну». Его красноречие трибуна привело к реальным и конкретным результатам: это Фульку принадлежит сомнительная честь быть одним из немногих, кому удалась попытка натравить католическое население на сограждан-еретиков. Правда, речь шла лишь о немногих фанатиках; для большинства же Фульк оставался, как называли его однажды жители Бесседа, «епископом Дьявола».

Если не считать легатов и их миссионеров, епископов нового стиля вроде Фулька Марсельского и епископов Коменжа, Кагора, Альби и Безье, чья верность Церкви не вызывала сомнений, то на чью еще поддержку могла рассчитывать Церковь в окситанских провинциях?

Часть знати была прокатолической: легату Пьеру де Кастельно удалось сформировать лигу баронов для борьбы с ересью. Однако этих баронов, надо думать, объединяла, скорее, неприязнь к графу Тулузскому, так как никто из них не принял креста. Крестоносцы Юга двигались в основном из Прованса, мало тронутого ересью, из Керси и Оверни. Епископам Кагора и Ажана удалось сформировать из пилигримов несколько вооруженных отрядов, которые потом примут участие в крестовом походе. Но думается, что на всей территории между Монпелье и Пиренеями до Коменжа на юг и Ажана на север Церковь располагала отдельными пассивными приверженцами, склонными, скорее, к солидарности с согражданами-еретиками, чем к исполнению церковного долга, по крайней мере, когда этот долг требовал преследовать и выгонять еретиков. К тому же и еретики были достаточно сильны, чтобы за себя постоять. А граф, даже если бы и захотел, не смог бы развязать гражданскую войну, так как не обладал достаточными полномочиями.

Несмотря на воинственность своих святых и фанатизм некоторых лидеров, несмотря на усилия по убеждению и устрашению, предпринятые папой, и на сохранившуюся административную и финансовую мощь, Церковь чувствовала себя бессильной остановить прогресс новой религии, которая парализовала все попытки сопротивления со стороны оставшегося в католической вере населения. Папа и легаты не видели более другой опоры в борьбе, кроме вооруженной силы. Именно в этот момент убийство Пьера де Кастельно послужило сигналом к бою.

Церковь целиком положила на силу меча.

ГЛАВА IV

КАМПАНИЯ 1209 ГОДА

В июне 1209 года Раймон VI был высечен в Сен-Жиле, после чего состоялось его торжественное примирение с Церковью. Армия воинствующих пилигримов, собранная по призыву папы, закончила подготовку к походу и собралась в Лионе. Выступление было назначено на Иванов день (24 июня). Потеряв все надежды избежать войны, граф разыграл последнюю карту: он принял крест.

Война, фактически объявленная на другой день после смерти Пьера де Кастельно, вошла в активную фазу: армия крестоносцев готова к бою и не желает больше мешкать с выступлением. Командиры не могут терять времени, ибо срок службы крестоносца – сорок дней (карантен).

Зимой 1208-1209 годов противники крестоносцев, казалось, еще не верили в реальность войны. Они не только не организовали систему обороны, но и не ладили друг с другом, не договорились о тактике поведения и все надеялись обезоружить папу и его представителей обещаниями покориться. Согласно «Песне об альбигойском крестовом походе»[48], граф Тулузский безуспешно умолял своего племянника, виконта Безье, «не идти на него войной, не затевать ссоры, а объединиться для защиты», на что виконт ответил: «Не говорю да, но говорю нет». Бароны расстались в дурном расположении духа, в чем нет ничего удивительного, если учесть, что дома Тулузы и Безье ссорились и соперничали на протяжении многих поколений.

Историки, не упускающие случая оплакать этот несостоявшийся союз правителей края, забывают, насколько двусмысленным и сложным было положение обоих вельмож. В июне 1209 года они не могли предвидеть, какой оборот примут события. Их атаковали не внешние враги, но солдаты Господа. Войну им объявили лидеры их же собственной Церкви. Их противники имели многочисленных и сильных союзников на их же собственных территориях. Их прямые и не прямые сюзерены, западные короли, занимали позицию загадочного нейтралитета, не задерживая крестовый

поход, но и не выступая против.

Надо полагать, поведение баронов было продиктовано простой осторожностью: сидеть тихо, пересидеть непогоду и выбраться с наименьшими потерями. Граф Тулузский, лучше всех понимавший опасность открытой войны с Церковью, перешел в лагерь врага и таким образом поставил свои домены – известный очаг ереси – под защиту закона о неприкосновенности имущества крестоносца. Наиболее могущественные из его вассалов не собирались, однако, заходить так далеко и готовились к сопротивлению. Но готовились плохо, и не потому, что не хватало смелости или средств. Объявленная «война с ересью» представлялась им чем-то неясным, неопределенным, и нельзя было ожидать полной лояльности от вассалов, всегда готовых к неповиновению и мятежу.

Таким образом армия крестоносцев вступила в страну, которая не хотела воевать, к войне была не готова и до последней минуты надеялась ее избежать, стараясь не давать противнику поводов к военным действиям.

1. Средневековая война

Крестоносцы были полны решимости драться.

Как же воевали в ту эпоху, когда не знали ни бомб, ни пушек, ни воинской повинности?

Прежде чем начать описание той войны, нужно постараться представить, какие опасности таила она в себе для армии, народа, экономики и всего жизненного уклада любой страны.

Наши предки не располагали техническими средствами массового уничтожения. Но это вовсе не означает, что война в ту эпоху была менее жестокой, чем сегодня, а воины не имели средств, чтобы терроризировать противника.

Действительно, сражения врукопашную уносили не столько жизней, сколько в наши дни, даже если принимать в расчет меньшую численность населения в те времена. Армия в двадцать тысяч человек считалась очень большой. В первый альбигойский крестовый поход отправилась примерно такая армия. Неточности в свидетельствах историков проистекают оттого, что они оценивают численность армии по числу рыцарей. Каждый же рыцарь представлял собой весьма растяжимую боевую единицу, поскольку мог иметь при себе от 4 до 30 человек. При нем состоял экипаж из конных и пеших воинов, частью из его родственников и друзей, и уж во всех случаях – из испытанных вассалов. Будь то оруженосцы или сержанты – эти люди участвовали в бою вместе с рыцарем, и если понятие о воинской дисциплине было в те времена слабовато, то понятие о боевом товариществе между рыцарем и его компаньонами, особенно на севере Франции, имело почти мистическое значение. И часто бойцы, которым цель сражения была абсолютно безразлична, показывали чудеса храбрости, чтобы поддержать репутацию своего сеньора. Рыцари представляли собой воинскую элиту, и мощь армии определялась не столько численностью, сколько качеством этой элиты.

Средневековая война – война подчеркнута аристократическая: боевой единицей считается рыцарь, персонаж, призванный себя не щадить, но и менее других подверженный опасности. Он хорошо защищен доспехами, и стрелы, удары копий и мечей могут градом сыпаться на него, не причиняя особого вреда. Поэт-хронист Амбруаз (Амвросий) описывает, как однажды король Ричард вернулся с поля битвы, настолько утыканный стрелами, что был похож на ежа. Однако при всей легкости этих стрел каждая могла убить человека, не защищенного кольчугой. А кольчуга была дорогой и довольно редкой вещью, предназначенной для элиты. Кольчуга рыцаря покрывала все тело, кольчуга оруженосца была до колен, простой сержант носил тунику из кожаных пластинок, очень плотную, но

не защищавшую от ударов меча. Пешие воины имели право только на длинный полутораметровый щит – защитное снаряжение пехотинца было самым примитивным. Вся тяжесть битвы падала, таким образом, не на самых защищенных рыцарей и их конных компаньонов, а на безымянных воинов, сержантов и пехотинцев, чьи трупы устилали поля сражений и окрестности осажденных городов.

Наряду с регулярными частями – батальонами или небольшими отрядами, за которые лично отвечали рыцари, – средневековая армия располагала вспомогательными войсками, отвечавшими за техническое обеспечение войны. Это были прежде всего профессионалы, специалисты в разных военных ремеслах: лучники, арбалетчики, саперы, минеры, мастера военных машин, наиболее квалифицированные из которых считали свое ремесло бог весть каким почетным и исправно служили тем, кто хорошо платил.

Ниже по военной иерархии стояли рутьеры (армия наемных пехотинцев), самая жестокая сила, какую имели в своем распоряжении полководцы. Рутьеры составляли один из важнейших элементов армии и широко использовались и в регулярных военных действиях, и при осадах. За свою бесчеловечность рутьеры считались как бы вне закона, но тем не менее все имели в них нужду. Если для рыцарей война означала прежде всего возможность прославиться и отстоять свои более или менее возвышенные интересы, то для простого люда она означала рутьерский террор. Ведя речь о средневековой войне, невозможно не сказать о безотчетном ужасе, который вызывало одно только упоминание о рутьере – существе без Бога, вне закона, без прав, без жалости и без страха. Его боялись, как бешеной собаки, и обращались с ним, как с собакой, причем не только неприятель, но и собственные хозяева. Одно его имя служило объяснением всем жестокостям и святотатствам, он воспринимался как живое воплощение ада на земле.

Полчища рутьеров еще не достигли такого масштаба, как в Столетнюю войну, но уже стали бичом общества, и один из главных упреков папы Раймону VI состоял в том, что Раймон нанимал рутьеров для своих междоусобиц. Графу и его вассалам не хватало солдат, и рутьеры составляли большую часть их боеспособных армий. Рутьеры были бандитами, тем более опасными, что они занимались этим ремеслом профессионально, непрерывно шантажируя своих нанимателей-баронов и угрожая напасть на их земли за неуплату жалования в срок. Во время войны они грабили побежденные территории и препирались с регулярной армией из-за добычи, так что зачастую победы завершались потасовками между рыцарями и разбойниками. Армия крестоносцев, хоть и считалась армией Господа, тоже пользовались услугами рутьеров.

Командиры и контингент этих отрядов формировались по большей части из пришлого люда, чужого в тех краях, где велись боевые действия. Во Франции рутьеров чаще всего вербовали среди басков, арагонцев или брабантцев. Но в эпоху, когда битвы, пожары и голод то и дело выбрасывали на большую дорогу парней, полных решимости любой ценой обеспечить свое существование, отряды рутьеров пополнялись горячими головами, мятежниками и искателями приключений со всех краев. Эти босые, оборванные, плохо вооруженные банды, не знающие ни порядка, ни дисциплины и признающие только своих командиров, с военной точки зрения имели два огромных преимущества. Во-первых, они были известны своим абсолютным презрением к смерти. Терять им было нечего, они очертя голову бросались навстречу любой опасности. Во-вторых, никто не корил себя, жертвуя ими. Поэтому именно из них формировали ударные батальоны. У мирного же населения они вызывали безграничный ужас: эти безбожники устраивали оргии в церквах, издевались над образами святых.

Не удовлетворяясь грабежами и насилиями, они резали и мучили просто так, удовольствия ради, развлекались поджариванием детей на медленном огне или расчленением трупов.

Кроме рыцарей вместе со свитой, технических специалистов и наемников всех видов, с армией двигалось множество штатских. За войском везли огромное количество багажа: сундуки с оружием и доспехами, тенты, походные кухни, все необходимое для фортификационных работ и монтажа осадных механизмов. У армии был и свой женский контингент: прачки, починщицы белья, проститутки. Некоторые воины брали с собой в поход жен и даже детей. И, наконец, на переходе крупная армия привлекала толпы бродяг, нищих, любопытных, воришек, разносчиков, жонглеров, короче – обростала массой бесполезного народу, который рассчитывал поживиться за ее счет, а в результате ложился дополнительным бременем на оккупированную страну.

Вот приблизительный состав армии в средневековой кампании. Как бы ни была она малочисленна, одно ее присутствие порождало беспорядок, парализовало движение на дорогах, сеяло панику среди населения и опустошало близлежащие территории, где велись поиски пропитания и фуража.

Война была в принципе скорее осадной, чем полевой, и большую роль в ней играла своего рода артиллерия. Башни и стены городов бомбардировали двух-трехпудовыми каменными ядрами с катапульт дальностью до 400 метров. Смонтированные на деревянных помостах или на вращающихся площадках осадных башен, эти орудия иногда пробивали стены многометровой толщины, не говоря уже о тех разрушениях, которые они производили в осажденном городе, если удавалось соорудить осадные башни выше стен. Тогда под прикрытием артиллерии штурмующая сторона засыпала рвы, а минеры делали подкопы под основания башен. Штурм на одних приставных лестницах редко удавался, проще было сначала разрушить стены. Однако эта работа была долгой и опасной, потому что в этом случае осажденные предпринимали вылазки и сжигали осадные башни, после чего расстреливали противника, потерявшего защиту. Осадная война чаще всего была войной на измор.

Приближение неприятеля заставляло местное население бежать в замки и укрепленные города, прихватив свой скарб и скотину. Города и замки, и без того истощавшие свои средства жизнеобеспечения, получали множество лишних ртов, так что осада приводила к голоду и эпидемиям. С другой стороны, армия, занявшая вражескую территорию, опустошала поля, сжигала урожай и вырубала фруктовые деревья, если то же самое не делал заранее сам неприятель, чтобы заставить агрессора голодать. И те, и другие старались загрязнить колодцы, и поэтому болезни и недороды уносили больше жизней, чем сражения, и в осажденной, и в осаждающей армии. Очень редко армия была способна долго удерживать захваченную территорию.

Мирное население страдало даже больше, чем воюющие армии, прежде всего от голода и от бесчинств рутьеров. Юг, привыкший и к длительным войнам, и к мелким усобицам феодалов, стал страной горожан: большинство пригородов и деревень было укреплено, фермы зависели от замков; при малейшей опасности крестьяне бежали в укрытие. Мы знаем, что графы Тулузские, графы Фуа и виконты Безье находились в состоянии перманентной войны. Эти постоянные сведения счетов почти не отражались на жизни страны: с ними мирились, как с неизбежным злом. Рутьеры, которыми попрекали графа Тулузского, не были так уж многочисленны и опасны, иначе имя графа не стало бы среди населения символом порядка и мира.

Возможно, именно по этой причине угроза крестового похода не особенно встревожила население,

которое было уверено, что сможет защититься. Может, окситанцы рассчитывали не более чем на очередную военную экспедицию, каких они видели десятки, и надеялись отбиться привычными средствами или пересидеть войну, которая, конечно же, не затянется.

Но в начале 1209 года, когда весть о приближении крестоносцев разлетелась по стране, когда первые их отряды двинулись к городам, когда с высоты сторожевых башен часовые замков в долине Роны увидели извивающуюся многокилометровую ленту конных и пеших воинов, а Рона заполнилась лодками, везущими армейский багаж и провизию, – вот тогда окситанцам стало не по себе. Размеры армии их потрясли. «Песнь об альбигойском крестовом походе» повествует, что ничего подобного в стране еще не видели.

Конечно, это свидетельство побежденной стороны, которое еще нужно согласовать с реальностью. Описания хронистов гласят, что вид столь многочисленной армии, спускающейся в долину Роны, произвел на современников чудовищное впечатление. Каким бы ни стал итог войны, уже само по себе присутствие в стране такого количества чужестранных солдат было национальной катастрофой. Издали армия казалась еще опаснее, чем была на самом деле, поскольку, помимо всяких «темных» банд, сопровождавших в походе каждое армейское формирование, вокруг «костяка» крестоносцев роились толпы пилигримов, двинувшихся в поход в надежде заслужить обещанные индульгенции и жаждающих, в наивности своей, поучаствовать в святом деле истребления еретиков. Вековая традиция присутствия в походе штатских пилигримов-крестоносцев, идущая от походов в Святую землю, привела в эти края своеобразных «пилигримов», шедших уже не отвоевывать святыни, а любоваться на костры и участвовать в резне. Эти бесполезные в бою штатские, обуза для армии, придавали ей, однако, устрашающий вид огромной волны захватчиков, захлестнувшей всю землю.

2. Безье

Крестоносцы, которых вел аббат Милон, продвигались очень быстро: выйдя в первых числах июля из Лиона, двенадцатого они были уже в Монтэлимаре. В Валенсе к ним присоединился граф Тулузский – уже с нагрудным крестом – и занял свое место среди знатных баронов, командующих походом. Перед 20-м числом крестоносцы остановились в Монпелье, дружественном, исконно католическом городе в землях короля Арагонского; это был последний привал, где они еще не столкнулись с враждебностью населения.

Другая, менее многочисленная армия, вступила в Лангедок через Кэрс. Ею командовали архиепископ Бордо, епископы Лиможа, Базаса, Кагора и Ажана, граф Овернский и виконт Тюрениский. Армия взяла Кассеней, где захватила и сожгла многих еретиков.

Граф Тулузский уже не был вне закона, крестоносцев ничто не смущало, и легаты определили «врага номер один», первого в списке «погрязших в ереси». Домены виконта Безье давно считались еретическими по преимуществу, а молодой виконт не обладал ни дерзостью, ни двуличием графа Тулузского.

В июле 1209 года Раймон-Роже Тренкавель, виконт Безье и Каркассона, оказался лицом к лицу с армией, «подобной которой никогда не видели», насчитывающей в своих рядах герцога Бургундского, графа Неверского, множество знатных баронов и епископов, его собственного сюзерена графа Тулузского и во главе – всю церковную верхушку. Другой его сюзерен, король Арагона, не решился его поддержать: будучи католиком, он не мог открыто выступить против кампании, затеянной Церковью.

В силу обстоятельств официально объявленный поборником ереси, виконт, увидев неприятеля у дверей, попытался для начала поторговаться. Он отправился в Монпелье оправдаться перед легатами, ссылаясь на свой юный возраст и на то, что не может отвечать за все, что происходило в стране, пока он был ребенком. Ведь он всегда оставался верным католиком и готов покориться Церкви. Словом, чтобы взять подданных под защиту своего имени, он пустил в ход весь обычный арсенал красноречия южных баронов. Его, однако, не стали слушать. Тогда, обреченный на неповиновение, он начал обдумывать план обороны.

Времени на это ему остается очень мало. Огромная армия, за две недели преодолевшая путь от Лиона до Монпелье, находится уже в 15 лье от Безье, первого крупного города в домене Тренкавелей. Путь открыт, а у виконта нет резервов, чтобы остановить или хотя бы задержать авангард крестоносцев. Из Монпелье он едет в Безье, но городу угрожает осада, а виконт как главнокомандующий не имеет права быть отрезанным от остальных своих владений. Он обещает консулам прислать подкрепление, а сам едет готовить оборону Каркассона, столицы домена. С собой он берет нескольких еретиков и евреев Безье.

Жители Безье, пребывавшие «в скорби и печали» по поводу отъезда виконта, спешно готовились к обороне. На это у них было не более трех дней: неприятельская армия уже в пути, а римская дорога от Монпелье до Безье прямая. Гарнизон с помощью населения углубил рвы вокруг городских стен. Стены были толстые, в городе хватало съестных припасов, так что можно было не опасаться долгой осады. Сама необъятность армии (изрядно выросшая в народном воображении) была залогом того, что неприятель быстро снимет осаду – такое количество солдат не прокормить.

21 июля армия крестоносцев подошла к Безье и раскинула шатры вдоль левого берега Орба. Второй сюзерен города, епископ Безье, в свою очередь попытался вести переговоры перед началом военных действий. Рено де Монпейру, недавно назначенный епископом на место убитого в 1205 году Гильома де Рабастана, вернулся из лагеря крестоносцев со следующим предложением: Безье пощадят, если католики выдадут легатам еретиков, список которых он сам же им принесет. Список этот сохранился, в нем 222 имени, некоторые помечены «*val.*» (вальденс). Эти 222 человека (или семьи) – по всей видимости, совершенные или руководители секты из мирян, знать и богатые буржуа.

Епископ собрал городской консулат в соборе и, адресуясь к католикам, изложил суть дела. Еретики в Безье были многочисленны и могущественны, и епископ сомневался, что ему удастся уговорить их бросить своих совершенных. Поэтому он предложил католикам спасти свои жизни, покинув город и оставив в городе еретиков.

Крылась ли в его словах прямая угроза или епископ просто описывал опасности, подстерегающие горожан во время долгой осады и штурмов, – кто знает. Во всяком случае, консулы с негодованием отказались покинуть город и заявили, что «они скорее предпочтут, чтобы их утопили в море», чем бросят своих сограждан, и что «если они так легко будут менять сеньоров, то за них никто не даст и ломаного гроша»[49]. Такой ответ был присягой на верность виконту и городским вольностям. Безье, который дорого заплатил за свою независимость, не собирался сдаваться захватчикам.

Поведение консулов продемонстрировало крестоносцам, что они не могут рассчитывать на католическое население. Окситанские города наперекор всему ставят во главу угла свои национальные интересы. Религиозная война с первых же дней превратится в национальное сопротивление. Люди будут держаться до последнего. Для этой страны Церковь, даже в лице

местных епископов, уже стала инородной властью.

Рено де Монпейру ушел из города, захватив с собой нескольких наиболее ревностных (или наиболее пугливых) католиков. Их не было много, потому что известно, что католические священнослужители остались в городе.

Армия крестоносцев под командованием аббата из Сито начала окружать город, ставить шатры на прибрежном песке и готовиться к штурму. От судьбы Безье зависел успех всего похода: если долгая осада истощит силы крестоносцев, они рискуют в скором времени остаться без съестных припасов и дать Раймону-Роже время на организацию обороны. И эта могучая армия окажется колоссом на глиняных ногах: в командирском корпусе нет согласия (герцог Бургундский и граф Неверский вечно ссорятся между собой), отряды рутеров и пилигримов рискуют превратиться в простые банды грабителей, а рыцари отправились в поход всего на сорок дней. Надо было быстро атаковать. Но, оказавшись лицом к лицу с огромным городом с его мощными стенами, рвами, хорошо защищенными воротами, высокими башнями собора, церковью, замка и домов богатых горожан, крестоносцы были озадачены: а не выйдет ли так, что вся осада окажется пустой демонстрацией силы, заранее обреченной на унизительное поражение? Надо думать, они были обескуражены поведением горожан, у которых был такой вид, будто ничего особенного не произошло. Надежды привести неприятеля в ужас внезапным вторжением рухнули, так же как и надежды на поддержку католиков юга.

22 июля, в день святой Марии Магдалины, в обоих лагерях царило относительное спокойствие: осаждающие еще не подготовились к штурму, осажденные без особого страха с иронией поглядывали на огромные шатры, бивуаки и скопление народу на берегу Орба и вокруг городских стен. Безье, расположенный высоко на холме, мог легко отражать атаки. А крестоносцы, поставившие шатры вблизи стен, вовсе не казались страшными: это были отряды «пилигримов» и разбойников, опасные лишь вблизи, а с высоты земляного вала они выглядели крошечными. Надо полагать, эти полчища расхристанной и оборванной пехоты вызывали скорее презрение, чем ужас, иначе невозможно объяснить то, что произошло дальше, и что Арно-Амори и католические хронисты назовут потом Божественным провидением.

Этот день, ставший решающим в истории Альбигойской войны и одним из самых трагических за весь крестовый поход, начался почти беззаботно. И осажденные, и осаждающие были уверены, что все тяготы и опасности еще впереди. Гарнизон строил оборонительные сооружения. Командиры крестоносцев вместе с рыцарями держали совет относительно штурма, который не предполагался раньше, чем назавтра или послезавтра. Солдаты собирались позавтракать.

Тем временем отряд из гарнизона или из штатских, которые в минуту опасности стали «солдатами на час», предпринял разведочную вылазку за ворота, выходящие на старый мост и отделенные от Орба крутым откосом. Гильом Тюдельский не может сдержать негодования, повествуя о безрассудстве этих людей. Он в подробностях, как очевидец, описывает всю сцену. По его словам выходит, что это была никакая не военная операция, а пустая бравада, чтобы подразнить противника, а потом убраться восвояси.

«О, какую плохую службу сослужил городу тот, кто надоумил их выскочить среди бела дня! – восклицает хронист. – Да и как было знать, что натворят эти олухи, эти дубины стоеросовые: под знаменами из белого полотна они ринулись вперед, голося что есть мочи и думая, что очень

напугают противника, как пугают они птиц на овсяном поле. Они гикали, улюлюкали и размахивали знаменами так, что утро посветлело!»[50].

Безумная неосторожность, пишет автор, так и наводит на мысль о другой похожей армии, армии Менелая, у которого Парис увез Елену, и где «не было французских баронов, отбывающих свой карантен». Наверное, не все французские бароны были в рядах этой армии, а уж горожане, кинувшиеся из ворот, видели перед собой только безоружных людей (остальные находились возле шатров дальше от города). Оба лагеря должны бы были предвидеть подобные мелкие стычки, взаимные насмешки и подначивания, которые часто предваряют серьезные сражения в эпоху, когда в каждом бойце война будила вкус к парадом. Насмешники приблизились к лагерю пилигримов. Один из «французских крестоносцев» выбежал на мост ответить на их подначивания; его тут же убили и сбросили в Орб. Среди пехотинцев, всегда готовых ринуться в бой, нарастало возбуждение. Парад начал превращаться в потасовку.

В этот момент, если следовать Гильому Тюдельскому, вмешался разбойничий король, который и стал кузнецом победы крестоносцев. Разбойничьим королем называли командира французских наемников, он управлял самой свирепой и бесстрашной частью Христова воинства. Быстро оценив выгодность ситуации, он выкликнул сигнал в атаку. Рутьеры бросились вперед, тесня горожан и понуждая их снова взбираться на откос к городским воротам. «Их было, – гласит «Песнь», – более пятнадцати тысяч, все босые, в одних рубахах, вооруженные только палицами». Конечно, пятнадцать тысяч – это сильно сказано, но в любом случае горожан было гораздо меньше, и спастись они могли только бегством. Неистовая толпа улюлюкающих рутьеров быстро вскарабкалась на откос и достигла ворот одновременно с повернувшим назад гарнизоном.

А что было дальше? Гильом Тюдельский пишет, что рутьеры «бросились вокруг города и принялись разрушать стены; одни работали кирками, другие крушили и выламывали ворота...»[51]. Все это трудно приложимо к полуобнаженным и вооруженным одними дубинами людям. Вполне вероятно, что часть рутьеров смогла прорваться в город вместе с отступавшим отрядом. Они снесли ворота, а основная часть армии ринулась на штурм, успев вооружиться надлежащим образом. Стычка была слишком заметной, чтобы не привлечь внимания командиров. Те увидели, что нельзя терять ни минуты, и приказали трубить сигнал к бою. Прежде чем гарнизон успел опомниться, вся армия была уже у стен города, а банды рутьеров бежали по улицам, сея ужас вокруг себя.

Выбитый из колеи более малочисленный гарнизон под командованием Бернара де Сервиана оборонял городские стены, к которым крестоносцы уже приставляли лестницы. Бой на стенах и вокруг стен продолжался не более нескольких часов. Город был захвачен прежде своего падения, поскольку, пока солдаты еще бились на земляных валах, толпа в панике металась по улицам, где уже правили рутьеры, сводя на нет сопротивление солдат. Штурмующие явно превосходили их численностью и были наэлектризованы неожиданной, «чудесной» удачей, которой стал для них штурм.

За несколько мгновений яростная атака превратила относительно спокойный город в город обреченный. «Священники и клир облачились, приказали звонить в колокола, собирались служить мессу по погибшим и похоронить их, но не смогли помешать рутьерам пробраться в церкви раньше себя»[52]. И для католиков, и для еретиков церковь оставалась последним прибежищем. Те, у кого было время выбежать из домов, куда врывались рутьеры, бежали по улицам к городским церквям: к

собору Сен-Назэр, к большой церкви святой Магдалины и церкви святого Иуды, надеясь укрыться там до конца штурма. Разбойники «уже были в домах, хватая все, что попадалось под руку; выбор был большой, каждый мог взять, что захочет. Бандитами овладела стяжательская горячка, смерть не страшила их; они били и резали всех, кто попадался навстречу...»[53].

Боевые крики рыцарей и все еще державшегося гарнизона, стоны раненых и умирающих, торжествующие вопли бандитов и крики ужаса их жертв, похоронный звон всех городских колоколов и лязг оружия должны были сливаться в такую жуткую какофонию, что вряд ли как побежденные, так и победители могли сохранять хладнокровие. Ворота церковей брали с бою, и все, кто там находился, оказывались в ловушке; их резали всех подряд: женщин, грудных детей, священников с распятиями в руках... Петр Сернейский утверждает, что в одной лишь церкви святой Магдалины перерезали более семи тысяч человек. Цифра, несомненно, завышена, церковь не могла вместить столько народу, но разве это важно: каким бы ни было число жертв, все свидетели утверждают, что резня была поголовной, не щадили никого. И если кто и мог спастись, то только бегством или по счастливой случайности, никак не зависящей от победителей.

За несколько часов цветущий Безье превратился в город окровавленных и обезображенных трупов; дома, улицы и церкви стали бандитскими притонами, где, топчась в крови, «победители» делили несметную добычу – добро бесчисленных мертвецов.

«Убивайте всех! Господь узнает своих». Эта знаменитая фраза, которую немец Цезарь Гейстербах приписывает Арно-Амори, – скорее комментарий к событию, чем историческое изречение. Она могла служить девизом любой идеологической войны. Действительно ли у Арно хватило ума придумать такую фразу или он никогда ее не произносил, приказ крестоносцам после взятия Безье был похожим: «Убивайте всех!». И не важно, следовала потом или нет озабоченность относительно загубленных душ.

Гильом Тюдельский в этом пункте более точен: «Французские бароны, клир, миряне, князья и маркизы условились между собой, что в любом замке, не пожелавшем сдаться до штурма, все обитатели будут перебиты и подняты на мечи, дабы страх от увиденного помешал остальным сопротивляться»[54]. Если «французские бароны» действительно приняли такое решение, то их расчет был верен.

Арно-Амори в письме к папе поздравляет его с этой неожиданной чудесной победой и с торжеством объявляет, что «около пяти тысяч человек были подняты на мечи, невзирая на пол и возраст».

Однако важно бы знать, действительно ли намерения крестоносцев были таковы, как пишет Гильом Тюдельский, и не произошло ли все помимо их воли. По обычаю после осады если и «поднимали на мечи», то мужскую часть населения. Женщины и дети не подлежали закону военного времени, и если в неразберихе попадались под руку, то, как правило, не по приказу командиров. Как бы ни был жесток Арно-Амори, он не мог отдать приказ резать священников. С другой стороны, рутьеры, о которых так красочно говорит «Песнь...», что «смерть не страшила их: они били и резали всех, кто попадался навстречу», первыми ворвались в город, а их страсть к убийствам общеизвестна. Резню затеяли они, и вряд ли у них были средства или желание советоваться с командирами крестоносцев. Этим не надо было говорить: «Убивайте всех!», им было наплевать на различия между католиками и еретиками.

Сочувствующие крестоносцам историки пытаются переложить всю ответственность за резню в

Безье на банды грабителей, на «всех этих басков и арагонцев» и других преступников, безбожников по определению, ничего общего не имевших с настоящими крестоносцами. Тогда почему же «Христово воинство» с самого начала пользовалось услугами такой дьявольской подмоги? В конце концов, мы знаем, что в опустошенном Безье, когда пришло время делить добро, рыцари гнали бандитов из города палками. Разбойники не одни ворвались в город и не одни там находились, они были гораздо хуже вооружены и, возможно, их было меньше, чем французских крестоносцев, штурмовавших заграждения, карабкавшихся по лестницам на стены и вовсе не желавших войти в город последними.

Ясно, что гораздо проще прогнать палками пьяную солдатню, чем остановить кровопролитие. Но у крестоносцев были не только палки, и если бы их командиры отдали приказ, ничто не помешало бы им обуздать рутьеров. Также трудно поверить, что они сами не принимали участия в резне, так как маловероятно, что победители стояли сложа руки и не были затянуты в смертельный водоворот, даже если они были люди порядочные.

Не надо при этом забывать о присутствии в «армии Господа» пилигримов, людей из народа, воспламененных настойчивой пропагандой и живущих в наивном и суеверном страхе перед ересью; братьев тех самых пилигримов, что сто лет тому назад принимали за Иерусалим каждый чужеземный город. Этим простодушным Безье вполне мог показаться логовом Дьявола. И если французские рыцари (по всей вероятности и согласно утверждениям хронистов) договорились между собой предоставить свободу действия рутьерам и пилигримам, значит, они знали, что таким образом дело будет сделано лучше и быстрее. И если они ничего не предприняли, чтобы остановить резню, значит, сами ее желали.

«После этого», – говорит «Песнь...», – после этого неправдоподобного неистовства, поскольку, чтобы перебить все население такого города, как Безье, и рутьеры, и самые свирепые фанатики должны были обладать исключительной жадностью крови, – «после этого быдло разбрелось по домам, битком набитым богатствами. Но немного преуспело, ибо, увидав это, французы задохнулись от бешенства: они прогнали разбойников палками, как собак!»[55]. Трудно более беспощадно описать жестокость солдат, которые равнодушны к резне, но «задыхаются от бешенства», увидав, что кто-то посягнул на добычу. Усеяв свой путь тысячами трупов стариков, женщин и детей, эти воины Христовы не замедлили запеть «Тебе, Богу, хвалим...», как запели его после разграбления Иерусалима... Спасти добычу – святое дело. Армия нуждается в средствах для продолжения похода, разбогатеть всегда приятно, а что не дозволено бандиту, то дозволено шевалье. Солдаты удачи упустили добычу и в припадке справедливого гнева подожгли город. Пожары вызвали панику среди грабителей, крестоносцы побросали все ценности и бежали, а основная часть горевших зданий рухнула, погребя под развалинами трупы своих обитателей. «...Сгорел также собор, построенный мэтром Жерве, от жара он дал трещину и раскололся пополам...»[56].

В качестве эпилога этого страшного дня хронист добавляет: «Крестоносцы оставались вблизи города три дня, а на четвертый ушли все, и шевалье и сержанты, ушли из мест, где ничто их больше не задерживало, и их поднятые стяги бились по ветру...»[57]. И еще хронист пишет, что если бы не треклятые бродяги, спалившие город, крестоносцы до конца своих дней оставались бы богачами после такой добычи. Эти рассуждения о завоеванных и утерянных богатствах часто попадают в «Песне...»: право на добычу – исконное право солдата, а бескорыстие не входило в рыцарские

добродетели.

Не будем слишком задерживаться ни на причинах и следствиях разграбления Безье, ни на цифрах (разных согласно разным историкам), ни определять место этого трагического эпизода среди прочих жестокостей войны. То, что мы знаем о жестоких обычаях той эпохи – да и всех остальных эпох, – заставляет предположить а priori, что потерявшая человеческий облик солдатня способна на подобные деяния. Однако факты говорят об обратном: все-таки такие кровопролития, как в Безье, случались достаточно редко, ибо, по-видимому, всякая человеческая жестокость имеет границы. Среди самых кровожадных эпизодов мировой истории такая резня – исключение, и надо было случиться, что именно на долю «священной войны», развязанной главой одного из первых монашеских орденов римской Церкви, выпала «честь» ответственности за такое исключение. Вот факт, значения которого никак нельзя умалить.

Петр Сернейский, апологет крестового похода, находит абсолютно справедливой кару, постигшую еретический город, чьи обитатели 42 года назад (день в день!) убили своего виконта. Его при этом не заботит, что город за это уже был наказан на следующий год, когда в нем перебили всех мужчин. Он доволен этим чудесным совпадением: значит, кара сия была угодна Господу, тем более что роковой день совпал с праздником святой Марии Магдалины, о которой граждане Безье позволяли себе злословить. И именно в церкви святой Марии Магдалины зарезали семь тысяч человек!

Своеобразное понятие о Боге было у этого человека, хотя, должно быть, не он один так рассуждал; он склонен был видеть в бедах, обрушившихся на Безье, признаки катастрофы вселенского масштаба, а не деяния рук человеческих. Так он говорил только о землетрясениях. Быть может, вихрь безумия, просвистевший над головами захватчиков в тот жаркий июльский день, был порожден всеобщей экзальтацией, парализовавшей личную волю самых нестигаемых командиров...

Солдаты, явившиеся в окситанскую землю со свежими силами, не имели оснований впасть в бешенство от тягот долгой осады. Их гнев был, так сказать, «чистым», и скорее всего дело было не только в кровожадности бандитов, с которыми поступили, как с собаками. Главной причиной резни оказалась все-таки ненависть к еретикам, пересилившая в тот день и амбиции, и жажду наживы.

Эта война началась в атмосфере неистовой ненависти, такой ненависти, что противник уже воспринимался не как человек, а как вредное животное, которое следует извести и от которого нет никакого проку, кроме скарба, что останется после него. Ясно, что крестоносцы горько оплакивали ценности, сгоревшие в Безье. И если они не осмелились устроить такую же резню в Каркассоне, то только из страха потерять добычу. Такая ненависть превосходит возможности нашего воображения, и мы пытаемся объяснить поведение крестоносцев толстокожестью солдат, жестокостью тогдашних нравов, военными амбициями полководцев, презрением воинов к буржуа, антипатией северян к южанам... Конечно, все это было, но прежде всего был религиозный энтузиазм, доведенный до белого каления, и страстное желание любой ценой заслужить Господнее прощение.

Своим ошеломляющим броском армия парализовала в стране волю к сопротивлению. Одновременно ей пришлось распрощаться с надеждой завоевать симпатии католиков. Крестовый поход, начавшийся с устрашения, не мог встретить ничего, кроме страха. Едва армия покинула Безье, как в Кабестане ее встретили епископ Беренгер и виконт Эмери с делегацией от Нарбонны. Жители Нарбонны обещали полное и безоговорочное повиновение Церкви и принятие суровых мер против еретиков.

От Кабестана до Каркассона армия шла триумфальным маршем: через шесть дней крестоносцы уже были под стенами Каркассона. Местные сеньоры освобождали им замки и являлись с уверениями в полной покорности. Иные из них покидали жилища и уходили с семьями и вассалами в горы или леса. Таким образом, за несколько дней крестоносцы голыми руками взяли изрядное количество замков.

3. Каркассон

Раймон-Роже Тренкавель решил обороняться. Каркассон был укреплен лучше Безье и считался неприступным. Город, каким мы его знаем теперь, восстановленный Филиппом Красивым и отреставрированный Виоле ле Дюком, дает представление о своем облике начала XIII века. Эта внушительная крепость, раскинувшаяся над долиной Оды, окруженная мощными стенами с тридцатью башнями, не оставляла крестоносцам никакой надежды на повторение «чуда» Безье. Присутствие виконта и его лучших отрядов было гарантией безопасности города. А вот пригороды – Бург с севера и Каstellар с юга – были укреплены недостаточно. К тому же окрестные жители, ища прибежища в городе, пригнали с собой скотину. К виконту в город съехалось множество вассалов.

Даже если считать вместе с пригородами, пространство, занятое Каркассоном, кажется до странного тесным. Уже в мирное время горожане довольствовались очень малым жизненным пространством, и дома строились буквально друг у друга на головах. Если во дворцах еще имелись просторные залы, то люди среднего достатка обитали в крошечных комнатках, а кто победнее – так и всем многочисленным семейством в одной комнате. В военное же время город превращался в настоящий муравейник, и в августе 1209 года в самом Каркассоне находилось более 20 тысяч человек (это не считая лошадей и скотины) на каких-нибудь 9 тысячах квадратных метров, вместе с пригородами – на 15 тысячах.

Крестоносцы появились в Каркассоне 1 августа, вдохновленные предыдущей победой. 3 августа, под пение *Veni Sancte Spiritus*, они бросились на штурм Бурга. Этот пригород, самый слабый из всех, не устоял, несмотря на героизм виконта и защитников. Его население вынуждено было сняться и укрыться в городе. Каstellар, укрепленный лучше, устоял, и штурмующие пустили в ход технику. Минерам удалось подрыть и свалить ту часть стены Каstellара, которую крестоносцы захватили 8 августа. Но на ночь они вернулись восвояси, и виконт отбил пригород и перерезал оставленный в нем гарнизон.

Впервые с начала военных действий крестоносцы натолкнулись на серьезное сопротивление. Юный виконт был отважным воином, и при нем состояла вся местная рыцарская элита. Но сухое и жаркое лето быстро вызвало к жизни привычную спутницу осажденных – жажду. Еды в крепости хватало, а вот воды... Город и окружающие его рвы стали заполняться павшей от жажды скотиной, быстро разлагавшиеся на жаре трупы животных распространяли нестерпимую вонь и тучи черных мух.

Раймон-Роже был вынужден вступить в переговоры с неприятелем. Согласно Гильому Тюдельскому, он попросил посредничества в этом деле у своего сюзерена Педро Арагонского. Пьер действительно пытался ему помочь и совместно со своим шурином графом Тулузским посетил аббата из Сито и просил за молодого Тренкавеля, неповинного в грехах своих подданных. Арно-Амори, которому порядком надоели вечные экивоки и стремление списать все грехи на подданных, оставив невинными сеньоров, ответил оскорбительным ультиматумом: раз виконт невиновен, ему даруют жизнь и возможность уйти из города «сам-тринадцать» (с эскортом в 12 рыцарей по выбору),

оставив остальных обитателей на милость победителей. Педро II отправился в осажденный город и сам передал ультиматум виконту, на что тот ответил, что лучше пусть с него живого снимут кожу. Арагонский король удалился, уязвленный тем, как мало значения придали крестоносцы его вмешательству. Осада продолжалась. Положение осажденных становилось все более опасным.

«...Епископ, приоры, монахи и аббаты вскричали: „Помилуйте! Что же вы медлите?“». Виконт и его свита поднялись на городскую стену и обстреляли неприятеля из арбалетов, многих при этом ранив. В городе укрылось много народа, и целый год к нему было бы не подступиться, ибо башни его были высоки, а стены снабжены амбразурами. Но крестоносцы перекрыли воду, а колодцы пересохли от жары. Больные на улицах и разлагающаяся палая скотина издавали страшное зловоние; то и дело слышались крики женщин и детей, которых заедали мухи»[58].

И здесь произошло событие, имеющее противоречивые толкования и оставшееся без объяснения, хотя по существу это одно из ключевых событий начала крестового похода. Согласно Гильому Пюилоранскому, «виконт Роже, объятый ужасом, предложил следующие условия мира: горожане выйдут из города в чем есть, а сам виконт останется заложником до принятия соглашения». Гильом Тюдельский, напротив, утверждает, что на этот раз виконта пригласил в неприятельский лагерь некий богач (что само по себе не противоречит версии Гильома Пюилоранского). Но когда он, явившись, предстал перед легатом, его не выпустили. Так, по крайней мере, выходит из сдержанного и немного туманного повествования хрониста. Он не говорит ни о каком соглашении или переговорах, а настаивает на том, что «богач» (не названный по имени, но обрисованный как один из родственников виконта) многократно гарантировал его безопасность. Виконт, с которым был эскорт в 100 рыцарей, отправился в шатер графа Неверского, где состоялись переговоры. И с того момента о нем уже нет речи, хотя и сказано, что «он остался в заложниках по доброй воле и что тем самым совершил поступок безумный»[59]. О злоупотреблении доверием прямо не говорится, но достаточно ясно подразумевается.

Можно ли поверить, что виконт, военный, главнокомандующий, снискавший у своих подданных, несмотря на молодость, непререкаемый авторитет, мог добровольно сдать в заложники, обезглавив тем самым движение сопротивления захватчикам? Те немногие уточнения, которыми мы по этому поводу располагаем, заставляют предположить, что чистосердечного виконта просто захватили врасплох, и не было никаких переговоров и соглашений. Возможно, виконт отверг предложенные условия, и ему не дали вернуться в город.

Как только виконта взяли в плен, город остался без лидера и был вынужден капитулировать. В отличие от Безье, жители имели возможность выйти целыми и невредимыми. Каким образом? Согласно анонимному свидетельству – через потайную дверь и по подземному ходу, пользуясь невнимательностью крестоносцев. Это вполне осуществимо для гарнизона, но невозможно для штатского населения – женщин, детей и больных, укрывавшихся в городе. Согласно Гильому Тюдельскому, «они вышли очень быстро, в одних камизах и брэ [60], без верхней одежды. Они (крестоносцы) не дали взять с собой ни пуговицы». Условия капитуляции, должно быть, были следующие: «всех обитателей в обмен на все ценности». Вот откуда выражение «не взять ни пуговицы». В городе насчитывалось великое множество еретиков, и странно, что крестоносцы, чьей непосредственной целью было истребление ереси, не воспользовались удобным случаем их схватить. Некоторые историки заключили, что Раймон-Роже купил жизнь обитателей Каркассона ценой своей

свободы. Более вероятно предположить, что решение о капитуляции было принято оставшимися в городе защитниками. Крестоносцы не вынуждали виконта жертвовать собой: во всех случаях их первой заботой было сберечь город для себя, и единственным способом достичь цели было обещание пощадить его обитателей.

Как только обитатели покинули город (такое впечатление, что они сделали это раньше, чем в него вошли отряды неприятеля), крестоносцы тут же в нем закрепились, стремясь прежде всего избежать набегов пехоты и разбойников, которые могли посягнуть на ценности. Взятие Каркассона окупилось огромной добычей, а армия остро в ней нуждалась.

Первым делом крестоносцы обнаружили запасы провианта, так как осада была недолгой (всего 15 дней). Затем – огромное количество ценностей: золото и серебро в монетах, украшениях и предметах обихода, одежда, ткани, оружие, множество лошадей и мулов. Последнее свидетельствует о том, что положение осажденных не было таким уж отчаянным, и скорее всего имело место предательство по отношению к виконту. Нехватка воды была, видимо, весьма относительной, если большое поголовье лошадей и мулов осталось в живых. Короче говоря, армия надолго обеспечила себя продовольствием, и опасаться его нехватки не приходилось. К тому же она владела теперь солидной, почти не разрушенной крепостью, где можно встать на квартиры.

На этот раз крестоносцы предприняли методичную сортировку имущества, инвентаризировали его и поручили охране вооруженных рыцарей, дабы уберечь от солдатских вожделений. Это добро по праву принадлежит делу Господню, и личное стяжательство недопустимо. Арно-Амори заявил в проповеди: «Мы отдадим эти средства одному из богатых баронов, дабы правил он страной во благо Господа»[61]. Шевалье, отправившиеся в поход в надежде разбогатеть, были разочарованы, и только те, кому было поручено охранять ценности, впоследствии признались в хищении пяти тысяч ливров. Взятие Каркассона было несомненным успехом крестового похода. «Видите, – сказал аббат из Сито, – какое чудо сотворил для вас Царь небесный, и ничто не может устоять перед вами»[62]. Но главной удачей крестоносцев было то, что им удалось захватить Раймона-Роже.

Мы уже видели, что он попал в плен при обстоятельствах, по меньшей мере, неясных. Поскольку крепость капитулировала, то на него, хозяина и главного защитника, вообще больше не обращали внимания, будто он и не существует. С ним поступили не как с человеком, а как с военной добычей. Его бросили в тюрьму, заковали в цепи, и если учесть, что речь шла о первом, после графа Тулузского, сеньоре Лангедока, то подобное обращение можно объяснить только тем, что он сдался отнюдь не по доброй воле.

Если Арно-Амори, человек, начисто лишенный щепетильности, да к тому же еще лицо духовного звания, способен был пренебречь правами знатного барона, то как поверить в то, что светские лидеры крестового похода могли так поступить с равным себе? А уж коли так случилось, то это значит, что, во-первых, северные бароны имели мало уважения к южным, и, во-вторых, на карту было поставлено и так слишком много. Они достаточно далеко зашли по пути преступлений, и теперь им было не до щепетильности (если она была вообще им знакома). И в конце концов из чистого фанатизма они могли счесть, что, будучи еретиком, Раймон-Роже потерял все права своего сословия.

Был ли еретиком виконт Безье? Гильом Тюдельский описывает его так: «От начала мира не существовало рыцаря доблестнее, щедрее, любезнее и приветливее его. Сам он был католиком, и в

том у меня множество свидетельств каноников и клира... Но по причине своей молодости он держался накоротке со всеми, и в его владениях никто его не боялся и все ему доверяли»[63]. Автор «Песни...» не был лично другом виконта и приводит здесь самое распространенное мнение: Раймон-Роже был чрезвычайно популярен. Но поэт писал в те времена, когда нельзя было высказываться открыто, и потому не надо понимать его буквально, когда он выступал гарантом правоверности того, о ком хотел сказать доброе слово. Ведь среди бесчисленного множества персонажей «Песни...» нет ни одного еретика. На самом же деле Раймон-Роже вырос в семье, где издавна поддерживали еретиков. Его отец, Роже II, настолько почитал катаров, что отдал сына на воспитание еретiku Бертрану де Сэссаку. Его мать, Аделаида, сестра графа Тулузского, участвовала в обороне крепости Лаваур от крестоносцев легата Генриха Альбанского. Его тетка, Беатриса Безьерская, вышедшая за графа Тулузского, удалилась в обитель совершенных. Воспитанный в среде, где весьма почитали катарскую Церковь, юный Раймон-Роже был еретиком настолько, насколько им мог быть дворянин его круга: католик по обязанности и катар по сердцу. Это было известно, и катары всегда потом почитали виконта как мученика веры. Отчасти этим и объясняется отсутствие почтения французских баронов к его персоне.

Захватив законного владетеля страны, которую они пришли завоевывать, крестоносцы достигли одной из целей, намеченных папской программой. Теперь они могут дать земле, пораженной ересью, хозяина-католика, и он силой заставит всех почитать истинную религию. В оккупированном Каркассоне легаты, епископы и бароны держали совет, чтобы выбрать достойную кандидатуру, исходя не из добродетелей дворянской доблести, а из добродетели верности христианству.

Положение, в которое попали бароны, было не из легких: при всей их преданности папе и делу Церкви они прекрасно понимали, что папа – не единственный авторитет в вопросах гражданского права. В конце концов, виконт Безье никогда публично не исповедовал ересь. И те, кто могли бы заставить баронов действовать – герцог Бургундский, граф Неверский и граф Сен-Поль, – находились в затруднении и не решались своим авторитетом поддержать предприятие, явно противоречащее законам феодального права.

Однако это им легат от имени папы предложил стать сюзеренами завоеванных земель Тренкавелей. Согласно «Песне...», легаты сначала обратились к Эду Бургундскому, потом к Эрве Неверскому, потом к графу де Сен-Поль.

Минуя этих могущественных вельмож, решить вопрос было нельзя. Все трое отказались один за другим. Хронист приписывает им благородные слова: они приняли крест не для того, чтобы захватывать чужое имущество, им хватает своего. «Не нашлось человека, – говорит Гильом Тюдельский, – который, приняв эту землю, не счел бы себя обесчещенным»[64].

В таком толковании поведения французских баронов переплелись правда и вымысел. Эда II Бургундского, последним явившегося на сбор крестоносцев в Лион, поскольку по дороге он задержался пограбить караван купцов (и если бы не король Франции, не видать бы им своего добра), трудно заподозрить в равнодушии к чужому имуществу. Не надо, правда, забывать, что для феодала купец не ровня, и сеньор, считающий для себя славным обобрать буржуа, будет относиться к имуществу вельможи, как к святыне. Несмотря на статус Раймона-Роже как еретика и поверженного узника, его статус как законного сеньора своей земли не подлежал обсуждению.

Оттого бароны и опасались «бесчестья» Но даже если бы жадность пересилила в них эти опасения,

им не было резона принимать предложение легата. Прежде всего земли виконта состояли в вассальной зависимости от короля Арагонского и графа Тулузского, который, в свою очередь, был вассалом французского короля. Если бароны и не боялись Раймона VI, то они понимали, что предложение, сделанное им, ущемляет интересы арагонского короля. С другой стороны, как говорится о них в «Песне...», – «у них и своего имущества хватает», иными словами, они не в состоянии позволить себе выделить изрядную часть своих рыцарей, чтобы держать в повиновении неприятельские земли размером с их собственные домены. Они не желали получить хлопоты вместе с титулом и любоваться потом на свои поверженные знамена и перерезанные гарнизоны. Владения, которые им предлагали, еще не были завоеваны; это предстояло сделать. В общем, то ли из осторожности, то ли из щепетильности, все три знатных барона отказались от титула виконта Безье и Каркассона. Эти феодалы, несомненно, пошли в крестоносцы не по политическим соображениям. Никто из них не собирался ни в 1209 году, ни потом добиваться прав на завоеванные территории. Тогда Арно-Амори перенес свой выбор на кандидата, пусть менее богатого и знатного, но зато более заинтересованного в расширении своих владений и, следовательно, более склонного к послушанию. Комиссия в составе двух епископов и четырех шевалье назвала Симона де Монфора, графа Лейсестера. Этот дворянин, прямой вассал короля Франции, владел внушительным фьефом между Парижем и Дре, простиравшимся от замка Шеврез до поймы Сены, и имел многочисленных вассалов среди владетельных сеньоров Иль-де-Франса. В сравнении с герцогом Бургундским или графом Неверским он был мелкой сошкой, но неудачником его назвать нельзя. Он пользовался известностью: выходец из знатного рода, отличившийся в походе 1194 года в армии Филиппа-Августа, затем в 1199 году во время IV крестового похода. Он был одним из тех, кто отказался идти в наемники к венецианцам и, сражаясь около года в Святой Земле, снискал себе отличную репутацию. В свои 40-45 лет он отличался прямоотой суждений и имел авторитет храброго воина. Во время осады Каркассона он проявил себя как герой: когда штурмовали Кастеллар и крестоносцы вынуждены были отходить, Симон один в сопровождении оруженосца под градом стрел и камней выскочил ко рву, чтобы вытащить раненого [65]. Подобный жест со стороны уже немолодого капитана доказал легатам, что перед ними человек, способный стать руководителем.

Сам Симон де Монфор поначалу тоже отказался от предложения легатов. Но потом, заставив их поклясться, что он в любое время получит надлежащую помощь, согласился. Предосторожность мудрая и необходимая: Симон видел, что бароны взвалили на себя непосильную ношу, и боялся, что, едва будет объявлен новый руководитель, они тут же откажутся от ответственности. Принимая титул, Симон де Монфор не шутил: честь была столь же сомнительна, сколь и опасна.

Наконец, рассчитывая или нет на ведущую роль в перспективе, Симон согласился послужить делу Церкви и стать по этому случаю виконтом Безье и Каркассона. «Избранный» баронами чужестранной армии-победителя, он всего лишь представлял волю сильнейшего и удержаться мог только силой. А громадная армия, посеявшая ужас везде, где она прошла, уже сворачивала шатры. Приближался конец карантена, когда добровольцев ничто больше не удерживает, и они могут вернуться домой в любой день. Легаты это знали, но знал это и неприятель, который, несмотря на террор, понимал, что все эти бароны, рыцари и пилигримы не собираются надолго застревать в Лангедоке. Скорее всего, армия крестоносцев ограничится небольшими гарнизонами.

Симон де Монфор поспешил укрепить свои позиции. Он роздал щедрые подарки тем, на кого мог

рассчитывать в дальнейшем: религиозным братствам и монахам из Сито. Затем он в честь папы издал декрет, поднимающий налог до трех денье с очага.

В новые владения он вступил как триумфатор. После падения Безье и Каркассона замки и города раскрывали ворота и устраивали праздники в честь победителей. Фанжо, Лиму, Альзона, Монреаль, Ломбер были оккупированы, и крестоносцы оставили там гарнизоны. Кастр выдал своих еретиков. Симон спешил получить вассальные клятвы от владельцев замков, виконтов и консулов. Весь район между Безье, Лиму и Кастром официально ему покорился. Он не успевал принимать бесчисленные клятвы в верности, и чтобы успеть погостить в одном, другом и третьем замке, ему разве что крыльев не хватало. Ненадежный триумф; однако, будучи истинным феодалом, Монфор придавал ему значение: он желал увериться в любом проявлении преданности новых подданных, как бы ничтожно оно ни было.

Тем временем армия рассасывалась: граф Тулузский ретировался, как только закончился его карантен, уверив нового виконта в своих лучших чувствах и даже предложив своего сына в мужья одной из дочерей Монфора. Граф Неверский, столь не ладящий с герцогом Бургундским, что «...опасались, как бы они не поубивали друг друга»[66], был в бешенстве, оказавшись под началом Симона, который принимал крест под знаменами герцога Бургундского. По истечении своих сорока дней Эрве IV Неверский покинул крестовый поход.

Герцог Бургундский еще оставался какое-то время, но был обескуражен неудачной осадой Кабарета и тоже уехал. Сеньоры большие и малые, ополчение под командованием епископов, пилигримы-грабители, рутьеры – все покидали страну поодиночке и группами. Индульгенции были получены, и их энтузиазм развеялся. Армия, несколько месяцев с триумфом ломавшая сопротивление не готовой к войне страны, рассеялась как дым, вовсе не думая воспользоваться успехом, который все называли «чудесным»... «Горы здесь были дикие, ущелья узкие, и никто не хотел, чтобы его прикончили»[67]. Кто знает, может, большинство крестоносцев уже отдавало себе отчет, что еретики ничем не отличаются от католиков, и кожа у них того же цвета, а война, хоть и священная, она и есть война. И потом, чтобы заслужить отпущение грехов, достаточно повоевать сорок дней.

К сентябрю 1209 года с Симоном де Монфором осталось всего 26 всадников. Стоит ли говорить, что этого было маловато, чтобы удерживать страну, одна часть которой покорилась из страха перед непобедимой армией, а другая еще не была завоевана. Симон оказался – и не по своей вине – в отчаянном положении. И только страхом, непобедимым и неподконтрольным, пересилившим инстинкт самосохранения, страхом, который внушила местному населению первая волна вторжения крестоносцев, можно объяснить тот факт, что, располагая лишь горсткой людей и имея нерегулярную и слабую поддержку, Монфор умудрился удержаться триумфатором во враждебной к нему стране. Здесь он был обречен править только с позиции силы.

ГЛАВА V

СИМОН де МОНФОР

1. Полководец

За два месяца похода крестоносцы добились таких успехов, что сами не могли их объяснить иначе как вмешательством высшей силы. Но истинная цель похода – изведение ереси – не была достигнута, и, кроме пресловутого «убивайте всех», никакого другого средства к ее достижению не было найдено. Так что и результат получился обратный. Если не считать отдельных случаев, когда

еретиков выдали их сограждане (в Нарбонне и Кастре), крестоносцы еще не встретились с неприятелем, с которым собрались воевать.

Ужас, вызванный крестоносцами, возвел непреодолимую стену между ними и местным населением. Катарские священники укрылись в надежных местах, совершенные сменили свои черные балахоны на платье буржуа или ремесленников, сеньоры либо заявляли о своей преданности католической вере, либо ретировались в горы, и ересь стала еще более недостижимой, чем была год назад. В итоге, как это уже случалось в Безье, крестоносцы решили считать еретической всю страну – не отделяя католиков от еретиков.

Но, отказавшись от воздействия убеждением, Церковь располагала для силового воздействия только военачальником с узурпированным титулом и горсткой солдат. Какое реальное количество человек соответствовало тому, что Петр Сернейский обозначил «около тридцати»? Может, и сотня, но вряд ли больше. Наемников у Симона было мало, потому что он мало платил. Покоренные города и сдавшиеся рыцари поставляли ему воинский контингент, но он был очень ненадежен, так как вербовался либо из страха, либо из корысти. Рассчитывать де Монфор мог только на отряд своих французов.

Этот отряд был крепок, предан душой и телом своему командиру, и составляли его отменные рыцари. Некоторые из них состояли в родстве с Симоном или были его близкими соседями; среди них – Ги де Левис, Бушар де Марли, трое братьев де Пуасси – Амори, Гильом и Робер. Отдельный монолитный отряд составляли нормандцы: Пьер де Сиссей, Роже дез Эссатр, Роже дез Анделис, Симон де Саксон, шампанцы: Алэн де Руси, Рауль д'Аси, Гобер д'Эсиньи, и, наконец, рыцари из других северных провинций Франции или же Англии: Робер де Пикиньи, Гильом де Контрес, Ламбер де Круасси, Юг де Ласси, Готье Лантон. Позже верным помощником Симона станет его брат Ги, вернувшийся ради этого из Святой Земли. Большая часть этой команды держалась во время похода с командиром, многие нашли возле него смерть. На них, так же, как и на Симона де Монфора, легла ответственность за защиту интересов Церкви в Лангедоке. Они были ему не подчиненными, а, скорее, деятельными, разумными соратниками. Как утверждают хронисты, Симон не принимал ни одного решения, не посоветовавшись с баронами. Несмотря на малочисленность, этот отряд был серьезной силой благодаря своему единству и согласованной дисциплине. В победах и поражениях они и дальше будут держаться единым блоком и во всех предприятиях продемонстрируют немалое мужество.

Мужество им было необходимо: против них была вся страна, и прежде всего территории, попавшие в непосредственное подчинение к Симону. А в Разе и Альбигуа было много крепостей, и можно было обороняться. На юге, в горах Арьежа, берёг силы Раймон Роже, граф Фуа, храбрый воин, известный защитник еретиков. На запад простирались земли экс-крестоносца графа Тулузского. Его права были неколебимы, но в союзники он не годился, так как в любую минуту мог превратиться в неприятеля. Единственные настоящие союзники Симона, легаты, не представляли военной силы. Местный клир, воодушевленный победой, поднял голову, но помочь мог только в финансовом отношении, хотя именно прелаты видели в Монфоре защитника их интересов и благополучия. Король Арагонский долго тянул с церемонией вассальной клятвы. Опасаясь продолжения крестового похода, некоторые дали эту клятву, хотя такая поддержка не делала положение Симона де Монфора менее шатким, а силы – менее смехотворными. И все же одной только ненависти, которую он

возбудил, хватило для того, чтобы сделать его исполнителем главной роли в покорении Лангедока и на долгие годы связать все события в этой стране с личностью и деятельностью Симона де Монфора. Каков же был этот человек, которому папа при посредстве легатов доверил защиту Церкви на юге Франции? У Петра Сернейского он – рыцарь без страха и упрека. Гильом Тюдельский описывает его как «барона богатого, доблестного и храброго, отважного и воинственного, опытного и мудрого, щедрого и собой хорошего, деликатного и открытого»[68]. У безымянного историка, продолжателя его труда [69], Симон де Монфор – свирепый и кровожадный тиран. Гильом Пюилоранский хвалит Симона в первые дни похода и журит его впоследствии за жадность и властолюбие. Историки единодушны, признавая его храбрость и колоссальный авторитет, замешанный на страхе и восхищении, которым он пользовался даже среди врагов. Этот человек один стоил целой армии. Он живым вошел в легенду: Иуда Маккавей, бич Божий, он сумел с ничтожными силами подняться до уровня тирана, при одном имени которого склоняли головы. Заслуга, достойная полководца.

Современники представляют его нам как блистательного рыцаря огромного роста, наделенного геркулесовой силой, «превосходно владеющего оружием»; его панегирист, Петр Сернейский, расхваливает в несколько условной манере элегантность и красоту его фигуры, его учтивость, мягкость и скромность, его целомудрие и благоразумие, его пылкость в делах, «неутомимость в достижении цели и всецелую преданность служению Господу»[70].

Когда читаешь историю всех его военных кампаний за 10 лет, прежде всего в нем поражает способность быть одновременно повсюду, молниеносная быстрота решений, расчетливая дерзость атак. Самоотдача этого воина, кажется, превосходит границы возможного. Так было во время осады Каркассона, так будет позже при форсировании Гаронны у Мюрета, когда он будет плавать с берега на берег разлившейся реки, сопровождая инфантерию, и проведет так много дней, пока не переправится последний пехотинец, и только после этого присоединится к основной части армии.

Было много других случаев, описанных как в «Истории»[71], так и в «Песне...», когда командир похода проявлял себя как человек, страстно влюбленный в военное ремесло и преданный своим солдатам. Историки говорят о его суровом нраве, о большой набожности. Он действительно считал себя солдатом Христа, и, свято веруя в это, обвинял Бога в неблагодарности или нерадивости, если ему сопутствовала неудача. Рассказ Петра Сернейского о последней мессе нашего героя кажется цитатой из какой-нибудь благочестивой *chanson de geste*, но это не мешает ему глубоко нас трогать.

Гонцы прискакали звать Монфора на приступ, а он сказал, даже не обернувшись: «Подождите, пока я приобщусь к таинствам и увижу жертву, искупившую наши грехи». И когда новый гонец стал торопить его: «Скорее, бой разгорается, нашим долго не выдержать натиска», граф ответил: «Я не двинусь с места, не узрев Искупителя». Затем простер руки над потиром, прочел «*Nunc dimittis...*»[72] и сказал: «Идемте же, и если придется, умрем за Того, Кто умер за нас»[73]. Эту сцену вполне мог придумать рассказчик, который знал, что Симон и в самом деле шел на смерть. В ней нет ничего неправдоподобного: для солдата бдение перед боем – каждый раз подготовка к смерти. Нельзя сбросить со счетов силу подобной набожности, хотя со стороны такого, как Монфор, она, скорее, оскорбление религии.

Христовым воинам трудно было подыскать себе лучшего полководца.

В 1210 году, после взятия Брама, продержавшегося три дня, Симон де Монфор, захватив гарнизон около ста человек, приказал выколоть им глаза, отрезать носы и верхнюю губу; один глаз оставили

лишь поводырю, и Симон повелел ему вести колонну в Кабарет, дабы посеять ужас среди защитников этого замка.

Можно, конечно, сказать, что подобная же участь постигла и двух французских шевалье, и что чужестранный оккупант, постоянно чувствующий свою слабость, вынужден был прибегать к жестоким мерам, чтобы заставить с собой считаться. Симон де Монфор не изобрел законов войны; изуечение пленных было в средние века испытанным средством устрашения противника.

Мертвые недвижны, и о них скоро забывают. Зато вид человека с выколотыми глазами и отрезанным носом может самых храбрых заставить похолодеть от ужаса. Пленникам рубили руки, ноги, уши... Чаще всего увечьям подвергали рутьеров, за которых некому мстить и которыегодились поэтому для роли пугала. В этой войне, одной из самых жестоких в средние века, в обоих лагерях были и освежеванные живо, и искрошенные в куски, и изуродованные; вера, патриотизм и жажда мести делали законными любые зверства. После падения Безье в армиях, казалось, укоренился дух повального неуважения и пренебрежения к противнику. Война, начатая рыцарями, потеряла облик рыцарской: это была схватка насмерть. Симона де Монфора, не несущего ответственности за резню в Безье, оставили одного во враждебной стране, которая прекрасно помнила первые шаги крестоносцев, и наследство ужаса и ненависти, доставшееся ему вместе с титулом виконта, требовало соответствия. Хотя при всех его неоспоримых командирских качествах и при том, что его смелостью восхищались даже заклятые враги, Симон мог бы найти способ не поднимать такой волны ненависти к себе. Окситанское дворянство вовсе не так уж резко отличалось от любого другого. При всей популярности Раймона-Роже Тренкавеля, в его окружении было достаточно недовольных: мелкие феодалы падки на недовольство. И прояви Симон побольше такта, те, кто принесли ему вассальную клятву в 1209 году, могли бы стать его верными союзниками. Однако в первые годы войны Симоново хамство наплодило больше патриотов, чем мученичество юного виконта.

Очевидно, что Симон просто не мог быть «щедрым»: у него не хватало денег. А с новыми вассалами, которые были не подарки по характеру, ему не доставало терпения. Говорят, после измены монреальского рыцаря Гильома Ката он написал: «Не желаю больше иметь дела с треклятым провансальским племенем!»[74]. Правда, к этому моменту он уже провел в Окситании много лет, и бесконечные измены и предательства тех, кого он считал своими вассалами, довели его до крайности. Но и поначалу он поставил себя как законный и непререкаемый хозяин владений, на которые не имел никаких прав. Он направо и налево раздавал своим рыцарям, аббатам и монашеским орденам имущество «файдитов», то есть дворян, предпочитавших скорее покинуть замки, чем договориться с оккупантами. А вместо того, чтобы особо внимательно отнестись к тем, кто ему все-таки присягнул, он всячески их унижал.

Он мнил себя законодателем и, согласно Памьерскому соглашению, стремился насадить в Лангедоке законы и обычаи Франции, не думая о том, что все это чуждо народу, страстно преданному своим традициям и охраняющему их от малейших посягательств. Но ведь можно же воевать и не считая врагом покоренный народ.

В силу собственной неотесанности и ограниченности, Симон в конце концов стал относиться к крестовому походу как к завоевательной войне, из которой должно извлечь выгоду. А жестокостью своей он навсегда скомпрометировал идею крестового похода.

Жестокостью вынужденной, необходимой и расчетливой. Жестокостью, изумлявшей современников и заставившей даже такого фанатика, как Петр Сернейский, смущенно написать об эпизоде в Бrame, что «благородный граф» сделал это не ради удовольствия, а по необходимости: его противники «...должны были испить чашу, кою они уготовили другим»[75]. Если следовать такому принципу, то неважно, замучить двоих или сто. Чтобы творить такие вещи, надо обладать изначально, глубинной жестокостью.

В Бироне Мартена д'Альгеза, дважды изменившего Симону, привязали к позорному столбу, набросили на него черное покрывало, торжественно лишили рыцарского звания, затем привязали к конскому хвосту и протащили перед строем, а потом то, что от него осталось, вздернули на виселице. Конечно, Мартен д'Альгез, наваррец, командир рутьеров, по военной иерархии заслуживал меньше пиетета, чем местный шевалье. Но жестокость, с которой его покарали, наводит на мысль о том, что человек, отдавший приказ, получил явное удовольствие от этой жуткой церемонии.

В дальнейшем, в ходе войны в защиту веры, Симон будет трижды руководить крупными казнями совершенных. В Минерве он отправится в тюрьму к приговоренным, чтобы убедить их отказаться от ереси. Конечно, главная ответственность за аутодафе лежит на легатах, но Симон их санкционировал. Лидер крестового похода должен был разделять «неистовую радость», которую в Христовых воинах возбуждали эти кошмарные зрелища.

Грабеж, резня, поджоги, систематическое уничтожение посевов, виноградников и стад – все эти старые как мир приемы военной тактики Симон де Монфор широко применял в своем новом домене. Похоже, что именно такая разрушительная политика и помогла ему долго продержаться в Лангедоке. В конце концов главное преступление Монфора заключалось в том, что он был чересчур исправным солдатом: он совершил все, что от него ожидали, и оправдал все надежды своих вдохновителей. Он настолько истощил физические и моральные силы страны, что искоренение ереси стало практически осуществимым.

Нам не представляется возможным на страницах этой работы детально пересказать историю всей кампании Симона де Монфора. Удовлетворимся тем, что проследим ее основные этапы, параллельно с деятельностью его союзников и противников. Пока Симон с энергией, достойной лучшего применения, справлялся со своей задачей завоевателя, папа, стремясь держать руку на пульсе событий, бросил очередной клич к крестовому походу. Легаты изыскивали средства подчинить себе всю страну, а граф Тулузский и южная знать разрабатывали план обороны.

Первые месяцы похода, принесшие Церкви нежданный успех, заставили ее реально оценить и трудности предприятия. Наиболее ощутимым практическим результатом кампании был арест Раймона-Роже Тренкавеля и водворение барона-католика на место виконта Безье. Но законный владетель этих земель был жив, и нельзя было оставлять его в живых слишком долго. 10 ноября 1209 года, после трех месяцев заключения, Раймон-Роже умер от дизентерии. Был ли он отравлен или не выдержал условий, в которых его содержали, нет никаких сомнений в том, что смерть его не была естественной. Тюремщики явно приложили все усилия, чтобы укоротить его жизнь, и очень подозрительна быстрота, с которой им это удалось, ведь виконту было всего 24 года, и к моменту ареста он был полон сил и энергии.

После него остался двухлетний сын. Спустя 10 дней со смерти мужа вдова, Агнесса де Монпелье, заключила с Симоном соглашение, по которому она отказалась от своих и сыновних прав с условием

получения 25000 су за Мельгей и 3000 ливров годовой ренты. Единственным законным владельцем виконтства Безье становился Монфор. Однако король Педро Арагонский не подтвердил прав нового вассала и не спешил принять его присягу. Многие из вассалов Тренкавеля, потрясенные известием о его смерти, восстали и принялись атаковать замки, где Симон оставил гарнизоны послабее. Один из отпавших от оккупанта сеньоров, Гиро де Пепье, желая отомстить за смерть дяди, убитого французским рыцарем, захватил замок Пюисегьер, где Симон оставил двух рыцарей и 50 человек пеших. Когда же Монфор явился отбить замок с виконтом Нарбоннским и ополчением из горожан, ополчение отказалось атаковать и разошлось. В Кастре восставшие жители завладели гарнизоном. За несколько месяцев Симон потерял более 40 замков; казна его была пуста, люди впали в растерянность. Граф Фуа, поначалу державший нейтралитет, отбил у крестоносцев замок Преиксан и пытался взять Фанжо.

В это время папа торжественно подтверждает все полномочия Симона де Монфора и дарует ему награбленное у еретиков имущество.

Перед Симоном поставлена ясная задача: покорить все крепости, контролирующие главные дороги, силой заставить присягнуть крупных феодалов виконтства и не дать противнику упорядочить силы. В начале 1210 года он получил подкрепление: его жена, Алиса де Монморанси, привела с собой несколько сот солдат. Теперь он смог вернуть часть замков, перевешать «предателей», жестоко покарать гарнизон Брама и двинуться на Минерву, одну из крупнейших крепостей, столицу Минервуа. Он ловко использует неприязнь Минервского виконта Гильома к нарбоннцам и заключает с ним союз.

В июне 1210 года ему жадой и голодом удалось сломить сопротивление защитников Минервы. Он начал переговоры о капитуляции с Гильомом, но тут, что очень показательно, вмешались легаты, Тедиз и Арно-Амори, которые стали упрекать Симона в нерешительности и многословии. Монфор как опытный воин полагал, что надо прежде укрепиться на месте, а потом уже целенаправленно начинать расправу с еретиками, и всячески пытался умерить пыл легатов. Арно-Амори прекрасно знал, что в Минерве укрылось много совершенных, и боялся, что Симонова неповоротливость помешает Церкви захватить богатую добычу. В этих переговорах аббат из Сито, не желая показаться еще более жестоким, чем его безжалостный коллега, поскольку «он жаждал смерти врагов Христовых, но не смел выносить смертного приговора, будучи монахом и священнослужителем», пустился на хитрость, разрушившую перемирие. Минерва сдалась на милость победителя, и теперь сохранение жизней обитателей зависело от их покорности Церкви. Находящиеся там еретики должны были выбрать между смертью и отречением.

Петр Сернейский приводит по этому поводу замечание одного из лучших капитанов Монфора, Роберта де Мовуазена. Сей доблестный шевалье не мог смириться с тем, что совершенным предложили выбор. Притворное отречение может быть для них простым средством уйти от наказания, а он не для того принял крест, чтобы миловать еретиков. Аббат из Сито его успокоил: «Не тревожьтесь, я думаю, отрекутся очень немногие»[76]. Аббат Сернейский, дядя историка, и сам Симон де Монфор пытались убедить приговоренных отречься. Ничего не добившись, «они вывели приговоренных из замка, приготовили огромный костер и бросили в него сразу более четырехсот еретиков. По правде говоря, никого из них не надо было тащить, ибо, упорствуя в своих заблуждениях, они сами с радостью бросались в пламя. Спаслись лишь три женщины, которых

вывела из костра одна из аристократок, мать Бушара де Марли, чтобы вернуть их в лоно святой римской Церкви»[77].

Минерве досталось пережить первый большой костер еретиков. Однако в этой войне, развязанной против ереси, сами еретики, казалось, никакой роли не играли; сообщалось, что в таком-то замке их собралось много, и если их обнаруживали, то сжигали. Очевидно, жгли только совершенных, то есть людей, во всеуслышание отрекшихся от католической веры и вызывавших в крестоносцах священный ужас. Эти казни, по желанию и с одобрения Церкви, считались скорыми карательными актами и вершились без суда и следствия на глазах у победоносной фанатичной армии.

Нам трудно представить себе как силу веры, так и силу суеверий этих людей и понять, до какой степени «дух зла», обитавший во врагах Церкви, был для них реальностью. Те, кто телом и душой предался ереси, не считались уже людьми, а были исчадиями ада. Вот откуда взялись жуткие легенды о мерзких оргиях, которым якобы предавались катары. Народное воображение, далеко обгоняя в этом плане представления Церкви, искажало и уродовало окаянных отступников, не умея объяснить их отступничество иначе, как нечеловеческой развращенностью. Вот откуда ликование пилигримов перед кострами: они не преступников карали, а наблюдали, как всеочищающий огонь уничтожал «отродье Дьявола».

Совершенных было мало, а простых верующих – великое множество, и в конце концов для крестоносцев любой, кто поддерживал совершенных или просто их не преследовал, становился потенциальным еретиком. Не говоря уже о тех, что покорялись и клялись в верности Церкви, а сами нападали на воинов Христовых и резали их направо и налево, а потом прятались в свои «орлиные гнезда» и оттуда без конца угрожали крестоносным отрядам, или о тех, что поднимали города и предместья против оккупантов. Короче – не с еретиками надо было бороться, а со всей страной, что им пособничала.

Летом 1210 года прибыл новый контингент крестоносцев. После долгой осады пал мощный замок Термес. Среди осаждавших были епископы Бове и Шартра, граф Понтье, Гильом, архидиакон Парижский, известный своими инженерными талантами, и много пилигримов из Франции и Германии. Осада была тяжелой. «Если кто желал попасть в замок, – говорит Петр Сернейский, – он должен был сначала низвергнуться в бездну, а потом карабкаться к небесам»[78].

Раймон, владетель Термеса, был опытным воином, имел сильный гарнизон и знал в горах все тропинки, смертельно опасные для штурмовавших. В лагере осаждавших кончалось продовольствие, у самого Симона де Монфора «маковой росинки во рту не было». Лето стояло знойное, и многие вновь прибывшие поговаривали о возвращении до окончания карантина. Когда жажда вынудила осажденных начать переговоры, епископ Бове и граф Понтье уже покинули лагерь. Один епископ Шартрский внял мольбам Алисы, жены Монфора, и согласился остаться еще на несколько дней. Проливные дожди наполнили цистерны замка, и оборона продолжалась, в то время как армия осаждавших поредела больше чем вдвое. И только эпидемия, внезапно вспыхнувшая в замке из-за плохой воды, заставила Раймона Термесского со своей свитой тайком, ночью покинуть замок. Его схватили и бросили в тюрьму, где он и умер через несколько лет.

Осада длилась более трех месяцев. Симон вновь был хозяином положения, его престиж вырос, а вот ресурсы живой силы оставались слабыми: подкрепление пилигримов после папской агитации поступало весьма нерегулярно. По Петру Сернейскому выходило, что Господу было угодно занять

как можно больше грешников спасением собственных душ, поэтому и война затянулась на многие годы. Однако очевидно, что спасение собственных душ заботило грешников гораздо сильнее, чем интересы крестового похода. Они шатались, где им заблагорассудится, а Симону приходилось приспособливать планы военной кампании к прихотям ловцов индульгенций.

Эти святоши (такие, как епископ Бове, Филипп де Дре, будущий герой Бувине, который в бою пользовался лишь булавой, не желая из религиозной щепетильности прикоснуться ни к мечу, ни к копьё) исполняли религиозный долг на свой манер, не утруждаясь поинтересоваться при этом, какие же средства необходимы, чтобы действительно искоренить ересь. Кто их знает, может, они рассчитывали подольше иметь еретиков под рукой, чтобы заслужить побольше индульгенций. Но церковная верхушка, и в первую очередь легаты, рассуждавшие более трезво и ясно, прекрасно знали, что кончать с ересью надо не оружием, а расширением политического господства католиков в стране.

Пока же первым сеньором Лангедока оставался граф Тулузский, и в его владениях и владениях его ближайших вассалов, графов Фуа и Коменжа, гнездились основные очаги ереси. Тактика террора, примененная в Безье, привела к тому, что совершенные и их наиболее верные последователи ушли в те районы, где не было облав на еретиков. И если в 1210 году и позже в виконтстве Безье укрывалось еще много совершенных (их взяли около 140 человек в Минерве и возмут более 400 в Лавауре), то края, еще не тронутые войной, превратились в очаги сопротивления катаров. Активность сопротивления возрастала после зверства в Безье пропорционально росту симпатий местного населения к гонимой Церкви.

Чтобы сокрушить ересь, надо было сначала сокрушить графа Тулузского.

2. Граф Тулузский

В сентябре 1209 года легаты Милон и Юг, епископ Рицкий, отправили папе протест против Раймона VI, который, по их словам, не сдержал ни одного из обещаний, данных им Церкви во время процедуры покаяния в Сен-Жиле. Однако обещания эти, в особенности касательно возмещения убытков разрушенным аббатствам и уничтожения укреплений, были трудновыполнимы. Граф сам отправился улаживать свои дела и, посетив Париж, где получил подтверждение королевского сюзеренитета на свои домены, в январе 1210 года прибыл в Рим на аудиенцию к папе.

Милон (вскоре скоропостижно скончавшийся в Монпелье) писал папе по поводу графа: «Не позволяйте этому языкастому ловкачу врать и злословить». Граф и вправду, заверяя Иннокентия III в своей преданности католической вере, жаловался на легатов, что они в личных интересах настраивают папу против него. «Раймон, граф Тулузский (пишет папа архиепископам Нарбонны и Арля и епископу Ажана), явился к нам с жалобами на легатов, которые продолжают его преследовать, хотя он и выполнил большую часть обязательств, наложенных на него мэтром Милоном, нашим доброй памяти нотариусом».

Возможно, папа тоже настороженно принял графа, поскольку Петр Сернейский пишет: «Его святейшество полагал, что доведенный до отчаяния граф способен на еще более грубые и откровенные нападки на Церковь»[79].

Папа, без сомнения, пытался то кнутом, то пряником заполучить графа Тулузского в союзники Церкви. Не исключено, что папа испытывал даже личную симпатию к этому блестящему и образованному аристократу. Но не тот человек был Иннокентий III, чтобы в политике

ориентироваться на личные симпатии. В письмах к епископам и аббату из Сито он трактует свое снисхождение к графу как хитрость, предназначенную усыпить недоверие противника. Как некогда Милона, он отправляет в помощники Арно-Амори мэтра Тедиза и пишет аббату из Сито: «Он (Тедиз) будет приманкой, которую вы запустите в воду, чтобы поймать рыбку, но сделать это надо искусно, хорошо спрятав крючок...» (крючок – это сам аббат из Сито)[80].

Арно-Амори был далек от того, чтобы сдаться. Раз папа предписывает ему позволить графу оправдаться по канону, а в случае отказа тут же его обвинить, значит нельзя давать Раймону возможность оправдаться. «Мэтр Тедиз, человек осторожный и благоразумный, весьма преданный делу Господа, горячо желал найти законное средство не дать графу доказать свою невиновность, прекрасно понимая, что, если позволить графу хитростью или уловками сбросить с себя вину, вся работа Церкви в этой стране пойдет насмарку»[81]. Лучше не скажешь. Это признание в недобросовестности ясно показывает, какую опасность представлял собой граф в глазах легатов.

После трехмесячной отсрочки Раймона призвали для оправдания на совет в Сен-Жиль. Он должен был доказать свою непричастность к ереси и к убийству Пьера де Кастельно. Но поскольку по этим двум пунктам он бы смог оправдаться без труда, его не стали слушать под предлогом, что он не выполнил своих обязательств по другим пунктам, менее важным (не прогнал еретиков со своих земель, не распустил рутьеров, не отменил мостовые и причальные пошлины, за которые ему пеняли). А посему, коли он вероломен в вопросах второстатейных, ему нельзя доверять и в главном. Предлог не выдерживал критики, но в конце концов это и не было важно. Граф выказывал максимум доброй воли, заявлял о полной своей покорности и не просил ничего, кроме суда по всем правилам. Юридически же закон был настолько на его стороне, что сам папа был вынужден это признать, хотя и очень неохотно, написав Филиппу Августу: «Нам известно, что графа не оправдали, но неизвестно, произошло ли это по его вине...».

Раймон пробовал тянуть время и поладить с Симоном де Монфором. В конце января 1211 года он встретился с новым виконтом Нарбонны в присутствии Арагонского короля и епископа Юзе. Педро II пытался взять на себя роль посредника и наконец-то принял присягу Симона. Позднее был заключен брачный договор между его сыном Жаком, четырех лет отроду, и дочерью Симона Амиси, причем Симону доверили воспитание мальчика. В то же самое время король выдал и свою сестру Санси за сына графа Тулузского, Раймона (другая его сестра, Элеонора, была замужем за Раймоном VI, и таким образом Раймон-младший приходился шурином собственному отцу). Педро II пытался задобрить Симона де Монфора, может, надеясь, что до него дойдет, как невыгодно в его положении ссориться с соседями. Он выказывал всяческое расположение Тулузскому дому, полагая, что своим авторитетом отведет от Раймона VI гнев Церкви. Альбигойская кампания была отнюдь не единственной заботой папы, а Арагонский король слыл в Испании крупнейшим защитником христианства от мавров.

Переговоры продолжались. Граф и не думал отказываться от позиции покорного сына Церкви. Легаты не могли бесконечно препятствовать ему доказывать свою невиновность. Они торопились: до подхода нового подкрепления крестоносцев им во что бы то ни стало надо было сделать так, чтобы Раймон выглядел гонимым по справедливости.

В этом они преуспели в Арле, где собрался Собор, о котором, кстати, не упоминает никто, кроме Гильома Тюдельского. Легаты снова предъявили Раймону ультиматум, где перечислялось, на каких

условиях с него снимут обвинения в преступлениях, в которых сам он объявляет себя неповинным. Условия эти таковы, что некоторые историки склонны считать их плодом воображения хрониста. А хронист сообщает, что Раймон VI с Арагонским королем вынуждены были долго ждать на морозе «под пронизывающим ветром» оглашения грамоты, сочиненной легатами. Возможно ли такое пренебрежение к столь знатным сеньорам? Правда, известно, что Арно-Амори не упускал случая унижить противников. При своем крутом нраве он не был расположен уважать светскую знать.

Граф велел прочесть себе грамоту вслух и сказал королю: «Сир, послушайте, что за странные предписания прислали мне легаты». На что король ответил: «Вот уж кто воистину нуждается в перевоспитании, о Боже Всемогущий!». И это еще было слабо сказано. Грамота предписывала графу распустить рутьеров, не поддерживать евреев и еретиков, причем последних выдать в течение года. Кроме того, граф и его бароны и рыцари могли вкушать только два вида животной пищи, а одеваться им надлежало не в дорогие ткани, а в грубые коричневые плащи. Их обязывали немедленно разрушить все свои замки и крепости и отныне жить не в городах, а в деревнях, «как мужлань». Они не имели права оказывать ни малейшего сопротивления, если их атакуют крестоносцы. Сам же граф должен был отправиться за море в Святую Землю и пребывать там столько, сколько укажут легаты. Нелепость таких условий может навести на мысль, что граф их сам придумал, чтобы как-то обосновать разрыв отношений с легатами. Однако очевидно, что он, наоборот, старался любыми средствами этого разрыва избежать.

Петр Сернейский вообще не упоминает о грамоте, но утверждает, что граф, «веривший, как сарацин, в полет и пение птиц и в прочие предзнаменования», неожиданно уехал, встревоженный дурным сочетанием примет, что очень плохо вяжется с его характером. Панегиристу крестового похода явно не хочется, чтобы легаты оказались повинны во внезапном отъезде графа, хотя все говорит о провокации с их стороны.

Итак, граф, «не попросившись с легатами, уехал в Тулузу с грамотой на руках и повсюду велел ее зачитывать, чтобы ее ясно поняли рыцари, горожане и служащие мессу священники». Это было объявлением войны. Легаты отлучили графа и декретом отобрали его домены в пользу первого же оккупанта (декрет от 6 февраля 1211 года). Они объявили его повинным в прекращении переговоров, и 17 апреля папа подписал отлучение.

И все же граф, вопреки своему гневному порыву, невзирая на то, что он сделал достоянием общества полученное оскорбление, не проявлял ни малейшего стремления воевать. Несомненно, он был миролюбивый сюзерен, и трудно не признать за ним желание избавить народ от военных бед. До последнего момента он пытался удержать порядок, и его добрая воля выводила легатов из себя вернее, чем любая агрессивная политика.

Симон де Монфор продолжал методично овладевать доменами Тренкавелей. Непрístupный замок Кабарет сдался без осады. Владетель Кабарета, Симон, вместе со свежим подкреплением крестоносцев, двинулся на Лаваур. Этот город-крепость, именовавшийся по названию замка, пал после долгой и тяжелой осады. Замок защищал брат владельца Эмери де Монреаль. Гиральда де Лаваур, дочь знаменитой совершенной Бланки де Лорак, одна из знатнейших, весьма уважаемых особ, принадлежала к той когорте катарских вдов, что посвящали себя молитвам и добрым делам. Она больше прославилась своим милосердием, чем преданностью катарской Церкви.

Лаваур героически оборонялся, продержавшись больше двух месяцев, и был взят приступом. Работу

стенбитных машин довершили саперы. Эмери де Монреаль, поначалу присягнувший Монфору, был вместе с 80 рыцарями повешен как предатель. Выстроенная на скорую руку виселица рухнула, и часть этих бедолаг просто перерезали. Дворяне, сдавшиеся против воли и не упускавшие возможности сбросить с себя ярмо захватчика, особенно бесили Симона, который не улавливал разницы между присягами мелких вассалов из Шантелу и Гросрувра и покорностью побежденных, сдавшихся из страха. Эмери де Монреаль, первый сеньор Лорагэ, дважды присягал Симону. Как мы уже говорили, южные дворяне не считали крестоносцев противниками, достойными уважения, и уж если и сдавались, то только в надежде взять хороший реванш. Зато у Симона было свое понятие о лояльности. «Никогда еще в христианском мире не вешали столь знатных баронов и рыцарей»[82]. В Лавауре находились 400 совершенных, мужчин и женщин; по крайней мере можно так предположить, учитывая, что, войдя в город, крестоносцы сожгли 400 еретиков. Это число впечатляет, и надо отдать должное мужеству Гиральды, владельницы Лаваура, не побоявшейся дать убежище совершенным. Она дорого за это заплатила: в нарушение всех законов военного времени и рыцарских обычаев ее отдали на растерзание солдатне, которая выволокла ее из замка и сбросила в колодец, побив камнями. «Это был тяжкий грех и горе, ведь ни один человек не уходил от нее голодным, она привечала всех»[83].

Четыреста еретиков вывели на площадку перед замком, где усердием пилигримов моментально был сложен гигантский костер. Четыреста человек были сожжены «cum ingentil gaudio»[84]. А их мужество мучители трактовали как невероятное упорствование в преступлении. Это был самый большой костер за время крестового похода. После Лаваура (май 1211 г.) и Кассе (месяцем позже), где сожгли 60 еретиков, совершенные перестали скрываться от преследований в замках и находили себе другие убежища.

Надо заметить, что эти люди, всходившие на костры с безмятежностью, которая потрясала даже фанатиков, вовсе не искали мучений и делали все возможное, чтобы избежать смерти. Они не умоляли своих палачей изувечить их, как это делал святой Доминик; они не жаждали мученических венцов; они боролись за жизнь, чтобы иметь возможность продолжать подвижничество. И, попав в руки врагов, оказавшись перед выбором: отречение или смерть, они до конца держали все обещания, данные ими в день посвящения в Церковь чистых. При других обстоятельствах они проявляли чудеса изобретательности в искусстве прятаться и пугать преследователей, что, казалось бы, доказывает несостоятельность обвинений их в склонности к самоубийствам. Крестовый поход давал им для этого уйму возможностей, но совершенные ни разу ими не воспользовались. Около 600 совершенных, заживо сожженных в Минерве, Лавауре и Кассе, включали в себя руководителей, движущую силу Церкви катаров. Их имена нигде не упомянуты. Известно, что некоторые из тех, что были противниками святого Доминика на религиозных диспутах, пережили первые 10 лет крестового похода. Из них известны Сикар Селлерье, Гийаберт де Кастр, Бенуа де Термес, Пьер Изарн, Раймон Эгюйер. Ни один документ не сообщает нам, были ли епископы среди сожженных в Минерве и Лавауре. Возможно, что вожди этой мощной, организованной Церкви искали иных мест для укрытия. Укрепленные замки, со всех сторон просматривающиеся неприятелем, в любой момент могли превратиться в западню.

Ясно, почему легаты настаивали, что, буде граф Тулузский оправдается, «все усилия в этой стране пойдут прахом»; и вот почему Милон писал папе: «Если граф добьется от Вас возвращения своих

замков... все, что сделано ради мира в Лангедоке, будет сведено на нет. Лучше уж было не начинать предприятия, чем завершить его подобным образом». Они знали, что противная Церковь, возбужденная опасностью, более чем когда-либо готовая к борьбе, переместилась в Тулузские земли, а кровь мучеников и растущая непопулярность крестоносцев подняли ее престиж на небывалую высоту.

О деятельности катарской Церкви в этот период у нас мало сведений. В документах Инквизиции попадаются признания присутствовавших на собраниях об обрядах *consolamentum*, трапезах под председательством совершенных в 1215 году... и все – в окрестностях Фанжо, как раз там, где был центр проповедничества святого Доминика. Хронисты того времени не рассказывают, каким образом катарские епископы сносились со своими диоцезами, о чем проповедовали, как боролись с преследованиями католической Церкви. Признания, вырванные инквизиторами, дают лишь беглое представление об их деятельности: их видели, их слушали, иногда помогали. И это все...

Возможно, они вдохновляли свою паству на защиту от крестоносцев, хотя нигде им не были вменены в вину подстрекательские речи. Никаких сведений об их знаменитом красноречии не просочилось в судебные отчеты. Либо их слушатели умели молчать, либо судьи не сочли нужным об этом упоминать.

Нет сведений о том, что совершенные как-то проявляли себя в многочисленных восстаниях, без конца вспыхивавших по всей стране. Не было среди них ни Жанны д'Арк, ни Савонаролы. К этим борцам, которых так страшилась Церковь, целиком применимы слова пророка Исая: «Не возопиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит...».

Никто из этих людей, с их огромным авторитетом и влиянием на души верующих, не пытался поднять знамя своей Церкви против ненавистных католиков и ради мести повести толпу в контрпоход. Можно только удивляться силе духа этих пацифистов, оставшихся при таком искушении верными чистоте своего призвания. Вовсе не из страха или недостатка силы они избрали для себя в кровавой драме крестового похода роль жертвы. Они знали, что их сила – не от мира сего.

Враги всякого насилия, они могли сражаться лишь духовным оружием, чем резко отличались от своих противников, у которых так смешались понятия светского и духовного, что мало кто мог их различить. Борьба была слишком неравной, и в тот час, когда Арно-Амори объявил себя духовной силой, а святой Доминик, поменяв благословение на палку, превратился в костровых дел мастера, Церковь катаров стала на юге Франции единственной истинной Церковью, и совершенные, почитаемые наравне со святыми, могли быть уверены в сочувствии всей страны.

В эти лихие годы Гийаберт де Кастр, «старший сын» епископа Тулузы, а впоследствии и сам епископ, без усталости колесил по всему диоцезу, проповедовал, рукополагал новых совершенных. Менее известные проповедники еще легче могли передвигаться и осуществлять свою апостольскую деятельность. Их никогда не выдавали. Местные шевалье почитали за честь их сопровождать и защищать, горожане прятали их в своих домах, а ремесленники и простолюдинки служили им гонцами и связными.

Без полного завоевания «еретической» территории крестовый поход не мог добиться успеха. Легаты слишком хорошо знали своих противников и не имели на их счет никаких иллюзий. «Ради мира в Лангедоке» нужна была война не на жизнь, а на смерть, и эти «миротворцы» отводили все возражения графа Тулузского, который и после отлучения продолжал настаивать на полюбовных

соглашениях. Симон де Монфор вторгся в тулузские земли в июне 1211 года, и костер в Кассе ознаменовал собой новый этап священной войны. Столь безвыходно было положение, в которое загнала себя Церковь, что каждая победа оборачивалась моральным поражением. Сердца тех, кого она хотела вернуть в свою веру, отворачивались от нее.

Граф затворился в Тулузе. Огромный город, сердце края, очаг всего окситанского сопротивления, уже давно находился под пристальным наблюдением легатов. Неспроста, предлагая им свои условия мира, Раймон был готов отдать всю страну, кроме Тулузы. Пока он хозяин Тулузы – он хозяин страны, которая хоть и под оккупацией, а все равно объединена вокруг своей столицы и законного сюзерена. Тогда на Тулузу двинулся Симон де Монфор.

Крестовый поход располагал на месте страшным союзником. Епископ Фульк не только был сторонником самых жестоких и радикальных мер; этот честолюбец рвался занять в городе и епископстве столь же почетное место, какое по праву занимал отлученный граф. На протяжении всего крестового похода он вел себя так, будто Тулуза принадлежала только ему, и он один был хозяином и тел, и душ ее жителей. Фанатизм его был всем известен; он открыто поддерживал миссию святого Доминика, после 1209 года создал в своем диоцезе центр католического проповедничества и прославился особым рвением в розыске и преследовании еретиков.

Тулуза, огромный город, где еретики пользовались таким почетом, что временами можно было видеть, как шевалье спешил среди улицы, чтобы поприветствовать катарского епископа (как поступил, к примеру, Оливье де Кюк в 1203 году, встретив епископа Гаусельма), насчитывала также и много католиков. Совсем как в больших итальянских городах того времени, в Тулузе было множество подспудных клановых распрей, не приводивших ни к чему серьезному, но без конца заставлявших соперничающие кланы примыкать то к партии графа, то к партии консулата, то к епископской партии. В своей стране Тулуза играла ту же роль, что несколькими веками позже будет играть во Франции Париж: более чем город, целый мир, символ, центр притяжения провинций, их голова и сердце. Здесь были представлены все течения и движения, и граждане пользовались неограниченными свободами. В первое время после назначения епископом Фульк Марсельский с трудом добивался внимания новых прихожан, но, будучи человеком энергичным и красноречивым, он быстро сплотил вокруг себя католическое население и спустя 5 лет после назначения уже представлял в Тулузе реальную силу, основанную не на епископском мандате, а исключительно на личном авторитете.

«Епископ Фульк (пишет Гильом Пюилоранский), который по благородству своего сердца всячески ратовал за допуск граждан Тулузы к индульгенциям, дарованным чужестранцам (то есть крестоносцам), решил привлечь внимание к делу Церкви благочестивым начинанием»[85]. Под благочестивым начинанием имелось в виду военизированное братство католиков, занимавшихся деятельностью откровенно террористической. Члены этого братства, поименованного Белым (они носили на груди белые кресты), свирепствовали по отношению к ростовщикам (сиречь – евреям) и еретикам и разрушали их дома «после предварительного грабежа». Жертвы этих погромов оборонялись, сооружая бойницы в стенах домов. «И с этих пор, – пишет историк, – в городе царил раздор». Тут же сформировалось другое братство, призванное бороться с Белым и потому поименованное Черным. «Всякий день случались стычки с оружием в руках, с развернутыми знаменами и даже с участием кавалерии. Посредством епископа, своего слуги, Господь снизошел,

чтобы посеять между ними не худой мир, но добрую ссору»[86].

Этот епископ, сумевший сколотить из членов своего Братства ополченческий отряд около 500 человек и сражавшийся во главе его под Лавауром на стороне крестоносцев, был по-своему популярен, несмотря на открытое противостояние графу. Его люди шли в бой, распевая благочестивые сирвенты, сложенные им по этому случаю.

Братство фанатиков создало в городе атмосферу настоящей гражданской войны. С самого начала епископ стал открытым врагом графа, упрекая его за излишнюю терпимость к еретикам. После того, как графа вновь отлучили, он начал подстрекать граждан к неповиновению. По всей видимости, епископ уже считал хозяином города себя.

Графу, подвергавшемуся набегам на собственных территориях и жившему под постоянной угрозой осады, вовсе не нужен был под боком такой противник. И в тот день, когда Фульк настолько обнаглел, что стал демонстративно прогуливаться за воротами города, заявив, что присутствие отлученного мешает ему исполнять обязанности священнослужителя, граф велел ему передать, «чтобы он убирался из Тулузы и из графского домена». Фульк неустрашимо парировал: «Не граф Тулузский сделал меня епископом и не он назначил меня в этот город; меня привело сюда христианское смирение, а не княжеская воля, и я не уйду по княжеской воле. Пусть только явится, если посмеет: я готов получить нож и испить до дна чашу страдания, дабы достичь благословенного величия. Пусть явится тиран со своими солдатами и при оружии, я буду, один и безоружен, ждать атаки; я не боюсь этого человека, что бы он со мной ни сделал»[87].

Глава Белого братства наверняка не был ни одинок, ни безоружен, а Раймон VI вовсе не желал брать на себя ответственность еще и за убийство епископа. Таким образом, разглагольствования склонного к театральности Фулька были не более чем бравадой. Через несколько дней, впустую прождав мучений или хотя бы провокаций и почувствовав, что ему графа не пересилить, он покинул город и отправился в лагерь крестоносцев.

Как видим, Тулуза вовсе не была городом еретиков; католики там обладали силой и могуществом. Годом раньше консулы отправились вместе с графом в Рим, чтобы выхлопотать у папы снятие запрета, наложенного на город. Тулузцы пытались помириться с епископом; Фульк ответил ультиматумом: они должны отказаться от своего отлученного сеньора и прогнать его из города, иначе Тулуза будет считаться отпавшей от Церкви. Условия Фулька были отвергнуты, и он приказал клиру босиком покинуть город и унести с собой все Святые Дары. Запрет снова был наложен на Тулузу, и она сделалась еретической столицей, обреченной мечам Христовых воинов.

Симон де Монфор тут же осадил Тулузу с подкреплением крестоносцев, среди которых были граф де Бар, граф де Шалон и множество немцев. Война Тулузе была уже объявлена: Монфор взял несколько окрестных замков, сжег 60 еретиков в Кассе, добился капитуляции родного брата графа, Бодуэна, который после яростного сопротивления вынужден был перейти во вражеский лагерь. Со свежими силами, приведенными графом де Баром, Симон почувствовал, что способен наконец осадить Тулузу. Однако быстро понял свою ошибку и после 12 дней снял осаду. У крестоносцев кончался карантен и ощущалась нехватка продовольствия.

Это поражение, вполне предсказуемое и извинительное с точки зрения стратегии, нанесло урон престижу Симона, доселе бывший везде триумфатором, он вынужден был отступить перед Тулузой. Среди окситанского рыцарства и городского ополчения пошли разговоры, что враг не так уж

непобедим. Ветер надежды задул над страной. Теперь уже Симон не мог так просто осаждать замки один за другим; его самого атаковали со всех сторон, в одночасье «предавали» все новые вассалы, и он без устали метался от Памьера до Кагора, от Ажене до Альбижуа, одновременно и охотник, и дичь, часто отверженный, но ни разу не поверженный.

Тулузская неудача толкнула крестоносцев к владениям графа Фуа, где они нагнали страху: сожгли Отерив, поразорили замки, спалили предместья и вытоптали виноградники. Ничего не добившись в Фуа, они двинулись на Кагор; здесь Симон узнал, что граф Фуа взял в плен его лучших компаньонов: Ламбера де Тюри (де Круасси) и Готье Лангтона. Он в спешке вернулся в Памьер, а там ему сообщили, что жители Пюилорана призвали своего прежнего сеньора и осадили в замковой башне оставленный там гарнизон. Симон помчался в Пюилоран, затем наконец вернулся в Каркассон.

Тем временем граф Тулузский собрался с силами и вместе с графом Фуа и двумя тысячами басков, присланных английским королем, перешел к атаке и начал готовить осаду противника. Симон, которого собственные успехи заставили оценить риск осажденного, бросился в Кастельнодари, «наиболее слабый из замков», плохо укрепленный, да к тому же недавно спаленный графом: слишком хорошая система укреплений мешала как штурмовавшему проникнуть в замок, так и осажденным из него выбраться. Обложенный в Кастельнодари силами, намного превосходящими его собственные, Симон то уходил, то возвращался, то посылал гонцов за помощью, то давал сражение в открытом поле, наголову разбивая отряды графа Фуа (несмотря на беспримерное мужество его самого и его сына Роже-Бернара). Обескураженный таким сопротивлением, неприятель в конце концов ретировался. Как бы мужественно ни оборонялись крестоносцы, до победы было далеко: те, у кого Симон просил помощи, не откликнулись на его призыв. Нарбоннцы соглашались явиться только под командованием своего виконта Эмери, который, однако, помочь отказался.

Гильом Кат, монреальский шевалье, выполнил поручение и собрал людей, но драться намеревался против крестоносцев. Мартин д'Альгез, командир рутьеров, бежал посреди боя и увел свои отряды, мотивируя это плохой дисциплиной солдат. Стало ясно, что Монфор не может рассчитывать ни на кого, кроме своих французов, да на подмогу чужестранцев. Графы Фуа и Тулузы представили кампанию под Кастельнодари как свою победу, все занятые крестоносцами замки открывали им ворота, резали гарнизоны и чествовали освободителей. Графские отряды, менее организованные и однородные, чем элитная гвардия Симона, но зато превосходившие ее численностью и сильные поддержкой местного населения, гнали противника по пятам, но никогда не бывали ни в выигрыше, ни в проигрыше.

Затем, весной 1212 года, с прибытием нового контингента крестоносцев с севера, ситуация изменилась, и Симон де Монфор приободрился. Ближе к Пасхе он начал один за другим снова отвоевывать замки.

Несмотря на многочисленность пилигримов, среди которых можно было видеть архиепископа Руанского, епископа Лионского, архидиакона Парижского; немцев из Саксонии, Вестфалии и Фрисландии; графов Берга и Юллерса; Энгельберта, прево Кельнского собора и Леопольда IV Австрийского, крестовый поход все более и более начал принимать облик завоевательной войны в пользу Симона де Монфора. Во главе временно прибывших отрядов Симон двинулся на Ажене (земли английского короля, полученные Раймоном VI в приданое четвертой жены, Жанны Плантагенет), осадил замок Пен д'Ажене, который капитулировал через месяц, 25 июля; взял

Марманду, затем – энергично сопротивлявшейся и тоже павший Муассак. По окончании летней кампании крестоносцы Монфора, опустошив окрестности Тулузы, отправились в Памьер на зимние квартиры. Для Симона и легатов начался новый этап: как и в предшествующие годы, военный талант главы крестового похода и помощь воинствующих пилигримов, которых ему непрерывно посылали с севера, подавили сопротивление на местах. На этот раз результаты были таковы, что Симон мог считать себя хозяином всего Лангедока, неприятеля больше не было. Графы Тулузы и Фуа ретировались во владения Арагонского короля и там готовили реванш. Горожане и сеньоры снова принесли победителю вассальные клятвы, – все, кроме фэйдитов, чье имущество пошло на компенсацию потерь французских рыцарей. Прежних епископов постепенно заменяли на верных исполнителей папской воли. Тулуза пока не сдалась, но Симон рассчитывал явиться туда в начале следующей весны. Ему уже снилось, как он завоюет непокорную столицу. Памьерское уложение гласит, что Монфор тут же объявил себя законным сеньором Лангедока. Он собрал в Памьере ассамблею, что-то вроде Генеральных штатов, куда входили епископы, знать и горожане, но эти больше для виду, ибо епископы даже издали заправляли всем. А вот легатов, напротив, не было. Это говорит о том, что Симон де Монфор искал поддержки у местной Церкви, но стремился освободиться от опеки легатов, норовивших ему все время напомнить, что все победы – заслуга Князя Церкви, и совершены они исключительно в духовных целях. Симон уже почти поссорился с аббатом из Сито, который, будучи избран архиепископом Нарбонны, получил в придачу титул герцога и принял вассальную клятву виконта Эмери.

Согласно уложению, принятому в Памьере, Симон жаловал Церкви значительные материальные преимущества: охрану имущества и привилегий, учреждение налогов и пособий, освобождение от податей, церковный суд над всем клиром и т. д. Но зато – и тут уж проявилось его вполне объяснимое раздражение против аббата из Сито – он не оставил прелатам никаких возможностей править страной. Власть – это его дело и дело его французских рыцарей.

Оказавшись на местах окситанских сеньоров, еретиков или просто лишенных своих владений дворян, компаньоны Симона де Монфора были призваны стать аристократами, правящим классом. Их наделили солидными фьефами, и в ответ они обязались служить своему графу (Монфору) во всех его походах, не отлучаться из страны без его разрешения, не отсутствовать дольше оговоренного срока, в течение 20 лет не принимать в качестве гостей никого, кроме французских шевалье; вдовы или наследницы владетелей замков не могли в течение 6 лет выйти замуж без разрешения графа, исключением мог стать только брак с французом. Наконец, наследники мужского пола наследуют только «согласно законам и обычаям Франции близ Парижа». Таким образом, Симон занялся настоящей колонизацией завоеванных краев, по меньшей мере, устранением местной знати и насаждением французской. Его упорная злоба по отношению к окситанскому рыцарству наконец получила законный выход. Как воин он прежде всего видел в ликвидации местной знати ликвидацию ее военного могущества.

Казалось, он не особенно был озабочен еретиками и не создал никакой организации, призванной их преследовать. Церковь сама справится с этой задачей. Тем не менее, до последней минуты он заявлял с полной искренностью, что сражается за Христово дело.

И, наконец, в Памьерском уложении были предусмотрены некоторые меры, облегчающие положение бедняков и защищающие их от барского произвола. Меры великодушные, но не без

демагогии и, конечно, трудноосуществимые в военное время. Обещания ослабления поборов и упорядочения правосудия были слабой компенсацией за ущерб, нанесенный посевам, за военные налоги и увеличение церковных податей. Как бы там ни было, Симон очень серьезно относился к роли законодателя и, казалось, на века собирался воцариться во враждебной, лишь наполовину покоренной, с трудом удерживаемой стране.

А на самом деле ее законным хозяином все еще оставался граф Тулузский, и в сентябре 1212 года папа писал легатам, вопрошая, почему графа, если вина его доказана, не призовут к оправданию, а если он крепок, то имеют ли они право сместить его в пользу другого. Можно предположить, что это письмо – скорее плод справедливости Иннокентия III, чем дипломатии графа Тулузского, который при посредничестве Арагонского короля пытался дискредитировать крестовый поход в глазах папы. После трех лет заметных военных успехов и видимого подавления сопротивления в стране еретиков папа, казалось, утерять интерес к предприятию, начавшемуся так удачно. Он объявил крестовый поход оконченным, по крайней мере временно, и упрекнул легатов, и прежде всего Симона де Монфора, в излишнем и бесполезном рвении: «Лисы разорили в Провинции (т. е. в Лангедоке) виноградники Господа. Их переловили... Нынче предстоит отразить опасность более грозную...»[88]. Теперь главным врагом крестового похода был не Рай-мон-Роже Тренкавель и не граф Тулузский, а Педро II Арагонский, глава крестового похода против мавров, доблестный победитель в битве Las navas de Tolosa [89], один из виднейших христианских воителей ислама.

Чтобы стать истинными хозяевами Лангедока, Монфору и легатам необходимо было пройти еще один этап. Пока они были далеки от уверенности в победе. Будучи разбит ярым католиком Педро II Арагонским, Симон становился бы уже не более чем узурпатором и авантюристом, и сам папа при всей великой ненависти к ереси вынужден был бы склониться перед свершившимся фактом и предоставить Арагонскому королю самому преследовать еретиков в стране, которую он в этом случае мог взять под свое покровительство.

В январе 1213 года Педро II и не помышлял о военных действиях, полагая, что его авторитета и так достаточно, чтобы внушить почтение и папе, и Монфору. Покрытый славой блистательных побед над маврами, этот доблестный воитель полагал, и не без оснований, что папа должен питать к нему особое расположение. И в момент, когда он вступался за своего шурина графа Тулузского, он никак не мог ожидать, что спустя пять месяцев папа напишет ему: «Моли Бога, чтобы твоя мудрость и благочестие сравнялись с твоим авторитетом! Ты наносишь вред и самому себе, и нам»[90].

Арагонский король, прямой сюзерен виконтов Тренкавелей и частичный – графов Фуа и Коменжа, уже давно считал крестовый поход предприятием, ущемляющим его права. В предыдущем веке графам Тулузским частенько приходилось оберегать свою независимость от посягательств арагонцев: даже в разгар крестового похода вассалы виконта Безье, искавшие помощи у Педро II, колебались, сдавать ли ему замки, и нередко предпочитали сдаться Монфору. Но свирепость и тиранический нрав нового властителя быстро вернули симпатии окситанских сеньоров и горожан к могущественному соседу по ту сторону Пиренеев.

Каковы бы ни были притязания Арагонского короля, он мог считаться спасителем лишь тогда, когда ему удастся выгнать французов. «Жители Каркассона, Безье и Тулузы, – писал позже Яков I, – явились к моему отцу (Педро II) с предложением, что если только он пожелает отвоевать их земли, то сможет стать их полновластным хозяином...»[91]. И правда, уже в 1211 году консулы Тулузы

адресовали королю письменную апелляцию, где они жаловались на разорения, причиненные крестоносцами, и просили его вмешаться и защитить близких соседей: «Если горят соседские стены, это опасно для всех...»[92]. Католик Педро II преследовал и жег еретиков в своих землях. Однако окситанские бароны, консулы и буржуа срочно стали ревностными католиками и клялись, что среди них нет ни одного еретика.

Граф Тулузский вместе со своими вассалами графами Фуа и Коменжа решил разыграть последнюю карту: вмешательство короля ставит их в прямую зависимость от Арагона, но зато они, по крайней мере, смогут освободиться от чужестранного агрессора. Поразмыслив, Педро II принял сторону угнетенного и разоренного Лангедока. Даже если его желание помочь шуринам не было бескорыстным, не надо забывать, что этот феодальный король чувствовал, что притеснениями, которые терпели его вассалы, задета его собственная честь. К тому же семейная и национальная солидарность толкали его на защиту наследства сестер и страны, на языке которой он говорил и чьи поэты приводили его в восторг.

Посольство во главе с епископом Сеговии попыталось втолковать папе, что ересь уже побеждена, а легаты и Симон де Монфор теперь атакуют земли, никогда не бывшие заподозрены в ереси, и пользуются крестовым походом в своих личных захватнических интересах. К тому же, нападая на вассалов Арагонского короля, они мешают ему продолжать крестовый поход против мавров, который уже приносил такие хорошие плоды. И, наконец, занятый собственной войной с неверными, король надеялся, что, если крестовый поход против еретиков приостановят, то он сможет пополнить в Испанию флот крестоносцев, каждый год прибывающий на юг Франции. Боевую мощь этого флота он уже успел оценить по достоинству.

Под впечатлением королевского посольства папа написал Симону де Монфору одно из своих самых суровых писем: «Славный король Арагона попенял нам, что недоволен твоим походом на еретиков. Ты поднял крестоносное оружие против католического населения; ты пролил кровь невинных и вопреки воле графов Фуа и Коменжа и их вассала Гастона Беарнского захватил их земли, хотя жители этих мест вовсе не были заподозрены в ереси... Не желая ни ущемлять его (короля) прав, ни отвращать его от похвальных замыслов, мы приказываем тебе возвратить ему и его вассалам все их владения, кои ты захватил, ибо мы опасаемся, что эта несправедливость повлечет за собой толки относительно того, что ты трудился ради собственной выгоды, а не ради дела веры...»[93].

Пока папа писал свои послания, Арагонский король, приглашенный легатами на Собор в Лавауре как представитель защиты графа Тулузского, сам оказался под угрозой отлучения со стороны Арно-Амори. Из соображений дела Церкви в Лангедоке ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы графа восстановили в правах – ни в принципе, ни фактически. Легаты предпочитали пойти на риск – как бы опасен он ни был – и объявить войну Арагонскому королю.

Почитать их письма, отчеты соборов и хронику Петра Сернейского – так кажется, что само существование Церкви на юге зависело от ликвидации графа Тулузского. Лучше папы и Арагонского короля ориентируясь в ситуации, они знали, что граф, человек на вид миролюбивый, рассудительный и склонный к компромиссам, для Церкви и есть тот самый «лев рыкающий», о котором они пишут в своих посланиях. Тем и объяснялась их ярость, что они знали характер графа и лучше раскусили его, чем большинство историков последующих веков. Этот «покровитель еретиков» твердо решил оставаться таковым до конца, наперекор всему. Поступая так по личной склонности или, вероятнее

всего, из чувства справедливости, Раймон VI для еретиков был гарантом безопасности, надежной опорой. От этого он никогда не отступал. Этот «слабак» оказался изворотливым дипломатом, реалистом, необычайно твердым в своей позиции. Напугать его было трудно. Раймон VI, быть может, как никто другой, понимал, что Церковь – сила практически непобедимая и бороться с ней возможно, только разыгрывая самую преданную покорность. Он не откажется от этой тактики до того дня, когда его подданные-католики вступятся за него вопреки интересам Господа и в ущерб своим правам.

3. Арагонский король

Втавив христианнейшего Арагонского короля в скандальное предприятие, сделавшее его в глазах общественного мнения покровителем еретиков, граф Тулузский не без оснований мог надеяться, что война наконец покажет свое настоящее лицо. «Священная война» против ереси, которая сама по себе уже не интересовала ни одну из воюющих сторон, наконец станет заурядной захватнической войной, развязанной на христианской земле беспардонным авантюристом при поддержке нескольких амбициозных прелатов.

Папа колебался лишь мгновение. Введенный в заблуждение прелатами, которые, надо полагать, не постеснялись сгустить краски себе в оправдание, Иннокентий III резко переменяет позицию и стал журить гордого Педро II, как отбившегося от рук дитя: «Вот указания, которые Твоей Милости предлагается выполнить неукоснительно, иначе... мы будем вынуждены пригрозить тебе божественным неудовольствием и принять против тебя меры, которые нанесут тебе огромный и непоправимый ущерб» (письмо от 21 мая 1213 года).

Педро II, обиженный, может, слегка и утрированно, неблагодарностью папы, которому он всегда служил верой и правдой (и к тому же весьма недовольный, что Иннокентий III отказался дать ход его бракоразводному процессу с Мари де Монпелье), не обратил на угрозы никакого внимания. Он уже начал готовиться к военным действиям, прекрасно зная, что Монфора можно обуздать только силой. В Тулузе, где собрались войска, он получил папское послание, пообещал для виду повиноваться, но даже и не подумал бросить своих.

Силы Арагонского короля намного превосходили силы Монфора, а его военный опыт и мудрость подсказывали ему, что в конце концов побеждает всегда тот, кто прав. «Он собрал, – гласит „Песнь...“, – весь народ своей земли, и войско получилось отменное и большое. Он объявил, что идет на Тулузу сразиться с крестоносцами, опустошившими и разрушившими страну. Граф Тулузский запросил у него пощады, дабы не были его земли выжжены и разорены, ибо сам он никому в мире не делал зла»[94].

Педро II вернулся в Барселону, где собрал войско в тысячу всадников; в кампании приняли участие лучшие воины Арагона и Каталонии. Надо полагать, для короля, которого потом именовали не иначе как «славный», эта война была просто поводом наложить руку на Лангедок; вместе со своими всадниками он шел защищать окситанское рыцарство, униженное французами с севера, свободу своих братьев и дело «*Paage*», т. е. «*courtoisie*» – так на языке «ок» называли дух утонченной светской культуры. Это слово, чей смысл, как и смысл многих других слов, ослабел и стерся с веками, восходит к эпохе высочайших моральных ценностей светского общества. Наивысшим комплиментом прекрасной даме, который мог произнести страстный влюбленный, было это самое слово «*courtoise*», и рыцари у продолжателя Гильома Тюдельского бесчисленное число раз повторяют

выражение «Parage», вкладывая в него божественный смысл.

Песни трубадуров дают нам прекрасное представление об этом настроении умов. Хотел он этого или нет, но король сражался за судьбу цивилизации и национальной традиции. «...Дамы и их возлюбленные вновь обретут потерянную радость», – пел Рамон Мираваль, восхваляя победу Педро II. Напрашивается вопрос, чем же обездолила война и дам, и их возлюбленных? Идет ли речь только о разлученных семьях и о рыцарях, обреченных на изгнание? Под угрозой уничтожения был поставлен весь стиль жизни, где куртуазная любовь, с ее блеском, изысканностью, непостижимой дерзостью и безмерным героизмом, служила символом устремлений жаждущего духовной свободы общества.

Согласно Гильому Пюилоранскому [95], Симон де Монфор накануне битвы при Мюрете перехватил письмо Арагонского короля к одной из знатных тулузианок, в котором король утверждал, что он пришел прогнать французов исключительно из любви к ней. Даже если это письмо, согласно «Истории графов Тулузских» Молена де Сен-Жона, было адресовано одной из сестер короля (король как добрый феодал пекся об интересах своей семьи и не скрывал этого), подобная деталь говорит отнюдь не о фривольности Педро II: согласно куртуазной традиции, для рыцаря было почетно совершить в честь своей дамы какой-нибудь славный подвиг. Даже если предположить, что тайные устремления Арагонского короля не были стопроцентно рыцарскими, нам интересна сама атмосфера, в какой разворачивалась подготовка этой кампании. Как в окружении короля, так и в лагерях его союзников воины сознавали, что идут на борьбу за прекрасный «Parage», за цивилизацию (хотя само это слово – анахронизм) против варварства северных народов. Надо признать, что Симон де Монфор не подал своим противникам никакого повода для лестной оценки моральных качеств французского рыцарства. А вот что было очень важно, так это постоянное присутствие в лагерях варваров представителей католической Церкви.

Когда епископы из свиты Монфора, напуганные внушительным видом армии, готовившейся к маршу против них, попытались вступить с королем в переговоры, он их не принял, заявив, что прелаты с вооруженным эскортом не нуждаются в пропуске. Невозможно было яснее дать им понять, какое презрение внушала ему эта война, непрерывно норовящая извлечь выгоду из своей двусмысленной «святости». Не для того он собирал лучших бойцов и привел к Тулузе цвет своего рыцарства, чтобы потом услышать, что, сражаясь с Симоном де Монфором, он сражается с самим Господом. В это, однако, верили или стремились верить в лагере Симона. Монфор был напуган, поскольку на тот момент – сентябрь 1213 года – он, кроме старой гвардии, располагал только слабым подкреплением, присланным епископами Орлеана и Оксера. А коалиционная армия насчитывала более 2000 всадников да около 50000 набранных в Лангедоке пехотинцев, куда входили и рутьеры, и городское ополчение, в основном тулузцы и монтальбанезцы.

Войдя в Тулузу триумфатором, с помпой и праздником, Педро II, готовый к походу на Монфора, развернул знамена близ Мюрета, «благородного, но слабо укрепленного замка, который обороняли 30 рыцарей и пехотинцы Монфора» (Петр Сернейский). Осада началась 30 августа; Монфор, узнав об этом, примчался во главе своих отрядов. По дороге, сознавая тяжесть ситуации, он остановился в цистерцианском аббатстве и посвятил Богу свой меч: «О Господи! О благословенный Иисусе! Ты выбрал меня, недостойного, продолжить войну. Нынче я кладу оружие на Твой алтарь, чтобы, сражаясь за Тебя, добиться справедливости в ратном деле»[96]. Весьма своевременное изъявление

благочестия: при недостатке веры армии в свои силы необходима была экзальтация, дающая уверенность, что бой пойдет за дело Господне.

Однако, как видно, епископы (Орлеанский, Оксерский и беглый епископ Тулузы Фульк, бывший теперь неотлучно при крестоносцах) не надеялись на чудо и пытались задобрить короля, предварительно еще раз торжественно отлучив врагов (среди которых Арагонский король назван не был). Монфор прервал словопрения, понимая, что они ни к чему не приведут.

12 сентября началась битва. Симон знал, что его армия рискует попасть в окружение, и, оттесненный обратно в замок Мюрет, попытался мощным ударом разделить отряды противника. «...Если мы не можем отодвинуть их шатры, нам остается атаковать прямым броском»[97], – сказал он на военном совете.

Союзная армия надежно укрепила свои шатры на высотках над равниной, километрах в трех от замка, построенного на берегу Гаронны. Раймон VI, хорошо зная неприятеля, предложил подождать атаки в лагере, отразив ее залпами арбалетчиков, а затем контратаковать и окружить противника в замке, где он наверняка быстро капитулирует. Совет был хорош, но ему не последовали. В этой войне, где он, граф Тулузский, был и главным заинтересованным лицом, и главной жертвой, в тот миг, когда он получил возможность взять реванш, его лишили права слова. Родственники короля (в особенности Микель де Луэция) подняли на смех его план, а самого его обвинили в трусости. Уязвленный, Раймон VI ретировался в свой шатер.

Покинув укрепленный лагерь и тем самым потеряв контроль над ситуацией, Педро II помог сбыться обету Симона де Монфора. Король-шевалье желал славного боя, где его армия могла бы померяться силами с непобедимыми французами, которые, как ему казалось, еще не встречали достойного противника. Он хотел сразиться с Симоном в открытом поле, но когда тот ринулся в атаку, первыми навстречу ему бросились отряды графа Фуа и затоптались на месте, не выдержав неистового натиска французов. Тогда в бой вступил со своими арагонцами сам король.

Симон, у которого было всего 900 всадников против 2000, маневрировал с молниеносной быстротой, не давая противнику опомниться и стараясь таким способом сохранять при каждой атаке численное превосходство: он сосредоточил все свои силы на отрядах арагонцев, и теперь две главных силы сшиблись в отчаянной схватке. «Казалось, – скажет потом Раймон VI, – будто целый лес сражался под дождем из дротиков»[98]. Это была невероятная каша, из которой внезапно вылетали копья, взвивались вверх щиты, лошади брыкались, топтали всадников, мечи рубили, кололи, звенели, встретившись со сталью касок, палицы крушили черепа, грохот оружия заглушал воинственные кличи. Это вовсе не было крупное сражение, всего лишь отчаянная схватка двух авангардов. И надо же было случиться, что во главе одного из них оказался король!

Целью Симона де Монфора было как можно скорее настичь короля: двое его рыцарей, Ален де Руси и Флоран де Виль, торжественно поклялись убить короля или умереть. Педро II бросился в кашу очертя голову, выказывая при этом больше храбрости, чем умения. К тому же он перед боем поменялся доспехами с одним из всадников: ему хотелось встретить Симона де Монфора в облике простого рыцаря, полагаясь только на силу оружия.

Педро II достиг 39 лет, он был высок, обладал геркулесовой силой и слыл одним из самых блестящих рыцарей своей страны. Когда Алену де Руси удалось сразу настичь рыцаря в королевских доспехах и опрокинуть его первым же ударом, он вскричал: «Да это не король, король

гораздо лучше держится в седле!». Увидев это, Педро II откликнулся: «Вот он, король!» – и бросился на помощь своему воину. Ален де Руси и Флоран де Виль со своими людьми окружили его со всех сторон и больше уже не выпустили. Вокруг короля завязался яростный бой; и когда он был убит, рядом с ним полегла вся *maunade* (рыцари арагонского дома), не позволяя врагу подойти к телу.

Весть о смерти короля внесла панику в армейские ряды; каталонцы, неожиданно атакованные Монфором с фланга, бросились бежать. Армия графа Тулузского, не получившая сигнала к бою, увидав волны арагонцев и каталонцев, в беспорядке отступавшие и переливавшиеся через позиции, тоже пустилась в бегство.

Пока смятая кавалерия отступала, пехота из тулузского ополчения предприняла попытку штурма замка Мюрет; и в этот миг французская кавалерия, бросив преследовать отступавших, обрушилась на пехоту (а ее было около 40000 человек), и, разделив ее на части, погнала к Гаронне. Река у того берега была глубокая, течение быстрое, и многие из бежавших потонули. Число порубанных и утонувших составило 15-20 тысяч человек, т. е. половину всей пехоты.

Монфор одержал абсолютную победу, и даже более чем победу: он надолго ликвидировал Арагон как политическую силу. Смерть Педро II оставила на троне малолетнего инфанта, который практически был заложником победителя.

Когда кончилась битва, Симон велел отыскать тело короля, которое нашли с большим трудом, т. к. французская пехота уже раздела почти всех убитых. Узнав короля, Симон отдал ему последнюю почесть, спешился, оставив коня и доспехи беднякам, и отправился в церковь возблагодарить Бога. Он не только избавился от могущественнейшего врага, выйдя с минимальными потерями из отчаянно дерзкого предприятия, он победил одного из величайших христианских королей, и никто не посмел обвинить его в убийстве: битва при Мюрете произвела впечатление Божьей кары.

Епископы и клир – и среди них святой Доминик, – собравшись в Мюретской церкви, горячо молились за победу под грохот боя. Увидев, что их молитвы услышаны, они поспешили по всему христианскому миру разнести весть: силы еретиков развеяны, «как ветер развеивает пыль с поверхности Солнца» (Гильом Пюилоранский). Католический король, дерзнувший защищать вероотступников, убит вместе со своей кавалерией, огромная армия в несколько часов уничтожена могучим кулаком крестоносца, чьи потери (о, чудо!) составили всего несколько сержантов и одного всадника! (Явное преувеличение: битва, по многочисленным свидетельствам, была жаркой, и Педро II и его «*maunade*» вряд ли позволили себя перерезать как ягнят.) С другой стороны, силы сражавшихся отрядов графа Фуа, арагонцев и Монфора были равны. Стратегический гений Симона и прежде всего его жестокий приказ уничтожить короля помешали остальной армии вмешаться вовремя, и две трети союзных отрядов покинули поле сражения так и не вступив в бой.

Смерть Арагонского короля повергла весь Лангедок в отчаяние. Освободитель, еще вчера в сверкании оружия шествовавший по стране во главе своей отменной кавалерии, оказался на деле столь уязвимым, что Монфор покончил с ним первым же ударом.

Растерявшиеся вельможные союзники, обвиняя друг друга в предательстве, даже и не помышляли собрать войска для реванша. Испанцы снова ушли за горы, графы Фуа и Коменжа вернулись в свои земли, а граф Тулузский с сыном покинул страну и укрылся в Провансе. Победа при Мюрете оставила Монфору и Церкви страну, еще не покоренную, но деморализованную слишком жестоким крахом великой надежды.

В конечном итоге самую тяжкую дань человеческих жизней заплатила в этом бою Тулуза. Неистовая атака французской конницы на тулузскую пехоту была скорее убийством, чем сражением. Если французы мстили за двух своих рыцарей (Пьер де Сиссей и Роже дез Эссар, старые соратники Монфора, были пленены в Тулузе, и прежде чем прикончить, их жестоко пытали), то Тулуза, «в которой не было дома, где кого-нибудь не оплакивали», никогда не забудет порубанных и утопленных при Мюрете. На другой день после победы Симон не двинулся на столицу. Было ясно, что огромный город, даже отчаявшийся, потерянный, брошенный защитниками, представляет собой если не опасность, то источник серьезных неприятностей для победителя, не имеющего пока сил для встречи с ним.

Епископы вошли в город с Фульком во главе, пытаясь выторговать капитуляцию; консулы пустились в долгие препирательства, обсуждая каждого заложника, и кончили тем, что сдать отказались. Тем временем Монфор переправился через Рону, последовательно и методично заставляя покориться все графские домены и выжидая, когда Тулуза сама свалится ему в руки, как созревший плод.

В течение восемнадцати месяцев, последовавших за поражением южан при Мюрете, Симон де Монфор мог считать, что война окончена. Он редко встречал сопротивление на своем пути и очень легко и быстро его подавлял. Однако он все же наткнулся на постоянную глухую враждебность, не оставлявшую ему никаких иллюзий: Нарбонна захлопнула перед ним ворота, Монпелье тоже, Ним принял его только под угрозой возмездия; в Провансе, куда он направился с намерением оккупировать домены графа Тулузского, знать сдавалась весьма неохотно. Нарбонна подняла восстание, и Симону с помощью крестоносцев, приведенных его шурином Гильомом де Баром, удалось отбить атаку восставших, но взять крепость не удалось, так как вмешался кардинал-легат Пьер де Беневан и добился перемирия.

В Муассаке горожане тоже подняли восстание, и Раймон VI собирался было осадить город, удерживаемый французским гарнизоном, однако отступил при приближении Монфора. Снова выйдя в Руэрг, Ажене, потом Перигор, Симон крушит замки, оказывающие сопротивление, после трех недель осады берет замок Кассней, потом замок Монфор, потом Капденак, потом Северак, неприступную цитадель одной из старейших фамилий Руэрга; граф Родес приносит присягу победителю Мюрета весьма неохотно, ссылаясь на то, что часть его владений принадлежит английскому королю.

Добившись, от Перигора до Прованса, присяги от большинства прямых и непрямых вассалов графа Тулузского, Симон де Монфор сравнялся бы могуществом с самыми именитыми баронами христианского мира, если бы все клятвы верности, которые он получил, были бы ему даны всерьез. История этих кампаний, писанная панегиристами, не заботившимися об истине, выглядит явно приукрашенной. Между тем и авторы «Песни об альбигойском крестовом походе» (вовсе не бывшие друзьями Симона), и письма легатов, папы, французского короля, и прочие свидетельства сходятся в одном: после 1209 года Симон де Монфор не потерпел ни одного поражения, все 5 лет он шел от победы к победе с утомляющим постоянством. Можно представить себе, какое ожесточение охватывало противника перед неизменной удачливостью этого человека. Поддерживал его Бог или Дьявол – в нем ощущалось что-то противоестественное.

Ненависть, которую он возбуждал, росла вместе с его могуществом. Резня гарнизонов стала

редкостью, уж очень отвратительной жестокостью она сопровождалась. Однако, предоставляя французам возможность творить закон по своему усмотрению, народы юга явно рассудили, что ничего не потеряют, если подождут. Что касается вспышек военного неистовства, то о них говорят лишь отдельные указания, единичные факты, как бы случайно просочившиеся в писания хронистов. Официальные документы регистрируют усмирение и покорность, победители пытаются улаживать конфликты дипломатическим путем и делить страну, где они удерживаются лишь в качестве временных оккупантов. Автор «Песни» приписывает Филиппу Августу слова, которых он, может, и не говорил, но которые ясно выражают чаяния южного населения в эти черные годы: «Господа, у меня еще осталась надежда, что графа де Монфора и его брата графа Ги все-таки настигнет смертная кара...».

А пока папство в лице нового легата Пьера де Беневана пыталось организовать захват, и, учитывая растущие притязания Монфора и непримиримую ненависть, которую он повсюду возбуждал, старались по возможности дистанцироваться от этого неуклюжего помощника. С другой стороны, среди епископов было много горячих поклонников Симона, ибо одно его присутствие было гарантом безопасности и материальных благ, которые от прежнего графа они бы никогда не получили, и легаты старались бережно обращаться с единственным из людей, способным защитить права Церкви с оружием в руках. Робер де Курсон, кардинал-легат Франции, утвердил Монфора во владении завоеванными территориями: Альбизуа, Ажене, Руэргом и Керси – землями, косвенно подчиненными французскому королю. Надо заметить, что король не обратил на этот факт никакого внимания: сразу после Бувине у него было полно других забот, и он высказался по этому поводу, лишь когда счел положение Симона достаточно прочным.

Пьер де Беневан в свою очередь заставил подчиниться Церкви законных владельцев земель, дарованных Монфору по праву завоевателя. Раймон-Роже, граф Фуа, Бернар, граф Коменжа, Эмери, виконт Нарбонны, Санш, граф Руссильона, консулы Тулузы и, наконец, сам граф Тулузский явились подтвердить полную покорность легату и Церкви, обещая извести ересь на своих землях, принести покаяние и не трогать более земель, завоеванных крестоносцами (Нарбонна, апрель 1214 года). Граф Тулузский согласился убраться из своих доменов и отречься в пользу сына. Отречение было истинным, поскольку бесконечно преданный отцу Раймон-младший был готов во всем его слушаться.

Граф рассыпался в многочисленных уверениях послушания и покорности в надежде лишить Церковь всех поводов отобрать его владения. И пока Монфор утверждался в роли хозяина Лангедока, Раймон объявил себя законным сеньором провинций, которые он слагал к ногам папы: «Поскольку все мои домены отныне подчинены милосердию и полнейшей власти первосвященного суверена римской Церкви...». Ни он, ни граф Фуа не отступили от тактики объявить Монфора узурпатором и признать суверенитет Церкви.

Кардинал-легат принял уверения в покорности, которые в конце концов подспудно подчеркивали претензии Монфора. Такое смирение, скорее, означало посягательство на права победителя Мюрета, и сторонники Симона, мнение которых, как эхо, повторяет Петр Сернейский, объясняют поведение Пьера де Беневана как святую ложь, призванную усыпить бдительность графа. «*O legati fraus pia! O pietas fraudulenta!*»[99], – восклицает историк без тени иронии. Репризы этого своеобразного католика изобилуют проявлениями такой смачной аморальности. Уж если правители Церкви

расстались со щепетильностью (о чем ясно говорит их поведение), то хоть страх перед сильной личностью у них остался, и они явно полагали, что только Симон способен навредить Церкви из-за их злоупотреблений и ограничить ее мирскую власть из-за собственных амбиций.

В декабре 1213 года Симон устроил брак своего старшего сына Амори с единственной дочерью Андре Бургундского, Беатрис, наследницей Дофине; его политические и династические замыслы становились все более и более очевидны.

И пока его недруги жаловались на него в Рим и заявляли (часто вопреки очевидности), что ни они, ни их владения никогда не были под подозрением в ереси, Монфор и верные ему епископы находили ересь (или, за неимением ереси, рутьеров) повсюду, где им хотелось укрепить свое господство.

Собор в Монпелье в январе 1215 года под председательством Пьера Беневана, в ожидании Вселенского [100] Собора, который должен был состояться в том же году в Риме, предварительно обрисовал ситуацию. «В присутствии архиепископов Нарбонны, Оша, Амбрена, Арля и Экса, двадцати восьми епископов и многочисленных аббатов и клира легат предложил назвать того, кому с большей пользой для славы Господа и нашей святой матери Церкви, ради мира в ее землях, ради уничтожения и полного истребления еретической мерзости, можно пожаловать Тулузу, бывшее владение графа Раймона, а также и другие земли, захваченные крестоносцами»[101]. Прелаты единогласно назвали Симона де Монфора; это единодушие не удивило никого, кроме Петра Сернейского, которому везде чудился перст Божий. Человек, пожалованный Тулузой, не мог самолично присутствовать на Соборе: жители Монпелье (католического, нейтрального города) запретили ему появляться в городе, а когда он в сопровождении легата все-таки сунул туда нос, то встреча была столь «ласковой», что ему пришлось удирать в другие ворота.

Решением Собора граф Тулузский и его сын были лишены владений, однако Симону пожаловали лишь нечеткий титул «владельца и единоличного властителя» (*dominus et monarcha*), что-то вроде папского лейтенанта, призванного исполнять полицейские функции в завоеванных землях. Он рассчитывал на большее. Тем временем граф Тулузский, поддержанный своим шурином, дядюшкой Раймона-младшего, Иоанном Безземельным, дождался Вселенского Собора, чтобы отстоять свои права.

Вот типичный эпизод непрерывной подспудной войны, которая велась в стране за спинами прелатов, занятых законотворчеством, и за спиной Симона, озабоченного укреплением базы своего могущества: в феврале 1214 года Бодуэн Тулузский, брат Раймона VI, связавшийся с Монфором, стал жертвой заговора или, скорее, его подспорьем, причем все исполнители, казалось, принимали участие в предприятии из лучших патриотических побуждений. Однако Бодуэна схватили и выдали аристократы, приносившие честную присягу Монфору. Бодуэн Тулузский получил от Монфора земли Кэрсис, ехал вступать во владение и был схвачен в замке Ольм близ Кагора. Владелец замка выдал его Ратье де Кастельно, предварительно перерезав эскорт. Его перевезли в Монтобан, где он ожидал братнего суда. Предупрежденный брат прибыл тотчас в сопровождении графа Фуа.

«Граф» Бодуэн, предатель своего края, воспитывался при дворе французского короля и был больше французом, чем тулузцем, что объясняет, но не оправдывает его поведение; родившийся во Франции в те времена, когда его отец сильно не ладил с матерью, Констанцией Французской (с которой он вскоре и развелся), он приехал в Тулузу только в 1194 году, после смерти Раймона V, и брат так принял его, что он был вынужден ехать обратно во Францию за документами, подтверждающими,

что он действительно сын графа Тулузского! Братья очень плохо ладили между собой, может быть, из-за большой разницы в возрасте. Бодуэна держали за бедного родственника, и он должен был чувствовать себя при дворе брата очень неловко. Тем не менее, он был доблестным рыцарем и блестяще держал оборону от Монфора замка Монферран. Но, перейдя на сторону неприятеля, он обязан был оставаться до конца верным новым хозяевам.

Как бы там ни было, к своему столь же несчастному, сколь и презренному брату Раймон VI не выказывал ни малейшей жалости: прибыв в Монтобан, он созвал военный совет, где присутствовали граф Фуа и католический рыцарь Бернар де Портелла, и без колебаний приговорил предателя к повешению. Когда Бодуэн, верный католик, попросил перед смертью причаститься святых таинств, брат ответил ему, что он так хорошо сражался за веру, что не нуждается в отпущении грехов. Он может, однако, исповедаться, но не получая причастия. После этого его вывели на луг перед замком и повесили на орешине на глазах у брата. Вешал граф Фуа собственноручно, а ассистировал ему в этом палаческом деле Бернар де Портелла, желавший таким образом отомстить за смерть Арагонского короля.

Эта жестокая история показывает, что Раймон VI, который двумя месяцами позже так униженно преподнесет и себя, и свое имущество Церкви, вовсе не собирался отказываться от борьбы и лишь дожидался своего часа, нанося удар, когда мог его нанести. Хладнокровно казнив брата ради удовлетворения патриотического гнева своих вассалов, он следовал тому же инстинкту политика, который заставил его потом торжественно клясться в преданности Церкви перед папой. Этот человек-загадка умел заставить любить себя, ибо всегда оставался прежде всего верным слугой своей страны, а потом только ее хозяином.

Казнь Бодуэна породила вспышку радости в Лангедоке и вдохновила трубадуров на песни триумфа. Тем не менее Симон де Монфор, рекомендованный Собором в Монпелье в держатели «Тулузы и других земель, принадлежащих графу», не осмеливался пока появиться в Тулузе. Тулуза, ключ к Лангедоку, делала вид, что не замечает нового сюзерена. Симон сможет войти в город только в сопровождении того, чей ранг и авторитет помогут в какой-то мере узаконить покорность, в которой город отказал Монфору.

Филипп Август после Бувине не страшился больше «двух львов», Иоанна Безземельного и германского императора, грозившего его провинциям с севера, и решил наконец поинтересоваться, что творится на юге. Домены графа Тулузского, на которые его власть простиралась лишь номинально, частично составляли земли, зависимые от французской короны. В тот день, когда король решил, что конфликт урегулирован победой Монфора, он задал себе вопрос: а не превысила ли Церковь свои полномочия, передавая его вассалу земли, сюзереном которых являлся он сам? Он остерегся показываться собственной персоной, чтобы его не вынудили поддержать своим авторитетом предприятие, ни выгод, ни трудностей которого он пока не знал. Своего сына он не то чтобы отправил, но позволил ему отбыть, когда тот по прошествии долгого времени изъявил благочестивое желание принять участие в крестовом походе.

Принц Людовик совершал из страны, теоретически не воюющей, «путь пилигрима», а вовсе не военную экспедицию. С ним шло много рыцарей, в частности, графы Сен-Поль, Пуатье, Си, Алансон, и его армия, даже если она и не имела воинственных намерений, должна была произвести впечатление на тех окситанских баронов, которые осмеливались перечить авторитету короля. Но к

тому времени никто и не пытался ему перечить: после Монфора сам Дьявол показался бы добрым хозяином, не то что «мягкий и кроткий» Людовик. Не похоже, чтобы принца, двигавшегося мирным крестовым походом, принимали плохо. Его, скорее, ожидали как арбитра.

Легат старался дать понять Людовику, что он «не может и не должен нанести никакого ущерба»[102] тому, кто навел порядок по решению соборов, учитывая тот факт, что Церковь добилась триумфа своими силами, не испрашивая помощи у французского короля. Благочестивый Людовик и не стал ничего предпринимать против решений Церкви, однако при дальнейших разногласиях принимал сторону Монфора.

Когда случилась распря между Арно-Амори, епископом Нарбонны, и Симоном де Монфором, принц поддержал Симона и велел разрушить стены Нарбонны, невзирая на протесты епископов и консулов. Точно так же он отдал приказ разрушить стены Тулузы, которая, хотя и состояла пока в ведении Церкви, должна была готовиться принять нового хозяина. Папа, узнав, что сын короля Франции во главе армии явился инспектировать территории, завоеванные Церковью, поспешил утвердить за Симоном де Монфором «охрану» этих земель, убоявшись, что Симон в своем несогласии с авторитетом Рима не примет титул графа от своего законного сюзерена.

Наконец, в мае 1215 года принц Людовик, легат и Монфор въехали в Тулузу, из которой убрался граф, не имея ни малейшего желания украсить собой триумф победителя. Принц постановил засыпать рвы и срыть до основания башни и стены, «чтобы никто не мог более обороняться посредством укреплений». Обезоруженная, ставшая открытым городом в полном смысле этого слова, Тулуза не могла не впустить завоевателя, и Монфор водворился в городе, оставив укрепленным лишь Нарбоннский замок, ставший его резиденцией. Принц Людовик уехал по окончании карантина, увезя с собой в качестве трофея этой благочестивой экспедиции половину челюсти святого Винсента, которому поклонялись в Кастре. Чтобы отблагодарить принца за благорасположение, Симон сам взялся получить у кастрских священников эту ценную реликвию, которую ему уступили «во внимание к пользе и продвижению, коего он добился в деле Иисуса Христа» (вторую половину челюсти он припрятал для себя и преподнес в дар церкви в Лионе).

ГЛАВА VI

ОСВЯЩЕНИЕ И КРАХ КРЕСТОВОГО ПОХОДА

1. Латеранский Собор

В ноябре 1215 года папа наконец собрал Вселенский Собор в Латеране. Это была поистине интернациональная конференция, которую торжественно подготавливали более двух лет и в которой приняли участие два патриарха (Константинопольский и Иерусалимский)[103], 71 архиепископ, 410 епископов и 800 аббатов, представлявших Церковь севера и юга, востока и запада; присутствовали также послы и делегаты от венценосных особ и крупных городов. Урегулирование альбигойской проблемы не было главной целью Собора. Папа считал этот вопрос второстепенным и планировал оставить его на потом, когда Собор разберется с проблемами, ради которых съехалось это впечатляющее собрание церковных сановников.

Тем не менее, проблема ереси и способов борьбы с нею оставалась самой жгучей. Из соображений защиты Церкви от этой опасности, степень которой позволили оценить события в Лангедоке, Собор вынес свое определение католической веры и правоверности. Еретики – катары и вальденсы в Лангедоке, на Балканах и в Италии (и в других странах, где они были менее распространены), –

осуждались без малейших послаблений и предавались анафеме. Были определены и утверждены меры борьбы с ними. Церковь вменяла в обязанность светским властям бороться с ересью под страхом отлучения.

Светские власти, осмелившиеся пренебречь этой обязанностью, объявлялись папой отрешенными от прав. Папа был волен отписать их домены любому из католических сеньоров, кто согласится их принять. Вряд ли Собор мог в более категоричной форме одобрить дело крестового похода или более ясно определить теократические настроения Церкви. Если раньше папа не располагал правом лишать имущества королей, то решением Собора он это право получил, провозгласив абсолютный приоритет Церкви в мирских делах.

Открывшийся 11 ноября 1215 года речами папы, Иерусалимского патриарха и епископа Агдского Тедиза (старого легата Лангедока), Собор с самого начала выглядел как замаскированное оправдание деяний Симона де Монфора. 30 ноября вопрос об окончательном урегулировании проблемы Лангедока был обсужден официально. Поскольку это урегулирование имело большое политическое значение, так как затрагивало жизненно важные интересы окситанского клира и баронов, отчужденных от имущества, то вокруг него, параллельно с соборными дискуссиями, резко усилилась дипломатическая активность. Как говорит Петр Сернейский, «некоторые из присутствовавших на Соборе, даже прелаты, будучи врагами дела Церкви, ратовали за то, чтобы вернуть домены графам (Фуа и Тулузы)...»[104].

Решения Собора, о которых мы уже говорили, безоговорочно одобрили начало крестового похода, который, однако, уже приближался к концу. Но граф Тулузский вовсе не считал себя побежденным. За неимением французского короля, он собирался за помощью к королю Англии, недавно помирившемуся с папой. Сказать по правде, козырь был слабый: папа предпочел бы скорее альянс с Филиппом Августом, чем с капризным и малодушным Иоанном Безземельным, и английские симпатии графа могли, скорее, ему навредить. Среди английских прелатов граф имел по крайней мере одного ревностного защитника, аббата из Болье (близ Саутгемптона). Он мог также рассчитывать на поддержку прежнего легата, Арно-Амори, ныне архиепископа Нарбонны и примата Лангедока, который мог быть тем более полезен, что являлся одним из лидеров крестового похода. Наконец, он рассчитывал на личное влияние и на юридическую убедительность своих аргументов. К тому же граф настаивал, что он уже слишком далеко зашел по пути покорности: поскольку его персона, хотя и напрасно, казалась папским представителям подозрительной, он отрекся, передав все свои владения сыну, который, учитывая его юный возраст, не может ни на кого отбросить тень подозрения. Единственное, о чем просит граф, – это дать ему возможность воспитывать сына в католическом духе. А сам он поедет в Святую Землю или куда-нибудь еще, куда глаза глядят. Раймон VI вызвал сына из Англии: мальчик уже достаточно взрослый, чтобы присутствовать при дебатах, и еще столь юн, что может украсить обаянием молодости любое собрание. Не исключено, что папу тронула судьба юного принца, племянника и внука особ королевской крови, которым приходилось жертвовать во имя государства, во всяком случае (как гласит «Песнь...»), те знаки симпатии, которые он расточал юному принцу, не были лишены искренности.

Иннокентий III был, в известной степени, человеком импульсивным и внушаемым. На это указывает его поведение по отношению к Раймону VI и резкие перемены отношения к Арагонскому королю. Однако маловероятно, чтобы он действительно поддержал графа Тулузского, как утверждает

продолжатель Гильома Тюдельского, и даже сам Петр Сернейский его слегка журит за это. Автор «Песни...», враждебно настроенный к крестовому походу, был хорошо информирован обо всех дебатах, предшествовавших окончательному решению Собора. В его интересах было вложить в уста папы, уже покойного ко времени написания «Песни...», слова осуждения в адрес Симона де Монфора. На самом же деле метания Иннокентия III, будь они природы эмоциональной или же дипломатической, являли собой не более чем видимость, маску. Папе необходимо было смягчить свою ответственность за деяния, которыми, и он прекрасно это знал, общественное право ущемлялось в интересах диктатуры Церкви. Устами Собора возведя принцип в закон, он не мог искренне осудить его практическое приложение.

Тем не менее, то, что повествует нам о дебатах на Соборе «Песнь...», в общих чертах, скорее всего, соответствует истине. Событие, о котором идет речь, было столь важно для всех заинтересованных сторон, столько народу из обеих партий там присутствовало, дело это получило такую широкую огласку в обоих лагерях, что автор не мог принципиально изменить диалог, подстраивая его к своим идеям. Когда он описывает, как взволнованный, усталый от дискуссий папа выходит отдохнуть в сад, где его окружают и преследуют настырные окситанские епископы, наперебой обвиняя его в поблжках графам, этот эпизод кажется не написанным для *chanson de geste* (баллады, представленной актерами), а списанным с натуры. Ясно, что поведение папы давало повод к двусмысленной оценке.

Симон де Монфор на Собор не явился, полагая свое присутствие более полезным в Лангедоке, и прислал своего брата Ги. Он знал, что в хороших адвокатах недостатка не будет: вся верхушка Лангедокского клира была за него. Поскольку собрание составляли прелаты, дело графа Тулузского можно было считать а priori проигранным: церковная солидарность не могла не сыграть на руку партии, которую поддерживали епископы.

Граф Тулузский, полагая себя слишком важной персоной, чтобы самому являться в суд, поручил защиту графу Фуа: Раймон-Роже, столь же искусный оратор, сколь храбрый солдат, зачастую проявлял себя даже более воинственным, чем его сюзерен. Все они – и граф Фуа, и графы Тулузские, и граф Беарнский – торжественно заверяли, что не потворствовали ереси и не относились к ней терпимо. «Я могу поклясться со всей искренностью, – говорил Раймон-Роже, – что никогда не любил еретиков, всегда избегал их общества и никогда мое сердце не было с ними. Поскольку святая Церковь всегда имела в моем лице послушного сына, я явился к твоему двору (т. е. ко двору папы), дабы судили по справедливости и меня, и могущественного графа, моего сеньора, и его сына, доброго, прекрасного юношу, который никому не сделал зла... Мой сеньор граф, коему принадлежат обширные владения, целиком отдал себя в твои руки и передал тебе Прованс, Тулузу и Монтобан, чьи обитатели затем попали к жесточайшему, заклятому врагу, Симону де Монфору, который их сажал на цепь, вешал и истреблял без всякой жалости...»[105].

Граф Фуа изложил факты по крайней мере в одном пункте: его сестра и жена стали совершенными в катарских обителях, вторая его сестра принадлежала к вальденсам, а Арьеж был известен как рассадник ереси. Это ему и припомнил Фульк, епископ Тулузы, чем, однако, нимало его не смутил. Фульк, чтобы вызвать возмущение присутствующих, говорил о «пилигримах, которых граф порубил столько, что их телами до сих пор покрыто поле Монжей, а Франция все еще оплакивает их, и ты (граф) обеспечен этим! А там, за дверьми, плач и стоны слепых, изгнанных, изуродованных, не

способных передвигаться без поводырей, и земля не может более носить тех, кто убивал, мучил и калечил!». Фульк намекал на резню немецких крестоносцев близ Монжея, которую устроил граф Фуа.

Раймон-Роже страстно запротестовал, вводя препирательство в правдоподобное русло. «Никогда, – сказал он, – никто не трогал пилигримов, смиренно следующих к какому-нибудь святому месту. А что до тех воров и изменников без чести и веры, что нацепили кресты и напали на нас, то верно: если кто из них попался мне или моим людям, то порастеряли кто нос, кто глаз, кто ногу или руку»[106]. Ясно, что напасть таким образом на основу крестового похода – большая дерзость, но граф будто отказывался верить, что папа, «само прямодушие», просил об отпущении грехов «ворам и предателям». Его голос прозвучал очень искренне, поскольку обвинение Раймона-Роже в жестокости наделало немало шума на Соборе. Граф яростно бросился в контратаку и призвал к ответу епископа Тулузы, утверждая, что тот несет принципиальную ответственность за все зло, которое натворили в Лангедоке: «Что касается епископа, который выказал такую пылкость, то я утверждаю, что он предал и Бога, и нас... Едва его выбрали епископом Тулузы, землю охватил такой пожар, что его потушить никакой воды не хватит. Более пяти тысяч людей, и взрослых и детей, лишили жизни, убив и тела и души. Согласно той вере, что мы исповедуем, епископ, по его делам, словам и манерам, выглядит скорее Антихристом, чем римским легатом!».

Граф Фуа стремился представить крестовый поход как бандитское предприятие, где папа был вроде бы ни при чем, но почему-то перестал напоминать своим ученикам, чтобы они «шли осиянные, неся с собой прощение и свет, легкое наказание и искреннее смирение», прибавляя при этом, что в этой войне, где следовало бить еретиков, католики тоже несли урон. Был выслушан также другой представитель защиты, Лионский архидиакон Рено (впоследствии он будет отлучен за ересь), который заявил, что Церковь должна поддержать графа Раймона: «Граф Раймон сразу принял крест, защищая Церковь и выполняя все ее указания. И если Церковь, которая должна его поддержать, его обвиняет, то она не права и может потерять доверие...». Архиепископ Нарбоннский умолял папу не поддаваться влиянию врагов графа. Такое поведение человека, много лет беспощадно преследовавшего графа, изумляет, но его можно объяснить ненавистью к Монфору. Напрашивается, однако, вопрос, доверял ли папа по-прежнему старому легату, ставившему интересы архиепископства Нарбоннского выше интересов Церкви.

В этих дебатах, в ходе которых графа Тулузского и его вассалов должны были лишиться всех прав за ересь (или по крайней мере за потворство ереси), о самой ереси не было и речи, все единодушно от нее отрекивались, и граф Фуа назвал сестру (почтенную и уважаемую Эсклармонду) «дурной и грешной женщиной»; все были безупречными католиками, все полагались на папское правосудие. А положение папы было отчаянно двусмысленным. Вот почему он сделал вид, что против воли жалуется Симону де Монфору должность, требуемую его сторонниками, и всего лишь прислушивается к голосу церковного большинства. Тем не менее, сомнительно, чтобы он мог произнести следующую тираду: «Пусть Симон владеет и правит землей! Бароны, поскольку я не в силах эту землю у него отобрать, то пусть бережет ее и не дает разбазаривать, ибо никогда по моей воле не станут никого созывать ему на помощь»[107]. Однако последователи Иннокентия III (который умрет через год) незамедлительно поднимут крестовые походы в помощь Симону, а потом его сыну. Похоже, что папа первый понял: ересь, далеко не побежденная, завоевала тайные или явные симпатии многих

людей, которые до 1209 года осуждали ее. Для торжества дела Церкви рассчитывать можно было только на вооруженную силу, то есть на Симона де Монфора. По сравнению с опасностью, которую в глазах папы представляла ересь, несправедливость по отношению к графу Тулузскому вообще ничего не значила. Для этого теократа-теоретика справедливо было лишь то, что служило делу Церкви.

Итак, Собор постановил: «Да будет Раймон, граф Тулузский, признанный виновным по двум пунктам и многократно в течение долго времени доказавший свою неспособность править страной в истинной вере, навсегда лишен власти, которая ему в тягость. Пусть поселится он за пределами страны, в надлежащем месте, где он сможет принять достойное покаяние за свои грехи. В случае полного послушания, пусть он ежегодно получает 400 марок серебром на содержание. Все домены, отбитые крестоносцами у еретиков, а также их паствы, гонцов и укрывателей, включая Монтобан и Тулузу, главные рассадники ереси, должны быть отданы храброму католику Симону де Монфору, который усерднее других потрудился, чтобы получить причитающееся ему по праву. Остальные территории, не завоеванные крестоносцами, будут, согласно повелению Церкви, отданы под надзор тех, кто оказался способен соблюдать и защищать интересы мира и веры, дабы потом передать их сыну графа Тулузского по достижении им совершеннолетия. Он получит все или только часть, в зависимости от того, как он себя проявит»[108].

Декрет этот достаточно красноречив: никогда победитель не диктовал своих условий побежденному с такой высокомерной уверенностью. Собор будто и не заметил подлога, и тотчас военная победа, обусловленная отчасти удачей, отчасти достоинствами полководца, превратилась в торжество христианской истины над заблуждением. Путь был расчищен победами крестоносцев в Святой Земле, бесчеловечными по сути, ибо неверные не имели права называться людьми, и только небывалая мощь ислама пока еще внушала к нему уважение.

На христианской земле Церковь походила на судью, начавшего почем зря избивать обвиняемого палкой и при этом не дающего ему защищаться, поскольку судья – персона священная. Остается только удивляться, что в таком высоком собрании прелатов из всех католических стран нашлось так мало способных понять всю одиозность подобной линии поведения и отдать себе отчет, что морально судья оказался ниже обвиняемого и заслуживает, чтобы его самого поколотили той же дубиной. Все это можно объяснить, только предположив, что на тот момент ересь была гораздо более распространена и могущественна, чем свидетельствуют дошедшие до нас документы.

Латеранский собор узаконил и освятил моральное поражение Церкви. Папа прекрасно знал о зверствах крестоносцев. На следующий день после Безье аббат писал ему с жуткой откровенностью: «Невзирая на пол и возраст, было заколото около 20 тысяч человек». И единственной реакцией папы было адресованное легату поздравление. Жалобы от консулов, графов и от Арагонского короля, сведения о победах Монфора, о кострах, о резне, об опустошении земель – все проходило через канцелярию папского престола, и ни папа, ни кардиналы не могли об этом не знать. Епископы при полном составе Собора выслушали обвинения, выдвинутые окситанскими баронами против крестоносцев, и никто даже не пытался эти обвинения опровергнуть. Епископ Тулузский мог сколько угодно сокрушаться по поводу убитых «пилигримов», но всем было известно, что они напали первыми.

Ни одно из постановлений Собора не заклеяло жестокостей воинов Господних и не запретило их

на будущее. Напротив того: Симон де Монфор, «храбрый католик», был награжден за то, что «усерднее других трудился», и все знали, что это были за труды. Папские сомнения проистекали не от ужаса перед пролитой кровью, а от боязни задеть человека, который потом может иметь определенный политический вес. Юный Раймон не обладал невинностью зарезанных в Безье новорожденных младенцев.

После решений Собора было бы несправедливо хулить Фулька и Арно-Амори за фанатизм или Симона де Монфора за brutality: папа и Церковь с согласия прелатов отмыли их от содеянного. Графу Тулузскому ничего не оставалось, кроме как удалиться в изгнание за пределы страны «в указанное ему место». Иннокентий III адресовал ему несколько вежливых соболезнований и выказал большую заботу о юном Раймоне, советуя ему во всем служить Господу и выразив надежду (если верить «Песне...»), что однажды он вернет себе утраченные земли. Что это – выдумка хрониста или слова простого соболезнования пожилого человека, адресованные ребенку? Как бы там ни было, наученный горьким опытом, юный граф никогда больше не обратится к папе в поисках защиты своих прав.

После того, как Собор признал Симона де Монфора хозяином завоеванных земель, ему осталось только получить от французского короля титул графа Тулузского.

Примечательный факт: первый шаг в качестве легитимного суверена Симон направил против архиепископа Нарбоннского, бывшего союзника и автора собственного возвышения. Как владелец доменов графа Тулузского Симон действительно имел право на титул герцога Нарбоннского, который носил графский дом. Легат присвоил себе этот титул в 1212 году, и враждебность между ним и Монфором обострилась. Оба они подали апелляцию в Рим, и папа решил спорный вопрос в пользу архиепископа (2 июля 1215 года). Известно, что, явившись на Собор, Арно сделал все, чтобы навредить Монфору, и Монфор этого никогда не простил. И тем более не мог он простить легату того высокомерия, с которым тот повсюду хвалился, что «купаются в почестях», ведь Симон всегда считал, и не без основания, себя самого кузнецом собственной фортуны.

Теперь они стали врагами, и это наполняло радостью сердца окситанцев. Но архиепископ был пока не готов бороться с Монфором. Став хозяином Нарбонны, Арно заставил виконта Эмери себе присягнуть и отдал приказ вновь возвести городские стены, которые Симон, при поддержке принца Людовика, велел скрыть. На протест своего соперника архиепископ ответил: «Если граф де Монфор задумает узурпировать герцогство Нарбоннское и будет чинить препятствия возведению городских стен, я отлучу и его самого, и его пособников, и всех, от кого он получит помощь или совет». Как понимать такую резкую перемену позиции прелата? Неуемный старик бросится защищать Нарбонну с той же страстью, с какой защищал ранее Церковь от ереси, и в тот день, когда Симон попытается силой прорваться в город, он помчится со своими солдатами ему наперерез и, едва не затоптанный конницей Монфора, влетит в собор, чтобы с амвона бросить в главу крестового похода отлучающей сентенцией, и наложит запрет на богослужения во всех церквях захваченного узурпатором города.

Симон не позволит себя запугать и велит отслужить мессу в замковой часовне и звонить во все колокола. Было ли положение архиепископа столь опасно, что Симон де Монфор позволил себе открыто ослушаться духовного вождя страны, в которой он представлял лишь светскую власть? Во всяком случае, этот эпизод показывает нам стареющего конквистадора человеком увлекающимся и склонным к эксцессам. Опьяненный собственным могуществом, он без разбору крушил все, что ему

мешало.

Утвердив свое господство в Нарбонне, Симон явился в Тулузу (7 марта 1216 года). Он заставил консулов присягнуть себе и своему сыну и наследнику Эмери, повелел разрушить все еще целые городские стены, убрать или понизить башни на жилищах горожан и снять заграждения с перекрестков. Затем он укрепил свою персональную резиденцию – Нарбоннский замок – и отделил его от города рвом, приказав заполнить его водой. Все эти предосторожности говорили о том, что в городе, который он считал своим по праву, он более, чем где бы то ни было, ощущал себя среди врагов.

Затем Монфор наконец-то отправился в Париж, где, увенчанный лаврами, крепкий поддержкой папского престола, он получил торжественную инвеституру из рук французского короля. Несомненно, после стольких лет войны короткий отдых на родине, где его приняли как героя, пролил бальзам на его сердце; он уже отвык от восхищения и приветственных возгласов в свой адрес. Петр Сернейский, как всегда, преувеличивает, но, несомненно, базируется на реальных фактах, когда пишет: «Какие почести ждали его во Франции – невозможно ни описать, ни поверить. Во всех городах, замках и селениях, где он появлялся, его встречала процессия жителей и клира. Религиозное благоговение публики достигло такого накала, что каждый, кому удалось лишь прикоснуться к его одежде, чувствовал себя счастливым»[109]. Население, разгоряченное клиром, видело в нем нового святого Георгия, сокрушившего змея ереси.

Король «после любезной семейной беседы» (Петр Сернейский) утвердил облечение должностью. В постановлении, подписанном в Мелене 10 апреля 1216 года, говорится следующее: «Мы пожаловали нашего преданного слугу, дражайшего Симона де Монфора, герцогством Нарбоннским, графством Тулузским, виконствами Безье и Каркассона, – всеми землями, коими ранее владел бывший граф Тулузский и кои были отвоеваны у еретиков, недругов Церкви и Иисуса Христа».

Итак, король послушно подчинился решению Церкви. Можно подумать, что он вовсе не жалел о том, что земли захватил его вассал, чье влияние на месте было близко к нулю. А Симон де Монфор, торжествующий, обласканный, ставший высочайшим повелением папы и короля одним из первых баронов Франции, вернулся в свои новые домены, чтобы убедиться, что он хозяин лишь там, где может появиться во главе вооруженного до зубов отряда. И ни на пядь дальше.

2. Освободительная война

В апреле 1216 граф Тулузский и его сын высадились в Марселе. Согласно решению Латеранского Собора Прованс являлся частью будущего наследства юного Раймона. Однако его отец, бывший с ним безотлучно на пути в положенное для покаяния место «за пределами страны», очевидно, не считал, что сын должен удовлетвориться «остальными территориями, не завоеванными крестоносцами». Решение Собора послужило сигналом к восстанию.

В Марселе графов приняли с энтузиазмом, весть об их прибытии разнеслась по всей стране. Авиньон выслал к ним гонцов, и когда они приблизились к городу, делегация знати и горожан встретила их, преклонив колена, и вручила ключи от города. «Сир граф Сен-Жерменский, – произнес (согласно „Песне...“) старший делегации, – и ваш благословенный сын, примите этот залог чести от нашего клана: Авиньон отдает себя под ваше начало. Здесь все принадлежит вам – ключи от города, городские сады и ворота, жители со всем своим имуществом». Граф благодарил авиньонцев за встречу и обещал «почет и уважение всему христианству и вашему краю, ибо вы отстаивали своих

героев, Радость и Parage»[110].

Отец и сын въехали в город. «Не было ни старика, ни ребенка, кто в ликовании не выбежал бы на улицу, и самыми удачливыми были те, кто бежал быстрее. Одни кричали «Тулуза!» в честь сына и отца, другие – «О радость! Теперь Господь будет с нами!». В сердечном порыве, со слезами на глазах, все преклоняли колена перед графом и твердили: «Христос, Господь наш славный, дай нам силы вернуть им обоим их достояние!». Толпа была так тесна, что дорогу приходилось прокладывать и пинками, и лозой, и палками». Авиньон не испытал на себе ни тягот войны, ни тирании французов. Порыв, бросивший город к ногам изгнанных и обобранных сеньоров, был проявлением пылкого патриотизма, который высвободила в южных провинциях война.

Большая часть Прованса проявила тот же энтузиазм и желание освободить захваченные земли. Города и замки присягнули Раймону VI, и он начал собирать в Авиньоне войско. Там же состоялся военный совет: старший граф решил вернуться в Арагон, набрать там людей, атаковать противника с юга и освободить Тулузу, а его сын тем временем должен осадить Бокэр, находящийся под контролем гарнизона Монфора.

Теперь война шла насмерть, без попыток перемирия, без апелляций к папе и легатам, настоящая освободительная война, новая «война священная» во имя Милосердия и Parage, во имя Тулузы и Иисуса Христа. Чтобы до конца сохранить позу покорности и доверия папскому правосудию, лишенный владений граф вернулся в свои земли в ореоле жертвы церковной тирании, а для населения Лангедока – и для католиков, и для еретиков – Церковь была таким же ненавистным врагом, как и Монфор. Униженному, побежденному и осмеянному графу ничего не оставалось, кроме как появиться триумфатором среди криков радости и слез умиления. Он сохранял силы для Тулузы и не рисковал ввязываться в драку. Начать должен был его сын, подлинный граф Тулузский (отец ведь отрекся в его пользу).

Раймон-младший двинулся с отрядами авиньонцев на Бокэр, чьи обитатели призвали его и предложили выдать ему французский гарнизон. Но хотя юный граф и вошел в город как освободитель, справиться с гарнизоном ему не удалось. Гарнизоном командовал Ламбер де Круасси (он же де Лиму, согласно имени домена, которым он владел теперь в Лангедоке). Укрывшись в замке, гарнизон оказался в осаде. Ги де Монфор, брат Симона, и Амори де Монфор поспешили к Бокэру, чтобы выволить осажденных, и послали юнцов к Симону, бывшему как раз на полдороги из Франции. 6 июля Монфор появился возле стен города собственной персоной.

Он попытался пойти на штурм, но безуспешно. Город обновлял свои припасы через порт и не рисковал остаться ни без пищи, ни без воды. Пополнение также поступало по Роне из Авиньона, Марселя и других городов Прованса. «Тогда крестоносцы осадили города, посылавшие помощь, иными словами – почти весь Прованс»[111]. У Симона де Монфора были только его собственные отряды, наемники да бедные рыцари, потянувшиеся за ним из Франции в надежде разбогатеть. Чтобы осадить Бокэр, надо было укреплять лагерь и строить осадные машины, а рабочих рук не хватало. Гарнизон, затворившийся в замке, попал в отчаянное положение, и Ламбер де Лиму велел выкинуть черный флаг в знак того, что долго им не продержаться.

Все штурмовые атаки Монфора кончились ничем. «На подходе к стране с ним было мало людей, да и те все малохолдные и непригодные для Христова воинства; зато противник обладал в избытке и пылом, и решимостью»[112]. Пленных французов перевешали или изрубили, а их отрезанные ступни

служили осажденным в атаках метательными снарядами. Изголодавшийся, потерявший каждого десятого, гарнизон пока держался, однако все усилия крестоносцев проникнуть в город были тщетны. Три месяца Симон де Монфор продержал свою армию под Бокэром, а все штурмы, несмотря на ее силу и выносливость капитанов, проваливались один за другим, к вящему удовлетворению противника. Монфор никогда не бросал своих людей в опасности, и это было главной и большей его добродетелью; он не мог себе позволить снять осаду, обреченную на неудачу. Ламбер, доведенный до крайности, снова выбросил черный флаг.

Понимая, что старый граф уже перешел Пиренеи и теперь во главе своей армии приближается к Тулузе, Симон решил вступить в переговоры. Он запросил коридор для беспрепятственного выхода гарнизона в обмен на снятие осады. Раймон принял условия; его ничто к этому не понуждало, ибо все преимущества были на его стороне. Гарнизон, так славно державшийся, капитулировал 24 августа и невредимым вышел к Монфору.

С огромным трудом сохранив свою честь и подвергнув серьезной опасности престиж, непобедимый Симон де Монфор вынужден был отступить перед девятнадцатилетним мальчишкой, мало смыслящим в военном искусстве. Он поспешил к Пиренеям навстречу графу, который бдительно за ним следил и отошел обратно в Испанию: он слишком хорошо знал своего противника и не хотел рисковать в тот момент, когда успехи сына вновь возродили в нем надежды на возвращение владений. Тогда Симон направился в Тулузу, потому что знал безграничную преданность города своим графам и именно на этой преданности хотел сыграть.

Новый сюзерен хотел, чтобы город заплатил за то, что он посчитал предательством: он потребовал полного разрушения. Проект столь же нереальный, сколь чудовищный, но в какой-то степени объяснимый: и па опыту, и по интуиции Симон сознавал, что такое мощь огромного города и какую важнейшую роль этот город может играть в сопротивлении. Пока стоит Тулуза, графы Тулузские не будут побеждены, а жизнь всей страны будет сориентирована на столицу.

Напуганные приближением Монфора тулузцы поспешили снарядить делегацию с уверениями в преданности. Однако новый граф повел себя откровенно враждебно, а солдаты авангарда позволяли себе всяческие грубости, и горожане взбунтовались. Симон с оружием в руках ворвался в незащищенный город и повелел поджечь три квартала: Сен-Ремези, Жуз-Эгю и площадь Сент-Этьен. Но горожане ответили насилием на насилие и, перегородив бревнами и бочками проходы к площадям на пути штурмующих, отбивали без отдыха все атаки, гася одновременно вспыхивавшие пожары [113]. Худшего предзнаменования для первого появления новоиспеченного графа в своей столице трудно придумать.

Тулуза встретила поставленного над ней хозяина таким взрывом гнева, что французская кавалерия, побитая, с боем продирающаяся по остервеневшим улицам, была вынуждена укрыться в соборе. Горожане мчались на баррикады, размахивая импровизированным оружием, «остро заточенными топорами, косами и молотками, ручными луками и арбалетами» [114]. И пока пожар свирепствовал, Симон носился на лошади по городу, пытаясь собрать свои отряды, бросился на улицу Друат «в атаку столь неистовую, что земля задрожала» и попробовал с бою взять Серданские Ворота, чтобы ворваться в пригород. Когда его атаку отбили, он отступил в Нарбоннский замок, в свое обиталище, которое он предусмотрительно велел укрепить несколько месяцев назад.

Мятеж восторжествовал, и Монфор пока еще располагал внутри страны достаточными силами,

чтобы отомстить за свое поражение. У горожан же не было ни регулярной армии, ни крепостей, и они не могли рассчитывать на скорую поддержку. Епископ Фульк выступил посредником в деле установления мира между новым графом и мятежниками.

Автор «Песни об альбигойском крестовом походе» представляет здесь епископа в очень неприглядном свете: в своих елейных, вкрадчивых речах Фульк демонстрировал полную преданность пастве и клятвенно гарантировал под ручательством Церкви неприкосновенность горожан и их имущества и милость Монфора; когда же безоружные горожане сдались Симону, стал подстрекать того обойтись с ними самым суровым образом. Короче, Фульк действовал с нарочитым и наглым коварством, и напрашивается вопрос, а не сгустил ли краски автор «Песни...», чья ненависть к Фульку слишком очевидна. Однако все, что известно о поведении неумолимого епископа, говорит о том, что хронист едва ли преувеличивает: у Фулька были свои счета с городом, который осмелился противостоять его влиянию.

Консулы вступили в переговоры, и Симон явился в собрание, чтобы подписать договор о перемирии, но едва только горожане были обезоружены, как отряды французов заняли наиболее укрепленные дома, арестовали нотаблей, а Симон приказал конфисковать их имущество и изгнать их из города: «Из города уходили изгнанники, цвет его обитателей – рыцари, буржуа, банкиры; их эскортировал обозленный вооруженный отряд, гнавший их пинками, осыпавший ударами и ругательствами и заставлявший бежать бегом»[115]. Избавившись таким образом от наиболее богатых и влиятельных горожан, Симон велел распространить эдикт, приказывающий всем, кто способен орудовать киркой и заступом, явиться в Тулузу, чтобы начать разрушение города. «О, если бы вы видели, как крушили дома, башни, стены, залы и стенные зубцы! Разбивали жилища, мастерские, комнаты, украшенные фресками, порталы, своды, высокие опоры. Грохот, стук, пыль со всех сторон, суета и беготня, когда все смешалось, и кажется, будто содрогается земля, гремят не то раскаты грома, не то барабанная дробь». Тулузцев переполняла скорбь: «По городу разносились крики, вопли и рыдания мужей, жен, детей, отцов и матерей, братьев и сестер. О Боже, – говорили они друг другу, – что за жестокие владыки! Господи, зачем Ты отдал нас в руки бандитов? Либо ниспошли нам смерть, либо верни нам наших законных сеньоров!»[116].

Однако Симон вовсе не собирался разрушить весь город, ему хватило наиболее укрепленных кварталов. Пренебрегая советами некоторых друзей и даже собственного брата, он решил выказаться себя беспощадным; ни в чем не надеясь более на тулузцев, он думал лишь о том, как бы поживиться за счет горожан, ибо имел большую нужду в деньгах. Он объявил, что даст прощение каждому, кто заплатит тридцать тысяч серебром. Сумма огромная, и Гильом Пюилоранский полагает, что Монфор потребовал ее, послушавшись коварных советчиков, желавших возрождения города и возвращения графов Тулузских. Не надо искать так далеко, невозможно было долгие ожесточать жителей Тулузы, и, следовательно, Симону нечего было терять; он рассчитывал на своих солдат, обескровивших город, и полагал, что хватит бояться безоружных горожан, лишившихся своих вождей.

Симон покинул Тулузу, оставив жителей «в скорби, грусти и печали, страдающих и плачущих горячими слезами... поскольку им не оставили ни муки, ни пшеницы, ни пурпура, ни мало-мальски хорошего платья»[117]. Он отправился в Бигор осуществить еще одну финансовую и одновременно политическую операцию: он хотел добиться для своего второго сына, Ги, руки Петрониллы, дочери Бернара Коменжского, наследницы Бигора по материнской линии. Петрониллу, которая была

замужем вторым браком за Нуно Санче, сыном графа Руссильонского, разлучили с мужем и отдали молодому Ги, который обвенчался с ней в Тарбе и стал владельцем графства Бигор (7 ноября 1216 года). После поспешной брачной церемонии и неудачного штурма Лурдского замка Симон в поисках денег снова вернулся в Тулузу требовать новых налогов в форме штрафа с отсутствующих, то есть с тех, кого сам же выгнал.

Не имея пока возможности развернуть кампанию против графов Тулузских, готовящих очередное наступление в Провансе, пока не тронутым войной и всецело им преданным, Монфор попытался усмирить Раймона-Роже де Фуа, самого заклятого своего врага. Он осадил замок Монгайяр (или Монгренье), принадлежащий сыну Раймона-Роже. Замок капитулировал 25 марта. И все как будто началось сначала: он снова вынужден осаждать замок за замком. В мае он взял Пьерпертузу, ту, что в Терлинесе, и явился в Сен-Жиль, где восставшие жители прогнали местного аббата и не впустили Симона в город.

Ветер определенно переменился: Симон уже не был командиром крестоносцев, он был конкистадором, который старается защитить свои завоевания. Иннокентий III умер 15 июля 1216 года; Гонорий III, его последователь, еще не успел сориентироваться в поворотах Лангедокской ситуации. Нового легата Бернара, старшего священника из Сен-Жан-и-Поль, повсюду встречали очень враждебно, вплоть до того, что захлопывали перед ним городские ворота. Графы Тулузские оставались властителями Прованса, и Раймон-младший, который велел именовать себя «молодой граф Тулузский, милостию Божией сын сеньора Раймона, герцога Нарбоннского, графа Тулузского и маркиза Прованского», без обиняков отверг и решения Латеранского Собора, и власть французского короля.

Поражение Симона де Монфора под Бокэром вызвало бурную реакцию в церковных кругах. В 1217 году в Лангедок был послан новый контингент крестоносцев. Собор установил раз и навсегда те же индульгенции, что полагались за поход в Святую Землю, для всех, кто принял крест против ереси, где бы она ни обозначалась. С новым пополнением во главе с архиепископом Буржа и епископом Клермона Симон взял замки Вовер и Берни и переправился через Рону в Вивьере. Он не собирался завоевывать Прованс, хотел лишь напугать противника. Появление новых крестоносцев и военная помощь, которую им оказывали местные епископы и их ополчение, возымели определенный эффект: Адемар де Пуатье, граф Валентенуа, сдался и даже предложил своего сына в мужья одной из дочерей Симона. Но Монфору некогда было застревать в Провансе, его спешно вызвали в Тулузу.

«Граждане Тулузы, – говорит Петр Сернейский, – или, лучше сказать, города-предателя, движимые дьявольским инстинктом, отступившие от Господа и Церкви», впустили к себе графа Раймона собственной персоной, во главе армии арагонцев и фаядитов. Теперь в Нарбоннском замке собралась вся семья Симона: его жена, жена его брата, жены сыновей и внуки обоих братьев Монфоров.

Цитадель удерживал гарнизон Монфора; графская армия подошла к городу под покровом тумана, переправилась через Гаронну у Базаклоских мельниц и 13 сентября 1217 года вошла в Тулузу. Графа встретили как триумфатора. «Когда жители города узнали о его появлении, они бросились к нему, как к воскресшему. И когда он вошел в городские ворота, к нему бежали все, от мала до велика, и дамы, и бароны – все преклоняли перед ним колена, целовали руки, ноги, края его платья. Его встретили со слезами радости, ибо он был предвестник счастья, увенчанного цветами и плодами!»[118].

Счастья пока что не было, но зато была возможность бороться. Раймон VI собрал всех своих вассалов, графов Фуа и Коменжа, изгнанных тулузских сеньоров, сеньоров из Гаскони, Кэрсии, Альбижуа, рыцарей файдитов, прятавшихся в лесах или ушедших в Испанию, для которых возвращение в Тулузу было символом освобождения. «...И когда они увидели город, слезы хлынули у них из глаз, и каждый сказал себе: „О, Дева Владычица, верни мне город, где я вырос! Лучше мне жить и умереть здесь, чем скитаться по миру в позоре и нищете!“[119].

Всех французов, не успевших укрыться в замке, перебили. Цитадель была хорошо укреплена и могла продержаться долго, однако все усилия Ги де Монфора освободить ее провалились.

Вот почему Симон де Монфор со своими отрядами так спешил, надеясь мощным броском атаковать мятежный город. Но их встретили таким ливнем стрел и камней, что кавалерия бежала врассыпную; брат и второй сын Монфора были ранены. Тулузцы контратаковали, и французы, не желая отступать, решили осадить город.

Если до сих пор крестоносцам удавалось, изнузив голодом и артиллерийскими обстрелами, брать такие замки и города, как Лаваур или Каркассон, то Тулузу, весьма внушительную по размерам и расположенную на берегах реки, практически невозможно было изолировать; для этого нужна была куда более многочисленная армия, чем даже в 1209 году. Город лишился стен, но жители не теряли времени даром, и граф, едва появившись, отдал приказ выкопать рвы, построить баррикады из кольев и бревен и деревянные бойницы-барбаканы. Несмотря на видимую хрупкость, импровизированные фортификации были хорошо защищены и могли выдержать натиск осаждавших, даже имевших большой численный перевес. Теперь не только военный потенциал осаждавших превосходил силы Монфора, но и мирное население, от стариков до подростков и от владетельных сеньоров до простых слуг, превратилось в боеспособное ополчение и надежных помощников армии. «Никогда ни в одном городе не видали столь богатых рабочих: там трудились и графы, и рыцари, и торговцы, и придворные чеканщики монет, и дети, и оруженосцы, и скороходы – каждый с киркой или заступом... каждый работал на совесть. По ночам никто не спал, на улицах горели фонари и факелы, звучали барабаны, колокольчики и рожки. Девушки распевали баллады и плясали, и воздух был напоён радостью»[120]. И в ходе осады, на глазах у противника, поднялась большая часть разрушенных стен.

Борьба была неравной: возвращаясь из Прованса, Симон де Монфор под страхом смерти запретил гонцу, доставившему ему письмо от жены, рассказывать о восстановлении Тулузы и о присутствии в городе графа. Но новость тем не менее быстро разлетелась по стране. Отряды провансальцев тут же покинули Симона; архиепископ Ошский собрал людей по призыву Ги де Монфора, но они стали на полдороге и отказались идти на столицу. Французские рыцари и солдаты, на которых рассчитывал Симон, не могли двинуться из замков, где они несли гарнизонную службу.

Монфор бросил клич католическим властям: Фульк по поручению кардинала-легата поехал из Тулузы во Францию просить снарядить очередной крестовый поход против мятежного и еретического города. Графиня Алиса, супруга Монфора, сама отправилась умолять короля. Она рассчитывала больше на личные связи (ее отец был коннетаблем королевской армии), чем на поддержку монарха, которого интересовали только выигрышные дела. Все неудачи Монфора последовали слишком быстро за его назначением, чтобы король захотел опекать вассала, не сумевшего удержать свои домены.

И на этот раз положение попытался спасти папа. Гонорий III организовал кампанию пропаганды против ереси и начал снаряжать очередной крестовый поход в Лангедок. Хотя судьба первой христианской страны, изменившей Церкви, казалось, была окончательно решена, теперь приготовления шли в условиях, гораздо более тяжелых, чем в 1208 году. И энтузиазм северных крестоносцев поутих, и в качестве противников Церковь имела уже не кучку еретиков-пацифистов и ненадежных баронов, а целый народ, открыто и сознательно не признававший ее авторитета.

Тулуза продолжала отстраиваться, укрепляться и пополнять запасы продовольствия по воде и посуху, на глазах у неприятеля, у которого хватило сил только чтобы забраться в укрепленный лагерь и ждать подмоги. Зимой военные действия носили, скорее, характер коротких вылазок, зато оба лагеря соперничали в жестокости к пленным: в Тулузе ненависть к французам была такова, что несчастных, попавших в плен живыми, сначала торжественно тащили по улицам, потом выкалывали глаза, вырезали языки, а иных рубили на куски, жгли или привязывали к хвостам коней. А в лагере Монфора ненависть понемногу начинала уступать место растерянности.

Настоящие сражения начались по весне. Все атаки Симона де Монфора были отбиты с такой мощью, что его рыцари, гласит «Песнь...», впали в неистовство. Автор, скорее всего, не мог присутствовать при перебранках Симона с его лейтенантами, и слова, которые он вложил в уста Жерве де Шампиньи или Алена де Руси, конечно же, придуманы; однако ничто не говорит о том, что автор не мог слышать звуки голосов в лагере неприятеля. Его можно заподозрить в осторожности или оппортунизме, когда слова примирения у него произносят Ги де Левис или Ги де Монфор, чьи сыновья прочно закрепились в Лангедоке, а вот когда речь идет о рыцаре – разбойнике Фуко де Берзи, которого казнил в 1221 году Раймон VII, тут подозрений не возникает.

В долгих советах Симона с его шевалье чувствуется, что люди доведены до крайности, почти до помешательства, и пытаются всю вину за свои поражения свалить на Симона. И тем не менее они остались ему верны до конца, отчасти из личной преданности, отчасти потому, что их крепко соединила друг с другом ненависть, которой они были окружены. «Гордыня и жестокость овладели вами, – говорит Алел де Руси своему шефу, – у вас страсть ко всему ничтожному и подлому»[121].

Наконец прибыло пополнение крестоносцев с севера: фламандцы под командованием Мишеля де Арна и Амори де Краона. После жестоких боев Монфору удалось овладеть пригородом Сен-Сиприан на левом берегу реки и атаковать мосты, ведущие в город; однако на мосты французов не пустили, и они были вынуждены отступить.

Осада длилась больше восьми месяцев. На Пасху с новым пополнением прибыл Раймон-младший и под носом у осаждавших вошел в город. Население встретило его с восторгом, все столпились, чтобы взглянуть на него, к нему относились, «как к розовому бутону». «Сын Девы Марии, чтобы утешить тулузцев, ниспослал им радость, оливковую ветвь, сияющую утреннюю звезду над горами. Этим светом был доблестный юный граф, законный наследник, крестом и мечом отворивший ворота»[122]. Автор передает здесь отголоски той страстной нежности, которую народ питал к юному герою Бокэра, и эти строки сами по себе дают нам почувствовать пропасть, разделявшую оба лагеря. Одни знали, за кого или за что они сражаются, другие всеми силами старались удержать едва завоеванное имущество, которое утекало между пальцами. Их боеспособность и азарт (особенно подчеркнутые хронистом) проистекали от сознания собственного унижения: тяжело терпеть поражение от тех, кого считаешь ниже себя, «от безоружных горожан».

Между тем Симону, несмотря на весьма солидное пополнение крестоносцев под командованием графа Суассонского, едва удавалось отражать атаки осажденных. Кардинал-легат Бернар упрекал его в отсутствии боевого пыла: «Графа Монфора одолела апатия и тоска, он ослабел и изнемог; к тому же он не выносил постоянных подкалываний легата, твердившего, что он обленился и опустился. Говорили, что он стал молить Бога дать ему покой в смерти и прекратить все его страдания»[123].

Легат имел все основания разозлиться на старого солдата: того, кто столько раз побеждал, признавая свои победы Божьим промыслом, теперь стали подозревать в каких-то грехах, из-за которых Господь отвернулся от него. Храбрый католик, уважаемый Церковью настолько, что она доверила ему земли, превышающие размерами домены французского короля, много лет пользовавшийся помощью посланных ею солдат, оказался не в силах взять скверно укрепленный город, который защищали люди, им же самим неоднократно битые!

В июне, на девятый месяц злополучной осады, Монфор решил сконструировать огромную катапульту на колесах и подкатить ее поближе к неприятельским фортификациям, чтобы солдаты могли сверху разрушать кварталы осажденного города прицельными выстрелами. Тулузцы ударами своих катапулт вывели ее из строя, а когда ее починили и она снова была готова к бою, на рассвете с двух сторон атаковали лагерь французов. Симон слушал мессу, когда ему сообщили, что тулузцы уже в лагере, а французы отступают. Окончив мессу, он ринулся в бой и оттеснил неприятеля ко рву. Ги де Монфор, охранявший технику, был ранен пущенной из города стрелой. Симон бросился к нему и тут же получил в голову камень из катапульти, которую сделали тулузские женщины (так повествует «Песнь...»). «Камень был пущен точно и угодил графу Симону прямо в железный шлем, снеся половину черепа, так что глаза, зубы, лоб и челюсть разлетелись в разные стороны, и он упал на землю замертво, окровавленный и почерневший»[124].

Эта мгновенная жуткая смерть в разгар боя, на глазах обоих лагерей, была в стане тулузцев встречена взрывом ликования: «Рожки, трубы, бубенцы, колокола, барабаны, литавры мгновенно наполнили город звуками»[125]. Этому крику облегчения ответил вопль отчаяния из лагеря французов. Смерть полководца окончательно деморализовала армию, и без того потерявшую боевой дух из-за сплошных поражений. Сын Монфора, принявший от легата прежние титулы отца, попытался поджечь город, однако был вынужден отступить и укрыться в Нарбоннском замке. Спустя месяц после смерти отца он снял осаду.

Тулуза торжествовала. Амори де Монфор, отступив в Каркассон и похоронив там отца со всеми почестями, позволил Раймону-младшему шаг за шагом отвоевать все свои домены. Не помогли ни призывы папы, ни вмешательство французского короля в лице принца Людовика. На это ушло семь лет войны, но смертельный удар захватчику уже был нанесен. Амори один за другим сдавал города и замки, теряя боеспособность армии, пока не оказался в один прекрасный день без солдат и без денег на обратную дорогу. С исчезновением Симона де Монфора крестовый поход был обезглавлен. Да и в конечном итоге, несмотря на усилия папы и легатов, эта война давно уже перестала быть крестовым походом. Амори сражался за наследство и, как и все сыновья диктаторов, не возбуждал ни страха у врагов, ни доверия у тех, кто его поддерживал. Лишая графа Тулузского имущества решением Собора, Церковь, казалось, позабыла, что Симон де Монфор не бессмертен, и что он был единственным, кто мог удерживать Лангедок. После его смерти Церковь оказалась в ложном положении: она нагроулила непосильную ношу на человека, который заведомо не мог с ней

справиться. И она тут же отвернулась от злосчастного Амори, планируя передать его права союзнику более мощному и пользующемуся авторитетом во всех странах Запада. Дело Симона де Монфора должен был продолжить король Франции.

«По прибытии в Каркассон тело Монфора повезли в монастырь Сен-Назер для отпевания. И тот, кто умел читать, мог прочесть в эпитафии, что он был святым мучеником, что он должен воскреснуть, получить часть наследства, процветать в несравненном благополучии, короноваться и править королевством. А я вот что скажу: если, убивая людей, проливая кровь, душегубствуя, потворствуя убийствам, прислушиваясь к напраслине, устаивая пожары, разоряя баронов, позоря честь родов, захватывая чужие земли, позволяя гордыне торжествовать, разжигая зло и давая добро, убивая женщин и детей, можно завоевать Иисуса Христа в этом мире, то Монфор должен обрести корону и сиять в небесах!»[126].

Какой бы ни была судьба, уготованная в вечности душе Симона де Монфора, те, кто восхищены Наполеоном, Цезарем и Александром, не могут отказать в восхищении и этому солдату. Остальные вольны констатировать, что он был, в сущности, посредственностью, волею жестоких обстоятельств призванной действовать превыше своих сил и разума. И моральная ответственность за его деяния лежит на нем в гораздо меньшей мере, чем на тех, кто их благословлял или оправдывал именем Иисуса Христа.

ГЛАВА VII

КОРОЛЬ ФРАНЦИИ

1. Победа Раймона VII

Смерть Симона де Монфора восприняли в Лангедоке с огромной радостью. Быстро разнеслась эта радость по стране, придавая новые силы тем, кто так долго с отчаянием наблюдал за победами безжалостного полководца. Эта смерть казалась концом длинного кошмара, долгожданным чудом.

Montfort

Es mort

Es mort

Es mort!

Viva Tolosa

Ciotat gloriosa

Et poderosa!

Tornan lo paratge et l'onor!

Montfort

Es mort!

Es mort!

Es mort!

Поется в народной песне того времени. Вернулись родовая честь и достоинство. Тиран – а народы юга очень хотели надеяться, что все зло шло от Монфора, – уже не более чем труп, покоящийся в Каркассоне в роскошной усыпальнице. Друзья именуют его мучеником и сравнивают с Иудой Маккавеем и святым Себастьяном. С его смертью крестовый поход распался. В этих краях осталось много его родственников и соратников, храбрых и вполне боеспособных. Потеряв его, они потеряли веру в себя.

Амори де Монфор призвал на помощь французского короля. Папа начал агитировать за новый крестовый поход и принуждать Филиппа Августа двинуть в Лангедок армию. Тем временем Раймон VII отбил Ажене и Руэрг и одержал победу над французскими отрядами под Базьежем.

На юге Франции снова появился принц Людовик: на этот раз отец не возражал, чтобы он принял крест. С ним шли 20 епископов, 30 графов, 600 шевалье и 10000 лучников – боеспособная армия, которая должна, казалось бы, привести в ужас население, обессиленное десятью годами войны. Принц соединился с отрядами Амори де Монфора под Мармандой и взял город, учинив там жестокую резню. Пощадив гарнизон вместе с командиром Сантюлем, графом Астаракским (поскольку их рассчитывали поменять на пленных французов), победители набросились на мирное население: «...оружие ворвавшихся в город было остро заточено, и началась ужасающая бойня. Людей всех сословий, мужчин, женщин и детей, раздетых донага, закалывали мечами; мясо, кровь, мозги, изрубленные тела, вспоротые животы, внутренности, сердца валялись повсюду, будто жуткий дождь прошел над городом. Не осталось ни молодых, ни стариков: никому не удалось спрятаться. Город был разрушен и охвачен пламенем»[127].

Автор «Песни...» утверждает, что большинство населения города было перебито. Гильом Бретонец, в свою очередь, признает, что в Марманде убили «всех горожан с женами и детьми, всего около 5000 человек»[128].

Эту хладнокровную резню можно расценить (поскольку ей предшествовали долгие размышления по поводу участи гарнизона) как следствие гнева Амори, жаждущего отомстить за отца. Однако более вероятно, что это было повторение бойни в Безье, которая принесла хорошие плоды, повергнув население в ужас. Очень показательно, что бароны и епископы, дискутируя о «бесчестье», которому они подвергают себя, посылая на смерть солдат, тут же натравили вооруженные отряды на беззащитных женщин и детей. Похоже, что для рыцарей (причем для северных в большей мере, чем для южных) мирное население было низшей расой, и его уничтожали запросто. Благодетельный принц Людовик не предпринял ничего, чтобы предотвратить акцию устрашения. Однако жители Лангедока, наученные десятью годам войны, не спешили сплошь капитулировать, как после падения Безье. За много лет люди привыкли к террору.

Когда после кровавого штурма королевская армия двинулась на Тулузу, перед ней оказался укрепленный, готовый к защите город. При Раймоне VII состояла тысяча всадников. Перед лицом опасности он бросил призыв населению и велел выставить в кафедральном соборе мощи святого Экзюпера [129]. В третий раз Тулуза с энтузиазмом готовилась к осаде.

Осада, начавшаяся 16 июня 1219 г., была снята 1 августа. Многочисленная армия принца Людовика, полностью изолировав город и предприняв несколько штурмов, обнаружила, что осажденные и не думают сдаваться. Явившись, чтобы посеять страх перед мощью королевской власти, принц уразумел, что имеет дело с сильным противником, и предпочел, как и отряды крестоносцев в первые годы похода, оставить Амори де Монфора в одиночестве решать на свой страх и риск проблемы мятежной страны. Как только кончился его карантен, Людовик снял осаду, бросив всю осадную артиллерию.

Этот внезапный отъезд удивил современников, расценивших его как результат либо предательства французских рыцарей, либо сговора между принцем и Раймоном VII, либо коварного расчета Людовика, вовсе не желавшего стараться для Амори. Так или иначе, на этот раз оглушительное

поражение потерпела французская корона. Слава юного графа росла, и теперь южные бароны гнали северных со своих земель, отвоевывая узурпированные домены и титулы.

Бароны, которых Симон, чтобы крепче привязать к себе, посадил в захваченных замках и крепостях, не отличались особенным религиозным рвением, если уж правоверный католик Гильом Пюилоранский пишет о них: «Невозможно описать, каким мерзостям предавались эти „слуги Господа“». Большинство из них имели наложниц и содержали их открыто; они силой брали чужих жен и бессовестно творили множество иных пакостей подобного рода. Конечно, их поведение не определялось духом крестовых походов: конец началу не соответствовал»[130]. Двое рыцарей, братья Фуко и Жан де Берзи (это ради их освобождения, согласно «Песне...», Амори и принц Людовик пощадили гарнизон Марманды), были настоящими бандитами, известными своей жадностью и жестокостью. Гильом Пюилоранский утверждает, что они убивали всех пленных, которые не могли заплатить им 100 золотых су (сумма астрономическая), а однажды заставили отца повесить собственного сына. Попав в плен к Раймону VII, они были обезглавлены.

Французский гарнизон в Лавауре перерезали; раненый Ги де Монфор, брат Амори, умер в тюрьме. Несмотря на усилия папы заставить Раймона VII и графа Фуа покориться, французам не оставалось ничего, кроме отступления. Ален де Руси, убийца Арагонского короля, сам погиб в замке Монреаль, куда его посадил Монфор. Подкрепление, посланное Амори де Монфору епископами Клермона и Лиможа и архиепископом Бургским, не помешало Раймону VII завладеть Ажене и Кэрсисом. У Амори остался только юг, где ему были еще верны Нарбонна и Каркассон.

Французский король, несмотря на настойчивые просьбы папы, отказался заниматься всеми этими делами. Он был так же, как и французские бароны, деморализован неудачами сына, а пример Симона де Монфора заставлял поразмыслить о судьбе тех, кого толкала в Лангедок жажда завоеваний. Юный Раймон торжествовал: западная знать, коронованная и не коронованная, снова стала признавать его кузеном, племянником, словом – ровней. Он предпринимает шаги к наведению мостов с Церковью, предложив французскому королю вассальную клятву за земли, пятью годами раньше пожалованные тем Монфору. Неизвестно, что решил в конце концов Филипп Август по поводу этого разжалованного Церковью вассала. Амори де Монфор, почувствовав, что проиграл, тоже предложил королю свои домены, но король их отклонил. Несомненно, он предпочитал, чтобы оба соперника обессилели в войне, за которую он вовсе не собирался расплачиваться.

В августе 1222 года, дожив до 66 лет, умер Раймон-старший. Этот человек, ставший если не причиной, то поводом для крестового похода, оклеветанный, униженный, затравленный, обобраный и ненавидимый Церковью, обожаемый подданными, с триумфом явившийся после оглушительного поражения и воспринятый как спаситель страны, законный суверен, свергнутый Церковью и королем и восстановленный в правах волей народа, умирая, мог верить, что его дело восторжествовало. Его продолжал сын, которому он успел передать страну. Изгнание Амори де Монфора было делом времени. Вместе со свободой Лангедок обретал невиданное до крестовых походов национальное единство, а графы Тулузские достигли популярности, о которой не могли и мечтать.

Однако граф умирал отлученным от Церкви и, несмотря на все мольбы, был лишен соборования на смертном одре. Его завещание, так же как и все свидетельства, предъявленные сыном в ходе расследования, указывали на то, что он умер в католической вере. Он принадлежал к ордену госпитальеров и хотел быть похороненным во владениях ордена, в госпитале святого Иоанна

Иерусалимского. Но он умер без религиозного вспомоществования, и тело его после смерти должно было до конца пройти весь путь унижения, уготованный отлученным: лишенный погребения в освященной земле, труп в течение многих лет стоял в гробу при кладбищенском садике. 25 лет сын умолял Святой Престол, но все расследования и хлопоты были безрезультатны. Оставленное без присмотра тело сожрали крысы, кости рассыпались, а череп вытащили из гроба и сохранили госпитальеры.

После смерти отца молодой граф (ему было уже 26 лет) продолжил планомерное отвоевывание страны. Из ненавидимых тиранов французы превратились в чужаков, которых надо поскорее выгнать. Обе стороны устали от войны, потерявшей жизненную необходимость. В мае 1223 года Раймон VII и Амори де Монфор заключили перемирие, которое должно было предварить собою мирную конференцию в Сен-Флуре. И если в Сен-Флуре противники не пришли к согласию, то по крайней мере дали себе передышку, и Раймон VII даже предложил себя в мужья сестре Амори после развода с Санси Арагонской.

Гильом Пюилоранский рассказывает [131], что во время перемирия Раймон VII, находясь в Каркассоне у Амори де Монфора, позволил себе сомнительную шутку, пустив слух, что его арестовали; его свита в испуге разбежалась, а оба графа хохотали над этим вместе. Говорили, что Раймон VII «любил посмеяться», но был ли Амори столь же смешлив? Могла ли стать предметом розыгрышей для двадцатипятилетних парней та война, которой их отцы отдали и свои силы, и свои жизни? Раймон побеждал без злобы, Амори защищался без отчаяния, они знали друг друга с детства и, прожив более 15 лет в атмосфере крови, жестокости, мести и предательства, должны были устать ненавидеть. И не они одни.

Перемирие не переросло в настоящий мир, обе стороны обратились к королю Франции, и совет по этому поводу должен был состояться в Сансе. Но Филипп Август, к тому времени уже тяжело больной, умер 14 июня 1223 года, не успев принять в нем участия. Его сын, занятый неотложными делами, связанными с восшествием на отеческий престол, ничего не смог решить и ограничился тем, что послал Амори субсидию в 10000 марок. Война продолжалась. Положение Амори стало столь критическим, что, несмотря на помощь старого архиепископа Нарбоннского Арно-Амори (который, забыв о старой ненависти к Монфору, отрядил часть имущества своей Церкви, чтобы дать возможность молодому Монфору расплатиться с солдатами), он смог удержать возле себя только 20 всадников, по большей части из старых отцовских соратников. Ему пришлось заложить свои французские домены, поскольку никто не хотел одалживать ему деньги, да и заботился он в основном о том, как обеспечить себе отступление.

Довольные, что наконец избавились от Амори, графы Тулузы и Фуа 14 января 1224 года заключили с ним соглашение. Они обязались уважать нравы и имущество тех, кто в ходе войны вступил в сделку с Монфором, не трогать гарнизоны, оставленные им в Нарбонне, Агде, Пен д'Альбижуа, Вальзерге и Термесе; Каркассон, Минерва и Пен д'Ажене оставались за Монфором. Амори де Монфор вывез из Каркассона во Францию тела отца и брата; он настолько издержался, что по дороге ему пришлось оставить торговцам Амьена за залог в 4000 ливров своего дядюшку Ги и нескольких рыцарей. Сразу после его отъезда Каркассон был взят графами и отдан юному Раймону Тренкавелю, сыну Раймона-Роже.

Тренкавель-младший вошел во владение своими доменами под ликование народа: через 15 лет после

резни в Безье окситанские земли вновь обрели своих старых сеньоров (или по крайней мере их сыновей), и народ смог поверить, что вернулись времена былой независимости.

2. Крестовый поход короля Людовика

Однако ничего не вышло. Эта независимость была не более чем призрак. Юридически ее поставили под сомнение и Церковь, и династия Капетингов, и практически отдали на откуп новой войне, которую опустошенная, обескровленная страна вынести не могла.

Чтобы залечить раны, Лангедок нуждался в 20-30 годах мира, а ему дали едва три года передышки. Да и передышки по существу не было, потому что над головой снова нависла угроза следующего крестового похода. В начале 1225 года (через год после отъезда Амори) папа Гонорий III стал энергично убеждать французского короля снова принять крест. Переговоры между королем и папой растянули приготовления к походу. Теперь это была уже явная торговля вокруг зон влияния и гарантий на будущее. Оба, однако, понимали, что столь успешно начатое предприятие должно быть доведено до конца, и чем скорее, тем лучше, пока противник не опомнился.

Король откликнулся на призыв папы, поставив следующие условия: индульгенция для его крестоносцев, угроза отлучения для всех, кто посягнет на его владения в его отсутствие и для тех, кто откажется пойти с ним или поддержать его финансами; он просит у Церкви двухгодичную субсидию в 50000 ливров в год; папа должен назначить легатом архиепископа Бургундского и окончательно лишить владений графов Тулузских и Тренкавелей и ввести короля во владения их доменами.

Папа колебался, рассудив, что король только и думает, что расширить свои владения за счет Церкви; граф Тулузский, ослабленный, да и к тому же отлученный от Церкви и непрестанно чувствующий угрозу как со стороны Церкви, так и со стороны короля, мог бы больше пригодиться в папской игре, чем могущественный король Франции, и надо сказать, что здесь папа не ошибался. Если для Церкви такой король, как Людовик Святой, был неожиданной удачей, то его внук Филипп Красивый докажет в Ананьи, что слишком мощная и централизованная Франция вовсе не желает быть вечно «солдатом Господним». Гонорий III предвидел более серьезную опасность, чем возрождение ереси. Озабоченный судьбой Святой Земли, не желая отправлять в Лангедок все боеспособное французское рыцарство, папа не терял из виду истинной цели альбигойского крестового похода: он пытался заставить графа Раймона, под постоянной угрозой очередного вторжения французов, самого преследовать еретиков.

Король, увидев, что папа расположен договориться с Раймоном, заявил, что в таком случае его больше не касаются вопросы ереси. Получив признание, граф пожелал доказать Святому Престолу свою добрую волю и на Соборе в Монпелье в августе 1224 году поклялся преследовать еретиков, изгнать рутьеров и возместить убытки разоренных Церквией наравне с графом Монфором, если таковой обяжется отказаться от своих претензий.

Папа явно не удовлетворился обещаниями Раймона и боялся прогневить короля Франции. Поэтому он затянул переговоры и в конце концов объявил о созыве Собора в Бурже, где аргументы обоих претендентов на графство Тулузское выслушают представители Церкви. 30 ноября 1225 года в Бурже собрались 14 архиепископов, 113 епископов, 150 аббатов из всех провинций севера и юга Франции. Ясно, что жюри из прелатов не могло решить вопрос в пользу Раймона VII, отлученного от Церкви и находящегося под подозрением в потворстве ереси, и его дело было проиграно с самого

начала.

Собор под председательством кардинала-легата Ромена де Сент-Анжа ограничился тем, что собрал досье на обоих противников и выпроводил графа Тулузского, отложив решение на отдаленный срок. Как и в те времена, когда легаты отказались выслушать оправдания Раймона VI, прелаты Буржского собора искали всего лишь легального способа обвинить Раймона VII, не выслушав его. Нельзя было давать ему публично подтвердить те гарантии, которые Церковь от него требовала и которые он готов был выполнить. Епископы сомневались в чистоте его веры, а король не хотел рисковать потерять свои права на Лангедок вместе с правами Амори.

Таким образом, сентенция об отлучении Раймона VII, графа Фуа и виконта Безье прозвучала в отсутствие заинтересованных лиц 28 января 1226 года. В это же самое время Амори де Монфор продал королю Франции свои права и титулы, и король наконец стал легитимным хозяином Лангедока, при полном согласии Церкви исключив настоящих сюзеренов.

На этот раз речь шла не о крестовом походе, объявленном с церковных папертей и с высоты соборных кафедр. Крестовым походом все это лишь именовалось, на самом же деле король Франции шел на провинцию завоевательной войной, а создание легального повода для завоеваний потребовало от него более или менее утомительных дипломатических демаршей. Вполне возможно, что вся эта торговля присягами, полученными, предложенными, отвергнутыми и проданными, сама по себе не имела никакого значения и даже будучи санкционирована Церковью, лишь подтверждала права сильнейшего. И вовсе не ненависть к ереси заставила короля требовать церковной поддержки, как моральной, так и финансовой. Он не принял крест, пока не вырвал у папства официального признания своих полных и безоговорочных прав на южные земли. Он пытался давить на Церковь, как Церковь давила на него.

Для этой завоевательной войны Людовик VIII намеревался извлечь все выгоды, обещанные Церковью солдатам Господа, а также добиться церковных субсидий. С такими козырями на руках ему удалось собрать внушительную армию. Несмотря на большую численность, блестящую экипировку и сильный корпус рыцарей, армия не отличалась ни единством, ни особенным энтузиазмом. Став личным делом короля, Лангедокская кампания уже не вдохновляла ни фанатиков, ни честолюбцев. Чтобы заставить баронов принять крест, король был вынужден пригрозить тяжким наказанием тем, кто откажется выступить. Даже клир был недоволен, поскольку его обязали отдать на крестовый поход десятую часть своих доходов.

Король принял крест в январе 1226 году, а в июне его армия выступила в поход. Она выглядела более сильной и многочисленной, чем та, что высадилась на берег Роны в 1209 году и двинулась на Безье. Ее приближение повергло население в такой ужас, что граф Тулузский, хотя и полный решимости защищаться, должен был отдать себе отчет, что проиграл.

Людовик VIII, инициатор бойни в Марманде, не мог вызвать у южан ни доверия, ни уважения. При всей своей набожности он снискал себе репутацию человека жестокого. Узнав о том, что его армия выступила весной 1226 года, многие южные сеньоры поспешили покориться. И среди них были такие, как Понс де Тезан, Беранже де Пюисерье, Понс и Фротар д'Оларг, Пьер-Раймон де Кортейан, Бернар-Отон де Лорак, Раймон де Рокфей, Пьер де Вильнев, Гильом Мешен и другие. Эракль де Монлаур и Пьер Бермон де Сов (зять Раймона VI) специально для этого даже отправились в Париж. Все эти сеньоры принадлежали к знати, верной графам Тулузским; их имена были в списках

сопровождая Раймона VI на Латеранский Собор, они восстали против власти французов при Раймоне VII. Бернар-Отон де Лорак (он же Ниор) был еретиком и спустя несколько лет понес за это жестокую кару, и однако он написал Людовику VIII (или его заставили написать): «Мы жаждем укрыться под сенью крыльев вашего мудрого правления». Надо было бы быть очень наивным, чтобы поверить подобным проявлениям лояльности.

Узнав о том, что королевская армия двинулась в поход, города стали присылать депутации с уверениями в верности королю. Сначала Безье, потом Нильс Тюилоран, Кастрес; затем – во время осады Авиньона – Каркассон, Альби, Сен-Жиль, Марсель, Бокэр, Нарбонна, Гермес, Арль, Тараскон и Оранж. Этот перечень весьма красноречив: только террор мог вызвать такой град изъявлений покорности. Города, ненавидевшие французов и очень ревностно относившиеся к своей независимости, не могли иметь никакого желания укрыться под сенью королевских крыл. Просто они помнили Безье и Марманду.

Граф Тулузский, далекий от мысли сдаться, собрал самых верных вассалов, в первую голову Роже-Бернара де Фуа и Раймона Тренкавиля, и попросил помощи у германского кузена, Генриха III Английского, и Юга X Лузиньянского, графа де ла Марш, сына которого он прочил в мужа своей единственной дочери. Граф де ла Марш не осмелился пойти против короля Франции, а Генрих III под угрозой отлучения ограничился тем, что набросал проект союзного договора. Получилось, что Раймон VII мог рассчитывать только на Тулузу и на армию, очень ослабленную после того, как ее оставили бароны, покорившиеся французам. Он крепко надеялся на то, что они вернуться, когда уляжется первый страх.

Королевская армия стала под Авиньоном, который, заявив о своем послушании, отказался ее пропустить. 10 июня король, «в отместку за оскорбление армии Христовой», поклялся не сходить с места, пока не возьмет город, и повелел готовить военную технику. Авиньон решил держаться. Более того, будучи имперским городом, он вовсе не собирался позволять французскому королю диктовать себе законы. Массивные стены города охранялись многочисленным ополчением и сильным гарнизоном рутьеров. Авиньон защищался так отчаянно, что через два месяца все еще можно было сомневаться в исходе предприятия. И пока голод, эпидемии, стрелы и каменные ядра из стана осажденных и атаки армии графа Тулузского с тыла изматывали королевских солдат, сам король принимал депутации южных городов и замков, которых вынуждали сдаваться присутствие крестоносцев и страх перед резней. Прелаты, в особенности Фульк и новый епископ Нарбонны Пьер Амьель, вели с ним переговоры о предварительной сдаче, обещая мир и милосердие со стороны короля.

В Каркассоне консулы и перепуганное население прогнали виконта Раймона и графа Фуа. Граф Прованса явился под осажденный Авиньон испрашивать поддержки у короля. Нарбонна, где католическая партия была всегда сильна, Кастр и Альби сдались еще до приближения королевской армии. И тем не менее Авиньон держался с честью, и его защитники даже атаковали лагерь неприятеля. В армии крестоносцев нарастало недовольство, и некоторые бароны, среди них граф Шампанский и герцог Бретонский, объявили о своем желании вернуться домой.

Тибо Шампанский оставил короля задолго до конца осады, как только закончился его карантин. В заблокированном городе начался голод, и легат Ромен де Сент-Анж повел переговоры о капитуляции. После трехмесячной осады Авиньон сдался и должен был принять условия победителей:

освобождение пленных, уничтожение крепостных валов и разрушение всех укрепленных зданий, а также солидные денежные контрибуции. Никогда и никто еще так не обращался с крупным свободным имперским городом, имевшим репутацию неприступного. Фридрих II безуспешно пытался опротестовать перед папой подобное посягательство на свои права. Король с этим не посчитался и оставил в городе свой гарнизон. Капитуляция Авиньона была большой удачей для королевской армии: через несколько дней половецкие Дюрансы затопило место, где стоял лагерь крестоносцев.

Удача была тем более ощутимой, что города Альбижуа и Каркассе, сдавшиеся лишь теоретически, поскольку король застрял в Авиньоне, теперь открывали перед ним ворота и без разговоров принимали все его условия. Падение Авиньона, одного из крупнейших галльских городов, произвело в стране почти такое же впечатление, как падение Тулузы.

Король занял Бокэр, а потом, без единого выстрела – все города вдоль дороги на Тулузу, от Безье до Пюилорана. Пред Тулузой он остановился. Столица Лангедока не выслала ни гонцов, ни депутаций, а граф со своими отрядами шел за королем по пятам, устраивая ему засады, перестрелки, обрушиваясь на зазевавшихся и разведчиков. А те же самые сеньоры, что несколькими месяцами раньше слали королю письма, где именовали его своим спасителем, «орошая его ноги слезами и слезно за него молясь» (письмо Сикара Пюилоранского), забирались к себе в горы и готовились к обороне, даже и не собираясь присягать королю.

Король посадил на их фьефы старых товарищей Монфора, а Ги де Монфору отдал Кастр; во всех оккупированных городах оставил сенешалей и, от Пиренеев до Кэрсии, от Роны до Гаронны, получил ключи от заранее сдавшихся городов. С ним шла деморализованная, потерявшая каждого десятого от болезней армия, которая пополняла силы за счет страшного бедствия, постигшего измотанную пятнадцатую годами войны страну. В октябре 1226 года у королевской армии не было ни сил, ни желания осаждать Тулузу. Хронисты единодушно констатируют ее усталость и огромные потери в боях и от болезней. Король разболелся сам и умер в дороге через несколько дней после того, как покинул Лангедок.

Если бы все города сопротивлялись, как Авиньон, королевский крестовый поход был бы обречен на полный разгром. Но король и легат хорошо рассчитали удар: они напали на раненого, еще нетвердо стоящего на ногах. Тот же Авиньон во времена Симона де Монфора вовсе не пострадал. Французы уходили полупобедителями, сами обессиленные походом. Пассивное сопротивление страны было еще слишком сильно, чтобы можно было выдержать тяжелую кампанию, изобилующую ловушками и неожиданностями. Возвращение крестоносцев, везущих с собой зашитый в бычьей шкуре труп благочестивого короля, отнюдь не было триумфальным.

Людовик VIII умер в 37 лет, оставив трон одиннадцатилетнему мальчику, а регентство – вдове, которая должна была изготавиться к неповиновению крупных вассалов. На беду Лангедока эта вдова звалась Бланкой Кастильской и была наделена такой энергией и честолюбием, каких не было ни у ее супруга, ни у сына. Если южане и порадовались смерти Людовика, то очень быстро поняли, что попали между Сциллой и Харибдой, и позднее трубадуры будут сожалеть о «добром Людовике».

Армия, которую король оставил в Лангедоке блюсти завоеванные территории, была многочисленнее той, что имел Симон де Монфор в январе 1209 года, и гораздо дисциплинированнее. Сенешаль Юмбер де Божо не зависел больше от капризов проходящих крестоносцев, и король исправно

высылал ему подмогу. Тем временем зимой 1226-1227 годов графы Тулузский и Фуа взяли Отерив, Ла Бесед и Лиму. Южная знать объединялась, народ поднимался против французов. Юмбер де Божо запросил подкрепления из Франции, поскольку он основательно устроился в Каркассоне (который, прослужив 15 лет главным обиталищем Монфору, естественно, сделался таковым и для королевской армии), а окрестные города и замки перешли к своим прежним сеньорам.

Регентша в распрях со знатью – графами Ла Марш, Шампанским, Булонским и Бретонским – имела нужду в деньгах и рассчитывала для этого завладеть десятиной, которую на альбигойский поход выделила Церковь. Прелаты отказались платить, невзирая на гнев легата Ромена де Сент-Анжа, принявшего сторону королевы. И поскольку епископы пожаловались папе, Бланка Кастильская получила деньги только на подкрепление для Юмбера де Божо. Если же обещаниями или угрозами ей бы удалось одолеть лигу вассалов, Лангедокское предприятие сразу становилось источником серьезных затруднений; эту провинцию, которую начал покорять ее муж и которую корона Франции не может уже оставить, не потеряв лица, было не укротить без ежегодно обновляющихся серьезных военных экспедиций. Находясь под постоянной угрозой английского вторжения, королева не могла задерживать армию на юге, а папа непрерывно теребил ее, чтобы она возобновила священную войну против ереси.

Бланка Кастильская вовсе не думала воспользоваться своим статусом женщины и вдовы, чтобы уйти от ответственности: несмотря на грозящую с севера опасность, ей удалось удерживать в Лангедоке отряды, достаточные, чтобы беспокоить противника непрерывными стычками и ослаблять его, если вовсе не сломить. С подкреплением, присланным весной 1227 года, Юмбер де Божо взял замок Ла Бесед, перебил гарнизон и опустошил поля вокруг Тарна. На следующий год он начал с графства Фуа (где под Варилем был убит Ги де Монфор) и, потеряв Кастельсаразен, взял замок Монтеш. Затем с новым подкреплением, присланным архиепископами Оша, Нарбонны, Бордо и Буржа, он двинулся на по-прежнему неприступную Тулузу. Планом французов были теперь не военные победы, а методичное, шаг за шагом, разорение страны.

Об этом очень ясно говорит Гильом Пюилоранский, описывая опустошения, произведенные армией Юмбера де Божо под Тулузой: ведомые и воодушевляемые Фульком (епископом-перебежчиком, который, не имея возможности вернуться в свой город, был исполнен праведного гнева на свой диоцез), крестоносцы приступили к систематическому разрушению окрестностей города. Летом 1227 французы установили лагерь к востоку от Тулузы, и оттуда день за днем устраивали набеги на виноградники, зерновые посеы, фруктовые сады и, превращаясь в «земледельцев наоборот», выкашивали поля, выкапывали виноградники, разрушали фермы и укрепленные здания.

«По утрам, – пишет историк, – крестоносцы слушали мессу, завтракали и отправлялись в путь с лучниками в авангарде. Они начинали крушить близлежащие виноградники в тот час, когда горожане едва просыпались; затем они поворачивали к лагерю, и каждый их шаг охраняли военные отряды. И так каждый день в течение трех месяцев, пока не опустошили все почти целиком»[132].

Историк, большой поклонник Фулька, продолжает: «Помню, как благочестивый епископ сказал, завидя возвращающихся бегом опустошителей: «И на бегу мы покоряем неприятеля сим чудесным способом». И действительно, таким способом было решено заставить тулузцев обратиться в истинную веру и подчиниться, отняв у них то, что составляло их гордость. Так благоразумно отодвинуть пищу подальше от больного, чтобы он не объелся. Почтенный епископ рассуждал, как

отец, который наказывает детей только в гневе».

Замечание довольно-таки циничное, если принять во внимание, что «гордость» тулузцев и то, чем они рисковали «объесться», был всего-навсего их хлеб насущный.

Граф, занятый освобождением замков и других стратегически важных пунктов, не располагал достаточными силами, чтобы противостоять опустошению своих доменов. Разбойничали не банды бродяг, а мощная, хорошо организованная армия, неприятелем которой в этой войне без сражений были посева, виноградники и скотина.

Борьба обрела былую остроту, и графы в ответ на резню гарнизона в Ла Бессед жестоко обошлись с пленниками не рыцарского достоинства, взятыми в битве при Монтене и бросили их в лесу с выколотыми глазами и отрубленными руками. Юмбер де Божо и сопровождавшие его епископы и крестоносцы понимали, что страна никогда не покорится по своей воле власти короля, и эти края не поймут «своего истинного интереса», как говорит Гильом Пюилоранский, а уж если это случится, то в тот самый день население Лангедока перестанет существовать как нация.

Приближался день, когда граф Тулузский начал понимать, что необходима передышка, даже ценой капитуляции. Передышка, которая позволила бы стране зализать раны и подготовиться к реваншу. Но, надеясь мирным договором обеспечить своим подданным шанс на короткий отдых и минимальное благополучие, Раймон VII недооценил хитрость и беспардонность противника. Мирный договор, который он подписал, был пострашнее всякой войны. Не будучи побежденным, он позволил навязать себе условия, которые ни один монарх не навязывал своим противникам, даже после самой блистательной победы.

Нас до сих пор поражают статьи этого договора, и мы пытаемся найти объяснение в жестокости нравов эпохи. Но не надо забывать, что и современники были поражены не меньше нашего, и что неприкрытое утверждение права сильнейшего шло вразрез со всеми феодальными законами. Остается только гадать, по какому странному недоразумению граф, которому было не занимать ни здравого смысла, ни мужества, мог позволить так с собой обойтись. Видимо, объяснение нужно искать в той нищете, в которую война ввергла Лангедок.

Королевский крестовый поход только ожесточил население, да и что можно было ожидать от сюзерена, бросившего все свои силы на опустошение полей и вырубку садов? В 1229 г. граф все еще сопротивлялся, но его вернейшие вассалы, такие, как братья Термесские и Сантюль д'Астарак, сложили оружие в страхе, что их земли постигнет та же участь, что и окрестности Тулузы. Столица оказалась под угрозой голода. Невзгоды неприятельских солдат, сражавшихся не за свою землю и вольных в любой момент вернуться домой, казались смехотворными рядом с разрушениями, которые претерпела страна за 20 лет.

За три года французы потеряли короля, архиепископа Реми, графа Намюрского, графа Сен-Поля, Бушара де Марли, Ги де Монфора, и это если считать только полководцев. Потери среди солдат оценивались в 20 тысяч человек только за 1226 год, и, хотя историки того времени не владели статистикой и явно завышали цифры, урон французской армии был очень тяжел. И королева, и легат, чья энергия не вызывала сомнений, получили от папы упрёки в медлительности.

Папа Григорий IX, избранный на место умершего в 1227 году Гонория III, звался Уголином, кардиналом-архиепископом Остийским и был очень дружен со св. Домиником. Этот старик, приходившийся родственником Иннокентию III, обладал еще более нетерпимым и властолюбивым

характером, чем его кузен и предшественник. Регентша, при ее политических амбициях и религиозном пыле, с покорной горечью выслушивала все требования и угрозы, которыми забрасывал ее папа, и это как раз в то время, когда она так старалась заставить уважать в лице Франции права ее младшего сына.

Предложения о перемирии французы передали Раймону VII через посредника Эли Герена, аббата из Грансельва. Ясно, что все издержки по договору ложились на еретиков, и здесь ни граф, ни его друзья не строили себе никаких иллюзий. Но они не могли предвидеть, что этот договор станет настоящей аннексией их страны. Гильом Пюилоранский констатирует, что одной его главы хватило бы, чтобы разорить графа, как если бы он был пленником. Этот святоша рассуждал, как феодал, и судил с позиций тех прав, которые делались все более эфемерными на фоне тоталитарных устремлений крупных монархов и Церкви. «По Божьей воле, а не по человеческой, был подписан сей договор», – заключает хронист, и в его словах больше грусти, чем он хочет показать.

ГЛАВА VIII

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ОКСИТАНИИ

1. Последствия войны

Прежде чем исследовать причины и результаты злополучного договора, необходимо постараться понять, как протекала жизнь в Лангедоке в эти трудные, но полные надежд годы после гибели Симона де Монфора.

Рога и трубы, бубенцы и колокола, которыми Тулуза праздновала смерть захватчика, отозвались в десятках городов и сотнях замков, отвоеванных либо графами Тулузскими, либо прежними владельцами.

Поэт, автор «Песни...», неожиданно оборвавший свой рассказ на приготовлениях принца Людовика к осаде Тулузы, не повествует нам об этих трагических годах, когда юг, едва поднимая голову, снова оказывался сраженным. Но он единственный, кто дал нам почувствовать атмосферу, в которой жил Лангедок в часы отвоеванной им хрупкой свободы, – эту смесь лихорадочной радости, ненависти, тоски и надежды.

Он единственный, кто показал Тулузу готовящейся отразить штурм Монфора: людей на стройке баррикад, огни факелов, звуки бубнов и рожков, разносящиеся по улицам, и женщин, отплясывающих на площадях и распевających баллады. Поэт передает и разделяет восторженную нежность жителей к обоим графам, старому и молодому, и повествует о том, как горожане в слезах радости, на коленях целовали края платья Раймона VI и тут же, вооружившись чем попало, мчались ловить французов, хватали их на улицах и убивали. Он описывает отчаянное упоение битвой и непрерывные приливы и отливы победителей и побежденных через мосты, земляные валы и рвы. Он дает захватывающую картину боя: сверкание разноцветных стягов и щитов, блистающих на солнце, и, посреди звона оружия, кашу из отсеченных рук и ног и летящие наземь вместе с кровавыми струями разбрызганные мозги.

Свидетель этих ужасных дней, он пытается передать ликование и гордость народа, и трудно отказать ему в подлинности, ибо его свидетельство потому и неполно, что слишком правдиво. Он заставляет нас почувствовать, что такое обретенная свобода для людей, которым уже приходилось ее терять. В первые годы после смерти Симона де Монфора народ все переживал на едином дыхании – и кровь, и нищету, и пожары, и праздники, и опьянение радостью, и сведение счетов.

Если окситанские сюзерены понимали, какая опасность таится в претензиях короля и церковных анафемах, то население, освободившись из-под гнета захватчиков, полагало, что все худшее уже позади. Однако графы и местные феодалы, утвердив свои права, ничего не получили, кроме удовлетворения чести родовых гнезд и собственного самолюбия. Прованс и Арагон высылали внушительные подкрепления оружием и живой силой, но народ Лангедока все еще не мог оправиться после страшных военных потерь.

Тулузские буржуа, не считая, отдавали на военные нужды все свое имущество с мыслью о том, что лучше умереть, чем, сдавшись, жить в позоре. Но после победы над Монфором и принцем Людовиком столица лежала в руинах, казна была пуста, торговля разорена, а население потеряло каждого десятого. И неспроста катапульты, сразившей Монфора, управляли женщины. Огромная часть тулузского населения погибла под Мюретом. Нам неизвестно число горожан, убитых на улицах во время восстания, но, должно быть, их было много, ибо крестоносцы два дня сражались с плохо вооруженным населением в плохо укрепленном городе. За восемь месяцев осады ополчение, составлявшее и инфантерию, и артиллерию, и вспомогательные службы, понесло неизмеримо большие потери, чем рыцари, защищенные доспехами. В средневековой войне это обычная ситуация. Но даже если не считать сражавшихся, мирное население после разрушения многих кварталов, непосильных поборов Монфора и осадных лишений сильно страдало от голода, холода и болезней. Граф Раймон постоянно посылал сюда своих рыцарей и пехоту, и потому во время осады армия существовала фактически за счет населения. Если война и обогатила какие-то отдельные отрасли торговли, то остальные она парализовала, и за годы крестового похода Тулуза, как и другие крупные южные города, перестала быть тем центром индустрии и коммерции, каким она была до 1209 года. Ярмарки замерли, рынки опустели, и требовалось не менее года мирной жизни, чтобы все восстановить.

Нарбонну крестоносцы пощадили, а Каркассон, после того, как они реквизируют все городское имущество, сумел довольно быстро вновь добиться видимости процветания – укрепившийся там Монфор был заинтересован в стимулировании торговли, и многие буржуа нажились на войне. Разграбленный и сожженный Безье тоже начал быстро подниматься: его заселяли либо люди, оставшиеся без крова, либо те, кто паразитировал на крестовом походе, либо те, кто успел уйти раньше катастрофы и теперь возвращался к остаткам своего добра. Однако город лежал в руинах и пока мечтать не мог о былом могуществе. Такие города, как Лиму, Кастр и Памьер, были отданы как фьефы людям Монфора, которые не преминули воспользоваться их богатством либо в интересах крестового похода, либо в своих собственных. Города в Ажене и Кэрсии пострадали меньше других. Пока держался осажденный Муассак, а Марманду грабили, вырезая население, верный графам Тулузским Монтобан принял активное участие в военных действиях и потерял немало своих солдат под Мюретом. Все крупные южные города, даже не подвергавшиеся осадам и разрушениям, очень обеднели, лишившись коммерции, а крестоносцы и епископы задавили их поборами.

Крупные замки, такие, как Лаваур, Фанжо, Термес и Минерва, центры интенсивной светской, духовной и интеллектуальной жизни, пострадали больше других городов. Взятые приступом, обезлюдевшие, разрушенные либо долгое время оккупированные, они оплакивали своих погибших защитников, семьи которых соединялись после освобождения, считая убитых и без вести пропавших. Костры Минервы и Лаваура, колодец, где забросали камнями Геральду, виселица, на которой

кончили жизнь Эмери Монреальский и его 24 рыцаря, сто изувеченных слепцов из Брама и другие трагические воспоминания, не дошедшие до нас, но жившие в памяти современников, располагали скорее к ненависти и мщению, чем к радости.

Граф Фуа в «Песне об альбигойском крестовом походе» называет всех крестоносцев «изменниками без чести и веры». «Сердце мое радуется при мысли о тех, кого я убил или ранил, и печалится при мысли о том, что кому-то удалось спастись»[133] – так чувствовали тогда люди. Незадолго до падения Лаваура граф Фуа с сыном перерезал застигнутый врасплох отряд безоружных немецких крестоносцев [134]. Человек с крестом на груди уже воспринимался не как противник, а как вредоносное животное, которое надо уничтожить любыми средствами. Бодуэна Тулузского просто-напросто повесили, с пленниками рангом ниже обращались более жестоко: их пытали и четвертовали на глазах ликующей толпы. Раймон VII в некоторых случаях, правда, показал себя рыцарем по отношению к побежденным. В Пюилоране он не казнил гарнизон и отнесся с почтением к вдове бандита Фуко де Берзи. Когда в тюрьме умер сын Монфора Ги, граф передал его тело Амори де Монфору с воинскими почестями. Но ни население, ни рыцари «файдиты», ни сам граф Фуа не утруждали себя церемониями: крестовый поход разжег в стране неизбывную ненависть к французам. Окситанское рыцарство заплатило высокую цену в этой войне. Но рыцарские потери – ничто в сравнении с потерями пехоты и мирного населения (не говоря уже о рутьерах, чья смерть вообще никого не волновала). 20 тысяч мирных жителей (если не больше) были уничтожены в Безье, 5 или 6 тысяч в Марманде, и можно только представить себе бесчисленные жертвы осад и набегов. Воинские формирования, куда всегда входили рутьеры, да и регулярный контингент которых зачастую составляли сорвиголовы, не питали нежности к мирному населению. Извечное презрение воина к штатскому, вырывавшееся на свободу при каждой резне, проявлялось и во многих других случаях. Да и крестоносцы, постоянно находясь под угрозой и рискуя на каждом шагу жизнью, тоже не были расположены опекать вдов и сирот.

Если Наполеон Пейра и преувеличивает, говоря о миллионе погибших за пятнадцать лет войны, то ведь реальные потери Окситании не учтены ни в одной хронике или ином документе, а превышения цифр проистекают из изучения текстов. В ту эпоху не было ни переписей населения, ни статистики. И если смерть рыцаря была заметна, то толпы безымянных мертвецов оставляли после себя только пятна крови да ошметки растерзанных тел. Простой люд даже в годину бедствий не представляет интереса для истории.

Лангедокские города обнищали, торговля разорилась, население повыбили; измученный войной край страдал от голода. Земли побогаче (в районе Тулузы и Альбижуа) и победнее (в горах) всячески опустошались долгие годы, и особенно жестоко – во время кампании Юмбера де Божо в 1228 году. Симон де Монфор каждый год, с 1211-го по 1217-й, разорял долины Арьежа, надеясь таким образом урезонить графа Фуа. В окрестностях Тулузы и Каркассона были сожжены посеы и вытоптаны виноградники. А нужно отдавать себе отчет в том, чем были виноградники для полуаграрного юга: ведь обитатели Муассака в 1212 году капитулировали, потому что «началась пора сбора винограда». Можно было бы вновь засеять поля и насадить виноградники, но много народу полегло в боях и резне, много пошло по миру, занялось бродяжничеством или разбоем. А те, что остались, ослабели от голода и болезней и не в состоянии были быстро восстановить хозяйство – на это требовались годы. Даже у крестьян, традиционно привязанных к земле, от постоянной угрозы войны и разорения

опускались руки. И надо думать, что, не будь вездесущего Симона де Монфора, поля и виноградники вокруг Тулузы, да и по всему Лангедоку, не подверглись бы такому опустошению.

Если еще раз обратиться к автору «Песни...», то выйдет, что и власть имущие были скорее расточительны, чем экономны. В самом начале окситанского сопротивления авиньонцы говорили Раймону VI: «Не бойтесь ни тратить, ни дарить»[135], а графы беседовали с приближенными «об оружии, любви и подношениях». Граф неоднократно обещал озолотить всех, кто его поддержит. Монфор, довольно великодушно относившийся к властителю покоренной страны, вовсе не был транжирой и досадовал, видя противников «гордыми, бравыми и не заботящимися о средствах». А для графа Тулузского наивысшим удовольствием было «давать», и он щедро возвращал владельцам отвоєванные у французов земли. Ради этой возможности быть щедрым ему приходилось «выжимать» собственные домены, и без того обнищавшие. Но, как бы ни был велик дух жертвенности и патриотический порыв в крупных провансальских городах, долго они продержаться не могли.

Ясно, что содержание собственных сеньоров было для населения менее тяжким бременем, чем поборы оккупантов. Сеньоры имели прямой интерес беречь свои владения. Не надо думать, что Раймон VII и его свита строго придерживались предписаний знаменитого Арльского постановления, против которого восставал Раймон VI, и носили только «грубые черные одежды» и жили только вдали от городов. Демонстрация богатства была напрямую связана с понятиями чести и свободы. Обретение утраченного достоинства праздновали все, и если простой люд довольствовался плясками под пение баллад и колокольным звоном, то рыцари устраивали пиршества и раздаривали дамам и друзьям драгоценные украшения и породистых лошадей. Гильом Пюилоранский восхваляет епископа Фулька за великолепный прием, оказанный им прелатам, приглашенным на Тулузский Собор, «хотя в это лето он не получил больших прибылей»[136]. И уж коли прелаты умудрялись раздобыть достаточно провизии, чтобы потчевать гостей, то сеньоры не могли им уступать, принимая своих друзей, – для них это был вопрос престижа.

Трубадуры воспевали приход весны и свободы и славили графа Раймона. Повсюду играли княжеские свадьбы. Южная аристократия обновляла и укрепляла прежние связи после долгих лет разобщенности. Многие рыцари были в изгнании или бежали в горы. Поселившиеся в их замках французы женились на окситанских вдовах или наследницах владений. Старый Бернар де Коменж с высоты тулузской стены ранил своего зятя Ги де Монфора, за которого силой выдали его дочь Петрониллу. Политика принудительных браков, провозглашенная Симоном де Монфором, не приносила желаемых плодов. Большинство этих навязанных зятьев и деверей было перебито или же выгнано из страны. Восстановление родового достоинства стало главной заботой общества гордых аристократов, для которых крестовый поход явился и национальным позором, и личным бесчестьем. В этой войне кастовый патриотизм шел об руку с патриотизмом всеобщим. Горожане боролись за свои привилегии, шевалье – за честь и владения, народ – за свободу и все вместе – за свой язык и национальную независимость. Знать, сильная военными победами и занимающая положение правящего класса, возместила свои убытки гораздо скорее, чем простой люд. Она постоянно нуждалась в деньгах на военные действия. А страна давно уже сопротивлялась не на пределе сил, а далеко за этим пределом.

2. Учение катаров как национальная религия

Церковь, бывшая в большом барыше во времена Монфора и нажившаяся на богатых

пожертвованиях и в особенности на конфискации имущества еретиков, попала в ситуацию, еще более критическую, чем перед 1209 годом. Графы и рыцари-«файдиты» стремились вернуть не только свое конфискованное добро, но и то, что вынужден был отдать Церкви Раймон VI. Воодушевленный военными победами, Раймон VII отвоевал графство Мельгей – прямой папский фьеф, которым управлял епископ Магелонский. Епископы, воцарившиеся во время крестового похода, бежали из своих городов. Ги Сернейского, епископа Каркассона, который возвращался умирать во Францию, заменили его предшественником Бертраном-Раймоном де Рокфором, ранее отстраненным от должности и, стало быть, популярным. Фульк, епископ отлученной Тулузы, не осмеливался появиться в городе, который считал его повинным во всех своих невзгодах. Епископ Тедиз Агдский, экс-легат и один из застрельщиков крестового похода, и епископы Нима и Магелона, вместе со старым архиепископом Нарбонны Арно-Амори, укрылись в прокатолическом Монпелье. Там, вдали от народных мятежей, они развернули деятельную дипломатическую кампанию, ухитряясь, с помощью отлучений и апелляций к папе, то мириться с графами, то призывать на их головы молнии монаршего или папского гнева.

Престарелый аббат из Сито, некогда поддерживавший Амори де Монфора, теперь взялся разыгрывать национальную карту. До него наконец дошло, какую опасность представляла собой французская угроза и для страны, и, может статься, для политической независимости окситанской Церкви. Поняв, что король будет утруждать себя крестовым походом только на условиях аннексии южных провинций, Арно-Амори повернулся к Раймону VII и попытался заставить Церковь признать его законным сеньором графских владений. Любопытно, что старый лидер крестового похода, может быть, единственный из окситанских епископов, подумал о чем-то другом, кроме истребления ереси и сиюминутных материальных интересов Церкви. Но этому прелату-задире суждено было умереть в 1225 году, завещав аббатству Фонфруад свои книги, оружие и боевого коня. В его лице партия независимости потеряла влиятельного и энергичного члена. Место Арно-Амори занял Пьер-Амель, открытый поборник интересов крестового похода и королевской власти. Окситанский клир представлял теперь политическую партию, агрессивную и опасную из-за своей непопулярности, ибо каждый ее промах расценивался в Риме как поражение Церкви.

Нет ничего удивительного в том, что Церковь была так непопулярна в Лангедоке: открыто поддерживая крестовый поход, епископы и аббаты потеряли доверие даже католиков. Трубадуры в голос проклинали французов и клириков, и «Песнь» пестрит высказываниями окситанских вельмож типа: «Если бы не Церковь, нас было бы не победить...». И для тех, кто почитал святых и поклонялся реликвиям, Церковь стала врагом по определению. Можем ли мы из этого заключить, что у нее не было в Окситании сторонников?

Каждый крупный город имел своего епископа, который, будучи могущественным сеньором, часто являлся его совладельцем, а то и единственным сюзереном. Безье и Тулуза присягали одновременно и графу, и епископу, так что известные нам претензии Арно-Амори на архиепископство и на титул герцога Нарбонны можно было оспаривать, но ничего экстравагантного они не содержали. Даже в тех случаях – как в Тулузе перед прибытием Фулька, – когда авторитет епископа уже не существовал, сам епископ все еще располагал обширным аппаратом административных, судебных и фискальных чиновников, работавших на него и тем кормившихся. Перед крестовым походом, в эпоху ослабления авторитета Церкви, Лангедок насчитывал много процветающих и могущественных

аббатств. Цистерцианская реформа внесла новую струю в католическую веру, и трубадур Фульк Марсельский сделался не катаром, а монахом аббатства Фонфруад. Вовсе не все аббатства опустели и разорились, и такие, как Грансельв или Фонфруад, были центрами интенсивной религиозной жизни, а живущие там в посте и молитвах монахи могли соперничать в их строгости с совершенными. Число и богатство этих аббатств говорит о том, что, несмотря на стенания пап и епископов, Церковь в Лангедоке была далека от полного уничтожения. Уже сама ненависть, которую она вызывала, свидетельствует о ее относительной мощи. И когда у нее уже не осталось других сторонников, кроме собственного клира, этот клир составлял пусть слабую, но часть населения, с которой нельзя было не считаться.

Уже само по себе то, что клир жил зажиточно и почти всегда умудрялся избегать нужды, сообщало ему некоторый оттенок превосходства. Помощь грамотных монахов всегда требовалась горожанам. Выполняя функции секретарей, счетоводов, переводчиков, нотариусов, а нередко и ученых, архитекторов, экономистов, юристов и т. д., они составляли интеллектуальную элиту, без которой нельзя было обойтись.

В годину бедствий, обрушившихся на их родину, многие священнослужители заняли позицию защиты национальных интересов, хотя она и была достаточно опасна – человеку Церкви нельзя порвать с Церковью. И если незадолго до крестового похода попадаются упоминания о кюре и даже об аббатах, симпатизирующих ереси (или, по крайней мере, не относящихся к ней, как фанатики), а позже – об обителях, дававших прибежище еретикам, и о католиках, посещавших проповеди совершенных, то эта толерантная часть клира не представляла большинства и не отличалась боевитостью.

Кроме того, у аббатов и епископов – исключая призванных в страну вместе с крестоносцами – были на местах родственники и друзья. Подрядчики охотно брали у них заказы, торговцы почитали их лучшими клиентами. Несомненно, многие из этих людей были их сторонниками. Церковная партия могла рассчитывать на преданность тех, кто открыто принял сторону оккупантов, кто был семейно или дружески связан с французами и, наконец, на искренних католиков-фанатиков вроде «белого братства» епископа Фулька в Тулузе. Мы присутствуем здесь при создании мощного движения, рожденного крестовым походом и ставшего с течением времени интернациональной реакционной организацией католиков, захватившей Церковь и прибравшей к рукам массы верующих.

В стране, где довлела ненависть к оккупантам, приверженцы этого движения оказались в меньшинстве. Но кипение страстей, высвобожденных войной, подхлестывало в них жажду реванша. Не надо забывать, что южный патриотизм был явлением относительно новым и что пятьюдесятью годами раньше тулузские буржуа взывали к королям Франции и Англии в поисках защиты от собственного графа.

Несмотря на национальное единение, установившееся в стране после смерти Симона и отъезда Амори, Лангедок не способен был наслаждаться миром, поскольку его законные сюзерены, вернувшие свои территории, находились под постоянной угрозой церковного гнева. Раймону VII было необходимо помириться с Церковью как для спокойствия внутри страны, так и из соображений внешней политики. Неизвестно, вызывала ли у него колебания судьба еретиков, поскольку Церковь никогда не позволяла ему доказывать свою добрую волю. Он был постоянно связан по рукам и ногам.

Читая историков, современных событиям альбигойских войн, задаешься вопросом – почему Церковь так отчаянно стремилась подавить страну, и без того уже обессиленную и бьющуюся лишь за свою независимость? В их текстах нет речи о ереси; этот противник, о развитии которого периодически сокрушаются, столь эфемерен, что похож скорее на загадочную эпидемию, чем на национальное религиозное движение. Католические авторы констатируют, что ересь существует повсюду, что она распространяется, а знать отказывается с ней бороться. Лангедокские же авторы вообще ничего об этом не пишут.

В этом плане не отличается от других и автор «Песни об альбигойском крестовом походе»: певец окситанской свободы упоминает еретиков, только чтобы сообщить, что граф Фуа или граф Тулузский и иже с ними никогда их не любили и с ними не общались. Обвинения в ереси, выдвинутые против них и их подданных, суть чистая клевета и вымысел. Князья и рыцари, боровшиеся за независимость своей страны, были христианами не хуже других и без устали призывали Иисуса Христа и Пречистую Деву, а если в пылу битвы и кричали «Тулуза!», так ведь и крестоносцы орали «Монфор!». И оба лагеря с одинаковой убежденностью заявляли, что их не одолеть, ибо с ними Иисус. А когда бароны объявляли о возрождении Достоинства и Милости, они протестовали скорее против папской тирании, чем ратовали за иную религию. Католики чувствовали себя призванными истребить «еретиков» (сиречь катаров и вальденсов), однако в окситанском лагере никто себя таковыми не считал. И тем, и другим ересь служила лишь предлогом.

Несомненно, поэт-хронист прежде всего описывал осады и битвы. Его повествование, точно так же, как и дошедшие до нас песни трубадуров, написано и скопировано в эпоху, когда одно лишь подозрение в ереси грозило пожизненной тюрьмой, изгнанием или разорением. Если в те времена и существовала еретическая светская литература, ее, конечно, уничтожили по вполне понятным причинам. И если бы сквозь века до нас дошли писания катарского Петра Сернейского, где говорилось бы о величии деяний его духовных вождей и о Господних чудесах в их честь, то, несомненно, крестовый поход предстал бы перед нами совсем в ином свете. История существует только в документах. И даже обладая фантазией Наполеона Пейра, невозможно противопоставить подчас отвратительным, но ярким фигурам Монфора, Доминика, Иннокентия III, Фулька, Арно-Амори ничего, кроме теней.

И тем не менее, чтобы сокрушить эти тени, пятнадцати лет войны и террора оказалось мало. В ослабленной и разоренной стране они представляли для Церкви такую опасность, что папа, без устали взывая к христианскому миру, не давал покоя французскому королю, преследовал лангедокских лидеров – словом, вел себя так, будто судьба Церкви зависела только от сокрушения альбигойской ереси. Очевидно, папа желал непременно уничтожить независимый Лангедок вовсе не ради замыслов своего союзника (короля Франции). Ересь, вопреки крестовому походу или благодаря ему, распространилась до такой степени, что местный сюзерен, будь он самым страстным католиком, не мог уже справиться с риском полного отвращения страны от Церкви.

Морально страна уже от нее отвратилась. И народу необходимо было обладать героическим терпением и большой силой духа, чтобы противостоять Церкви, явившейся в обличье ненавистного чужеземного завоевателя. В эту пору в Лангедоке существовала уже другая Церковь, в силу вещей ставшая, несмотря на преследования, Церковью национальной.

Говорят, средние века были эпохой веры. Обобщения подобного рода часто обманчивы, и было бы

точнее сказать, что дошедшие до нас свидетельства о средневековой цивилизации пропитаны глубокой религиозностью. Средневековая культура, как и все остальные, зародилась внутри религии. К XII веку светскую литературу и поэзию уже отличает полное безразличие к религиозной тематике. Короли, князья, а подчас и прелаты руководствовались в своей политике теми вечными законами, которые потом сформулирует Макиавелли и которые ничего общего не имеют с верой. Народ поклонялся святым, как некогда поклонялся божествам солнца, ветра или дождя. Церковь презирали и всячески над нею глумились даже там, где в ужасе осеняли себя крестом при одном упоминании о ереси. И все же средние века были эпохой веры, ибо не существовало системы ценностей, которая была бы сопоставима с религией. Все по-настоящему глубокие вдохновения и озарения смешивались в пространстве веры, как ручьи в море. И хотя рыцарский идеал и современное общинное движение были чужды религии, мало кто помышлял обходиться без Церкви.

И если существовали общества скептического или агностического толка (а в Лангедоке, открытом всем интеллектуальным течениям и отчасти освободившимся из-под церковного гнета, неверующих должно было бы быть больше, чем в других краях), скептицизм редко становился смыслом жизни и еще реже – поводом к смерти. Беды крестового похода породили в стране мощный взрыв патриотизма, однако за родину шли умирать все-таки с криком. «С нами Иисус Христос!». Обвиняя Церковь в своих невзгодах, люди в сердце своем соединялись с иной Церковью, которая долгие годы повторяла им, что Рим есть воплощение Сатаны.

Здесь таится двусмысленность, которая не дает нам определить, до каких пределов после смерти Симона де Монфора в Лангедоке распространилось учение катаров (или же вальденсов, которое, судя по свидетельствам, получило в эти годы много приверженцев). Возможно, сторонники графа Тулузского в «Песне...» или в поэмах трубадуров говорят о Боге и об Иисусе, как катары, имея в виду Доброго Бога из учения манихеев. Но мы про это ничего не знаем. С другой стороны, эти люди ходили в церковь, почитали крест и святыни, и нам неизвестно, были они толерантны по обычаю или по глубокому убеждению. Возможно, что незадолго до поразившей страну катастрофы существовала некая договоренность между совершенными и сочувствующими им католиками по поводу национальной и патриотической веротерпимости, которая устраивала и почитателей катарского культа, и правоверных католиков. У страны были свои святые, свои святилища и свои католические епископы [137]. Катары, почитавшие память апостолов и евангелистов, могли, из снисхождения к человеческой слабости, разрешать своим прихожанам молиться этим святым.

Хотя мы и не располагаем точными данными на этот счет, мы вправе предположить, что в 1220-1230 годах учение катаров обрело более мягкую форму, позволявшую соблюдать видимость приближения к католицизму. На это указывает фраза из катарского ритуала (правда, записанная в конце XIII века), которая гласит: «Однако пусть думают все лишь об этом причастии (*le consolamentum*), но и не презирают ни другого причастия, ни добрых слов или деяний, совершенных по-христиански до сего момента» [138]. Эти слова адресованы постуланту, уже признанному достойным принять посвящение. Те же, кто не претендовал на посвящение, могли оставаться верующими катарами, сочетая свою веру с католическим обрядом. Для верующего было достаточно ненавидеть Рим и французов.

Было бы слишком дерзко утверждать, что весь Лангедок перешел в катарскую веру, однако вполне вероятно, что искренние богоискатели (а в ту эпоху таких было немало) обращали свой взор к

катарской, а не к католической Церкви.

Когда папа, епископы и король рассуждают об изгнании еретиков, ясно, что этот термин не обозначает всех приверженцев мятежной секты. Верующие, даже осужденные и приговоренные за ересь, вовсе не были еретиками. Это выражение в словаре эпохи обозначало только совершенных. Инквизиторы именовали катарских епископов «ересиархами», отличая их тем самым от рядовых совершенных. Об основной массе верующих нам не известно почти ничего (допрошенные Инквизицией активные члены секты разного звания явно составляли меньшинство), гораздо больше мы знаем о совершенных.

Упоминания о совершенных очень сухи и однообразны. Почти все они на одно лицо: в таком-то году, при таких-то обстоятельствах диакон или совершенный имярек проповедовал перед такими-то или же посвящал таких-то. Служба отправлялась в доме такого-то, было принято пожертвование от такого-то. До нас дошли далеко не все документы Инквизиции, многие были уничтожены самими инквизиторами, многие попорчены временем или затерялись в библиотеках и архивах. Но даже неполная документация дает впечатляющие сведения о деятельности катарской Церкви во время крестового похода и в последующие годы.

Можно смело сказать, что, несмотря на войну, разорявшую Лангедок, на костры Минервы и Лаваура, катарские церкви продолжали действовать в 1225 году так же организованно, как и накануне крестового похода. К этому времени в Лангедоке насчитывалось четыре катарских диоцеза: в Альби, Тулузе, Каркассоне и Ажане. В 1225 году на Пьезском Соборе был создан новый диоцез в Разе, и его епископом выбрали Бенуа Термесского. Обстоятельства создания этого епископства свидетельствуют о том, насколько органично катарская Церковь вписывалась в жизнь страны. Обитатели Раза жаловались на неудобства, проистекавшие от того, что часть их провинции принадлежала к Тулузскому епископству, а часть – к Каркассонскому, и Собор постановил епископу Каркассона выбрать нового епископа среди своих диаконов, а епископу Тулузы совершить над ним обряд посвящения. Невозможно было бы представить подобную ситуацию в Церкви, состоящей из людей, вынужденных прятаться и дрожать от страха, что их уличат в ереси.

После смерти Симона де Монфора ересь вышла из подполья и, как и официальная Церковь, на своем Соборе в Пьезе занималась вопросами иерархическими и административными. В 1223 году легат Конрад де Порто, призывая французских прелатов на Сенский Собор, писал, что катары Болгарии, Венгрии и Далмации только что избрали нового папу, и эмиссар папы-еретика, Варфоломей Картес, прибыл в Альбижуа, где собрал толпу почитателей и раздает указания епископам. Наличие болгарского «папы» очень важно, но еще более показательным является возобновление связей катаров Лангедока с более древней и почтенной манихейской Церковью. Им необходимо было чувствовать себя членами всемирного братства. К этому времени многие катары, опасаясь преследований, налаживали связи с провинциями, где их Церковь существовала относительно спокойно, – с Ломбардией и восточными странами. С другой стороны, многое указывает на то, что и катары Востока не забывали о своих гонимых братьях.

Светские власти, казалось, вовсе не замечали катарскую Церковь, как будто ее и нет. Политическая подоплека этой близорукости прозрачна: на карту были поставлены их жизненные интересы и независимость всей страны, и в конечном итоге с мощным и популярным еретическим течением был связан успех национального дела.

Католические историки утверждают, что катары весьма ловко умудрялись смешивать свои интересы с интересами нации. Тут не нужна была особая ловкость. Чего уж проще: сдаваться поголовно крестоносцам и заявлять, что их религию надо уничтожить. Интересы катаров действительно смешались с интересами сопротивления, ибо народ, вместо того чтобы их истреблять, встал на их защиту. И никогда люди не упрекнули их в том, что это они накликали войну на Лангедок. По крайней мере, мы не располагаем ни одним документом на этот счет.

Лангедок обессилел в пятнадцатилетней смертельной борьбе. С обеих сторон не было недостатка в жестокости, предательстве, подлости, мстительности и несправедливости, но ни разу ни в какой связи с этими жуткими атрибутами самой легитимной войны не упомянуты имена совершенных. Самым непримиримым врагам еретиков было не в чем их упрекнуть, кроме нежелания обращаться в католичество. Ясно, что для населения в состоянии смятения и горя эти негибимые миролюбцы стали и отцами, и утешителями, и единственной моральной силой, перед которой стоило склониться. В разгар крестового похода диаконы и совершенные продолжали отправлять службы. В Тулузском диоцезе было даже два епископа: в 1215 году, когда там уже служил Госельм, в епископское звание был возведен Бернар де ла Мот. Несомненно, Церковь, находившаяся постоянно под угрозой, нуждалась в большем количестве пастырей. Диакон Гильом Саломон устраивал тайные ассамблеи в Тулузе как раз, когда хозяином города был Монфор; диакон Бофис в 1215 году проповедовал в Сен-Феликсе; на проповедях диакона Мерсье в 1210 году в Мирпуа присутствовала вся знать. К концу 1220 года, согласно многочисленным свидетельствам, деятельность священников-катаров активизировалась. Им не нужно было больше прятаться, и они входили в дома верующих, не боясь скомпрометировать хозяев. Их деятельность, хотя и на полуподпольном положении, перестала быть тайной: они проповедовали открыто, рукополагали новых совершенных, являлись к умирающим. Знатные сеньоры получали *consolamentum* на смертном одре, богатые буржуа делали крупные предсмертные пожертвования своей Церкви.

В те годы, когда Раймон VII освободил Лангедок, просматриваются следы деятельности приблизительно пятидесяти диаконов. Диаконы по иерархии стояли ниже епископов; их точные полномочия трудно определить за неимением данных; они руководили общинами. Наличие пятидесяти диаконов подразумевает существование по крайней мере нескольких сотен совершенных, как мужчин, так и женщин. Костры 1210-1211 годов унесли жизни около шестисот из них; эта цифра тоже не точна, среди сожженных могли быть верующие, принявшие *consolamentum* непосредственно перед костром, как, например, Г. де Кадро, «сожженный в Минерве графом де Монфором» [139].

Однако Церковь катаров очень быстро оправилась от сокрушительного удара, поскольку была сильна своей организованностью и четкой иерархией и насчитывала не менее тысячи совершенных.

Совершенные представляли собой только одну опасность, они имели огромное влияние на население. О величине этого влияния можно судить по тому факту, что в стране, где их все прекрасно знали, Инквизиция смогла до них добраться только после десятилетий безжалостного полицейского террора. А меры против тех, кто их поддерживал, применяли жестокие.

Совершенные были вездесущи. Мы помним, что они организовывали собрания общин даже в оккупированной Монфором Тулузе. Когда же законные сеньоры – сами почти все верующие катары – освободили страну, уже ничто не могло препятствовать распространению их учения. Конечно, они не обладали уже той свободой, что накануне крестового похода. Графы явно поддерживали еретиков

(Роже Бернар де Фуа открыто, Раймон VII весьма сдержанно), но опасность, которую они могли навлечь на страну, заставляла совершенных соблюдать осторожность. На это время приходится основание ткацких мастерских, которые на самом деле представляли собой семинары катарских общин, где бывала вся местная знать. Такой была мастерская в Кордесе под началом Сикара де Фигейра. Гийаберт де Кастр, которого, как «старшего сына», прочили в епископы Тулузы в 1223 году, содержал дом совершенных и больницу в Фанжо, рядом с первым доминиканским монастырем. Теперь папа откровенно поддерживал новый орден, знаменитый основатель которого умер в 1221 году. Неутомимый катарский епископ проводил жизнь в пастырских трудах, руководя общинами в Фанжо, Лораке, Кастельнодари, Монсегюре, Мирпуа, не считая Тулузы, почитавшей за честь называть его епископом. В 1207 году он был достойным оппонентом святого Доминика и легатов на конференции в Монреале. С 1220 по 1240 годы его пребывание прослеживается в большинстве городов в окрестностях Тулузы, Каркассона, в графстве Фуа. Он находился в Кастельнодари во время осады города Монфором в 1222 году, а потом, когда катары снова стали мишенью преследований, именно он попросил Раймона де Перелла, владетеля Монсегюра, предоставить свой замок в распоряжение Церкви и организовать там главный штаб сопротивления катаров. Обстоятельства и дата его смерти нам неизвестны.

Можно с некоторым замешательством констатировать, что история сохранила нам очень мало сведений об этой ярчайшей личности Франции XIII века. Точно так же мы почти ничего не знаем и о других руководителях движения, таких, как Бернар де Симор, епископ Альби Сикар Селерье, Пьер Изарн, сожженный в 1226 году епископ Каркассона, Бернар де ла Мот, преемник Гийаберта Бертран Марти и другие, в то время как знаем почти все о переписке Иннокентия III, о приступах гнева или благочестивых порывах Симона де Монфора. История деяний опальных апостолов, быть может, столь же плодотворна в плане вдохновений и наставлений, как и история Франциска Ассизского. И они тоже были посланцами Божественной любви. Даже нельзя равнодушно помыслить о том, что эти светочи навсегда угасли, их лица стерлись, а пример их жизней потерян для тех, кому мог бы на протяжении веков помогать жить.

И если уж нам нечем искупить это преступление против Духа, то давайте, осознав свое невежество, признаем, что было разрушено что-то очень важное. Наверное, с заполнением этой пустоты наше понимание истории средних веков было бы совсем иным.

Перед лицом растущего могущества ереси официальная Церковь в Лангедоке, казалось, утратила все рычаги устрашения. Что могли сделать рядовые священники, если сами епископы вынуждены были бежать в Монпелье? Несмотря на все обещания графа Тулузского изгнать еретиков, клир мог себя чувствовать уверенно только под защитой французского короля.

Захоти граф действительно выполнить свои посулы, он бы тоже не смог этого сделать без поддержки зарубежной армии. Но он, как видно, и не собирался их выполнять.

Оставаясь, однако, беспомощной в годы освобождения Окситании, римская Церковь не бездействовала. Монашеский орден, основанный св. Домиником и признанный 11 февраля 1218 года Гонорием III, накануне крестового похода пустил корни в Тулузской земле под опекой Фулька. Тогда он еще не был независимым орденом, а представлял собой религиозную общину, на долю которой выпала особая задача – истребления ереси.

Нам известно, как св. Доминик начинал свою деятельность в Лангедоке.

Основать монастырь в Пруйе, в нескольких километрах от крупного катарского центра в Фанжо, в эпоху, когда этот район подчинялся еретикам, было смелым шагом. Спустя три года крестовый поход изменил ситуацию, и противники св. Доминика подверглись гонениям и лишились своих территорий. Симон де Монфор, весьма почитавший Осмасского каноника, отписал новому монастырю часть доменов Лорака, владельца Фанжо. После победы Раймона VII земля вернулась к прежнему владельцу. Но монахи из Пруйе уже пользовались особой поддержкой папы и, как пчелиный рой, разлетелись и осели не только в Лангедоке, но и по всей Европе.

Св. Доминик являлся, несомненно, одним из руководителей борьбы с ересью в Лангедоке, а быть может – ее настоящим духовным вождем. Во время крестового похода легатам было не до еретиков, их больше занимали война и дипломатия. Из епископов один Фульк Тулузский энергично взялся за борьбу с ересью, и поначалу Доминик ему был и помощником, и вдохновителем. Превосходный историк Жан Гиро полагает, что создание Белого братства в Тулузе не обошлось без Доминика. И епископа, и каноника из Пруйе воодушевлял один и тот же религиозный пыл и бойцовский характер. Крестовый поход в одночасье придал оттенок двусмысленности и моральной ущербности десятилетнему апостольству Доминика. Надо полагать, что ряды доминиканцев пополняли фанатики из католиков, а никак не из обращенных еретиков. Как бы там ни было, оставив Пруйе на попечение монахов Кларе и Ноэля, Доминик обосновался в Тулузе, где стал верным сторонником епископа. В июле 1214 года Фульк постановил: «...во истребление порока и ереси и во утверждение законов веры... мы водворяем в нашем диоцезе брата Доминика и его компаньонов»[140].

Доминик был в свите епископа, когда того изгнали из города, а в Мюрете его молитвы о победе крестоносцев отличались особой страстью, воплями и стенаниями. Страстный проповедник, которого мать в пророческом сне видела в образе лающего (видимо, на врагов Господа) пса, не мог оставаться в бездействии, наблюдая победы крестового похода. Он продолжал проповедовать и формировать ряды своего будущего ордена, собирая вокруг себя людей пылких и неустрашимых, душой и телом преданных делу проповедничества и истребления ереси.

Поддержанный епископом Тулузы, который целиком доверил ему дело проповедничества, он был к тому же облечен легатом Арно инквизиторскими полномочиями – иными словами, признан авторитетом в области ортодоксии. В его задачи входило «убеждать» еретиков и провозглашать оправданными обращенных, назначая им покаяние и выдавая сертификаты о возвращении в лоно Церкви. Мы располагаем только одним таким сертификатом, но у нас есть свидетельства об обращении разных людей в период крестового похода 1211 и 1214 годов, в частности, в районе Фанжо. Биографы св. Доминика [141] сообщают еще об одном факте, указывающем на его прямые контакты с церковной юстицией и на его участие в допросах обвиняемых в ереси. Некоторые еретики, несмотря на упреки святого, продолжали упорствовать в своих заблуждениях, и их следовало предать в руки светских властей. Но, взглянув на одного из них, Доминик понял, что его еще можно вернуть Господу, и вмешался, избавив его от костра. Сей упорствовавший еретик обратился в действительности только через двадцать лет [142]. Этот акт милосердия заставляет предположить, что при желании св. Доминик мог спасти от костра и других приговоренных, надеясь, что они одумаются через пять, десять или двадцать лет. Зная его несгибаемый характер, трудно допустить, что он не вступался за несчастных, убоявшись легата или не желая уронить авторитет Церкви. Чтобы оправдать человека, обладающего возможностью спасти ближнего от ужасной

смерти и не использующего эту возможность, надо ссылаться либо на трусость, либо на жестокосердие, либо на крайний фанатизм. Трудно оправдать такого человека, еще труднее им восхищаться. Возможно, в нем должно было воплотиться католическое сопротивление ереси, и его духу суждено было подчинить себе созданный им монашеский орден. За несколько лет орден достиг выдающихся успехов, к моменту смерти Доминика в 1221 году орден насчитывал множество монастырей и был в большой чести у Святого Престола. Нам представится еще много случаев обратиться к истории становления ордена и к той идее, что его вдохновляла. Бесспорно одно: будучи сам порождением крестового похода, орден долгое время связывался в памяти с теми кровавыми годами. И создали его не для того, чтобы внести успокоение в умы и молить о милосердии и прощении.

Крестовый поход короля Людовика вверг возрождавшийся к жизни Лангедок в отчаяние, о котором мы можем догадываться по многочисленным военным изменам и повальным капитуляциям, за несколько месяцев отдавшим в руки королевской армии больше половины страны. Но период отчаяния длился недолго, сопротивление быстро возродилось, а смерть короля вновь всколыхнула все надежды. Французы, засевшие в замках, удерживались там с огромным трудом, и то лишь благодаря подкреплениям из Франции. Законник Ромен де Сент-Анж за время краткой кампании 1226 года сумел приспособить королевские завоевания к Памьберскому постановлению, ужесточив меры против еретиков. Там, где не хозяйничали французы, эти новые законы оставались лишь на бумаге. Однако именно с 1226 года началась охота на еретиков: в Конте сожгли катарского епископа Каркассона Пьера Изарна, а после взятия Ла Бессед – диакона Жерара де ла Мота. Крестовый поход возобновился, и если страна и была настроена на сопротивление еще решительнее, чем в 1209 году, она настолько ослабла, что продержаться долго не могла.

Благодаря крестовому походу Лангедок стал более «еретическим», чем когда бы то ни было. Война привела его в столь плачевное состояние, что теперь можно было начинать истреблять ересь всерьез. Король или, скорее, регентша замышляла при содействии Церкви аннексировать провинцию. Для Церкви же ересь представляла такую опасность, что ее мало заботили те неисчислимы моральные и материальные блага, которые сулила эта аннексия. Судьбе было угодно, чтобы, согласно печальным словам Данте (сказанным по поводу Фулька), овцы обратились волками.

И похоже, что для Лангедока инквизиция оказалась злом еще худшим, чем королевская аннексия.

3. Меоское соглашение

После двадцатилетней войны Лангедок был присоединен к Франции самым обычным и наименее легальным образом: за счет брака наследницы графа Тулузского с братом французского короля. Если бы граф Тулузский имел не дочь, а сына, французские завоевания еще долго оставались бы спорными и, возможно, Тулузскому дому со временем удалось бы частично вернуть свою независимость. Сен-Жильский клан был слишком популярен в стране, а право наследования повсеместно считалось священным, поэтому просто ограбить графов Тулузских вряд ли удалось бы. Авантюра Симона де Монфора уже это доказала.

У Раймона VII была всего одна дочь, и после девяти лет брака графиня Санси не подарила мужу еще одного ребенка. Поняв, что наследника не будет, граф с 1223 года стал думать о разводе с Арагонской инфантой и о женитьбе на сестре Амори де Монфора. Церковь не желала поддерживать развод, который был на руку династическим претензиям Раймона. В ту эпоху княжеские браки

заклучались и расторгались исключительно по политическим соображениям. Но правом их аннулировать обладала только Церковь, а она давала согласие только на те разводы, которые служили ее интересам или, по крайней мере, ей не мешали.

Таким образом, маленькой графине Жанне с младенчества было суждено стать орудием королевских завоеваний. Отец, желая получить в зятя союзника, обручил ее с сыном Юга Лузиньянского, графа де ла Марш, могущественного владетеля Пуату и открытого врага короля Франции. Однако под нажимом и угрозами Людовика VIII граф де ла Марш был вынужден в 1225 году возвратить отцу уже порученную его заботам девочку.

Через посредство аббата из Грансельва регентша предложила графу заключить мир на базе матримониального альянса. Теперь маленькая графиня Тулузская предназначалась второму сыну Бланки Кастильской, Альфонсу де Пуатье. В 1229 году обоим детям было по девять лет.

На этот брак нужно было разрешение папы: Раймон VII приходился родственником одновременно и Людовику VIII (его бабушка по отцовской линии, Констанция, была сестрой Людовика VII), и Бланке Кастильской (его мать, Жанна Английская, была сестрой Элеоноры, матери Бланки Кастильской; обе они, в свою очередь, были дочерьми Элеоноры Аквитанской). Такое близкое родство, если и представляло принципиальное каноническое препятствие браку, зато сразу же могло рассматриваться как гарантия на будущее: разрешение лангедокской проблемы принимало вид семейного дела, и, заполучив для сына руку малышки Жанны, Бланка Кастильская теперь могла делать вид, что относится к Раймону как к родственнику, а не как к врагу.

Тем не менее условия, предложенные королевой и переданные Раймону аббатом из Грансельва, были исключительно жесткими, если учесть, что, помимо принудительного брака, приносящего Лангедок короне Франции в качестве приданого, от графа требовали гарантий и возмещения убытков, которые сразу ставили провинцию в зависимость от королевской власти.

Так или иначе, а Раймон встретился с Эли Гереном, аббатом из Грансельва, в Базьеже в конце 1228 года. В акте, датированном 10 декабря и подписанном графом, заявлено посредничество аббата и обещано «утвердить все, что будет совершено им и при его участии в присутствии нашего дорогого кузена Тибо Шампанского». В письме присовокуплено, что решение одобрено тулузскими баронами и консулами. Персона, у которой граф просил посредничества и совета, тоже приходилась родней и королеве, и графу через свою бабушку, Марию Французскую, тоже дочь Элеоноры Аквитанской. Тибо Шампанский, строптивый вассал французской короны (о котором поговаривали, будто он влюблен в королеву), принадлежал к тем крупным феодалам, которые вечно мечутся между покорностью королю и слабыми попытками обрести независимость. Этот скользкий, но блестящий и образованный человек, поэт, искушенный в литературе и искусстве куртуазии, был известен своими либеральными и даже антиклерикальными настроениями (в его стихах попадаются строки, откровенно клеймящие поведение Церкви, которая «проповедует войну и убийства»: «Наш глава (папа) всех заставил страдать!»)[143]. У графа Тибо были все основания питать симпатию к Раймону VII, в крестовый поход он отправился явно против воли. По этой же причине он не добился успеха в ухаживаниях за Бланкой. Во всех случаях в его посредничестве не было, видимо, никакого проку, кроме подогревания напрасных надежд в Раймоне VII.

Тибо Шампанский, как видно, не добился ничего серьезного. Королева очень спешила заключить мир с графом, поскольку уже в январе 1229 года, несмотря на морозы и трудности передвижения,

аббат из Грансельва вновь приехал в Тулузу и привез проект договора, разработанный королевой и легатом.

Согласно этому проекту король Франции (в лице своей матушки) признавал за собой безоговорочно старые домены Тренкавелей, то есть Разе, Каркассон и Альбижуа, а сверх того Кагор и земли, принадлежащие графству Тулузскому в Провансе (по ту сторону Роны). Король «оставляет» графу епископство Тулузское и «уступает» ему епископства Ажан и Родес (Ажене и южный Руэрг). Кроме того, в этих землях граф обязан приказать срыть стены тридцати крепостей, двадцать пять из них поименованы (среди них такие крупные города, как Монтобан, Муассак, Ажан, Лаваур и Фанжо) и еще пять укажет король. Имущество «лишенных владения» в период реконквисты подлежит реституции. Граф обязан сдать королю девять крепостей (в том числе Пен д'Ажене и Пен д'Альбижуа) в течение десяти лет.

Сверх того, граф должен отдать свою дочь в жены брату короля (имя не названо), с тем, что она станет единственной наследницей доменов Тулузы, исключая всех детей, произведенных графом на свет после нее (кроме того случая, если отец ее переживет и будет к тому времени иметь законных сыновей).

Только на таких условиях Церковь снова принимала графа в свое лоно, а это было основным требованием, ибо, «если Церковь не простит..., король будет не в состоянии соблюсти мир, а если король не соблюдает, то и нас это ни к чему не обязывает».

В этом проекте договора, который герольды оглашали по всем городам юга, о еретиках говорилось лишь вскользь. Обязательство их преследовать само собой разумелось как условие примирения с Церковью, но при этом не оговаривались меры преследования, которые выбирал сам граф.

Сколь бы ни были жесткими условия договора, бароны и консулы, которых Раймон VII собрал в Капитолии Тулузы для обсуждения королевских предложений, не сочли их абсолютно неприемлемыми. Было решено, что во всех случаях графу следует ехать в Париж в сопровождении делегации баронов и представителей от крупных городов и попытаться выторговать более выгодный мир на основе этого договора. Аббат из Грансельва доставил графский ответ королеве, которая решила собрать в конце марта конференцию в Мео (городе, до некоторой степени нейтральном, ибо он принадлежал графу Шампанскому) и там окончательно определить условия мира.

Договор еще не был подписан. Сам факт, что противник просил о переговорах, проявляя при этом необычайное рвение, несомненно, заставлял южных баронов подозревать, что весь проект – не что иное как маневр с целью поторговаться, начав с неосуществимых требований и тем самым оставив за собой возможность решающего удара. Принимая во внимание тяжелейшую экономическую ситуацию в стране, было бы неразумным отвергать мирные предложения. Однако ясно, что граф отправлялся в Мео не капитулировать, а обсуждать и торговаться.

Можно только задаваться вопросом, что же заставило Раймона VII подписать договор, гораздо более жесткий, чем тот, что был предложен в виде проекта и который его вассалы и советчики приняли уже только с оговорками. Если такой хорошо осведомленный современник, как Гильом Пюилоранский, которого никак нельзя заподозрить в антифранцузских настроениях, этого не понял, то нам уж тем более не разобраться. Логика истории требует, чтобы победитель бил побежденного до последнего предела. Надо полагать, что, несмотря на внушительные военные успехи, Лангедок находился в состоянии такой нищеты, о которой дошедшие до нас свидетельства дают лишь слабое

представление. Ясно также, что договор был еще более скандальным и жестоким, чем полное лишение прав Раймона VII на Латеранском Соборе.

Граф Тулузский прибыл в Париж во главе огромной делегации представителей лангедокской знати, буржуазии и духовенства. В нее входили двадцать тулузских нотаблей, консулов и баронов, среди которых Бернар VI, граф Коменжский, Юг д'Альфара, шурина графа, Раймон Моран, сын того самого Пьера Морана, которого высекли и сослали в 1173 году, Юг де Кавэйон, Юг де Роэ, Бернар де Вильнев и другие. Граф Роже-Бернар де Фуа не сопровождал своего сюзерена: его приверженность ереси была общеизвестна, и он боялся своим присутствием испортить переговоры. Итак, в делегации не было того, кто в большей степени, чем граф Тулузский, являлся душой лангедокского сопротивления, зато широко было представлено духовенство: новый энергичный епископ Нарбонны Пьер Амьель, старый епископ Тулузы, епископы Каркассона и Магелона, аббаты из Грасса, Фонфруада, Бельперша и, конечно, аббат из Грансельва. Все они сопровождали графа, полные решимости защищать в Мео интересы Церкви. Кроме того, кортеж включал новых сеньоров Альбизуа, старинных компаньонов де Монфора (или их наследников) «маршала» Ги де Левиса, Филиппа де Монфора, Жана де Брюйера, сыновей Ламбера де Круасси и прочих, что ехали получать королевские инвеституры, подтверждающие их новые владения.

В Мео королева созвала весьма представительный Собор, куда съехались епископы и аббаты и с севера, и с юга. Председательствовал на совете архиепископ Санский, ассистировали архиепископы Буржа и Нарбонны. Но истинным главой церковной делегации был кардинал-легат Ромен де Сент-Анж в достоинстве легата Галлии в сопровождении легатов Англии и Польши. Во главе представителей короны находились коннетабль Матье де Монморанси и Матье де Марли (оба – родственники Монфора) и Тибо Шампанский, официальный посредник при заключении мирного договора.

Если не считать графа Шампанского, то Раймон VII в Мео оказался в окружении заклятых врагов и церковных авторитетов, которые и мысли не допускали говорить с ним как с равной, в лучшем случае – как с кающимся преступником. Явившись заключать договор с королем Франции, он оказался в положении ответчика перед церковным трибуналом. Однако светскую власть представляла регентша, которая одна стоила десяти епископов.

Рвение Бланки Кастильской в католической вере настолько общеизвестно, что не стоит здесь о нем и упоминать. Эта королева, далекая от подражания своей бабке, Элеоноре Аквитанской, с ее председательствованиями на пирах любви и прочими проявлениями блестящей светской жизни, посвящала молитве и учению все время, не занятое обязанностями матери семейства. У нее было одиннадцать детей, и если и неправда то, что она, как гласит легенда, сама их выкармливала (известно, что у Людовика Святого было много кормилиц), то абсолютно достоверно, что их воспитанием она занималась сама и всю жизнь имела на них огромное влияние. По натуре очень властная, она и по достижении совершеннолетия Людовиком фактически оставалась настоящей правительницей королевства. Поэтому вся ответственность за Меоское соглашение лежит не на кардинале-легате, а на ней. Но и ею двигала сила, которой она слепо подчинялась: при исключительном стечении обстоятельств в Мео набожность королевы оказалась целиком на службе ее интересов.

Несомненно, для Раймона VII это была беда: подписывать с дамой договор, решающий судьбу его страны. Мужчина, попавший в такую ситуацию, будь то сам Филипп Август, покраснел бы при

подобном превышении власти. Его удержали бы уважение к феодальным традициям, боязнь всеобщего осуждения, наконец, необходимость бережно относиться к противнику в надежде, что он может стать и союзником. В поведении Бланки чувствовалась жесткость женщины, оставшейся вдовой с детьми на руках и вынужденной «стоять за себя». В силу особенностей своего пола она стояла вне тех негласных законов, что управляют взаимоотношениями мужчин. В политике она отличалась удачливой дерзостью дилетанта, который рискует скорее по незнанию или из небрежения к правилам, чем по расчету. Она, как и все женщины, подчинялась чувствам скорее, чем разуму, и, будучи ревностной католичкой, не находила ничего дурного в том, чтобы в государственных делах полагаться на советы людей духовного звания. В ее преданности легату Ромену де Сент-Анжу отразилась вся ее безмерная преданность делу Церкви.

И какое нам дело до того, было или нет во взаимоотношениях этих двоих что-либо предосудительное (а такие сплетни ходили, ибо легат был молод, а королева слишком явно выражала свою привязанность). Да и было ли время и силы у набожной и гордой королевы, при одиннадцати детях и при всей тяжести государственного бремени, еще впасть в любовную интригу? Молва обошлась с ней так же, как потом обойдется с Анной Австрийской, другой регентшей, вынужденной опереться на священника. Здесь важно другое: влияние легата на королеву было огромно, и во всех случаях она целиком полагалась на его мнение.

Программа методических репрессий против ереси, превратившая Меоское соглашение в приказ о введении полицейского режима в Лангедоке, была разработана под руководством легата. Однако и сама королева выказала такой ужас перед ересью, что потом ее сын Людовик Святой призывал своих друзей вонзить меч в каждого, кто в их присутствии скажет хоть слово о ереси или о неверии. Она безоговорочно одобрила все меры, которые легат предложил принять против врагов Церкви.

В самой основе переговоров, предложенных Раймону VII, таилось противоречие: по одну сторону находился властитель воюющей страны, пожелавший заключить мир, по другую – отлученный без прав и без титулов, дерзнувший оспаривать у короля земли, принадлежащие ему по решению Церкви. Миссия аббата из Грансельва адресовалась к графу Тулузскому. Явившись в Мео, Раймон представлял собой всего лишь отлученного, которому оказали слишком много чести, согласившись принять его безусловную капитуляцию. Предшествовавшие переговоры были не более чем приманкой, призванной завлечь графа в западню.

В Мео у него не было выбора: либо принимать все условия, либо прекращать переговоры. В конце концов неизвестно, смог бы граф в случае прерывания переговоров беспрепятственно вернуться и продолжать войну: после подписания мирного договора его и то держали под арестом в Лувре, а если бы он отказался подписать, его вряд ли пощадили бы.

Изменения, внесенные легатом в проект договора, были весьма значительны. Во-первых, Тулузу следовало снова лишиться стен, следовательно, срыть около километра укреплений. Нарбоннский замок, резиденцию графов Тулузских, надлежало освободить для короля. Суммы по возмещению военных убытков церквям и монастырям (в том числе аббатствам Сито и Клерво, которые располагались вне Лангедока и, следовательно, не понесли никаких убытков) поднялись на небывалую высоту, равно как и суммы на содержание охраны Нарбоннского замка (20000 марок на четыре года). Граф был обязан также выделить 4000 марок на содержание вновь открывающейся в Тулузе школы теологии, где будут преподавать учителя, приглашенные королем и Церковью. И,

наконец, граф обязуется преследовать еретиков, поручив их розыск своим баилям, платить по 2 марки серебром каждому, кто поможет поймать еретика, конфисковать имущество отлученных, не примирившихся с Церковью в течение года, не доверять общественных должностей евреям и заподозренным в ереси и наказывать всех, кто не подчинится условиям этого соглашения, и в первую очередь графа Фуа.

Наследница и наследственное право графа переходят, как условлено, к королю Франции. Король наследует и в том случае, если его брат (супруг наследницы Тулузы) умрет бездетным или же у графа будут еще законные дети. Все это противоречило обычаям и не отличалось логикой, но для упрочения завоевания графства Тулузского королю нужен был формальный предлог. Им и стал брачный договор. Надо думать, что и Раймон VII рассчитывал на непреложность наследственного права: ему было всего 32 года, он имел предостаточно времени, чтобы жениться еще раз и нарушить чересчур амбициозные планы регентши.

Многие историки, начиная с Дона Весетта, упрекали его за этот договор. Нам неизвестно, какое давление на него оказывали, но очевидно, что и для него, и для его современников это был «мир поневоле»[144], а значит – непрочный, и нарушить его можно было в любой момент, в зависимости от обстоятельств. У всех еще не стерся в памяти прецедент Латеранского Собора. Договоры испокон веков свято соблюдали только победители, для побежденных они были не более чем клочком бумаги.

Условия договора одобрил синод Мео, и теперь его оставалось только торжественно подписать юному королю и регентше. Церемония была назначена на святой четверг, приходившийся на 12 апреля. Только теперь, на паперти собора Нотр Дам де Пари, в присутствии королевы, баронов, легатов и епископов, парламента и народа Парижа граф считался оправданным и возвращенным в лоно Церкви.

Этот день, ознаменовавший мир между королем Франции и крупнейшим из южных вассалов, должен был завершиться с подобающей случаю помпой. Дипломатический акт перешел в грандиозный спектакль с трибунами, ступенями, ярусами, располагавшимися вокруг паперти нового, сверкавшего золотом и свежими красками собора, с которым состязались в великолепии пышные и яркие одеяния дам, баронов и прелатов, стяги, ковры, балдахины, доспехи королевской стражи и кони в роскошных сбруях. Королева и юный Людовик XI восседали на тронах в окружении баронов слева и прелатов справа. Перед королем возвышался пюпитр с Евангелием, на котором граф должен был поклясться выполнять мирный договор.

Сказать по правде, на этой церемонии графу следовало бы выглядеть не как князю, приехавшему подписывать мирный договор, а как побежденному, которого волокут за каретой победителя. Сорока годами раньше очень похожее соглашение навязали Феррану, графу Фландрии, привезенному в Париж на телеге, под улюлюканье толпы, с цепями на руках и ногах. Народ, всегда падкий на зрелище унижения знатного сеньора, видел в графе Тулузском заклятого врага французского короля, поделом наказанного за измену. Но ведь Раймон VII вовсе не был ни поверженным в бою пленником, ни клятвопреступником. Он явился по своей воле для заключения мира, более выгодного для Франции, чем для его страны. И если его во что бы то ни стало надо было представить как побежденного, с которым говорят лишь из милости, то случилось это (вне зависимости от роли Церкви) потому, что династия Капетингов почувствовала себя в силе и возомнила свою силу

божественной.

В присутствии короля, регентши и собрания прелатов и баронов королевский нотариус вслух зачитал текст договора, составленного от имени графа Тулузского, который, в конечном счете, единственный был кому-то что-то должен. Ни король, ни Церковь ему ничего не обещали, кроме освобождения тулузцев от прежних обязательств по отношению к королю и Монфору. Строго говоря, эти обязательства давно уже потеряли реальный смысл. Вот что говорилось в договоре от имени графа: «Да узнает весь мир, что, ведя долгую войну против святой римской Церкви и нашего дражайшего сеньора Людовика, короля Франции, и всем сердцем желая вновь воссоединиться со святой римской Церковью и верно служить сеньору, королю Франции, мы, путем собственных усилий и усилий посредников, желаем достичь мира. Да будет он с Божьей помощью заключен между римской Церковью и королем Франции с одной стороны и нами с другой, и да будет так»[145].

Есть нечто забавное в этом договоре, где Церковь оказывается низведенной до положения воюющей стороны. Никогда еще двусмысленное смешение власти светской и духовной не заходило так далеко. Получилось, что Церковь, чтобы оправдать отлученного, вынуждена сначала лишить его владения через посредство третьего лица. Истоки этой странной ситуации восходят еще к Латеранскому Собору: с точки зрения Церкви, король как законный владлец (а тем более как наследник Монфора) может свободно распоряжаться всем.

Помимо объяснений с Церковью, графу и его делегации нечего было ответить на аргументы, явно базирующиеся на чистом юридическом вымысле. Зато Церковь выдвинула свои условия: истребление еретиков всеми возможными средствами, реституция церковного имущества, возмещение убытков церквам и особам духовного звания, основание школы теологии, покаяние в Святой Земле и т. д.

Королевский мир вступает в силу только после заключения брака между дочерью графа и одним из братьев короля. Никогда еще такой роскошный подарок не принимался с подобным высокомерием: «Надеюсь, – гласит договор, – укрепить нас в преданности Церкви и верности его царственной персоне, король оказывает нам милость получить нашу дочь в супруги одному из своих братьев и жаловать нам Тулузу с ее диоцезом, исключая те земли, что были получены от короля маршалом и принадлежат ему. После нашей смерти пусть графство и город отойдут к нашему зятю, а в случае отсутствия такового – к королю...». Таким образом, классическое право наследования превращалось в королевский произвол, в повод, изобретенный королем, чтобы отдать во владение будущему тестю одного из своих братьев его же собственные старинные домены. Между тем Раймон VII, сам внук французской принцессы и английского короля, вряд ли воспринимал брак своей наследницы с братом французского короля как милость.

Публичное чтение этого скользкого договора последовало с оглашением списка крепостей, стены которых подлежали срытию, с перечислением сумм к выплате за убытки и требований вассальных клятв, вплоть до последнего пункта, где король обязывался освободить жителей Тулузы от всех обязательств по отношению к себе, к своему предшественнику и к Монфору. По окончании чтения граф и король поставили под договором свои подписи.

После завершения процедуры подписания и после того, как граф пообещал оставить в качестве гарантов своей лояльности двадцать заложников из свиты, его, наконец, признали примиренным с

Церковью. Но признание это последовало лишь за публичным унижением, которое за двадцать лет до него уже претерпел на паперти Сен-Жильской церкви его отец. Его раздели, надели на шею веревку, после чего легат Ромен де Сент-Анж и легаты польский и английский провели его босого через весь собор, поставили на колени перед алтарем, и кардинал-легат высек его розгами. «Жаль было смотреть, – восклицает Гильом Пюилоранский, – как знатного вельможу, который так долго противостоял нашествию столь могучих народов, ведут до алтаря босого, с веревкой на шее»[146]. Хронист сам был родом из Тулузского диоцеза и почитал своих князей. Но большинство присутствующих его боли не разделяли: для них граф Тулузский был чужаком, врагом Франции, вторым Ферраном Португальским.

Остается только спрашивать себя, зачем Бланке Кастильской понадобилось выставить своего родича, и так уже претерпевшего достаточно унижений, на такое страшное бесчестие безо всякой на то необходимости. Раймон VI в тот день, когда его секли в Сен-Жиле, был, по крайней мере, заподозрен в тяжком преступлении, совершенном на его земле, за которое он в любом случае отвечал как глава государства. Он понес наказание на собственной территории, это было внутреннее дело Церкви, и никто из чужеземных сюзеренов не присутствовал при его унижении. Париж не был единственным местом, где Церковь могла явить свою силу.

Раймона VII не обвиняли в убийстве легата, и его приверженность католицизму ни у кого не вызывала сомнений. То, что он поднял оружие против Симона де Монфора, было настолько законно, что, даже одержав над ним победу, неприятель не мог отказать ему в титуле графа Тулузского. Кроме того, он сдался по доброй воле, уступив всем требованиям своих недругов. В такой ситуации Церкви следовало бы не бичевать его, а отдать дань уважения его доброй воле. А посему подобное публичное оскорбление знатного южного вельможи можно расценить скорее как торжество королевской политики, где Церковь оказалась лишь орудием унижения.

Бланка Кастильская с еще большей дерзостью, чем ее свекор Филипп Август, ориентировала капетингскую монархию на настоящий культ королевской персоны, который четыре века спустя приведет почти к обожествлению Людовика XIV. Приняв папство в качестве модели, королева поставила дело так, что любое нарушение королевской воли воспринималось как святотатство. И у нее были на это достаточно веские основания: упрямство и непрестанные интриги баронов создавали опасную ситуацию в королевстве, и без того находящегося почти целый век под угрозой английского вторжения, а малолетний Людовик IX был пока не способен напугать противника. Следовательно, надо было не только призвать к порядку непокорного и опасного вассала, каковым являлся граф Тулузский, но так унижить его, чтобы эта грозная манифестация королевской власти потрясла все умы. Розги в руке Романа де Сент-Анжа символизировали будущую победу монархии над феодализмом.

После печальной церемонии святого четверга 1229 года граф Тулузский еще шесть месяцев оставался пленником Лувра, настолько ему не доверяли и боялись, что его присутствие помешает выполнению статей договора. Он не должен был возвращаться в свой город, пока не зашлют туда королевских эмиссаров и не разрушат городские стены.

С апреля по сентябрь Раймон VII со всеми тулузскими баронами и нотаблями, составлявшими его свиту, был заточен в Лувре. Королевская грамота гласила, что он «остался по собственной просьбе». В действительности же королева и легат полагали, что если его оставить на свободе, он нарушит

договор и захлопнет перед ними двери Тулузы, приготовившись стоять насмерть. В договоре предусматривалась выдача заложников, но вовсе не было оговорено, что в заложники попадет сам граф.

Пока граф сидел в одной из башен Лувра, комиссары королевы – Матье де Марли и Пьер де Кольмье, вице-легат Галлии, – отправились в Лангедок, чтобы принять под свое начало земли, ныне принадлежащие королю, и проследить за оккупацией Нарбоннского замка и разрушением стен Тулузы и остальных крепостей, указанных в договоре. Им не оказали никакого сопротивления: мир был подписан, граф сидел в заложниках, и все, что делали посланцы короля, было скреплено его подписью. Обе арагонские инфанты, Элеонора и Санси, теща и супруга Раймона VII, были выдворены из своей резиденции в Нарбоннском замке, чтобы освободить место королевскому сенешалю, а маленькую Жанну отобрали у матери (которую она не должна была больше видеть), чтобы препроводить во Францию.

Вассалы графа Тулузского вынуждены были присягнуть эмиссарам короля. Граф Фуа поначалу отказался покориться, ибо договор оказался вовсе не тем, на который он давал предварительное согласие. Однако собственные вассалы убедили его заключить мир, и в июле он согласился на встречу в местечке Сен-Жан де Верж на севере графства Фуа. У этого южного сюзерена была, по крайней мере, возможность сдать по всем правилам военной чести на собственной территории и в окружении своих вассалов и солдат. Он пообещал выполнить все, что от него требовали: церковные свободы, восстановление десятины, преследование отлученных, изгнание рутьеров и т. д. Потребовать от него более точных обязательств по поводу преследования еретиков никто не осмелился: его принадлежность к катарской вере была широко известна, и своей отвагой и мужеством он заставил всех это уважать. По подписании мирного договора он сам отправился в Париж на аудиенцию к королеве.

В это время граф Тулузский, все еще находясь под арестом, сопровождал Бланку Кастильскую и юного короля, которые отправились получить с рук на руки у сенешаля Каркассона маленькую Жанну. Теперь дочь графа Тулузского не должна будет знать другой матери, кроме суровой регентши, а отец за двадцать лет увидит ее всего дважды. Как только драгоценная заложница была выдана, ее отец получил полусвободу, и юный король произвел его в рыцари (считалось, что отлученный автоматически лишается рыцарского звания). Сомнительная честь для испытанного воина, героя Бокэра и Тулузы, – получить ритуальный поцелуй посвящения в рыцари от четырнадцатилетнего мальчишки. С точки зрения рыцарского канона логичнее было бы наоборот: самый скромный из рыцарей считался старшим в сравнении с неопытным мальчиком, будь он даже и король. Уж не начали ли особы королевской крови ощущать себя «божьими детьми», как говорил Лабрюиер? Как бы там ни было, граф с достоинством принял эту сомнительную почесть, он их немало повидал.

Прибыв в Париж ратифицировать соглашение, подписанное в Сен-Жан де Верж, граф Фуа понял, что вести переговоры на чужой территории труднее, чем на своей, поскольку королеве удалось вынудить его согласиться на королевское правление в замке Фуа в течение пяти лет. После этого она назначила ему пенсию в тысячу турецких ливров с доходов от конфискованных наследственных доменов графа Фуа в Каркассоне.

Получив присягу от последнего непокорного барона Лангедока, королева отпустила обоих графов

восвояси.

ГЛАВА IX

СПОКОЙСТВИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ

1. Церковь и ересь

В конце XII – начале XIII века католическая Церковь могла претендовать на титул католической, то есть универсальной, только в плане теоретическом или мистическом. На самом деле она представляла собой одну из религий западного мира, которая, желая получить признание главной и единственной, шаг за шагом становилась скорее мощно организованной сектой, чем духовной колыбелью человечества.

Великие ереси начальных веков христианства глубоко укоренили в ней дух нетерпимости. Великие вторжения и массовые обращения варваров (в том числе и очень поздние, как в случаях с саксонцами, скандинавами и славянами) обогатили христианство множеством полуязыческих народов, которые, поклоняясь Христу и святым, плохо отличали их от своих древних богов. Ислам завоевал северную Африку, средиземноморский Восток и огромную часть Испании и вовсе не собирался отказываться от своих завоеваний. Он обладал той же воинственностью и тем же духом прозелитизма, что и христианство, и крестовые походы в Святую Землю были оборонительными войнами христианства против неприятеля, стремящегося ничтоже сумняшеся насаждать свою веру с помощью оружия. Греческая Церковь, уже давно стоящая в духовной оппозиции к Римской, подчинила себе страны Восточной Европы, покорившиеся Византии или находящиеся под влиянием ее культуры, такие как Болгария и Россия, и оспаривала у римской Церкви другие славянские территории, привязанные к своему языку и плохо воспринимавшие латынь, которую папство вменяло им в качестве церковного языка.

Италия, Испания (все еще находящаяся частично во власти мавров), Франция, Англия, Германия, Польша, скандинавские страны, Венгрия, Богемия, Босния были католическими, хотя и в разных стадиях – в зависимости от их удаленности от Рима и от давности их обращения в христианство. Такие страны, как Венгрия или Босния, пребывали наполовину в язычестве, и во влиянии над ними с католиками соперничали евреи и мусульмане. Юг России был целиком языческим, и вождь куманов дал себя окрестить только в 1227 году. Страны Балтии оставались языческими, несмотря на совместные усилия поляков, немцев и скандинавов обратить их по доброй воле или силой. В Германии и Англии население приняло католицизм как государственную религию, но светские власти постоянно не ладили с Римом. Император был самым грозным политическим противником папы, и север Италии под его влиянием долго и ожесточенно сопротивлялся авторитету Церкви. Испания, вынужденная бороться за веру с исламом, отличалась особым религиозным пылом, ибо там католицизм противопоставлялся вере чужеземного завоевателя как религия национальная. Но беда в том, что, пребывая в постоянной войне за независимость, Испания сама непрестанно подпадала под угрозу ислама.

Капетингская Франция была для Рима единственным мощным и надежным союзником, однако правление Филиппа Августа продемонстрировало папству, что король Франции далеко не всегда будет паладином Церкви. Одним из честолюбивых замыслов Григория VII и Иннокентия III стало создание христианской империи с папой во главе, где короли выполняли бы роль лейтенантов, что плохо соотносилось с реальностью, зато ясно указывало на степень авторитарности папства. Если

ислам и греческая Церковь (несмотря на урон после крестового похода 1204 г.) оставались для Рима перманентной внешней угрозой, то в странах официально католических возникало все больше и больше движений, открыто оппозиционных Церкви. У всех ересей была одна общая черта: абсолютное и резкое осуждение римской Церкви.

Ереси гнездились по большей части на Балканах, в Северной Италии и в Лангедоке, причем учение катаров в XII-XIII веках было далеко не самым могущественным. Очаги ереси во Франции, Германии и Испании были одинаково активны и многочисленны.

В начале XIII века римская Церковь, став крупной политической силой, начала терять доверие светской элиты даже в тех странах, где ее ортодоксальность никем не оспаривалась, и во многих католических странах ересь снискала поддержку населения и имела собственные традиции, организацию, священников и мучеников.

Около 1160 года катарская Церковь в Кельне насчитывала адептов во многих городах на юге Германии, особенно в Бонне, и, несмотря на преследования и пытки, вызывала серьезные опасения у каноника Экберта де Шенау по причине большой численности верующих. В Англии катары не пользовались успехом, однако миссионеры из Фландрии сумели в 1159 году привлечь достаточное количество неофитов, чтобы возбудить беспокойство клира. Их не сожгли на кострах, но заклеили каленым железом и выгнали в поля, где они перемерли от холода, не найдя поддержки у враждебно настроенного населения. И тем не менее в Англии катары были еще в 1210 году, поскольку одного из них сожгли на костре, и против еретиков звучали призывы к крестовому походу.

Во Фландрии катаров было много, и их Церковь в Аррасе отличалась таким могуществом, что епископ Фрумоальд в 1163 году мог только сокрушаться по этому поводу, но сделать не мог ничего, и лишь в 1182 году руководство Церкви судили и сожгли, однако Фландрия до самой инквизиции продолжала оставаться очагом ереси.

Шампань насчитывала много тайных катарских общин, которые в конце XII – начале XIII веков активно преследовало духовенство. Нам известна история юной Ремуазы, заплатившей жизнью за приверженность девственности. Если она и ее пожилая наставница были единственными еретичками, обнаруженными в Реймсе, из этого не следует, что не существовало других; несгибаемые женщины умели хранить тайну. Крупная община катаров существовала приблизительно с 1140 г. в Монвимере (Монт-Эме). Ее обнаружили только во времена инквизиции, и, судя по тому, что инквизитор Робер ле Бугр сжег 183 еретиков, численность общины была солидной.

В окрестностях Везеля в графстве Неверском южанин Юг де Сен Пьер в 1154 году основал еретическую общину с социальной направленностью, но явно катарскую по духу, которая объединила окрестных обитателей, стремящихся освободиться от тирании городских аббатов. Их поддерживал сам граф, но в 1167 году руководители общины были осуждены по обвинению в ереси. Это, однако, не помешало их доктрине распространиться по всему Нивернэ и в Бургони, где она приобрела такие симпатии у населения в районе Безансона, что священники, запрещавшие ее, сильно рисковали: их могли побить камнями. Епископ обвинил двоих руководителей движения в ереси и сжег.

Епископ Оксерский, Юг де Нуайер, обнаружил источник ереси в Шарите сюр Луар в 1198 году. Старейшина капитула Невера разделял катарскую доктрину, и ересь была сильна повсюду, вплоть до

церковных кругов. Глава местной общины Террик был сожжен в 1199 году, но бурное развитие секты все же вынудило папу послать в Нивернэ легата с миссией усмирения, и в 1201 году в Невере сожгли шевалье Эврарда де Шатонев, ученика Террика. Племяннику шевалье, декану капитула Гильому, удалось бежать и укрыться в окрестностях Нарбонны, где он стал одним из вождей катарской Церкви под именем Теодориха (Тьерри). При всех гонениях учение катаров не сдавалось, и в 1207 году секта Шарите снова навлекла на себя гнев епископов Труа и Оксера, а в 1223 году знаменитый инквизитор Робер ле Бугр получил от папы приказание истребить ересь в регионе.

На севере Франции, где общины еретиков попадались редко и не окружали себя никакой тайной, большинство населения относилось к ереси враждебно. Тем не менее успех движения в Базеле и Аррасе и существование таких мощных колоний, как в Монвимере или в Шарите, заставляет думать, что катары были более многочисленны, чем подозревали светские власти и Церковь. Во Франции в начале XIII века учение катаров не представляло для Церкви серьезной опасности. Члены различных общин могли сформировать лишь некое оккультное сообщество, весьма мало боеспособное. И неизвестно еще, смогло бы движение так разрастись и выйти на свет Божий, как это случилось в Италии и Лангедоке пятьюдесятью годами раньше, если бы Церковь не сосредоточила на борьбе с ересью все усилия своей внешней политики и внутренней организации.

Если во Франции, самой католической из христианских стран, очаги ереси были настолько стойкими, что катарские епископы Болгарии и Лангедока сочли необходимым создать там Церковь, то в остальных католических странах учение катаров было уже готово оспаривать у римской Церкви ее превосходство.

Поначалу самая малочисленная, Церковь катаров к концу XII века стала обретать вид и преимущества Церкви универсальной. Повсюду, где она получила распространение, ее моральный престиж был огромен. Она обладала своей доктриной, которая сохраняла стабильность и связную логику (если не считать мелких различий в деталях) как в XI, так и в XIV веке, как в Болгарии, так и в Тулузе или Фландрии, и это единомыслие служило доказательством силы Церкви. У нее был свой неизменный ритуал, своя иерархия и традиции, своя теология и литература, и она могла уже противостоять порядкам официальной Церкви.

Мы знаем, каким доверием она пользовалась в Лангедоке, и нашему повествованию не помешает короткий экскурс в историю Церкви катаров в тех странах, где ересь уже окрепла достаточно, чтобы стать официально признанной. Поведение римской Церкви, начиная с крестового похода и кончая учреждением инквизиции, было продиктовано величиной и реальностью опасности. Нельзя сказать, что Церковь просто стремилась к власти, проводя политику тирании и репрессий. За долгое время она сама серьезно пострадала от своей политики, и это говорит о том, что здесь были задеты ее жизненные интересы. Сжигая еретиков, Церковь не повергала безоружного, а защищалась от опасного противника, у которого было перед ней серьезное преимущество борца за духовную свободу. Даже при слабой организации и боеспособности гонимая Церковь всегда была морально сильнее официальной. Риму не удавалось справиться с катарами, не разрушив при этом изрядную часть самого смысла существования своей Церкви. Несомненно, она бы успешнее защитила свою веру, если бы ушла, как катары, в подполье, в пещеры. Однако римская Церковь уже долгое время была не просто Церковью, но кастой, социальным классом и политической силой.

Церковь катаров защищала только духовные интересы. Преимущество было на ее стороне: во

многих католических странах римская Церковь не представляла ни просветительской инициативы, ни национальной традиции, ни защиты от феодальной анархии, а являла собой чуждую религию, которую силой насаждали светские власти.

У балканских славян и венгров греческий ритуал уже получил распространение, благодаря трудам болгар Кирилла и Мефодия (они перевели Литургию и Священное Писание на народный язык). Эти народы сохранили глубоко враждебное отношение к католическому клиру, насаждавшему латынь, и потому монахи многочисленных обителей на территории этих стран вместо поддержки со стороны местных священников получили в их лице опаснейших противников. Римское духовенство их презирало и всячески угнетало, а между тем они гораздо ближе стояли к народной традиции, чем к культуре, которую навязывал Рим, и именно поэтому были склонны впитывать еретические доктрины и распространять их, благодаря своему авторитету служителей Христа. С другой стороны, в славянских странах католических священников и епископов было мало, они не имели никакого влияния на население и являли собой пример самой бессовестной коррупции.

В эпоху Иннокентия III Венгрия, Хорватия, Славония, Босния, Истрия, Далмация, Албания (а также Болгария, Македония и Фракия, находившиеся под греческим влиянием) были странами, где учение катаров пользовалось наибольшей свободой, а нередко и поддержкой власть имущих. В конце XII века в Боснии «бан», или князь, Кулин, правитель этой провинции, вместе со всем своим семейством исповедовал ересь. В Далмации, в диоцезе Тригурия находился один из крупных катарских центров, известный не только на Балканах, но и в Западной Европе. В Сплите, Рагузе и Заре почти вся знать была еретиками. И не только в Болгарии, где зародилось учение катаров, но и в Константинополе присутствовал один из самых важных катарских епископов. В этих странах даже католические епископы, такие, как Даниэль из Боснии или Аренгер из Рагузы, проявляли симпатию к доктринам катаров.

По восшествии на папский престол Иннокентия III епископы славянских стран, напуганные развитием ереси, пытались устроить противников преследованиями и призывами к князьям. Венгерский король, верный папе, пытался оказать давление на бана Боснии, который пошел для виду на уступки. Однако его последователь Нинослас еще откровеннее поддерживал ересь и посадил еретика на епископский трон, освободившийся после смерти Даниэля. Босния официально стала еретической, перестала отправлять все католические службы и к концу 1221 года превратилась в одну из избранных стран, где гонимые катары из других краев могли найти прибежище и чувствовать себя в безопасности.

Тем временем Иннокентий III старался обратить болгар, склонявшихся к Византии, где катаров и богомилов было особенно много. Короновав болгарского царя Калояна, покорившегося Риму, чтобы получить от папы помощь против греков, Иннокентий III предвидел, что его протееже будет по-прежнему поддерживать еретиков в своей провинции. Иван Асень, царь Болгарии к концу 1218 года, предоставил катарам полную свободу проповеди и службы. В Венгрии короли Эмерик, а потом Андрей II, искренние католики, пытались под нажимом Иннокентия III, а потом Гонория III искоренить ересь в своих странах. С их помощью епископы и легаты развернули ожесточенную борьбу против боснийских катаров, и в 1221 году венгерский монах Павел основал доминиканский монастырь в Раабе. Однако первых доминиканских миссионеров постигла печальная участь: тридцать два монаха были утоплены в реке разгневанной толпой за скверные пророчества. Несмотря

на показное повиновение бана Ниносласа, ересь продолжала оставаться в силе настолько, что в 1225 году Гонорий III грозил объявить крестовый поход в эту провинцию. Поход, однако, не состоялся. Архиепископ Колошский выдал двести марок серебром Жану, владельцу Сирми, с целью убедить его принять крест, но тот так и не смог решиться. Только король Коломан, сын Андрея II, в 1227 году попытался предпринять военную операцию, но тоже без особого успеха.

Для установления равновесия в Боснии (единственный тамошний епископ переметнулся к еретикам) папа учредил второе епископство и отправил туда немецкого доминиканца Иоганна фон Вильдешуссена, который быстро снискал себе дурную славу своими зверствами. Чтобы заставить покориться бана Боснии, папа призвал князя Коломана Славонского, как некогда призвал в Лангедок французского короля. Во главе нового крестового похода Коломан в 1238 году добился, или мнил, что добился, известных успехов, но ересь не искоренил. Папа вызвал еще одного доминиканского епископа, который через два года, убоявшись, покинул свой пост.

В славянских странах, в силу политической ситуации и убеждений властителей, ересь была сильна и вполне способна противостоять официальной религии. Ее успех во многом определялся естественным сопротивлением славянских народов римскому захватничеству и ослаблением авторитета греческой Церкви, которая, будучи, как и католическая, тесно связана со своим руководством, имела гораздо более слабую организацию, находилась под постоянной угрозой ислама с востока и Рима с запада и гораздо ближе по духу стояла к течениям манихейского толка, чем католическая Церковь. Нет ничего удивительного в том, что ересь попала на благодатную почву в этих краях, едва тронутых христианством и открытым множеству соперничающих влияний.

Совершенно удивительно другое: Италия, родина папства, страна давно уже католическая, так же долго была подвержена ереси, как и Лангедок. В самом Риме имелись катарские общины, и с XII века есть сообщения о мощных колониях еретиков в Милане, Флоренции, Вероне, Орвьето, Ферраре, Модене и даже в Калабрии.

Пока крестовый поход против ереси обездоливал юг Франции, катары в Италии пользовались почти официальной свободой и составляли в городах мощные кланы, которым иногда удавалось изгонять епископов и католических сеньоров.

Особенно широко ересь распространилась в имперской Ломбардии, где постоянно происходили кровавые стычки между сторонниками папы и императора, и обе эти правящие силы держали в постоянном страхе зависимую от них страну. А Ломбардия была страной больших торговых городов-республик, очень ревниво относившихся к своим свободам. Больше, чем для жителей какой-либо иной христианской страны, Церковь представляла для ломбардцев политическую силу, и позже война Гвельфов и Гибеллинов покажет, что в Италии религиозные страсти намного уступают страстям политическим. Именно этот вид борьбы за национальную независимость и социальное освобождение приняло в Италии движение катаров. Епископы, владетельные феодалы, всегда готовые с оружием защищать свои привилегии, наталкивались в городах на упорное сопротивление, для которого религиозный пыл часто становился лишь поводом. Католики дрались не столько за веру, сколько за интересы кланов и политических партий.

Как это ни парадоксально, но состояние перманентной гражданской войны и сохраняло довольно долгое время в Италии климат относительной религиозной терпимости. Пока католики не подняли оружие против своих сограждан-еретиков, в стране сохранялось равновесие сил, вынуждавшее обе

стороны считаться друг с другом. Папа, который очень пекся о сохранении своих завоеваний в Ломбардии, не мог призвать императора в крестовый поход, понимая, что тот сумеет обернуть предприятие к своей выгоде. И сумел: в 1236 году, когда инквизиция с бешеной энергией начала свою деятельность во всех католических странах, император обвинил папу в потворстве ереси и в том, что ломбардские еретики подкупили его золотом. Фанатичного Григория IX невозможно было заподозрить в продажности, и потому итальянские катары, одинаково ненавистные и папе, и императору, обретали относительную безопасность в условиях политического соперничества, не дававшего обоим персонажам объединиться.

Церковь была непопулярна в Италии, где слишком задиристое и даже воинственное духовенство постоянно вмешивалось в гражданские войны. Прелаты первым делом стремились сохранить свои права, которые оспаривали у них набирающие силу коммуны. В Италии процветали все религиозные секты: арнальдисты, или последователи реформатора Арнальдо из Брешии, вальденсы, пасаджаны, или иудаистствующие. Но самыми многочисленными и влиятельными были катары. К ним принадлежала большая часть знати, и они черпали силы в поддержке катаров Лангедока и славянских стран. У них были свои школы, они проповедовали в общественных местах, устраивали диспуты с католическим духовенством. Ломбардия в начале XIII века слыла местом паломничества всех катаров Запада, куда направлялись, чтобы посоветоваться или что-либо согласовать с наставниками секты, а также чтобы вновь получить «consolamentum» у наиболее почтенных из них. В эпоху Иннокентия III Церковь катаров была широко представлена в Италии, имея по одному епископу в Сорано, в Виченце и Брешии, а их «старшие сыновья» управляли общинами в других городах. Милан являлся официальным центром всех еретических Церквей, и тамошний магистрат, враждебный католическому клиру, открыто поддерживал все секты и предоставлял убежище всем еретикам. Катары преобладали в Вероне, Витербе, Флоренции, Ферраре, Прато и Орвьето, и епископы ничего не могли с ними поделаться. В Фаэнце, Римини, Коме, Парме, Кремоне и Пьяченце процветали катарские общины; крупная церковная ячейка обосновалась в маленьком городке Дезанцано. В Тревизо и Риме, где еретиков поддерживали светские власти, они открывали свои школы и учили там Евангелию.

В Италии начала века катары чувствовали себя настолько в безопасности, что могли позволить себе теологические разногласия и размежевания внутри Церкви: епископы Сорано следовали Тригурийской и Альбанской школам, которые утверждали, что зло было вечным, а епископы Брешии придерживались доктрины болгарских катаров, гласившей, что добрый Бог изначально был един. Обе секты вступали друг с другом в жаркую теологическую полемику, а к 1226 году Соранская школа распалась на две фракции, из которых первую представлял епископ Белисманса, а вторую – его «старший сын» Джованни де Луджо.

Иннокентий III, обеспокоенный быстрым прогрессом ереси на полуострове, начал с административных угроз, таких, как запрет всякой светской деятельности для катаров, однако его приказы выполнялись отнюдь не всегда. Отлучения тоже ни к чему не привели. Действия папских эмиссаров на местах были не более удачны: в Орвьето горожане-еретики, доведенные до отчаяния жестокостью правителя Пьетро Паренцио, поставленного папой, попросту убили его. В Витербе еретики выдвинулись в консулы, несмотря на все угрозы папы, и тому пришлось в 1207 году собственной персоной явиться в город и приказать конфисковать имущество и снести дома главных

членов секты. После 1215 года, когда Латеранский Собор узаконил все меры, практиковавшиеся против еретиков Церковью и государством, преследования стали более жестокими, но от этого не более эффективными, невзирая на поддержку, которую оказывал политике репрессий император Фридрих II. В Брешии в 1225 году произошло вооруженное столкновение между католиками и еретиками. Еретики победили, сожгли католические церкви, предали Рим анафеме и, несмотря на угрозы Гонория III, сохранили власть в городе. В Милане в 1228 году были предписаны епископам и вменены нотаблям весьма жесткие меры: изгнание еретиков, разрушение их домов, конфискация имущества, штрафы и т. д., но эти меры так и остались приказами, а знать и богатые буржуа давали прибежища катарам и строили для них школы и культовые дома. Во Флоренции, несмотря на арест и отречение в 1226 году катарского епископа Патернона, община была в силе и включала в себя многих священников, ремесленников и простолюдинов, не говоря уже о нотаблях. В Риме катары были столь многочисленны, что их влияние оставалось огромным вопреки угрозам штрафов, лишения прав и т. д. и учреждению милиции Иисуса Христа, призванной бороться с ересью.

Когда папа решил прибегнуть к ордену доминиканцев и наделить его исключительными полномочиями в деле истребления ереси, многие доминиканцы, такие как Пьетро ди Верона, Монета ди Кремона, Джованни ди Виченца, энергично взялись за дело и пускали в ход все свое красноречие, разъезжая по ломбардским городам, призывая католиков к борьбе и наводя ужас на еретиков. Дело доходило до того, что они становились во главе вооруженных отрядов. Пьетро ди Верона, обращенный катар, был убит в 1252 году и тем заслужил канонизацию и стал зваться святым Петром мучеником. Движения католической реакции множились. В Парме было основано общество «рыцарей Иисуса Христа». Во Флоренции образовалась конгрегация Пресвятой Девы, и народ шел в богоугодное ополчение, чтобы послужить борьбе с катарами. Между тем еретики насчитывали в городе горячих приверженцев не только среди знати, но и среди простого люда, и местное духовенство не осмеливалось что-либо предпринимать помимо действий инквизиторов. В Милане императорские угрозы вынудили обитателей доказывать свою ортодоксальность, и в 1240 году подеста Орландо ди Трессино сжег многих катаров. В Вероне в 1233 году Джованни ди Виченца велел сжечь шестьдесят человек; в Витербе в 1235 году сожгли катарского епископа Джованни Беневенти и вместе с ним многих катаров; в Пизе в 1240 году взошли на костер двое совершенных. Но деятельность инквизиции встречала в большинстве городов все большее и большее сопротивление. В Бергамо городской магистрат остался глух ко всем угрозам легатов; в Пьяченце разгневанная толпа выгнала инквизитора Орландо; в Мантуе в 1235 году убили епископа; в Неаполе еретики разгромили доминиканский монастырь и т. д.

К моменту смерти Григория IX в 1241 году катары в Италии были так же могущественны, как и полвека назад. К этому году в Ломбардии насчитывалось более 2000 совершенных, и еще 150 совершенных во французской Церкви в Вероне. В 1250 году смерть Фридриха II развязала папе руки, и он смог сконцентрировать все усилия на уничтожении ереси в Северной Италии, но вплоть до начала XIV века ломбардские города оставались очагами ереси, а борьба между епископами и магистратами продолжалась столь же ожесточенно, подогреваемая политическими страстями и соперничеством кланов. Все более многочисленные костры повыбили ряды совершенных, инквизиторов убивали, возникали новые ереси и теснили учение катаров, которое начало понемногу терять позиции, а в Ломбардию продолжали стекаться французские еретики, чтобы реорганизовать

свою преследуемую Церковь.

На юге Франции, как мы видели, развитие ереси не привело к социальным потрясениям, и лишь некоторые частные инициативы, вроде Белого братства Фулька, создавали ту атмосферу гражданской войны, которая в Ломбардии была привычной. Итальянские католики могли сражаться на стороне папы, ибо его противником был притеснявший их император. Но в Лангедоке на стороне папы выступал лишь католический клир. Патриотически настроенные южные города не могли питать симпатий к власти, которая эксплуатировала их безо всякой политической или социальной компенсации. Суетные и сластолюбивые епископы служили папе настолько, насколько он был им полезен, и часто предпочитали не трогать еретиков, среди которых имели друзей или родственников. Крестовый поход завершил процесс глубинного единения всей страны и создал противостояние Церкви и мирского общества, которое постоянно обострялось.

Фридрих II, противник и конкурент папства, желал с оружием в руках истребить всех катаров в Ломбардии, а потом ее оккупировать, и папа остерегался его туда призывать. Французский король оккупировал Лангедок с папского поощрения и торжественного благословения, причем папа не постеснялся приравнять Божье дело к выгоде Франции. Благодаря крестовому походу в Лангедоке сложилась редчайшая для средних веков ситуация: народ, знать и буржуазия, вместо того, чтобы враждовать, или, по крайней мере, жить в атмосфере взаимной настороженности, создали настоящий национальный союз, объединившись вокруг своего законного суверена. Даже в условиях бедствия такая исключительная ситуация могла возникнуть только в народе, уже глубоко и тесно объединенном и осознавшем свое национальное достоинство.

Трудно поверить, что Лангедок был заселен одними еретиками, зато со всей определенностью можно утверждать, что к 1229 году он стал поголовно антикатолическим, поскольку Церковь превратилась во врага нации. Парижский договор поставил на одну доску Церковь и короля Франции. Но кто же мог, не прославив предателем, славословить папу в стране, где уже двадцать лет слово «француз» стало синонимом бандита и грабителя? Король выказал себя более великодушным, чем Симон де Монфор. И его было труднее выгнать.

Раймон VII не потерял популярности, подписав договор, согласно которому Лангедок присоединился к Франции его сочли жертвой. Измученная и опустошенная войной страна встречала чужеземных сенешалей и чиновников, которые приехали разрушить крепостные стены, оккупировать столицу, чтобы графу не повадно было даже думать о былой независимости, и наложить тяжкие подати, окончательно парализовавшие экономику. И все это творилось именем Церкви и по ее приказу. Львиная доля, фактически половина от этих сумм должна была пойти церквам и аббатствам, и епископы, облеченные новой властью, могли свободно изымать средства из десятин и прочих налогов, за выплатой которых следили королевские интенданты. Каркассе, Разе, Альбижуа и Нарбоннские земли стали королевскими, как, собственно, уже и было с 1226 года, но теперь аннексия стала окончательной. Тулуза, Кэрс и Ажене по-прежнему принадлежали графу Тулузскому, который сидел в Париже под охраной французского гарнизона. Когда же граф вернулся в Тулузу, у которой снова срыли стены, его сопровождал кардинал-легат де Сент-Анж собственной персоной. Легат намеревался дать понять тулузцам и всему Лангедоку, что мирный договор был прежде всего миром для Церкви.

Но Церковь уже не выглядела победительницей, явившейся, чтобы хозяйничать в покоренной

стране. Это была поверженная Церковь. Истинные победители – крестоносцы, король и прежде всего народная нищета – сослужили делу катаров отличную службу. Все усилия Церкви рисковали оказаться сведенными к пустым угрозам, и хотя бы отчасти спасти свое лицо ей могло помочь только оружие оккупантов. Чтобы отвоевать себе положение в стране, нужно было прекратить прибегать к помощи мирских властей и срочно изыскать другие средства, придумать новую систему подавления, более эффективную, чем оружие.

Задача была не из легких. Однако реформаторское движение, начавшееся внутри Церкви еще с 1209 года, позволило ей на вербовать среди своих членов большое количество энергичных борцов, готовых на все во имя торжества своей веры. Но если бы они начали действовать, как действует полиция или миссионеры, они бы расписались в том, что имеют дело с сильным противником, и других рычагов воздействия у них нет. Чтобы сломить ненависть окситанцев, им не хватило бы ни доброты, ни справедливости, ни умеренности. Для этого им надо было попросту убраться восвояси, а до таких пределов их милосердие не простиралось.

2. Тулузский Собор

В ноябре 1229 года кардинал-легат де Сент-Анж прибыл в Тулузу, чтобы с подобающей случаю помпой отпраздновать наступление новой эры мира и процветания в Лангедоке, процветания католической Церкви под эгидой мощного и счастливого покровительства короля Франции и мира в единой вере и в верности Церкви и королю.

Торжественная церемония имела место здесь же в Тулузе. Граф должен был снова публично изъявить покорность легату, который на этот раз не бичевал его, но и не обращался с ним, как с полновластным сувереном, снисходя к мятежнику из милости, прощая его и возвращая часть его доменов. Текст договора был публично зачитан вслух в присутствии собрания епископов и местной знати, которая присягнула свято соблюдать все его статьи.

Ромену де Сент-Анжу, чья карьера во Франции завершилась столь блестяще, предписывалось не покидать пределов Лангедока, пока он не обеспечит прочной базы для новой политики Церкви. Обязательства графа и присяги его вассалов на этот раз не должны были остаться, как это уже не раз случалось, благими намерениями, которые они же сами потом объявят невыполнимыми. Надо было ковать железо, пока горячо, и легат велел созвать в Тулузе Собор с участием всех южных прелатов для решения следующих вопросов: 1) основание или, скорее, обновление Университета в Тулузе (легат Конрад де Порто во время крестового похода уже заложил основу этого католического Университета); 2) надежная и эффективная организация репрессий против ереси.

Любопытно читать циркуляр, выработанный Собором для преподавателей нового Университета и предназначенный для рассылки в крупные учебные центры Запада, чтобы привлечь в Тулузу новых студентов. Ромен де Сент-Анж привез с собой из Парижа профессоров теологии и философии, покинувших Университет в результате распрей между учебными заведениями и верхушкой Нотр-Дам. Новый Университет не имел недостатка в средствах, граф каждый год должен был вносить на его содержание четыре тысячи марок серебром. Почитать рекламные письма, составленные новыми профессорами, так выходило, что страна, куда они пытались завлечь студентов, это тихая гавань среди войн и невзгод, сотрясающих Европу, народ ее тих и гостеприимен, жизнь недорога, квартир сколько угодно, климат прелестный и т. д. И наконец здесь, «где, словно лес, разросся колючий кустарник ереси», новый Университет был призван «взрастить до небес могучий кедр католической

веры». Он должен был противопоставить военной бойне мирную борьбу научных споров [147]. Короче, примирение графа с Церковью принесло стране мир, торжество веры и обещание процветания и благополучия.

Этого действительно желали не только католики, но и сам граф и уставший от войны народ. Мир, пусть насильственный, пусть жестокий, давал Лангедоку возможность вздохнуть, крестьяне могли посеять хлеб и не дрожать каждый год от страха, что поля вытопчут.

За двадцать лет в Тулузу хозяевами входили Симон де Монфор и принц Людовик, Фульк и легаты. Город по опыту знал, что правление новых хозяев будет не дольше правления их предшественников. Граф сохранил часть своих полномочий, а легат рано или поздно уберется в Рим.

Очевидно, что Ромен де Сент-Анж не рассчитывал одолеть ересь одним росчерком пера или при помощи «мирного оружия научных споров». Наоборот, больше никакая научная дискуссия не вспыхнет в этой стране между католиками и еретиками.

Ни на кафедрах теологии, ни в любых других местах, кроме тюрьмы, еретики не смогут более выдвигать никаких аргументов, и мирные дискуссии превратятся в монологи. Согласно Парижскому соглашению, легат составил список распоряжений, которые, если и не были образцом новации в церковном законодательстве, то применялись более систематично и постоянно. Преследование ереси теперь входило в свод общественных законов наряду с гражданским и уголовным правом и строжайше вменялось всем гражданам без малейших исключений. Согласно этому новому уложению, даже какая-нибудь девчушка лет двенадцати, по болезни или из-за отсутствия не успевшая дать клятву истреблять ересь или по какой либо причине не причастившаяся в Пасху, могла попасть под подозрение и подвергнуться судебному преследованию. Но что действительно поражает и распоряжениях легата, так это их методический и, даже можно сказать, бюрократический характер. Они устанавливают, по крайней мере, на бумаге, настоящий полицейский контроль за населением. Напрашивается вопрос: располагала ли Церковь достаточными средствами для их выполнения. Во всех случаях на это должны были уйти годы. Вот как выглядят основные статьи уложения:

Архиепископы и епископы должны назначить в каждом приходе одного священника на двоих или троих мирян, которые обходят и осматривает дома, погреба, чердаки – словом, все подозрительные места, где могли бы укрыться еретики. Если таковые будут обнаружены, о них надлежит донести епископу, сеньору и баилям и действовать согласно их решению. Такие же облавы предписано проводить сеньорам и аббатам в домах, селениях и в особенности в лесах. Если кто-либо приютит еретика на своей земле, он тут же этой земли лишается, а его самого предают суду сеньора. Даже если его контакты с еретиками не доказаны, он подпадает под статью закона, буде обнаруженные на его территории еретики многочисленны. Дом, где найдут еретика, следует сжечь, а землю, на которой дом стоит, конфисковать. Баиль, выказавший нерадение в розыске еретиков, лишается имущества и места. Наказать еретика или сочувствующего можно только после решения местного епископа или церковного судьи. Каждый волен произвести розыск еретиков на чужой земле, и баили обязаны ему помогать. Королевские баили могут выслеживать еретиков на территории графа Тулузского и наоборот – граф Тулузский может проводить облавы на землях короля. Еретик, отошедший от ереси добровольно, объявляется вне подозрений, однако должен сменить жилище, нашить на грудь и спину кресты, отличающиеся по цвету от одежды, не может исполнять никаких

общественных должностей и допускается к подписанию документов только после того, как папа или легат указом восстановят его в правах. Тот еретик, что вернулся в католическую веру не по доброй воле, а из страха смерти, должен быть посажен епископом в тюрьму. Те же, кому перейдет его имущество, должны позаботиться о его содержании, а неимущих содержит епархия. Все мужчины старше четырнадцати и женщины старше двенадцати лет обязаны отречься от ереси, поклясться в верности истинной Церкви и обещать доносить на еретиков и на всех, кто с ними общается. Все обитатели прихода поименно произносят эту клятву перед епископом или его доверенным лицом. Отсутствовавшие должны присягнуть в течение пятнадцати дней по возвращении. Если же они этого не сделали, что легко проверить по спискам имен, то попадают под подозрение в ереси. Клятва должна обновляться каждые два года.

Лица обоего пола, достигшие совершеннолетия, обязаны трижды в год исповедаться у своего кюре или у другого священника с разрешения своего кюре. Если пастырь не вызывает к себе особым распоряжением, то исповедаться надлежит на Рождество, на Пасху и на Пятидесятницу.

Уклоняющиеся от исповеди навлекают на себя подозрение в ереси. Главам семейств предписывается присутствовать на воскресных и праздничных мессах под страхом штрафа в двенадцать денье.

Извинить отсутствие на мессе может лишь болезнь или другая уважительная причина.

Прихожанам запрещается иметь Ветхий и Новый Заветы, за исключением Псалтыри, молитвенника и Часослова, и тех только на латыни.

Заподозренные в ереси не могут заниматься врачеванием. Больного, принявшего причастие, следует стеречь, чтобы к нему не приблизился еретик или заподозренный в ереси.

Завещания могут составляться только в присутствии кюре либо другого священника или мирянина с хорошей репутацией, иначе они считаются недействительными.

Сеньорам, баронам, рыцарям и шателенам запрещается доверять управление своими землями еретикам и сочувствующим.

Тот, кого изобличило общественное мнение, и чью дурную репутацию подтвердил епископ, считается обесчещенным [148].

Как видно, чтобы выполнить все эти декреты, нужен был немалый персонал надзирателей. Несомненно, составить списки своих прихожан, выявить уклоняющихся от присяги и причастия, объявить их подозреваемыми в ереси мог каждый священник. Однако если нарушителей было много, то предать суду всех уже становилось трудно. Страх навлечь на себя беду мог толкнуть многих верующих к конформизму, но церковным властям приходилось еще долго доказывать этот конформизм.

Может, и нетрудно было в каждом приходе найти двух-трех мирян, желающих поискать еретиков, но надо было еще, чтобы их поддержало большинство населения, иначе арестовать обнаруженного еретика становилось проблемой.

Алчность толкала сеньоров завладеть землями тех, кто укрывал еретиков, страх потерять имущество или место и перспектива увидеть свой дом разоренным заставлял многих отказывать еретикам в приюте. Но для того, чтобы заниматься разрушением жилищ и конфискацией земель, должна была существовать очень сильная власть. Мало того, что подобная система репрессий вызывала в стране неизбежные беспорядки. В выполнении всех своих мер она не могла рассчитывать ни на графа с его вассалами, ни на королевских чиновников, занятых другими обязанностями. Епископы располагали

вооруженными отрядами, но, чтобы арестовать еретиков, их надо было сначала найти, а они очень ловко путали следы. К тому же среди «обесчещенных» было много знатных вельмож, к которым непросто подступиться и которые присягнули в своей ортодоксальности.

Ромен де Сент-Анж не удовлетворился простым обнародованием своих декретов. Ему надо было перед отъездом в Тулузу поразить общественное мнение громким процессом для устрашения тех, кто полагал их практически неприменимыми. У него под рукой было двое еретиков, недавно обнаруженных и арестованных людьми графа Тулузского, который, чтобы заслужить доверие легата, посчитал нужным представить ему это доказательство своей доброй воли. Оба еретика были совершенными. Один из них, Гильом, упоминался также Альберихом из Трех Ключей [149] как «папа» (апостоликус) Альбигуа. Скорее всего, речь шла о епископе диоцеза Альби, весьма почтенном старце, которого называли папой, дабы придать больший вес его аресту. Другой совершенный, его тезка Гильом де Солье, тоже был уважаем и хорошо известен в Тулузском диоцезе.

Так называемый папа альбигойцев шел на казнь с присущей катарским священникам твердостью и был торжественно сожжен в Тулузе кардиналом-легатом, а вот Гильом де Солье обратился в католическую веру и стал одним из ценнейших споспешников Церкви. Церковный Собор его оправдал и официально принял его показания. Этот человек выдал многих верующих, принадлежавших к катарской Церкви. Знакомство с ними, знание всех их укрытий и мест сбора оказались ему весьма кстати. Однако совершенные в его доносах не фигурировали, он доносил только на простых верующих.

Епископ Тулузский вызвал к себе тех, чья правоверность не вызывала сомнений, и потребовал от них свидетельства против еретиков в числе их знакомых. В результате вместе с показаниями Гильома де Солье получился впечатляющий список подозреваемых. Все они предстали перед церковным судом.

Однако эта затея не принесла заметных результатов: подозреваемые отказывались говорить на допросах. Некоторые, кто побойчее или поопытнее, показывали на тех, кто свидетельствовал против них, и без этих взаимных обвинений не обходилась ни одна юридическая процедура. Стало ясно, что случай не совсем обычный, и судьи не могли больше обнародовать имена информаторов, боясь, что им начнут мстить и тем самым напугают будущих осведомителей. Когда кардинал-легат отказался назвать имена доносчиков, обвиняемые преследовали его до самого Монпелье, где вручили ему очередное прошение. Ромен де Сент-Анж пустился на хитрость: он согласился показать обвиняемым список всех включенных в дознание, не сообщая, против кого они давали показания и давали ли вообще, и предложил указать в этом списке своих личных врагов. Сбитые с толку, не ведающие, кто показывал за, кто против них, обвиняемые не осмелились указать никого и попросили прощения у легата. Потом эта уловка Романа де Сент-Анжа широко применялась в церковных трибуналах.

Процесс над еретиками легат устроил не в Тулузе, а в Оранже, созвав там Собор, чтобы обнародовать по всему Лангедоку свое уложение, учрежденное в Тулузе. Его сопровождал Тулузский епископ Фульк, на которого была возложена обязанность привести в исполнение наказания, назначенные легатом. Ромен де Сент-Анж покинул юг Франции и вернулся в Рим, где папа не замедлил наречь его епископом Порто.

3. Бессилие Церкви и реакция доминиканцев

Теперь легат мог сказать, что «Церковь наконец-то обрела мир в этих краях» (Г. Пелиссон). Но действия инквизиции, невзирая на сожжение совершенного Гильома и оглашение списка подозреваемых, не произвели большого впечатления на тулузцев. Епископ Фульк, которому доверили осуществление репрессий против ереси, был настолько непопулярен, что не отваживался передвигаться без вооруженного эскорта, и с огромным трудом добивался уплаты церковного налога. Граф по вполне понятным причинам не делал абсолютно ничего, чтобы защитить права своего епископа, и престарелый прелат горько и не без цинизма сетовал: «Я скоро снова окажусь в изгнании, потому что только там я бываю хорош»[150]. Фульк не остался долго на епископском престоле в Тулузе. Старый, усталый, а больше всего обескураженный непобедимой враждебностью к нему его же собственных прихожан, он удалился в аббатство Грансельв готовиться к смерти и сочинять гимны. Умер он в 1231 году.

Методическое подавление ереси, вмененное Меоским договором и торжественно начатое Роменом де Сент-Анжем, на деле оказалось неосуществимым. Полицейские меры, принятые против ереси церковными властями, морально изолированными от страны, привели к тому, что и еретики, и сочувствующие научились скрываться и пользовались этой наукой систематически и со знанием дела. Новые законы не действовали, ибо все, кто так или иначе имел дело со священниками, торжественно заверяли их в своей правоверности, но на деле жизнь Лангедока ускользала от контроля церковной полиции, которая была малочисленна и мало кого пугала.

«Еретики и их паства, – пишет доминиканец Гильом Пелиссон о годах, последовавших за Меоским договором, – приобретали все больший опыт и направляли все свои силы и хитрость против Церкви и католиков. В Тулузе и ее окрестностях они натворили больше беды, чем во время войны»[151].

О деятельности катаров в этот период мы знаем только то, что сохранилось в документах судебных процессов и в доносах или то, что касалось очень известных в их среде людей. Очень многим из знаменитых совершенных удалось уйти от преследований, так как судьи не были всеведущи, а информировать их никто не спешил.

Владельцы Ниора, герои долгого показательного процесса, о котором у нас еще пойдет речь, публично оказали гостеприимство пяти совершенным, от которых не пожелали отречься, невзирая на приказы архиепископа Нарбоннского, объединили еретиков и организовали убежище для множества попавших под подозрение. Их мать, Эсклармонда, известнейшая на всю страну совершенная, пользовалась таким авторитетом и влиянием, что получила от своих духовных пастырей специальное разрешение принимать мясную пищу и лгать (в вопросах веры и единоверцев), если дело дойдет до насилия.

В 1233 году к замку Рокфор стеклось множество еретиков со всей страны, чтобы послушать проповеди Гильома Видаля. Фанжо всегда оставался признанным центром катарской Церкви. На собрания под председательством Гийабурта де Кафра съезжалось все рыцарство, а владельница Фанжо, Каваэрс, в 1229 году пригласила всю окрестную знать в замок Монградей на торжество по поводу вступления ее племянника Арно де Кастельвердена в катарскую веру. Дом Аламана де Роэ в Тулузе (семья Роэ дала приют графу Тулузскому, когда епископ выселил его из дворца) стал настоящим «домом еретиков», где принимали странствующих совершенных и устраивали собрания. Замок Кабарет был резиденцией диакона Арно Хота. Хотя в 1229 году его оккупировали французы, через два года он уже снова стал местом собраний окрестных еретиков. Совершенные и диаконы

катаров пересекали страну из края в край, не особенно заботясь о том, чтобы прятаться, совершали обряд *consolamentum*, проповедовали, словом, отправляли свою службу, как обычно. Совершенный Вигоро де Бакониа бывал почти во всех землях Тулузы и долины Арьежа, и ему не приходилось прятаться, поскольку, едва узнав о его появлении, верующие из соседних городов сбегались, чтобы послушать его проповеди и наставления.

Декреты Тулузского Собора ни в коей мере не охладили религиозного пыла катаров. Напротив, раздражение от французского военного присутствия, от того, что надо отдавать Церкви военные трофеи, от необходимости платить церковную десятину и сдать крестоносцам Монфора (или их отпрыскам) отнятые у законных владельцев замки – это вполне оправданное раздражение росло. Грабительское Парижское соглашение, навязанное стране в одностороннем порядке и выгодное одной лишь Церкви, не могло восприниматься как окончательное.

Разоренная и униженная знать, провоевавшая двадцать лет, только и думала, что о заговоре, и выжидала случая взять реванш. Страна сложила оружие только потому, что не хватало денег продолжать войну. Досадуя на принятые обязательства, граф прикидывал, как бы помешать прогрессу, которого явно смогут добиться Церковь и французы, окрыленные легкостью, с какой им удалось заключить мир. Покорившиеся сеньоры по-хозяйски распоряжались своими землями и вовсе не желали отказываться от прав на них, тем более, что присяга в верности Церкви в принципе ограждала их от подозрений. Представители местных властей открыто выступали против розыска и арестов еретиков и не назначали строгой кары тем, кто поднимал оружие против королевских чиновников.

Так, сенешаль Андре Шове (Кальвет) был убит в ходе облавы на еретиков в Ла-Бессед [152], которую сам организовал. Убийство осталось безнаказанным, и в этом покушении обвинили окрестных вельмож (владельцев Ниора) и самого графа Тулузского. Те же владельцы Ниора, находясь в подчинении у архиепископа Нарбоннского, в 1233 году с оружием вторглись на территорию архиепископства, взяли в плен нескольких служителей, угнали скотину, а потом, проникнув в резиденцию архиепископа, ранили его самого, побили священников, похитили паллиум (знак архиепископской юрисдикции) и множество ценных предметов, после чего устроили пожар. Архиепископ (Пьер Амьель) послал папе жалобу, в которой объявлял означенных сеньоров еретиками и мятежниками. Протестовать-то перед папой он мог, зато навести порядок в собственном диоцезе ему не удавалось, несмотря на присутствие в стране французских властей.

В Тулузе антицерковная реакция населения была тем более острой, что ее почти открыто поддерживал граф. После того, как доминиканец Ролан Кремонский проповедовал с кафедры нового Университета против еретиков и обвинил тулузцев в ереси, консулы громко запротестовали и потребовали от приора доминиканского монастыря, чтобы тот заставил замолчать ретивого проповедника. Брат Ролан продолжал клеймить жителей Тулузы и спровоцировал скандал, приказав эксгумировать трупы двух недавно скончавшихся людей: доната капитула Сен-Сернен А. Пейре и Гальвануса, священника-вальденса, похороненного на кладбище Вильнев. Оба они, хотя и были еретиками, пользовались огромным уважением в католических кругах. Подобные акции, предпринятые «для вящей славы господина нашего Иисуса Христа, благословенного Доминика и в честь матери нашей римской Церкви» (Г. Пелиссон), отвратили от себя общественное мнение и вынудили консулов еще раз выразить протест приору доминиканцев и потребовать отозвать брата

Ролана. Тот же Пелиссон сетует на граждан Тулузы за многочисленные облавы на тех, кто занимался розыском еретиков. Процедура розыска стала столь опасной, что само ее продолжение требовало от духовенства немалого мужества, не говоря уже о препровождении подозреваемых в церковные тюрьмы, чтобы допросить их и предать суду.

Трудность заключалась не в том, чтобы обнаружить еретиков, а в том, чтобы их поймать. Трибуналы зачастую ограничивались заочными приговорами или арестами тех, кого невозможно было обвинить в чем-либо серьезном. Так произошло с Пейронеллой из Монтобана, девочкой двенадцати лет, воспитанной в катарской обители и обращенной епископом Фульком. Зачастую горожане атаквали противников их же оружием. Некий П. Пейтави в пылу ссоры обозвал пряжечника Бернара де Соларо «еретиком» (причем не без оснований), а тот подал жалобу за диффамацию. Консулы вызвали Пейтави на совет и приговорили к нескольким годам ссылки, возмещению морального ущерба пряжечнику и к штрафу. Пейтави пострадал не за то, что заподозрил пряжечника в ереси, а за то, что слишком явно выразил свои католические чувства. Он в свою очередь пожаловался тулузским доминиканцам, подал апелляцию епископу и при поддержке доминиканцев Пьера Сейла и Гильома Арно с шумом выиграл процесс в церковном трибунале, а его недруг вынужден был бежать в Ломбардию. По этому поводу Пелиссон писал: «Да будут благословенны Господь и святой Доминик, которые умеют вступиться за своих!»[153]. Уже само по себе значение, которое Церковь придавала столь пустяковому эпизоду (кстати, двое доминиканцев, помогших Пейтави, станут потом инквизиторами в Тулузе), говорит о том, насколько тяжела и бесплодна была в тот период времени борьба церковной верхушки с консульской властью. Церковники воздали хвалу Господу, потому что им удалось отменить приговор в пользу заподозренного в ереси, но убедить в своей правоте консулов им так и не удалось; они убедили только собственного епископа.

Этим епископом был Раймон дю Фога (де Фальгар), из семьи Мирамон, уроженец окрестностей Тулузы, принявший пост после смерти Фулька. Фанатичный доминиканец, он, по словам Гильома Пюилоранского, «начал с того, чем закончил его предшественник, преследуя еретиков, защищая права Церкви и то силой, то лаской понуждая графа к добрым делам»[154]. Епископ, видно, и в самом деле обладал недюжинной энергией, ибо ему удалось увлечь графа во главе вооруженного отряда на ночную вылазку, в ходе которой в лесу близ Кастельнодари было застигнуто врасплох собрание еретиков. Арестовали сразу девятнадцать человек, и среди них файдита Пагана (или Пайана) де ла Бессед, рыцаря, известного своей храбростью, одного из лидеров катарской знати. Пагана и его восемнадцать товарищей тут же приговорили к смерти и сожгли по приказу графа. Спрашивается, какими соображениями руководствовался епископ, вынуждая графа на несвойственную его характеру жестокость, которая к тому же являлась предательством по отношению к вассалу: рыцари-файдиты всегда были самыми преданными сторонниками Раймона. Во всяком случае, предоставив Раймону дю Фога неоспоримое доказательство своей доброй воли, граф мог рассчитывать, что его на какое-то время оставят в покое, и не стал предпринимать ничего против откровенных выпадов знати и консулов в адрес церковных властей.

Волнения в стране были так велики, что папа, убоявшись переворота, повел в отношении графа Тулузского достаточно мягкую политику: в 1230 году он рекомендовал новому легату Пьеру де Кольме не обращаться с графом сурово, «дабы поощрить его усердие по отношению к Господу и

Церкви». Он предоставил графу отсрочку в уплате десяти тысяч марок, назначенных Меоским договором в возмещение убытков Церкви, разрешил ему для уплаты этих десяти тысяч затребовать пособие у церковнослужителей и, наконец, 18 сентября 1230 года принял к рассмотрению посмертно дело Раймона VI, которого сын уже отчаялся похоронить, согласно его последней воле, на христианской земле. Этот шантаж на сыновних чувствах Раймона VII продолжался довольно долго, и в результате останкам старого графа было навсегда отказано в христианском погребении. Папа, однако, не переставал, по крайней мере для виду, щадить графа, поскольку, «дабы взрастить его благочестие, необходимо было бережно поливать его, как молодое деревце, и вскармливать молоком Церкви»[155]. Такое милостивое отношение, далеко не полностью оправданное графом, возможно, и не было продиктовано желанием папы укротить амбиции пятнадцатилетнего французского короля, с которым матушка, досадуя на его энергию, справлялась уже с трудом. В контактах с графом папа изыскивал возможности влиять на чересчур взбудораженное общественное мнение и поддержать Церковь в стране, которая становилась к ней все более и более враждебной.

Однако в тех краях, где сюзереном был не граф Тулузский, а французские аристократы и сенешали короля, дела Церкви обстояли еще хуже, и свидетельство тому – поведение владетелей Ниора по отношению к архиепископу Нарбоннскому. Архиепископ, чья безопасность подверглась такой угрозе, решил сам в 1233 году возбудить процесс против обидчиков, но у тех нашлось множество ревностных защитников, в том числе и среди местного духовенства. Он смог осуществить свой замысел только по специальному распоряжению Григория IX, который назначил судьями епископа Тулузы, прево Тулузского Собора и архидиакона Каркассона. Чтобы добиться передачи дела на суд этих господ, прелат должен был сначала проконсультироваться с папой в Ананьи, где Григорий IX пребывал в 1232 году, потом ехать в Рим, и только 8 марта 1233 года епископу Тулузы доставили папскую буллу, приказывавшую «привести в исполнение приговор, вынесенный владетелям Ниора Тулузским Собором».

Ниоры считались одними из могущественнейших лангедокских феодалов и владели землями в Лорагэ, Разе и в районе Соль. Их уже отлучали от Церкви на Тулузском Соборе, и отлучение 1233 года было повторным. Ведомые еретики, несмотря на все запирательства, Ниоры не боялись церковного гнева, и, чтобы взять их силой, требовалось не только согласие, но и поддержка графа Тулузского, который не позволял арестовывать своих личных вассалов. Папа вынужден был обратиться к королю Франции, или, скорее, к регентше. Под двойной угрозой гнева понтифика и возобновления враждебных действий Франции граф сдался и созвал совет епископов и баронов для обнародования постановления против ереси (20 апреля 1233 года). Это постановление лишь повторило предыдущее, принятое на Тулузском Соборе в 1229 году. Его уложения, до сей поры касавшиеся лишь церковного правосудия, теперь составляли основу карательного законодательства и восстанавливали графский суд.

Владетели Ниора (по крайней мере двое из них, Бернар-Отон и Гильом), вызванные Гильомом Арно, отказались отвечать и покинули трибунал. На другой день сенешаль Фрискан арестовал их и бросил в тюрьму. Только оружие оккупанта вкупе с вынужденным согласием графа смогло выполнить волю Церкви, и процесс над лидерами сопротивления катаров среди мирян стал возможен только благодаря вмешательству французского сенешаля.

Процесс был долгим и малодоказательным. Бернара-Отона и Гильома избличали множество

свидетелей, что в Тулузе достигалось гораздо легче, чем в их краях, где они обладали таким могуществом, что их матушка Эсклармонда могла, не опасаясь ничего, прогнать с порога самого архиепископа. Священники и клир заявили, что Бернар-Отон де Ниор не только открыто принимал еретиков в своем доме, но и не впускал в свои домены тех, кто их разыскивал, что однажды он, войдя в церковь, заставил священника замолчать и уступить место для проповеди совершенному, что он причастен к убийству Андре Шове и т. д. Любопытное дело, но показаний, подтверждавших ортодоксальность Ниоров, и в особенности Бернара-Оттона, который, похоже, вел двойную игру, было тоже предостаточно. По словам Гильома де Солье выходило (а он, надо сказать, испытывал известное отвращение к доносам на старых друзьях), что среди еретиков обвиняемый слыл предателем, состоящим на платной службе у французского короля. Братья ордена Святого Иоанна Иерусалимского из обители Пексиора говорили об обвиняемом как об искреннем католике, чья преданность Церкви стала причиной гибели многих еретиков. Архидиакон Вьельморский, Раймон Писарь, прибыл заявить, что Бернар-Отон – преданнейший сторонник короля и Церкви и что весь этот процесс затеяли «больше из ненависти, чем из сострадания».

Несмотря на все благоприятные свидетельства, Бернара-Оттона объявили еретиком и приговорили к смерти за то, что он упорствовал в своих заблуждениях и так ни в чем и не сознался. Его брат Гильом и его сын Бернар в конце концов признали себя виновными и были приговорены к пожизненному заключению. Смертный приговор не привели в исполнение: этому воспрепятствовали французские бароны, осевшие на юге (за исключением Ги де Левиса, сына компаньона Симона де Монфора), которые заявили, что исполнение приговора может спровоцировать серьезные волнения в стране. Впрочем, видимо, Бернар-Отон и Гильом вскоре обрели свободу, потому что тремя годами позже они вновь были осуждены (Бернар-Отон заочно). Третий из братьев Ниоров, Гиро, имел осторожность не появляться в Тулузе, а наоборот, удалившись вместе с матерью в свои владения, продолжал ревностно служить вере катаров.

Несмотря на то, что Бернар-Отон де Ниор неоднократно договаривался с французами и даже служил под началом Симона де Монфора, он и после приговора остался верным слугой катарской Церкви. Его двусмысленное поведение было продиктовано необходимостью ввести в заблуждение неприятеля и получить возможность помогать своим. Тем не менее, когда он, тяжело раненый, попросил *consolamentum*, Гийаберт де Кастр горько упрекнул его «за все то, что он причинил Церкви катаров» и наложил на него штраф в тысячу двести мельгорских су. Катарская Церковь умела быть и жесткой, и авторитарной, когда требовалось, и была способна напугать верующих, хотя располагала для этих целей средствами исключительно духовного порядка. Придерживаясь по причине гонений известной гибкости и терпимости в известных пунктах своей доктрины (например, давая некоторым совершенным разрешение принимать животную пищу и скрывать свои убеждения, если на карту поставлены интересы их Церкви), она должна была в нужный момент проявлять жесткость. Чувствуя свою обязанность требовать от верующих больших жертв, не позволяя им доверяться кому попало, существуя на подаяния и на отказы по завещаниям, которые новая власть объявила незаконными, совершенные были вынуждены оказывать на своих верующих моральное давление, ничуть не менее грозное, чем католическая Церковь на своих, хотя природа этого давления была совсем иной. Достаточно вспомнить о том, что для большинства населения Лангедока эти люди являлись единственными носителями истины, а *consolamentum* – единственным путем к спасению.

Недовольство, царившее в Лангедоке, в первую голову объяснялось разрушениями, за двадцать лет войны превратившими свободную и цветущую страну в нищую, целиком зависящую от чужестранцев.

Ai! Tolosa et Provensa!

E la terra d'Argensa!

Bezers et Carcassey!

Quo vos vi! quo vos vei!

вздыхал поэт Сикар де Марвейоль.

Правда, никто не запрещал науку любви и народные увеселения, по-прежнему праздновались свадьбы и крещения, а торговые города по мере сил старались привлечь иностранных клиентов и поставщиков, но у разорившейся знати не было средств ни на праздники, ни на войну. Присутствие в стране чужеземной власти и церковной полиции создавало обстановку злобы и недоверия. По вытоптаным полям шатались голодные рутьеры, с которыми стало трудно бороться: вынудив графа и его вассалов распустить наемников, Меоский договор сразу же лишил окситанских аристократов возможности себя защищать и поддерживать общественный порядок на своих территориях.

Вооруженные банды, брошенные на произвол судьбы, заботились о себе сами.

Народ, который столько времени боролся в надежде на лучшие дни, а оказался под пятой чужеземных захватчиков в полной нищете, обвинял в своих бедах не столько французов, сколько Церковь. Ни королевские чиновники, ни аристократы, завладевшие землями в результате завоеваний Монфора, не были так тесно связаны с жизнью страны, как духовенство. Церковники проникали повсюду: в каждой деревне свой кюре, в каждом городе свои обители, канцелярии, церковная милиция. Клер по большей части состоял из южан, которых соотечественники считали предателями, хотя многие из них из чувства патриотизма выступали против политики Церкви.

Живя в богатстве или, по крайней мере, в достатке в нищей стране, эти люди рассчитывали получать небывало высокие барыши и сразу же прибегали к помощи французского оружия, чуть только кто-то отказывался платить подати. Они нажились на войне, где столько жизней, сил и душевного жара было растрчено впустую, и заслужили такую ненависть, что Гильом Пелиссон глубоко заблуждался, когда обвинял во всем еретиков и писал: «Они натворили в Тулузе и ее окрестностях больше бед, чем война». Во всяком случае, попытки папы задобрить графа ни к чему не привели. В этой стране политика умеренности и терпимости могла состояться только на развалинах Церкви.

Папа не мог объявить новый крестовый поход, поскольку Лангедок уже частью перешел в собственность французского короля, частью предназначался в наследство королевскому брату. Регентша тоже не собиралась снова начинать долгую войну, опасаясь скомпрометировать Парижский договор. Она ограничивалась тем, что время от времени грозила Раймону VII, а тот спешил подтвердить свою покорность.

Теперь надо было покорять не графа, а весь народ, или, по крайней мере, его большую часть. Через четыре года после подписания Меоского договора дела Церкви в Лангедоке обстояли как нельзя хуже.

Подавление ереси – и больше, чем ереси, а самого настоящего антиклерикализма – было затруднено, так как не имело четкой организации и зависело от разных законодательств: епископального, с его опорой на слабые вооруженные силы, и графского, достаточно вялого, да к тому же находящегося

под подозрением в потворстве еретикам. Но даже у французских аристократов находились более важные дела, чем бесконечные вооруженные стычки под предлогом розыска еретиков.

Когда папа решил доверить подавление ереси специальной организации, где все члены будут выполнять только инквизиторские функции, он не просто хотел прикомандировать помощников к епископам, чтобы разгрузить их. У епископов и в самом деле было столько хлопот и всяческих обязанностей, что они не могли посвятить себя целиком делу преследования еретиков. Между тем ни у Тулузского епископа Раймона дю Фога, ни у его предшественника Фулька, ни у Пьера-Амьеля из Нарбонны не было недостатка в религиозном рвении в деле защиты веры. Особая инквизиция, учрежденная циркуляром Григория IX от 20 апреля 1233 года, должна была, по замыслу папы, стать инструментом террора, иначе в ней не было смысла.

В самом термине «инквизиция» не было ничего нового, его уже давно применяли к процедуре, состоявшей в розыске еретиков и принуждении их признать свои заблуждения. Все епископы периодически производили эту процедуру, допрашивая и осуждая заподозренных в ереси. Декреты Соборов в Вероне, Латеране и Тулузе постоянно содержали учреждения инквизиций и вменяли розыск и наказание еретиков в обязанность не только епископам, но и светским властям. Однако Григорий IX впервые предусмотрел создание подразделения церковных сановников, призванных заниматься исключительно инквизицией, носить официальное звание инквизиторов и подчиняться напрямую папе, минуя епископа. Эта мера была по-своему революционной, поскольку ставила – в пределах исполнения одной функции, разумеется, – простого монаха на одну ступеньку с епископом и даже в какой-то мере его над епископом приподнимало. Исключительные права инквизитора не позволяли епископу ни отлучать его от Церкви, ни отстранять временно от должности, ни опротестовывать его решения, кроме как по специальному указанию папы.

Власть этих папских комиссаров была практически неограниченной. Теперь надлежало найти людей, способных оправдать такое доверие. Новый институт не мог бы состояться, не имея папа под рукой свежие силы непримиримого и боеспособного религиозного ополчения, чьи силы и возможности он прекрасно создавал.

Святой Доминик – он не звался еще святым в ту эпоху, но был немедленно канонизирован – умер в 1221 году в возрасте пятидесяти одного года. Более десяти лет (с 1205 г. по 1217 г.) он выполнял обязанности священника на юге Франции, борясь с ересью смиренником, проповедью, а потом и силой и собирая вокруг себя местных католиков. В 1218 году он добился от Гонория III официального признания своего движения «нищенствующих проповедников», которое впоследствии стали именовать орденом доминиканцев. Влияние его личности и глубокая необходимость перемен внутри католической Церкви привели к тому, что к моменту смерти Доминика в Европе существовало уже шестьдесят доминиканских монастырей. После смерти его последователя Журдена Саксонского их стало триста. Монастыри вырастали не только во Франции, Италии и Испании, но и в Польше, Греции, скандинавских странах, Гренландии и Исландии.

Доминиканцы составили крупное движение миссионеров-бойцов за католическую веру. Их жизнь, суровая до самоотрешения, полная странствий и целиком посвященная страстному проповедничеству, привлекала энергичную молодежь, желавшую отдать себя служению Господу. Их миссия состояла не только в том, чтобы подавать пример добровольной бедности и молитвенных экстазов, но прежде всего в том, чтобы обращать души к Богу, сокрушая при этом как ересь, так и

языческие религии или ислам.

Орден состоял из жестоких фанатиков, да он и не мог быть другим, родившись в еретической стране в разгар крестового похода с его сражениями, резней и кострами. Этим фанатизмом всегда отличались доминиканцы, жившие в Лангедоке, особенно инквизиторы. Однако не похоже, чтобы до официального утверждения инквизиции они оплакивали своих мучеников, а сам святой Доминик, странствуя почти в одиночку по краям, где еретики были в силе, не подвергался большим притеснениям, чем брошенные вслед ругательства или булыжники. Крестовый поход заставил приверженцев ереси отказаться в поведении от традиции относительной толерантности там, где их противники демонстрировали как раз верх нетерпимости. Однако в действительности религиозный фанатизм южан не был смертоносным, ибо во время самых неистовых мятежей монахов били, оскорбляли, но редко убивали (кроме нескольких случаев, о которых скажем ниже). Доминиканцы, чьи имена донесли до нас история, по складу характера были под пару своим оппонентам. Очевидно, что, обращаясь к приору доминиканцев в южной Франции, папа рассчитывал именно среди них найти людей, исключительно ревностных в своей вере. Тем не менее Раймон дю Фога, отличавшийся фанатизмом, инквизитором не стал, а остался просто доминиканцем.

Если папа доверил ордену доминиканцев подавление ереси, это означало, что он рассчитывал в их среде найти людей, способных практически на все.

ГЛАВА X

ИНКВИЗИЦИЯ

I. Первые шаги инквизиции

27 июля 1233 года Григорий IX назначил Венского архиепископа Этьена де Бурнена апостольским легатом провинций Нарбонны, Арля, Экса и диоцезов Клермона, Ажана, Альби, Родэ, Кагора, Манда, Периге, Коменжа, Лектура и Ле Пюи со специальной миссией истребить ересь в Южной Франции. Полномочия легата распространялись также на провинции Ош, Бордо, Эмбрен, Каталонию и Тараскон. Легат именем Святого Престола утвердил также полномочия двух монахов из тулузских доминиканцев: Пьера Селиа и Гильома Арно. Это были первые инквизиторы.

Пьер Селиа, богатый тулузский буржуа, один из первых сподвижников и страстных почитателей святого Доминика, предоставил нарождавшемуся ордену один из своих домов. Гильом Арно, уроженец Монпелье, пользовался огромным авторитетом среди тулузских доминиканцев. Этим людям предоставили неограниченные полномочия в деле истребления ереси, освободив их от необходимости отчитываться перед епископальным или же мирским судом. Полномочия эти простирались на весь диоцез Тулузы и Альби.

Первым инквизиционным актом двух доминиканцев был арест Вигоро де Бакония, лидера тулузских еретиков. Вигоро осудили и покарали немедленно. Новые инквизиторы положили начало своей деятельности хорошо продуманной операцией, лишив Церковь катаров одного из ее самых энергичных лидеров.

Пьер Селиа остался в Тулузе, а Гильом Арно отправился в турне по всей провинции. Он побывал в Кастельнодари, Лораке, в Сен-Мартен-ла-Ланд, в Гайа, Вильфранше, Ла-Бессед, Авиньонете, Сен-Феликсе, Фанжо, требуя содействия местных церковных властей в розыске еретиков и вызове подозреваемых. Работал он, надо полагать, с необычайной энергией, поскольку граф в этом же году писал папе, жалуясь на вседозволенность уполномоченных Святого Престола и упрекая их в том, в

чем никогда не обвинял епископальных судей: в нарушении законной судебной процедуры, допросах свидетелей при закрытых дверях, в том, что они отказывают обвиняемым в адвокатах и настолько всех запугали, что одни, попав на допрос, со страху оговаривают невинных, а другие, пользуясь секретностью процедуры, пытаются свести счеты со своими личными врагами, обвинив их в ереси. Граф также обвинял инквизиторов в процессах против тех, кто был уже возвращен в лоно Церкви и в преследовании тех, кто пытался подать апелляцию Святому Престолу. «Такое впечатление, – писал он, – что они, скорее, трудятся, чтобы запутать, нежели чтобы установить истину. Они смущают страну, и их выходки настраивают население против духовенства».

Начиная с 1233 года, преследование ереси в Лангедоке изменило форму и приобрело гораздо более суровый характер. Тем не менее, двое доминиканцев не располагали материальными средствами, которыми располагал епископ. Позже они получили в сопровождение вооруженный эскорт, что-то вроде личной гвардии, включавшей, помимо сержантов, еще тюремщиков, нотариусов, а также ассессоров и советников. Этим помощников никогда не было слишком много. Папа Иннокентий IV, сетуя на их чрезмерное количество, в 1249 году ограничил их число до двадцати четырех на каждого инквизитора. Поначалу же у инквизиторов не было никаких помощников, и они пользовались содействием местных властей, как духовных, так и светских.

Этим людям придавала силу их колоссальная, ни с чем не сравнимая энергия и уверенность в том, что никакая официальная власть не может им помешать творить несправедливый суд. Понятно, почему им удалось посеять такой ужас в стране.

Из сетований графа можно заключить, что кипучая деятельность монахов породила крупное недовольство, что, кстати, доказывает, что она достигала цели. Папа для виду порекомендовал инквизиторам действовать мягче и в письме попросил легата Этьена де Бюрнена и епископов вмешиваться, если возникнет необходимость защитить невинных, однако непохоже, чтобы отеческие увещания Григория IX хоть сколько-нибудь умили инквизиторский пыл. Напротив, и в Тулузе, и в Кэрсии нарастали волнения.

Тем временем в Тулузе у инквизиторов объявился неожиданный противник в лице некоего Жана Тиссейре, обитателя пригорода. Он ходил по городу и собирал толпу такими речами: «Господа, выслушайте меня. Я вовсе не еретик: у меня есть жена и я с ней сплю, у меня есть дети, я ем мясо, я лгу и клянусь, и я добрый христианин. Не верьте ни единому слову того, кто скажет вам, что я не верю в Бога. Меня упрекают в том, в чем могут с таким же успехом обвинить и вас, потому что эти негодяи хотят известить честных людей, чтобы их хозяин мог завладеть городом»[156]. Эти обличительные речи, разумеется, привлекли внимание инквизиторов, которые приказали арестовать Тиссейре и приговорили к сожжению, невзирая на его уверения в добром христианстве и католичестве. Когда пристав Дюран де Сен-Бар собрался привести приговор в исполнение, народ взбунтовался, и толпа выразила монахам и судебному исполнителю столь шумный протест, что приговоренного пришлось снова водворить в тюрьму. Однако гнев тулузских горожан не утихал, они требовали освободить Тиссейре и намеревались снести дом доминиканцев, которые обвиняют в ереси честных женатых людей.

Вполне возможно, что речи Тиссейре вовсе не звучали еретически, и его поступок был продиктован бескорыстным возмущением инквизиторскими безобразиями. Патриот, с болью наблюдавший, как «эти негодяи» хотят сдать город своему хозяину, наверняка симпатизировал еретикам из ненависти к

Церкви, как и большинство простых людей. В истории этого мученика за свободу Тулузы есть одно очень важное обстоятельство: в тюрьме он повстречался с совершенными, арестованными по приказу лаваурского баиля Г. Денанса, принял их веру, причем с такой страстью, что его удостоили *consolamentum*, и, несмотря на все заклинания епископа, торжественно подтвердил свою принадлежность к катарской Церкви и желание разделить участь совершенных. Его сожгли вместе с ними. «Все, кто раньше его поддерживал, – пишет Г. Пелиссон, – теперь в смятении осуждали и проклинали [157]. Все это указывает на то, что его не считали еретиком.

Если сторонники Тиссейре пришли в смятение, то инквизиторы и подавно. Добровольное мученичество Жана Тиссейре повисло на них тяжким грузом, ибо казнили они сомнительного еретика. Если среди тулузцев и не нашлось желающих последовать примеру Тиссейре, то его поступок пробудил во многих горячую симпатию к вере катаров: ведь всем было известно, что этот человек даже не считался верующим, и все-таки принял религию чистых как раз в тот момент, когда это наверняка грозило ему смертью. Он стал очень популярен не только среди катаров, но и среди католиков, преданных своему графу и осуждающих не столько доктрину Церкви, сколько ее политику.

В течение двух лет благодаря Г. Арно и П. Селиа в Тулузе и во всем графстве царил настоящий террор: страх преследований порождал такое количество доносов, что доминиканцы не справлялись с допросами и вызывали на подмогу Младших братьев (францисканцев) и городских кюре. Обычно это случалось после проповедей, в которых инквизиторы объявляли «время прощения» – от восьми до пятнадцати дней – для тех, кто сразу явится исповедаться в грехах. Тех, кто не являлся, доминиканцы с помощью пристава арестовывали и сажали в тюрьму. Как правило, эти свидетельские показания в основном касались давно минувших дней, однако мы знаем, что полное отпущение грехов давалось лишь тем, кто мог помочь арестовать совершенного или скомпрометировать верующего.

Большинству свидетелей, давших показания, назначали каноническое покаяние – несение креста, штраф и паломничество. Тюрьма их миновала, но они оставались все время под угрозой повторного вызова и осуждения, поскольку приговор инквизиции никогда не был окончательным, за исключением, разумеется, смертных приговоров.

После святой пятницы 1235 года в Тулузе существовала главная инквизиция с добровольными массовыми явками и арестами. Один из горожан, Г. Думанж, не явился в положенное время, его схватили и пригрозили убить. Свободу он обрел только после того, как сам проводил аббата из Сен-Сернена и пристава в Кассе, где ему было известно убежище десяти совершенных. Троим из них удалось скрыться, остальных судили и сожгли.

В Кэрсии Пьер Селиа и Гильом Арно отправились вместе и провели несколько посмертных процессов над еретиками в Кагоре, где эксгумировали и сожгли множество трупов. В Муассаке, по всей видимости, администрация была настроена весьма прокатолически, поскольку там инквизиторы сокрушили ересь тем, что сожгли двести десять человек. Ужас населения перед этим чудовищным костром был так велик, что единственного обвиняемого, которому удалось бежать, спрятали в своей обители священники из Бельперша, переодев его монахом. Впоследствии монастыри неоднократно становились убежищами для еретиков, поскольку не все монашеские ордена разделяли жестокость доминиканцев. Непрерывные протесты графа заставляли папу время от времени удалять

инквизиторов из Тулузы, и тогда они сосредоточивались на Кэрсии. Если в Муассакке успех был полным (сожжение двухсот десяти человек даже по тем временам являлось событием уникальным), то из Кагора на папу посыпались жалобы, все до единой сообщавшие о неверном ведении процессов новыми судьями. Для успокоения умов папа откомандировал к двум доминиканцам монаха-францисканца, Этьена де Сен-Тибери, который ничего не изменил. Из Кэрсии П. Селиа и Г. Арно вернулись в Тулузу, где, благодаря присутствию графа и внушительной власти консулов, очень окрепла оппозиция.

4 августа 1235 года, в день святого Доминика (это было первое празднование, поскольку святого всего несколько месяцев как канонизировали), во всех церквях Тулузы, особенно в доминиканских, служили торжественные мессы, прославляя нового святого. Этот день ознаменовался трагическим событием, которое доминиканцы не преминули приписать заслугам своего основателя. В тот момент, когда Раймон дю Фога после мессы мыл руки, чтобы отправиться в трапезную, ему сообщили, что знатная дама, жившая в соседнем доме на улице Сухого Вяза, приняла *consolamentum*. Потрясенный этой новостью, епископ, в сопровождении монастырского приора и нескольких монахов, отправился по указанному адресу.

Престарелая дама приходилась тещей Пейтави Борсье, известному как верующий катар и выполнявшему функции связного. После какого-то несчастного случая она была в тяжелом состоянии, при смерти, плохо отдавала себе отчет в том, что происходит, и, когда ей сказали, что ее пришел навестить господин епископ, решила, что речь идет о епископе-катаре. Раймон дю Фога не стал ее разубеждать, наоборот, постарался продлить двусмысленную ситуацию и постепенно выпросил у умирающей существо доктрины катаров. Продолжая предательскую беседу, он дошел до того, что стал убеждать несчастную твердо держаться ее веры, ибо, сказал он, «под страхом смерти не должны вы исповедовать ничего, во что не верите твердо и всем сердцем». И когда старуха ответила, что незачем жить, если не держаться стойко своей веры, епископ открыл, кто он есть на самом деле, объявил ее еретичкой и стал уговаривать перейти в католичество. Умирающая ужаснулась, но не испугалась и «продолжала упорствовать в своих заблуждениях». Эта сцена происходила при многих свидетелях, в числе которых был и рассказчик.

Убедившись в том, что обратить больную невозможно, епископ велел позвать пристава, и после краткой судебной процедуры престарелую даму прямо с кроватью отнесли на костер, поскольку передвигаться сама она не могла. «Как только с этим покончили, – пишет Г. Пелиссон, – епископ и священники снова отправились в трапезную, где с удовольствием принялись за еду, возблагодарив Господа и святого Доминика»[158].

Этот рассказ вполне мог бы сойти за клевету, сочиненную недругами инквизиции, однако доминиканцу Г. Пелиссону не было никакого резона его сочинять, хотя в нем все так странно, что напоминает бред сумасшедшего. Его никак нельзя объяснить жестокостью нравов эпохи, да и главный герой здесь все-таки епископ, а не разбойник. Фанатизм сам по себе тоже не объясняет подобное неистовство по отношению к старой беспомощной женщине. Могли бы дать ей спокойно умереть, а потом уже сжечь. Но что поражает больше всего, так это комедия, разыгранная Раймоном дю Фога перед приором и доминиканцами, ставшими вольными или невольными ее соучастниками, комедия, явно не вяжущаяся с епископским достоинством и ставящая его на одну доску с согладателями. Тем не менее рассказчик хвалит епископа за оперативность и нимало не лжет,

повествуя о том, как церковники «радостно» отправились в трапезную поглощать ужин, прерванный по воле провидения. Духовенство повело себя как воинствующее братство, этакий легальный Ку-Клукс-Клан, затравленный, преследуемый, но стремящийся к господству любыми средствами. В ту эпоху доминиканская партия очень напоминала подобное братство, и не случайно именно доминиканцам, а не любому другому ордену было доверено дело инквизиции. И все протесты и жалобы графа и консулов не случайно в первую очередь визировали доминиканцы.

Казнь тещи Пейтави Борсье вызвала в Тулузе скорее ужас, чем негодование. За ней последовала проповедь приора монастыря доминиканцев Понса де Сен-Жиля, который говорил о костре, где дотлевали останки несчастной старушки, как о пламени, посланном некогда пророком Илией, чтобы смутить жрецов Ваала [159], и торжественно обличал еретиков и их приверженцев, а затем призвал всех католиков «прогнать страх и признать истину». В течение семи последующих дней толпы «католиков» действительно приходили признавать истину, покаяться в грехах или обелить себя доносом. «Среди них были те, что отрекались от ереси, и те, что признавали свое падение и возвращались в лоно Церкви, и те, что доносили на еретиков и обещали поступать так и впредь»[160]. Затем, благодаря Господа за удачные облавы на еретиков, рассказчик, явно далекий от оптимизма, добавляет: «И начав однажды, они уже не остановятся до скончания веков»[161].

Тем временем участвовавшие экзгумации и посмертное осуждение еретиков порождали в городе волнения. Консулы и графские чиновники пользовались своей властью, чтобы устраивать побегι приговоренных к пожизненному заключению или к сожжению. Чтобы положить конец почти открытому противостоянию светских властей, инквизиторы решили вызвать в суд как еретиков многих городских нотаблей. Среди них были известные катары и даже лица духовного звания, заподозренные в сочувствии еретикам, причем трое из них – Бернар Сегье, Моран и Раймон Роже – являлись консулами. Они отказались явиться в суд и потребовали от Гильома Арно приостановить все процессы или покинуть город. Инквизитор пропустил их требования мимо ушей, и тогда они явились в доминиканский монастырь с вооруженным отрядом, выгнали Гильома Арно и приказали ему покинуть территорию графства.

Гильом отправился в Каркассон, во владения французского короля, и там огласил сентенцию об отлучении консулов (5 ноября 1235 года).

Доминиканцы, чтобы не выглядеть спасовавшими перед оппозицией, решили отдать обвиняемых под суд, невзирая на решительную защиту консулов и на их угрозы казнить любого, кто осмелится это сделать. Для исполнения рискованной миссии приор выбрал четырех монахов, которые приняли выбор как мученический жребий. Среди них находился и Г. Пелиссон. Их противники, не обладавшие жестокостью воинствующих монахов, в жизни своей ничего подобного не представляли и не ожидали, однако в доме старика Морана побили церковников и оттащали их за волосы [162].

На другой день консулы явились к монастырю доминиканцев в сопровождении оруженосцев и толпы горожан. Они потребовали, чтобы монахи убирались из города, и в ответ на отказ подчиниться приказали их похватать и выбросить на улицу. Монахи ушли из города, распевая Символ веры, *Te Deum* и *Salve Regina*. Они вынуждены были тут же рассредоточиться, потому что консулы запретили горожанам помогать им пропитанием. Приор отправился к Григорию IX в Рим с отчетом о покушении на доминиканцев, имевшем место явно с согласия и даже по приказу графа Тулузского. Епископа Раймона дю Фога тоже изгнали из Тулузы.

Несомненно, Раймон VII не мог рассчитывать на то, что папа одобрит все эти мятежные действия, но доминиканцы в Тулузе были повинны в столь страшных злоупотреблениях, что он все-таки надеялся оправдаться перед папой. Непрерывно доказывая свою верность Церкви, он настойчиво упрашивал папу не навязывать ему присутствие доминиканцев или, по крайней мере, не доверять им дело инквизиции.

Узнав о том, что произошло в Тулузе, папа адресовал Раймону VII одно из своих самых суровых посланий, в котором заявил, что это с согласия графа консулы запретили горожанам что-либо давать или продавать епископу и его людям, ворвались в епископский дом, ранили каноников и писарей, а епископу не позволили проповедовать. Сам же граф не уплатил жалование профессорам нового Университета, что привело к прекращению занятий. К тому же он вместе с консулами приказал, чтобы никто не являлся на суд к инквизиторам, а явившегося ждет телесное наказание и конфискация имущества. Перечислив все эти и множество других проступков, гораздо более серьезных, чем те, которые вменяли в вину Раймону VI, папа пригрозил графу новым отлучением, если тот будет упорствовать в своей враждебности к Церкви.

Раймон старался жить в мире с Церковью, и не раз доказывал это, лично арестовывая Пагана Бесседского или участвуя в процессе над братьями Ниорами. Он вел себя как государственный человек, который хочет хотя бы минимально выполнять требования своих подданных, однако не поддерживал ересь, боясь одновременно и войны с Францией, и отлучения от Церкви, и силился избежать беспорядков и волнений в стране. Ему явно удалось частично убедить короля и папу, поскольку король через регентшу сообщил папе жалобы графа на инквизиторов, и 3 февраля 1236 года папа написал архиепископу Вены, легату провинций, и выдал ему инструкции урезать полномочия инквизиторов, чтобы они вновь приступили к обязанностям, «сообразуясь с волей графа Тулузского». Однако, хотя папа и рекомендовал им действовать мягче, не похоже было, чтобы они обратили внимание на его рекомендации, а их полномочия хоть чуть сократились.

С возвращением инквизиторов в Тулузу процессы возобновились с новой силой. На многих донес совершенный Раймон Гро, сам решивший обратиться в католичество. Его разоблачения вызвали множество посмертных процессов: знатных и богатых усопших выкапывали из земли и сжигали. Сентябрь 1237 года ознаменовался настоящим налетом на кладбища. Около двадцати могил самых именитых горожан были нарушены, а кости или разложившиеся трупы их обитателей протащили по городу под вопли глашатаев, выкликавших их имена и кричавших: «Кто поступал, как они, как они и кончит».

Что касается живых, Г. Пелиссон называет список около десяти сожженных, хотя приговорить к смерти было проще, чем привести приговор в исполнение. Многие приговоренные принадлежали к очень знатным или консульским фамилиям, и инквизиторы не могли их схватить из-за того, что консулы и пристав отказывались их арестовывать, чем навлекали на собственные головы отлучение от Церкви. При поддержке властей тулузские еретики уходили из города и прятались либо в тайных укрытиях, не известных инквизиторам, либо в замке Монсегюр, который был практически неприступен и стал признанным центром сопротивления катаров.

Как в Тулузе, так и в других землях, подвластных королю Франции, инквизиция наталкивалась либо на глухое, либо на яростное сопротивление, и добивалась успехов только за счет внушаемого ею страха. В начале своей деятельности, в 1233 году, инквизиция насчитывала двоих мучеников:

прибывшие для расследования в Корд инквизиторы были убиты во время мятежа. Никогда они не передвигались без вооруженного эскорта, однако в Альби инквизитора Арно Катала, решившего собственноручно выкопать покойницу-еретичку (пристав это сделать отказался), толпа выволокла с кладбища и забила насмерть.

В Нарбонне, снискавшей себе репутацию католического города и тем самым избежавшей горестей крестового похода, появление инквизиторов тоже вызвало беспорядки. Пригород был больше центра подвержен еретическим настроениям и уж во всяком случае враждебен к доминиканцам и архиепископу. Здесь мятеж сразу приобрел политический характер, консулы предместий обвинили архиепископа и инквизиторов в желании урезать их привилегии. Нарбонна, подобно итальянским городам, разделилась на два клана: городской клан принял сторону архиепископа и инквизитора брата Ферье, а клан предместий требовал их отзыва. Как и везде, доминиканцы в Нарбонне были крайне непопулярны и страдали от междоусобиц в первую голову. В 1234 году восставшие горожане ворвались в их монастырь, разорили его и разграбили. Разгневанные консулы обратились за помощью к графу Тулузскому, и он сам приехал восстанавливать мир (хотя Нарбонна и принадлежала французской короне), посадил в предместье своего баиля и вызвал туда Оливье Термесского и Гиро де Ниора, могущественных аристократов-еретиков, заведомых врагов архиепископа.

Благодаря вмешательству королевской власти в лице сенешаля Ж. де Фрискампа, дело кончилось победой городского клана. Чтобы защитить себя от постоянной враждебности населения предместий, консулы долго упрашивали брата Ферье вернуться в Нарбонну к своим инквизиторским обязанностям.

Действуя, как выразился граф, «скорее, чем запутать, нежели чтобы установить истину», инквизиторы за пять лет создали в Лангедоке атмосферу такого террора, что многие жители сами приходили с повинной, не имея за собой никакой вины, кроме простой симпатии к еретикам. Например, П. Селиа наложил в 1241 году в Монтобана на неделю перед Вознесением 243 канонических покаяния, 110 покаяний разной степени тяжести на следующей неделе в Муассаке, еще 220 в Гурдоне и 80 в Монкюке, хотя не все инквизиторские турне были столь плодотворны. Многие протоколы и отчеты по процессам до нас не дошли. Цифры в существующих документах отражают лишь небольшую часть фактов, но нужно заметить, что инквизиторы не пользовались приговорами без суда, как в Минерве и Лавауре во время крестового похода, а, наоборот, старались регистрировать процессы по всей форме. Это тем более интересно, что целью допросов было получить списки имен, и записи процессов служили вещественными доказательствами против многих подозреваемых. Эти списки тщательно охранялись и были источником волнений огромной части населения, ибо никто не мог быть уверен, что на него не донесли хотя бы раз. Достаточно было двадцать лет назад поздороваться на улице с кем-нибудь из совершенных или поужинать за одним столом с еретиками. Иногда хватало и ложного доноса, который невозможно было отвести, поскольку кто может доказать, что где-то когда-то ты не попался навстречу доносчику об руку с совершенным?

Одной из главных причин ужаса перед инквизиторами было их всеведение. В то время как епископы ничего не могли поделать с явно превосходящими силами противников, объявляющих себя католиками и утверждавших, что ни с кем, кроме католиков, не знают, инквизиторы, как по

волшебству, заставили тысячи и тысячи людей самих доносить на еретиков и докладывать, когда они в прошлом или нынче с ними встречались. И если некоторые епископы смотрели на ересь сквозь пальцы, то тех, кто командовал диоцедами в Лангедоке, никак нельзя было упрекнуть в нерадивости. У них хватало подчиненных, которым можно было доверить инквизиторские функции. Епископальное правосудие сурово обходилось с еретиками. Но правосудие инквизиции уже не являлось правосудием как таковым, это в нем и пугало.

Правосудие инквизиторов деморализовывало и обессиливало, создавая в стране обстановку постоянной тревоги. Если совершенные и наиболее стойкие из верующих катаров знали, ради чего они идут на риск и подвергают себя опасностям, то основная масса населения, будь то даже еретики, хотела жить, и постоянная угроза преследований доводила людей до отчаяния, почти до безумия. Народ способен биться за свободу, но человек, без конца вынужденный спрашивать себя, уже донес на него или еще нет сосед напротив, и не лучше ли будет самому пойти и донести, чем ждать вызова в инквизицию, изначально незащищен. Чтобы бороться, он должен знать, что сосед напротив и все жители квартала его поддержат. В народе случались мятежи, но мятеж не может длиться вечно и, не добившись победы, вызывает террор хуже прежнего. Властью консулов и графа доминиканцев удалось выставить из Тулузы, но, под нажимом папы и короля, они вернулись и обрели прежнее могущество. Умерить пыл инквизиторов папа был не в состоянии, да и не особенно к этому стремился. Доминиканская инквизиция не могла отказаться от своей первоначальной функции, и в течение долгих столетий папство отстаивало и защищало доминиканцев от нападков населения и светских властей.

2. Процедура инквизиции

Прежде чем разобраться, что представляла собой реакция катарской Церкви на новую опасность, надо постараться понять, в чем, собственно, состояла сама процедура инквизиции, каковы были ее реальные полномочия и как она отзывалась на жизни страны.

По замыслу Григория IX, методическое истребление ереси, порученное специальной организации, представляло собой обновление доселе применявшихся традиционных форм репрессий. Еретики, уже более века боровшиеся с церковным правосудием, прекрасно наловчились обводить противников вокруг пальца. Новые методы, рекомендованные и поощряемые папой, выходили за рамки закона или того, что считалось законным. Кодекс Юстиниана, принятый в те времена в уголовном судопроизводстве, предусматривал серию мер, гарантировавших права обвиняемого. В основе всех судебных преследований лежало либо выступление обвинителя, обязанного предоставить доказательства состава преступления, либо заявление в адрес судьи, подтвержденное свидетельскими показаниями, либо общеизвестность и очевидность совершенного преступления. Только в последнем случае судья мог действовать, не опираясь на обвинение или заявления частных лиц, и то нужно было, чтобы очевидность преступления подтверждалась достаточным количеством свидетельств.

В том же, что касалось ереси, случаи заявлений с достаточными для обвинения основаниями были редки. После заключения Парижского договора такими же редкими стали случаи общеизвестности преступлений. Мы убедились в этом в ходе процесса над владельцами Ниора, когда свидетельств, подтверждавших их принадлежность католической вере, было предостаточно, хотя они являлись заведомыми еретиками. Таким образом, если уж могущественные сеньоры, открыто исповедовавшие

ересь и с оружием ее защищавшие, сходили у клира за католиков, то простым верующим и тем более легко удавалось скрывать свои истинные чувства. Люди спокойно исповедовали свою религию, стараясь не афишировать это перед теми, кто был в контакте с клиром. В стране, которая прошла двадцать лет войны и насилия, эта всеобщая скрытность была очень развита. А скрытность, обусловленная не лицемерием, а закономерной защитной реакцией, может простираться далеко, так, в Тулузе донат капитула Сен-Сернен А. Пейре, исповедовавший ересь, был, однако, похоронен в католическом монастыре.

В конечном итоге выходило, что еретиками считали только всем известных совершенных, продолжавших свое служение, но их-то и было трудно поймать. Процессы 1229-1233 годов говорят о нескольких разрозненных и, скорее всего, случайных арестах. Чтобы добиться успеха, надо было менять процедуру судопроизводства.

А сделать это можно было, только обойдя закон, который требовал, чтобы подозреваемый, прежде чем предстать перед судом, был изобличен беспристрастным и всеми уважаемым человеком, а обвиняемый мог встретиться со свидетелями обвинения. Против обвиняемого не имели права показывать, во-первых, те, кого он мог считать своими «заклятыми врагами», и это определение враждебности охватывало всех, кто когда-либо проявил предвзятость по отношению к обвиняемому или же его оскорбил; во-вторых, члены его семьи, слуги и вообще все, кто находился от него в любой зависимости; и, в-третьих, отлученные от Церкви, еретики и обесчещенные.

В особо тяжких случаях, таких, как государственная измена, оскорбление величества, святотатство или впадение в ересь, кровную родню и слуг могли заслушать как свидетелей. Инквизиция распространила это право на все другие свидетельские категории, лишённые права показаний, кроме категории заклятых врагов. Для того чтобы получить показания Гильома де Солье против единоверцев, Ромен де Сент-Анж должен был реабилитировать престарелого совершенного и вернуть его в лоно католической Церкви. Инквизиторы упразднили эту формальность, иначе им пришлось бы «воцерковлять» слишком много народу, недостойного, с их точки зрения, зваться католиками. Показания еретиков считались действительными, если они давались против других еретиков, и недействительными, если давались в их пользу. Показания людей из категории обесчещенных – воров, мошенников, проституток – теперь также принимались во внимание. Что же касалось «заклятых врагов», то это ограничение теряло смысл, ибо обвиняемый не знал, кто свидетельствовал против него, и судья не знал, в каких отношениях были обвиняемый и свидетель. К тому же, обвиняемый не мог рассчитывать на помощь адвоката, хотя формально имел на это право: уже само желание помочь еретика ставило самого адвоката под подозрение в ереси, и его аргументы не принимались во внимание, более того, могли навлечь на него крупные неприятности. Поэтому лишь у немногих адвокатов хватало мужества взвалить на себя эту неблагоприятную и бесполезную ношу.

Одним из величайших новшеств инквизиции было заслушивание свидетелей при закрытых дверях, которое уже применялось Роменом де Сент-Анжем на Тулузском Соборе, но в систему не вошло. Оно и стало главной причиной ужаса перед инквизицией и залогом ее дальнейших успехов. Даже в прочных и единых общинах царили подозрительность и страх, что приводило к моральному разложению и к полной неспособности на организованное сопротивление. Сопротивление существовало лишь там, где за него напрямую отвечали светские власти. Мы уже упоминали здесь о

деятельности консулов в Тулузе и предместьях Нарбонны и о том, как баили Ниора защищали от розыскных отрядов инквизиции подступы к владениям своих сеньоров. Точно так же действовали баили графа Тулузского в Монториоле и Карамане, с оружием выступив против комиссии брата Ферье. Такие факты, хотя и случались чаще, чем о том говорят документы, были все же исключениями: офицеры и чиновники, повинные в подобных выступлениях против Церкви, очень крупно рисковали и потому действовали только по прямому указанию своих хозяев. Граф, и сам находясь все время под угрозой преследований, не мог себе позволить открытое неповиновение и вмешивался только тогда, когда выполнение его приказов могло сойти за инициативу местных властей.

Инквизиторы не боялись ничего. Если некоторые из них и платили жизнью за излишнее рвение, все же им удавалось своей энергией, высокомерием и самоуверенностью обмануть народ, привыкший видеть в Церкви серьезную опасность. Священники спровоцировали крестовый поход и наконец добились победы. Их было не слишком много, но за ними стояла мощная власть Рима, всегда готовая навлечь на страну новые беды.

Когда инквизитор в сопровождении нотариусов, секретарей и тюремщиков, а иногда и вооруженного эскорта въезжал в город или предместье, он располагался либо в епископском дворце, либо в доминиканском монастыре, если таковой имелся в данной местности, либо в любом другом монастыре. Свою миссию он начинал с проповеди, обличающей ересь, и с объявления «времени покаяния», как правило, недели. Не явившиеся в указанный срок рисковали оказаться под судебным следствием. Явившиеся для покаяния добровольно обычно избегали тяжелых наказаний, таких, как конфискация имущества, тюремное заключение или смертная казнь. Даже если они сильно себя чем-то скомпрометировали, на них налагалась только каноническая епитимья.

Однако даже в крупных городах, где ересь была в силе, всегда находились верующие – напуганные или те, у кого были враги, – спешившие себя оговорить и приводящие при этом явно вымышленные или ничтожные провинности, лишь бы уйти от более серьезных наказаний [163].

Судьи знали, чего хотят от подобных заявителей, и каждый из них в доказательство своей правоты должен был донести на того, кого он подозревал в ереси. Ему обещали полную анонимность. Он, само собой, начинал обвинять либо своих врагов, либо незнакомых людей, о которых он что-то слышал. Таким образом, наказание зависело не от тяжести проступка, а от искренности грешника, а его искренность, в свою очередь, определялась числом еретиков, на которых он донес.

По всей вероятности, люди, приходившие оговорить себя, героями не были. Каноническая епитимья, хоть и могла оказаться тяжелой, зато не лишала свободы, а обещанная секретность предохраняла от возмездия. Малодушные таких новообращенных было первым и главным помощником инквизиции, поскольку для обоснования судебного преследования еретика считались достаточными показания двух свидетелей.

Большое количество народу, не заявленного в качестве еретиков местными властями, было выдано такими доносчиками. В запасе было «время покаяния», когда каждый мог еще явиться сам, и многие приходили, понимая, что кто-то их уже скомпрометировал. Те, кто не являлся, подлежали преследованию. Оно начиналось с письменного вызова, отданного в собственные руки, по получении которого подозреваемый обязан был явиться в трибунал. Его допрашивали без свидетелей, не давая

при этом понять, в чем именно его обвиняют. В таких условиях обвиняемый часто начинал сознаваться в том, о чем его и не спрашивали, полагая, что судьи знают больше, чем на самом деле. Если за обвиняемым числились серьезные прегрешения, а он отказывался признавать свою вину, его отправляли в тюрьму дожидаться приговора. Чаще всего это случалось, когда речь шла о доносе на единоверца. Честные люди, как правило, доносить отказывались, даже если сами и не были еретиками. Если обвиняемого не сажали в тюрьму, то его оставляли на свободе под крупный денежный залог, под надзором и без права покидать город. Но, однажды попав в тюрьму, он уже целиком оказывался во власти судей и не мог рассчитывать ни на какие гарантии или помощь извне. Инквизитор сам был и судьей, и прокурором, и следователем. Священники, ассистировавшие ему, могли служить только свидетелями, так же как и нотариусы, фиксирующие свидетельские показания. Не было ни обсуждений, ни совета, виновность и мера наказания определялись только волей инквизитора. Его помощники, не имея никаких полномочий, были призваны выколачивать признания, когда один инквизитор не справлялся. Тех, кто отказывался сознаваться, подвергали допросу с пристрастием, в ходе которого им приходилось на себя наговаривать, иначе их снова бросали в тюрьму и содержали в таких условиях, что через короткое время сдавались самые упрямые. Камеры, куда помещали строптивых узников, были так тесны, что не позволяли ни лечь, ни выпрямиться. Таковы были темные казематы Каркассона и Немецкого замка в Тулузе. Наиболее упрямым надевали на руки и на ноги железные цепи, морили голодом и жаждой. Конечно, тех, кто предпочел месяцы, а то и годы такой жизни, но не заговорил, были единицы. Большинству, чтобы заговорить, хватало одной угрозы пытки.

Тем не менее, сталкиваясь с обвиняемыми, которые много знали, но стойко держались и не реагировали на угрозы, инквизиторы не имели времени гноить их в казематах. К таким применяли пытки, к которым светские власти прибегали при раскрытии тяжких преступлений и от которых власти церковные предпочитали воздерживаться. На самом деле ими тоже пользовались, с тем лишь условием, что они не должны были приводить к смерти, увечью или кровопролитию, ибо кровопролитие для священников означало нарушение канонов. С незапамятных времен Церковь наказывала преступников или добивалась от них признаний розгами и ремнями, и при частом применении этот метод мог сравниться с самой жестокой пыткой. Впрочем, пытка как таковая, узаконенная инквизицией в 1252 году [164], использовалась гораздо раньше, еще в епископальных трибуналах XI-XII веков. Поэтому трудно поверить, что судьи, в такой короткий срок посеявшие в провинциях жесточайший террор, избегали средств воздействия, которые уже применялись в регулярных трибуналах.

Если обвиняемый, подвергнутый пытке, соглашался говорить, он должен был давать показания вне пыточной камеры, заявив при этом, что дает их добровольно, безо всякого принуждения, и тогда их записывал судебный секретарь. Если же он говорить отказывался (один такой случай описан у Бернара Ги в его «Приговорах тулузской инквизиции»), его объявляли вновь впадшим в ересь и снова подвергали пытке. Если, несмотря на пытку, он опять отказывался говорить, инквизитор был волен допросить его назавтра или в любое нужное ему время.

В большинстве случаев содержание в застенке в страшных условиях заменяло любую пытку. Однако есть упоминания о случаях, правда, очень редких, когда совершенные пытались сократить свои дни, прибегая к полной голодовке. Это ставилось им в вину как доказательство их

принадлежности к ереси и породило легенды о терпимости катаров к самоубийствам.

Признание было нужно инквизитору вовсе не для того, чтобы обосновать приговор, поскольку для этого хватало двух свидетельских показаний. На практике инквизиторы добивались признаний еще до осуждения. Вопреки всякой вероятности, это было нелегким делом, особенно поначалу. Обычно люди, приходившие к исповеди, обвиняли либо уже умерших, либо тех, кого не было на месте, и этим отчасти объясняется большое количество посмертных и заочных процессов. С годами число свидетелей росло, и доносы, как снежный ком, одного за другим увлекали в круг подозреваемых соседей, родных, знакомых, а те, в свою очередь, называли новые имена, вносили новые уточнения, новые координаты убежищ еретиков и т. д. Однако поймать настоящих еретиков, совершенных, было не так-то просто: некоего Г. Дюманжа, ради спасения своей шкуры выдавшего в 1234 году семь совершенных, спустя некоторое время убили в собственной постели. В Лораке шевалье Раймон Барт повесил сержанта, арестовавшего шесть совершенных и с ними матушку означенного шевалье. Эти поимки были опасны для предателей, поскольку лишь посвященные могли знать, где скрываются совершенные. Обычно называли имена простых верующих, не игравших активной роли в катарской Церкви, и с этой минуты их жизнь становилась невыносимой.

Те, у кого хватало мужества не согнуться перед невзгодами, уходили в подполье и скрывались в неприступных убежищах, вроде Монсегюра или Кверибуса, либо там, где ересь была достаточно сильна, чтобы противостоять Церкви, как в Лорагэ или в графстве Фуа. Арестованных ждала судьба мучеников. Тюрьмы Каркассона, Тулузы и Альби были переполнены, а в Каркассоне пришлось строить новые. Почти все приговоры к тюремному заключению выносились пожизненно.

После 1229 года смертная казнь стала грозить не только совершенным. Мы уже упоминали о возмущении граждан Тулузы после первого процесса над Жаном Тиссейре, когда судей упрекали в том, что они приговорили к сожжению женатого человека. Теперь казнили не только совершенных, но и их упорствующую паству, что внушало еще больший ужас перед инквизиторами. Практически каждый, кто обладал хоть мало-мальским воображением, мог считать, что костер ему обеспечен.

На самом деле на большую часть подозреваемых налагалась каноническая епитимья, которая серьезно дезорганизовала жизнь как приговоренных, так и их семей. Епитимья состояла в следующем: 1) ношение «креста от ереси», которое было если не придумано, то впервые применено св. Домиником; 2) обязательное паломничество; 3) выполнение какой-либо миссии милосердия, например, многолетнее или пожизненное содержание бедняка. Подобные покаяния были не новы и часто практиковались в церковном правосудии, но когда их начали назначать в таком количестве и нередко по ничтожным поводам, то это уже превратилось в бедствие.

Ношение креста, наказание позорное, выдавало в кающемся грешнике посвященного еретика, обратившегося в католичество. Действительно, совершенных редко подвергали столь мягкому наказанию, его применяли в основном к простым верующим. А в первые годы инквизиции оно и вовсе не было в числе наиболее употребительных: в стране, где ересь не вызывала ни презрения, ни вражды, называться еретиком не считалось позором. И сам факт, что мягкое наказание следовало за пакостный донос, говорит как раз о враждебности еретиков к обращенным, которых Церковь всячески поддерживала и часто использовала как шпионов. Позже, ближе к концу века, ношение креста, наоборот, стало частым и страшным наказанием, и люди с нашитыми на одежде крестами были париями, их все сторонились.

Обязательные паломничества, как и денежные штрафы, назначались почти всем, кто добровольно явился в трибунал. Считалось полезным на более или менее длительный срок удалить предполагаемого еретика из страны. Можно представить себе, какие трудности это сулило его семье и какой урон работе, не считая уже того, что путевые издержки людям небогатым были просто не по силам. Многих посылали на покаяние в Пюи или в Сен-Жиль, но большинство паломников должны были отправляться в Сант-Яго де Компостелла, в Кентерберри, в Париж или в Рим. Тем, кто шел в Пюи, Сен-Жиль и в Кентерберри, приходилось переходить Пиренеи, посещать Каталонию, возвращаться в Лангедок, пересекать Францию и переплывать море. Все это, вместе с обратной дорогой, занимало многие месяцы. Паломник нес с собой предписание судьи, которое должны были завизировать церковные власти во всех местах, куда он направлялся. Были и другие виды паломничества, например, военные, когда паломников отправляли в Святую Землю или Константинополь служить в армию крестоносцев на два, три, а то и на пять лет.

Таким образом, раскидав по всему свету, в том числе и в заморские армии, тысячи и тысячи верующих, инквизиторы избавлялись от потенциальных врагов. Легко представить, какой вред наносило это и без того бедной и взбудораженной стране. Пилигримы должны были еще радоваться, что им достался такой удачный жребий. Обычно покаяние в виде паломничества назначалось провинившемуся, замеченному, к примеру, в том, что он перемолвился парой слов с еретиком на корабле, или, будучи еще ребенком, троекратно кланялся совершенному по указанию родителей. Об этих фактах говорится у Бернара Ги, следовательно, они относятся к более позднему времени. Однако инквизиторы ранней поры, чтобы назначить покаяние, тоже не упускали ни одного случая, как бы ничтожен он ни был. Большинство подозреваемых было не в чем упрекнуть, кроме как в посещении собраний еретиков и слушании тамошних проповедников.

Населению страны не давали покоя систематические облавы, доносы, шпионство друг за другом и всеобщая подозрительность. Участие в мессе и приобщение к таинствам превратилось в повинность, налагаемую на каждого всеведущей полицией под страхом наказаний, которые были, в сущности, полным произволом. Определение виновности в ереси зависело только от инквизитора, и зачастую человек, заподозренный в крошечном грешке, но отказавшийся говорить на допросе, нес гораздо более суровую кару, чем совершенный, выдавший своих братьев по вере. Соответствия меры наказания тому или иному нарушению закона, как в гражданском или уголовном кодексе, здесь не существовало. Обвинение строилось на основании доноса.

Отсюда и монотонность протоколов инквизиции. Людей спрашивали об одном и том же: где, когда, у кого и с кем они видели еретиков. Еще «Практическое руководство» Бернара Ги гласит, что отнюдь не все свидетельские показания подследственных пригодны для протокола, иными словами – секретарям предписывалось вымарывать все, что обвиняемые могли сказать в пользу своей веры и духовных пастырей. «Практическое руководство инквизитора» дает нам представление о модели допроса, которая применялась к катарам:

- ...у обвиняемого надлежит спрашивать, виделся он или был по имени или понаслышке знаком с еретиками из посвященных и из простых верующих, где он их видел, сколько раз, когда и с кем;
- а также, имел ли он среди них друзей, когда, как и кто способствовал близкому знакомству;
- а также, принимал ли он к себе на постой кого-нибудь из еретиков и кого именно, кто их к нему привел, сколько времени они оставались, кто к ним приходил, кто и куда их увел;

– а также, слушал ли он их проповеди и в чем была их суть;

– а также, воздавал ли он им почести сам и видел ли, чтобы кто-нибудь их воздавал, как это принято у катаров;

– а также, вкушал ли он с ними благословенный хлеб и каким образом этот хлеб благословляли;

– а также, заключал ли он с ними договор *convenensa*...;

– а также, приветствовал ли он их сам и видел ли, как это делали другие, на катарский манер;

– а также, доводилось ли ему присутствовать при обряде приобщения кого-нибудь из них таинствам, как производился обряд, как звали еретика или еретиков, кто при сем присутствовал, где расположен дом больного; завещал ли больной что-либо еретикам, и если да, то что и сколько, и кто подписывал отказ по завещанию; воздавались ли почести совершавшему обряд; умер ли посвященный больной, и если да, то где его похоронили; кто приводил и уводил еретиков;

– а также, верит ли он, что посвященный в еретическую веру может спастись...» и т. д. Другие «а также» касались персонального обращения обвиняемого в новую веру, его прошлого, сведений о других знакомых ему верующих, о его родственниках и т. д. [165]. Ответы и разоблачения подследственных, допрошенных первыми инквизиторами, говорят о том, что такой метод допроса судьи применяли с самого начала и не собирались от него отступать.

Поскольку эти вопросы задавались людям не храброго десятка, бежавшим к судье в первый же день «времени покаяния», или несчастным, обессилевшим в тюрьме от пыток, ответы мало чем отличались друг от друга. Имена. Даты. Места. «...В Фанжо при обряде *consolamentum* Оже Изарна присутствовали Бек де Фанжо, Гильом де ла Илье, Гайяр де Фест, Арно де Ово, Журден де Рокфор, Эмерик де Сержан (свидетельство Р. де Перелла, 1243 год); Атьо Арно из Кастельвердена, находясь в доме своей родственницы Каваэрс а Монградеи, запросил *consolamentum*. Дюфоры, Юг и Сикар, побежали разыскивать Гильома Турнье и его напарника. В Монреале в резиденцию диаконов Бернара Кольдефи и Арно Гиро на собрания приходили: Раймон де Санхас, Ратерия, жена Мора Монреальского, Эрменгальда де Ребанти, вдова Пьера, Беранжера де Виллакорбье, вдова Бернара Юга де Ребанти, Сорина, вдова Изарна Гарена Монреальского и ее сестра Дульсия, Геральда Монреальская, Понсия Риго, жена Риго Монреальского..., и было это в 1204 году»[166].

Свидетельство повествует о фактах тридцатилетней давности. И, тем не менее, живые или мертвые, участники собраний, имевших место тридцать, сорок или пятьдесят лет назад, должны были понести наказание: мертвых эксгумировали, имущество их родственников и наследников конфисковали, а на живых налагали каноническую епитимью или сажали в тюрьму.

Можно понять, какое чувство отчаяния и гнева охватывало людей, обреченных на жизнь при таком режиме. Более поздние эпохи тоже испытывали на себе гнет полицейских терроров, но честь изобретения этой системы принадлежит доминиканской инквизиции. Путь был проложен, подражатели не заставили себя ждать, следуя системе и совершенствуя ее, да и совершенствовать было особенно нечего, разве что в части техники.

Но с первых лет существования инквизиции сопротивление было упорным и жестким, хотя папство, повсеместно поддерживая свое новое воинство во всех его начинаниях, фактически обрекало сопротивление на провал.

ГЛАВА XI

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТАРОВ

1. Организация сопротивления

Катары не сдавались, тем более что гонения предоставляли им прекрасные аргументы в пользу борьбы с католической Церковью: теперь у них были веские доказательства ее дьявольской природы. В конце концов они не считали свое дело проигранным; Церкви Боснии, Болгарии и Ломбардии были в силе и оспаривали территории у римской Церкви, порой, как это случилось в славянских странах, выходя из борьбы победителями. Братские Церкви через своих эмиссаров присылали катарам вспомоществование и ободряющие письма. В 1243 году, в разгар битвы за Монсегюр, катарский епископ Кремоны отправил гонца к епископу Бертрану Марти с уверениями в том, что его Церковь пребывает в мире, и с просьбой откомандировать в Кремону двух совершенных. Места, где катарская Церковь могла пребывать в мире (что, конечно, было не навек), как Земля обетованная, притягивали уставших от гонений еретиков. В период с 1230 по 1240 годы множество катаров эмигрировало в Ломбардию.

Наиболее мужественные и боеспособные оставались на местах, предпочитая рисковать жизнью, но не покидать свою паству. Ожидая лучших времен, они уходили в подполье. Если Г. Пелиссон утверждает, что в это время еретики натворили больше беды, чем за время войны, то, видимо, он имел в виду резкую смену пассивной пацифистской позиции совершенных, которые начали поощрять насилие. Религия, отрицавшая кровопролитие и запрещавшая своим служителям любое убийство, сумела найти насилию оправдание: некоторые существа являются не падшими душами, проходящими путь наказания, а воплощениями сил зла, и уничтожать их не грешно. Разумеется, инквизиторов и их приспешников сразу причислили к этим дьявольским созданиям. Чтобы подвигнуть на борьбу народ, и без того уже доведенный до крайности, совершенным не надо было особенно стараться. Однако они имели огромное влияние на владельцев феодальных земель и могли поднять их на борьбу с римской Церковью, привлекая их духовным превосходством, которое они при этом получали.

Именно в это время совершенные учредили договор *convenensa*, который не практиковался ранее: согласно этому договору, верующий мог получить *consolamentum in extremis* даже в том случае, когда он не мог говорить, будучи ранен или по любой другой причине. Позднее этот обычай широко распространился по вполне понятным соображениям: *convenensa* давала совершенным возможность увеличивать число приверженцев, не опасаясь попасть в западню. Человек, связавший себя этим договором, тем самым налагал на совершенного моральное обязательство совершить над ним предсмертный обряд *consolamentum*, если, конечно, на то будет физическая возможность.

С уходом катаров в подполье их духовная жизнь сделалась еще более интенсивной и страстной. Теперь верующих умеренного толка, которые стали еретиками по соображениям выгоды или из уважения к обычаю (как это случалось до 1209 г. и сразу после возвращения к власти графа), начали вытеснять из общин. От этого аудитория собраний катаров не сокращалась, поскольку их ряды пополнялись теми, кто, несмотря на тяготы нового режима, считал катарскую Церковь единственно приемлемой для организации сопротивления. В это время, в сравнении с периодом крестового похода, активизировалась деятельность вальденсов. Обе Церкви, некогда соперничавшие друг с другом, объединились в единый фронт, и мы располагаем списками многочисленных совершенных-вальденсов, проповедовавших в Лангедоке и прежде всего в долине Арьежа.

Трудным было апостольство этих людей, но они неуклонно продолжали свое дело. Не из страха

перед опасностью забивались они в лачуги угольщиков, в лесные хижины, в заброшенные хутора. Они вели жизнь затравленных бродяг, чтобы иметь возможность продолжать апостольство и быть ближе к людям, которые хранили верность их религии или которых они надеялись в нее обратить. Появившись в окрестностях деревни или предместья, совершенный и его *socius* (двойник) начинали с поиска надежного убежища. Это мог быть дом кого-нибудь из верующих, если местность не состояла под усиленным надзором церковных властей. Таких местностей было немало, начиная с замков Ниоров или менее могущественных феодалов, таких, как Ланта Журда, владетель Кальявеля, и кончая замками большинства знати Фанжо, Лорака, Мирамона и т. д. Иногда «надежные» дома, где можно было остановиться, совершенным показывали графские баили. А в некоторых предместьях – Сорезе, Авиньонете, Сен-Феликсе – еретикам симпатизировали кюре. Чаще всего бродячие проповедники останавливались в укромном месте за пределами города, не столько из страха быть узванными, сколько не желая подвергать опасности тех, кто предоставил им кров. Об их прибытии не знал никто, кроме надежных верующих, и катары располагали обширной сетью секретных агентов, которые служили и гонцами, и проводниками. Если же местность была поднадзорна кюре или баилю-католику, верующие старались под любыми предлогами уйти подальше от города: кто шел за хворостом, кто за грибами или ягодами, сеньоры выезжали на охоту. При этом нужно было, чтобы массовый исход горожан не вызвал подозрений, и уходили, как правило, маленькими группами и с интервалами в несколько дней.

Чаще всего проповедники собирали свою аудиторию где-нибудь на лесной поляне. Вблизи предместий сходились по ночам, и горожане пользовались темнотой, чтобы уйти незамеченными. Иногда вооруженные облавы или шпионы (*exploratores*), подкупленные инквизиторами, застигали эти собрания врасплох. Как раз во время такой облавы граф Тулузский арестовал Пагана Бесседского и восемнадцать совершенных. Как правило, те, кто занимались розыском еретиков, не располагали достаточными силами и рисковали жизнью, отваживаясь отправиться в лес. Проповедников и их паству во время церемоний под открытым небом охраняла вооруженная стража. Застигнутым в разгар проповеди еретикам чаще всего удавалось убежать. Доминиканец Рауль, явившись в лес недалеко от Фанжо, чтобы арестовать еретиков по доносу шпиона, поймал лишь одного из них. В 1234 году кюре Пьер, разыскивая еретиков, попал в засаду к местному баилю. Ему удалось спастись, но его сопровождающий погиб. В 1237 году двоих совершенных поймали и сожгли в Монградее, двоих в Сен-Мартен-ла-Ланд, двоих в Вильневе близ Монреаля. Женщины, то ли по причине излишней активности, то ли по неосторожности, поскольку они чувствовали себя менее уязвимыми, попадались чаще. Однажды аббат из Сореза отправил агента (*nunciu's*) арестовать двоих женщин – совершенных, находящихся в предместье. Жительницы предместья выразили протест, забросав агента камнями и побив палками, а когда явился аббат и начал им пенять за такое поведение, они подняли агента на смех, заявляя, что он принял за еретичек двоих почтенных замужних дам. Однако женщины-совершенные, застигнутые одни в лесу или в предместье, где население было не таким решительным и не так враждебно относилось к католикам, быстро отправлялись в тюрьму и оттуда на костер. Надо полагать, инквизиторы прекрасно знали, что от них ничего не добьешься.

Жан Гиро в своей работе об инквизиции приводит историю Гульельмы де ла Мот, которая перед сожжением поведала о своих скитаниях. После 1240 года она вместе с компаньонкой в течение трех недель укрывалась в лесу у некоего Пьера Беллока, потом в лесу Боск-Блан; затем верующие

провели их в лес Салабос, затем в Авелланетский лес, где они прожили год. Потом, после долгих скитаний из леса в лес в окрестностях Ланта, совершенный Г. Роже вывел их в лес Гаррига. Несколько месяцев они жили у верующих: целых девять из них – у некоего Понса Ривьера, а затем по два-три дня в разных домах. Затем – снова в лесных хижинах. Так их и перепрятывали из леса на мызу, из предместья в лес то верующие, боявшиеся за их безопасность, то совершенные, снабжавшие их новыми инструкциями. Кончилось тем, что в лесу Лантарес а Гратафидес их схватили. Все это Гульельма де ла Мот рассказала, пробыв год в тюрьме. Все, кого она назвала, становились *recrutores haereticorum* (укрывателями еретиков) и рисковали попасть туда же. И Гульельма, и ее компаньонка вели полную опасностей жизнь ради блага своей Церкви. Гульельму сожгли, поэтому нет оснований полагать, что она рассказала все это, чтобы заработать себе индульгенцию [167].

Как ни велики были доверие и преданность верующих к совершенным, они понимали, что и самые мужественные могут сломаться под пытками и кого-нибудь выдать. Поэтому в менее надежных районах, вплоть до окрестностей Тулузы, еретики строили себе хижины в лесах, и верующие всегда знали, где их найти, если возникнет надобность в обряде *consolamentum* или в другом культовом действе.

Совершенные, не имея возможности прокормить себя, существовали на пожертвования верующих. Если верить признаниям тех, кто носил совершенным одежду, еду и деньги, снабжение было прекрасно организовано и его хватало с избытком. Хлеб, мука, мед, овощи, виноград, финики, орехи, яблоки, земляника, свежая рыба, рыбный паштет или рагу, вино, лепешки – все эти скромные и более изысканные блюда готовили женщины из народа, а потом сами несли их в лес или посылали ребятишек. Верующие побогаче доставляли зерно мешками, а лучшее вино из своих погребов – бочками.

Женщины собирались, чтобы спрясть шерсть, из которой вынужденные отшельники сами ткали одежду себе и своим братьям. Торговцы тканями давали полотно, другие купцы – готовое платье, перчатки, шапки, посуду, принадлежности для бритья и т. д. Об этих приношениях нам тоже известно из протоколов судебных допросов.

Иногда, отчасти, чтобы обеспечить себя, отчасти, чтобы скрыть свои истинные занятия, совершенные брались за ремесла. Есть сведения о совершенных – сапожниках или булочниках, прядильщицах шерсти или экономках в домах зажиточных верующих. Для совершенных-вальденсов зарабатывать себе на жизнь было делом обычным. Они становились и бондарями, и парикмахерами, и шорниками, и угольщиками. После 1229 года еретики реже занимались ткачеством, так как эти ремесленные корпорации в первую очередь попадали под подозрение, но некоторые оставались ткачами и во времена инквизиции.

Многие совершенные, и катары, и вальденсы, снискали себе репутацию хороших врачей и всегда оказывали медицинскую помощь верующим, которые их принимали. Враги не преминули поставить им это в вину и заявить, что для них медицина была лишь средством, чтобы завоевать доверие народа и получать отказы по завещаниям в тех случаях, когда болезнь окажется смертельной. Чтобы скорее завоевать это доверие, многие из них, и в первую очередь вальденсы, не брали денег с пациентов и сами готовили лекарства. Вальденс П. де Валлибюс и катар Гильом д'Айрос ходили от деревни к деревне и от замка к замку, в равной мере занимаясь и лечением больных, и проповедничеством. Это не походило на пропагандистскую тактику, это было истинное

призвание, естественное для людей, посвятивших свою жизнь делу милосердия. Само собой разумеется, что им было запрещено заниматься медициной, и уже сам факт настойчивого ухода за больными навлекал на них подозрение.

Ренье Саккони в своей «Сумме», написанной в 1250 году, упрекает катаров в любви к деньгам и тут же честно добавляет, что гонения, которым они подвергались, зачастую вынуждали их пользоваться крупными суммами. Не имея права владеть ни землей, ни домами, ни коммерческими предприятиями и целиком перейдя на нелегальное положение, катарская Церковь могла продолжать функционировать только за счет денежных пожертвований. Она нуждалась в деньгах не столько на содержание священников, которые, будучи аскетами, мало заботились о своих благах, сколько на переписывание и распространение своих священных книг и литературы апологетического и полемического плана, на организацию связи и собраний, успех которой часто зависел от молчания определенных функционеров, на размещение, передвижение, на необходимую помощь верующим. Всегда и везде деньги являлись могучим средством, особенно для людей, за чьи головы была объявлена цена. Так, в 1237 году баиль Фанжо арестовал епископа Берн ара Марти и троих совершенных и сразу отпустил их за выкуп в триста тулузских су, тут же на площади собранный верующими как пожертвование. На один известный случай подкупа приходились десятки неизвестных, и люди, постоянно находясь под угрозой шантажа со стороны первого встречного, не стеснялись за золото покупать себе жизнь.

Совершенные были и слыли богатыми. Они щедро оплачивали все услуги, которые им оказывали. В эпоху, когда не существовало еще банковских билетов, носить с собой крупные суммы было затруднительно, и совершенные доверяли их на хранение надежным людям, а те, в свою очередь, прятали деньги в укромных местах, известных только им. При первом же требовании средства предоставлялись в распоряжение катарской Церкви. В основном крупные суммы, которыми располагали катары повсюду, где они служили, составлялись из отказов по завещаниям верующих сделанным согласно предсмертному обряду *consolamentum*. Для людей богатых отказ по завещанию считался обязательным, а паства победнее отказывала кто одежду, кто кровать или другую мебель. Другим источником средств была складчина. Ее сбор поручали надежным людям, которые и принимали пожертвования деньгами или натурой.

Очевидно, что тайная жизнь катаров в эпоху первых лет инквизиции была отлично организована. Списки инквизиторов регистрируют разные категории пособников еретиков: *receptatores*, те, кто предоставлял гостеприимство совершенным, что являлось наиболее распространенным преступлением; *nunci*, то есть связные, проводники и гонцы; *questores*, собиратели пожертвований; *depositarii*, хранители фондов. Все эти функции не были строго разграничены, и названия им дали, чтобы рассортировать арестованных по составу преступления, поэтому каждый верующий в списках фигурирует под своей категорией: *questor* либо *nuncius haereticorum*. Организация действительно была сильна, и чем яростнее становились гонения, тем больше укреплялись связи катаров со своей паствой. Опасности отталкивали слабых и служили стимулом для отважных. Но когда не оставалось иной альтернативы, кроме выбора между верностью и предательством, даже те, чья вера не отличалась крепостью, предпочитали подвергнуться преследованиям, но не предавать.

2. Святилище Монсегиора

Катары владели крепостью Монсегиор, которая, по всеобщему признанию, была официальным

центром их Церкви в Лангедоке. Рыцари совершали туда паломничества вместе с семьями, народ попроще пробирался тайком, группами и поодиночке, чтобы без помех участвовать в обрядах своей Церкви, испросить благословения или совета, а то и получить инструкции, как вести борьбу с недругами.

Этот замок, расположенный во владениях Ги де Левиса, маршала веры и нового сюзерена Мирпуа, составлял часть наследства Эсклармонды, сестры Раймона-Роже де Фуа, и принадлежал Раймону де Перелла, вассалу графов Фуа. Никто не оспаривал у знатного вельможи его домен, поскольку Монсегюр считался «орлиным гнездом», которое невозможно взять приступом, и находился в самом сердце гор, далеко от больших дорог, в краю, известном как рассадник ереси. И крестоносцы, и королевские отряды считали бессмысленным брать эту мало интересную в стратегическом отношении крепость, осада которой могла представлять непреодолимые трудности [168].

Гора или пик Монсегюр (1207 м) представляет собой огромную скалу, закругленную в виде сахарной головы, затерянную на северных склонах Пиренеев среди вершин от 2000 до 3000 метров. С трех сторон скала круто обрывается в долины, и подняться на нее можно только по западному склону. Замок, выстроенный на вершине скалы, очень мал и вряд ли мог вместить большое количество защитников, зато в мирное время в нем отлично размещалась крупная община катаров. Еретики, избравшие своим прибежищем Монсегюр, селились в деревне у подножия горы и в многочисленных хижинах на западном склоне и на скалах. До вылазки Симона де Монфора ни одна вражеская армия не проникала в эти негостеприимные, хорошо охраняемые земли, и после крестового похода вокруг Монсегюра сформировалась настоящая колония катаров, причем настолько значительная, что туда стекались купцы из окрестных городов, всегда уверенные в том, что за клиентами дело не станет. Любое глухое предместье, став местом паломничества, превращается в ярмарку, и для Монсегюра это было благо.

В 1204 году замок, который катары долгое время почитали местом, предназначенным для их культа, лежал в руинах. Совершенные попросили владетеля Монсегюра Раймона де Перелла отстроить и укрепить замок, и он их просьбу выполнил, несмотря на то, что у катаров не было острой нужды в обороне. Сама по себе эта просьба говорит о том, что Монсегюр для катаров был не просто удачным убежищем от врагов. В начале века там проповедовали катарские епископы, и прежде всего Гийаберт де Кастр. Эсклармонда де Фуа, личность которой остается таинственной, а права на Монсегюр весьма неопределенными, видимо, имела большое влияние в этих краях, поскольку Фульк польстил ей, заметив, что «при скверной доктрине она сумела обратить в свою веру многих» [169]. Способствовала или нет эта знатная дама поднятию престижа Монсегюра, но с начала XIII века катары начали проявлять к нему особенный интерес. В 1232 году Гийаберт де Кастр просил единоличного владетеля замка Раймона де Перелла позволить сделать его официальным прибежищем Церкви катаров.

В те времена Г. де Кастр был бесспорным духовным лидером региона и часто жил в Монсегюре. Однако долго он там не оставался, продолжая вести бродячую жизнь катарских проповедников. Многие женщины-совершенные, чьи обители – пристанища для ушедших от мира знатных вдов или дома для воспитания девочек – разметала буря бушевавших в стране перемен, селились в окрестностях Монсегюра, построив себе хижины на уступах скалы. Мужчины-совершенные, которые вели созерцательную жизнь или занимались подготовкой кандидатов на апостольство, тоже

были вынуждены искать себе убежища, где они могли бы целиком посвятить себя молитвам и наукам. Постепенно под стенами замка вырос целый поселок из хижин, наполовину прилепившихся к скале, наполовину висящих над пропастью. Такое неприступное и опасное жилье оттолкнуло бы кого угодно, но только не тамошних богоискателей с их страстью к аскезе.

Вокруг этого поселка, как ласточкины гнезда, опоясавшего высокие стены замка, соорудили мощный каменный палисад: учитывая местоположение замка, такого примитивного укрепления должно было хватить для отражения любого штурма. Ясно, что в такой тесноте и в таких условиях могли обитать только люди, заранее готовые к самопожертвованию.

Многие совершенные и верующие жили в деревне у подножия горы. Это был перевалочный пункт, куда прибывали паломники всех сословий и возрастов. Здесь они могли остановиться на любое время, подняться к замку, чтобы принять участие в культовых церемониях, поклониться совершенным, а потом снова вернуться домой и вести жизнь добропорядочных католиков. Так Монсегюр в силу вещей стал своего рода главным штабом сопротивления катаров и всей Окситании: организовать восстание было суждено самому преданному ереси классу окситанского населения.

Разоренная, гонимая и повыбитая лангедокская знать в 1240 году была еще сильна. Большинство вассалов графа Тулузского, графа Фуа и часть старых вассалов Тренкавелей стерегли свои домены. Они против воли заключили соглашение с оккупантами и лелеяли надежду снова стать хозяевами этих земель. Инквизиция была для них источником бесчисленных притеснений. Могущество графа Тулузского позволяло ему жаловаться открыто, но его вассалы ограничивались чаще всего упрямым скрытым противостоянием. Самые сильные, такие, как братья Ниоры, поначалу могли себе позволить объявить открытую войну Церкви. Другие, не доводя дело до штурма архиепископских дворцов, нападали на церкви и аббатства, что было вполне в феодальных традициях. Граф Тулузский из соображений политических не мог позволить своим вассалам заходить слишком далеко, но на территории графства Фуа тамошние сеньоры были у себя дома. Именно на Пиренеях было организовано вооруженное сопротивление окситанской знати.

В Пиренеях лангедокские владения графа Фуа включали в себя долину Арьежа и близлежащие земли, в Испании Роже-Бернар в результате женитьбы унаследовал виконтство Кастельбон. Сеньоров, обитавших на испанских склонах Пиренеев, и знать южного Лангедока объединяли тесные вассальные и семейные связи. К тому же области по обе стороны Пиренеев были глубоко родственны друг другу по расе, языку и традициям. Русильон и до наших дней остался каталонским, а в средние века Каркассон, долина Арьежа и Коменж были ближе Каталонии и Арагону, чем Провансу или Аквитании. Во времена крестового похода многие аристократы Лангедока тоже находили естественное прибежище на испанской стороне, в Серданьи и Каталонии. Для Педро II Арагонского нападения на графства Фуа и Коменжа были равны нападениям на его собственные земли, и для аргонских рыцарей оборона Лангедока стала делом патриотическим. Лишенные имущества, согнанные с земель фойдиты, невзирая на прокатолический настрой молодого короля Якова I, сформировали в Испании могущественную партию. При дворе испанских королей в окружении друзей и вассалов жил и активно готовился к реваншу Раймон Тренкавель.

Этот юноша [170], два года продержавшийся в Каркассоне и изгнанный оттуда в 1226 году войсками Людовика VIII, был окружен ореолом авторитета своего отца, чье мужество и трагический конец всегда жили в памяти окситанцев. Для всех краев, некогда подчинявшихся Тренкавелям, он

оставался легитимным сеньором, и страстная надежда на его возвращение росла вместе с недовольством, которое вызывала ситуация, созданная Парижским мирным соглашением.

Раймон Тренкавель не рассчитывал на помощь Арагонского короля. Ни граф Тулузский, ни граф Фуа не могли рисковать открыто поддерживать вельможу, сохранившего притязания на земли, принадлежащие французской короне. Он мог всецело опереться только на файдитов – безземельных рыцарей, располагавших лишь собственными руками и оружием, – да на тайную поддержку сеньоров, покоровшихся королю и готовых взбунтоваться при первой возможности. У Оливье Термесского в Корбьерах было много укрепленных замков, не склонившихся перед королевской властью, которые могли служить местами сбора и оружейными складами. В Корбьерских горах, в землях Соль, в Сердании восстание готовили бедные рыцари, которые могли рассчитывать на княжескую поддержку только в случае удачи. Силы их были невелики, и они со всей пылкостью обращались к вере катаров, для многих уже давно ставшей не просто верой отцов, но символом свободы.

В 1216 году они сражались на стороне графа Тулузского. Теперь, после подписания Меоского соглашения, Раймон VII был ненадежной опорой: затравленный королем и папой, он пребывал в вечном поиске новых связей и напоминал балансирующего канатоходца. Он, конечно, оставался единственным, кто мог сплотить вокруг себя все сопротивление и поднять страну на борьбу, но нельзя же против его воли сражаться его именем. Однако каждый свободен сражаться за свою веру.

Вот почему Монсегюр в течение десяти лет был центром окситанского сопротивления. Из Испании файдиты пробирались через горы, чтобы предаться духовному созерцанию в святом месте, где богослужения катаров проходили с прежней, довоенной торжественностью. Из Лангедока тайком поднимались в Монсегюр рыцари, чтобы там встретиться с друзьями, сговориться и получить инструкции. Для многих эти паломничества носили скорее политический характер, чем религиозный, да и сами совершенные, – хотя об их деятельности ничего не известно, – по большей части выходцы из мелких дворян, не оставались безучастны к патриотическому движению и, может статься, беседовали со своей паствой не о бренности мира, созданного злым божеством, а об освобождении Лангедока.

Странно, что нам об этом ничего не известно. Мы знаем, что Гийаберт де Кастр, Жан Камбьер, Раймон Эгюийе, Бертран Марти и другие принимали многих рыцарей, игравших решающую роль в борьбе за независимость. Гийаберт де Кастр, которому было уже много лет, спускался из Монсегюра и в сопровождении надежного эскорта объезжал окрестные замки, нигде долго не задерживаясь. Каждое посещение было организовано заранее со всеми предосторожностями и хранилось в тайне. Несмотря на опасность, неутомимый епископ не желал отказываться от этих посещений. Закономерно было бы предположить, что он лично принимал активное участие в готовившемся восстании и скорее побуждал свою паству к борьбе, чем к непротивлению.

Дошедшие до нас свидетельства всего лишь констатируют, что такой-то совершенный прибыл в такое-то место, совершил обряд преломления хлеба, а такие-то и такие-то приветствовали его тоже согласно обряду. Анализируя деятельность десятков людей – рыцарей, знатных дам, оруженосцев, – которые постоянно сновали, то уезжая, то приезжая и оставаясь в Монсегюре, невозможно узнать ничего, кроме того, что они слушали проповеди совершенных. В самом начале осады Монсегюра (13 мая 1243 года) видели, как два оруженосца, диакон Кламан и трое совершенных спустились из замка,

пересекли неприятельские позиции и отправились в Коссон, причем эта вылазка была предпринята только лишь для того, чтобы переломить хлеб с двумя еретиками из Коссона. Конечно, вполне возможно, что активность совершенных и верующих в окрестностях Монсегюра имела чисто религиозную и ритуальную подоплеку, важность которой мы не можем оценить за неимением точных сведений. Однако возможно и обратное.

Трудно представить совершенных организаторами террористической деятельности. Но видели же мы, в конце концов, как католические священники отчаянно бросались в драку: опасность, нависшая над Церковью, оправдывала все средства. В этих условиях позиция катарских священников более извинительна, ибо их вера подвергалась гораздо большим гонениям. В самом шумном за всю историю инквизиции террористическом акте принимали участие люди из Монсегюра. Совершенные его не инспирировали, но, возможно, одобрили. В тот час, когда совпали стремления защитить горную Церковь и земную Родину, монсегюрские святые, которые были прежде всего людьми из плоти и крови, вполне могли стать такими же патриотами, как и рыцари файдиты.

Раймон де Перелла и его зять Пьер-Роже де Мирпуа принадлежали к самым решительным лидерам восставшей знати. Они почти наверняка поддерживали тайные отношения с графом Тулузским, несомненно – с Раймоном Тренкавелем, графом Фуа и большинством катарской элиты.

После зимы 1234 года, когда весь урожай вымерз на корню, крупные вельможи послали в Монсегюр солидную материальную помощь: Бернар-Отон де Ниор сам занимался сбором этой помощи и собрал шестьдесят мюидов зерна, из которых десять мюидов принадлежали лично ему, двадцать дало рыцарство Лорака, а остальное прибыло в виде подношений от сеньоров и буржуа из окрестностей Каркассона и Тулузы. Были и другие пожертвования деньгами и продовольствием, предназначенные для пополнения фондов и кладовых замка.

Монсегюр превратился в арсенал, и дальнейшее развитие событий показало, что запасы оружия были велики. Вероятнее всего, рыцари, поднимавшиеся туда для молитвы, пользовались случаем, чтобы внести свой вклад в этот арсенал копьями, стрелами, арбалетами или доспехами. Дон Весетт полагает, что Монсегюр служил плацдармом Тренкавелю [171], но нет ни одного факта, подтверждающего эту мысль, и ни одного свидетельства пребывания Тренкавеля в Монсегюре. Однако огромный запас оружия, собранный в замке, вполне мог предназначаться как для защиты, так и для пополнения вооружения освободительной армии.

Кроме всего прочего, Монсегюр, «столица» катарской Церкви Лангедока, служил не только укрытием для священнослужителей секты, но и хранилищем для «сокровища». Сокровище прежде всего составляла очень крупная сумма денег, необходимая для защиты замка и на содержание находящихся там совершенных, к тому же Монсегюр должен был оказывать помощь братьям, подвергавшимся гонениям в районах, где они служили. Помимо денег, было там и другое: священные книги, быть может, древние рукописи, сочинения наиболее почитаемых ученых. Литература катаров была обширна, и совершенные в наставлениях паствы и неофитов не довольствовались одним только Новым Заветом. Они увлекались теологией не меньше католиков, старались сохранить чистоту догмы и придавали большое значение книгам, помогавшим им держаться в ортодоксальной традиции. Было ли в сокровище еще что-нибудь? Реликвии или предметы, почитаемые как святыни? Достоверно то, что ни в одном свидетельском показании об этом нет никаких упоминаний, однако, с другой стороны, инквизиторы и не касались этих вопросов.

Вполне возможно, что какой-либо список с Евангелия или другой предмет культа мог почитаться особо и храниться в Монсегюре как святыня. Какова бы ни была природа сокровища Монсегюра, он сам начал приобретать в сознании всех верующих Лангедока облик места чрезвычайной важности – святого места.

Имел ли он такой статус до 1232 года или перед крестовым походом? Пожалуй, нет. В те времена, когда катары свободно совершали богослужения где угодно, Монсегюр был святым местом только для еретиков земли Фуа: в этом, как и везде, проявлял себя дух локальной независимости. Однако его местоположение и архитектура говорят о том, что он мог быть и храмом. Вполне возможно, что в ходе развития культа настал как раз такой момент, когда катарская Церковь ощутила себя готовой к созданию и освящению собственных храмов, наподобие католических: к 1204 году в земле Фуа религия катаров была почти признана официальной.

Между 1232 и 1242 годами замок стал святилищем, куда умирающие велели везти себя по горным тропам на спинах мулов, чтобы, получив последнее благословение, быть похороненными у его стен. Так, шевалье Жордан Кальвен, уже принявший *consolamentum*, велел отвезти себя в Монсегюр умирать; Пьер Гильом де Фогар отправился в Монсегюр в сопровождении двоих совершенных, но был так слаб, что не смог доехать и вынужден был остановиться в Монферье, где и умер. Знатные дамы окрестных регионов удалялись в замок, чтобы получить *consolamentum* и посвятить остаток жизни молитве. Так, в 1234 году теща Раймона де Перелла, Маркезия де Лантар, получила благословение Бертрана Марти. Многие дамы-совершенные, жившие в хижинах вокруг замка, принимали у себя сестер и дочерей, которые приезжали погостить и подчас проводили наверху целые месяцы. Среди визитеров, посещавших замок в период с 1233 по 1243 годы, прежде всего надо отметить рыцарей в сопровождении свиты, а также дам – их сестер или дочерей. Что же касается верующих более скромного достоинства, они, скорее всего, тоже поднимались, но члены церковного трибунала не уделили им особого внимания. Зато они без конца упоминают окрестных купцов, которые продавали в Монсегюр продукты и тем самым нарушали закон, запрещающий всякую помощь еретикам.

В 1235 году Раймон VII отрядил трех рыцарей с миссией вступления во владение Монсегюром. Рыцарей в замке приняли, они, согласно ритуалу, поклонились Гийаберту де Кастру и вернулись в Тулузу. Немного погодя граф отправил своего баиля, Мансипа де Гейяка. Тот тоже удовлетворился тем, что вместе со своей свитой поклонился совершенным и убрался восвояси. В третий раз граф откомандировал того же Мансипа де Гейяка с вооруженным отрядом. Они захватили диакона Жана Камбьера (Камбитора) и еще троих совершенных и увезли их в Тулузу на сожжение. Инцидент являет собой прекрасный пример двусмысленности поведения Раймона VII по отношению к еретикам. Все свидетельства говорят о том, что он был верным католиком. Более того, вполне возможно, – и некоторые факты его жизни это подтверждают, – что он искренне ненавидел ересь как источник бед в своей стране. И если он неоднократно объединялся с катарами, то только для того, чтобы использовать их как орудие в борьбе за обретение утраченной независимости.

Владелец Монсегюра Раймон де Перелла являлся сюзереном замков Перей, Ларок д'Ольм, Альзан (точнее, Нальзан), и Монсегюр был не единственной и уж ни в коем случае не любимой резиденцией семейства де Перелла, поскольку в 1204 году он лежал в руинах. Замок существовал еще до водворения в этих местах семьи де Перелла, но его архитектура указывает на то, что он не старше IX

века. Его конструкция (или, точнее, план, поскольку стены были по крайней мере частично реконструированы в 1204 году) обнаруживает технические и математические познания, очень редкие для Западной Европы той эпохи, и архитектуру Монсегюра можно назвать уникальной не только в регионе, но и во всем Лангедоке.

Скала, вершина которой достигает высоты 1207 метров, очень труднодоступна и потому защищена самой природой. Однако на первый взгляд может показаться, что строитель замка не за этим забирался так далеко и высоко. Развалины замков, сохранившиеся до наших дней, изобилуют остроконечными башнями и высокими коньками крыш, дававшими хороший обзор дорог, рек и холмов. Монсегюр принадлежит к редким в тех краях развалинам, не дающим никакого обзора и никуда не ведущим. Строителя, должно быть, больше привлекала красота этих мест, чем их практические преимущества. В похожих местах строили церкви – на скалах, на одиноких вершинах, причем место было обязательно связано с каким-нибудь чудесным видением или освящено языческой традицией. Выбор места для Монсегюра роднит его с Рокамадуром или с Сен-Мишель де л'Эгий, с той только разницей, что в регионе ничто не указывает на следы культа, оправдывающего постройку храма именно в этом месте. По архитектуре замок не похож ни на религиозное здание, ни на крепость. Его форма продиктована очертаниями скалы, а планировка определяется прежде всего эффектами освещения, поскольку стены ориентированы по отношению к восходящему солнцу. Но самое странное в его конструкции – это двое ворот и то, что осталось от окон донжона: ни один средневековый замок – если не считать крепостных стен в городах – не имеет таких монументальных ворот, как большие входные ворота Монсегюра. Их ширина больше двух метров, и они не защищены ни башней, ни какой-либо иной оборонительной конструкцией. В этот неприступный замок можно войти как в мельницу, с тем, чтобы сначала перейти на другую сторону скалы. Такие порталы могли себе позволить только церкви. Были эти ворота прорезаны в 1204 году или оставлены такими, как были до реконструкции, – их наличие в любом случае говорит о том, что замок предназначался не для обороны, а для других целей. Сама по себе идея пропилить подобный портал уже необычна и противоречит нормам средневековой архитектуры.

Все эти соображения наводят на мысль, что Монсегюр либо поначалу, либо позже был предназначен для богослужений какого-то неясного культа, возможно, культа соляного. Однако непонятно, кто в период между IX и XII веками выстроил это монументальное здание, чтобы отправлять там ритуалы религии, следов которой в Лангедоке не найдено.

Катары, казалось бы, не исповедовали соляного культа, его исповедовали древние манихеи, но маловероятно, чтобы секта манихеев могла так долго существовать в этом регионе. Тем не менее, если пережитки манихейских традиций все же сохранились в этих отдаленных и безлюдных местах, они могли способствовать распространению религии катаров, и Монсегюр, таким образом, мог служить прибежищем и катарам, и их предкам по вере. До 1204 года замок был разрушен и необитаем, из чего следует, что ему не придавали большого значения. Однако женщины-совершенные уже к тому времени создали там поселение, как, впрочем, создавали их и в других отдаленных уголках. Здесь их могла привлечь красота и тишина места. Вполне возможно, что местная традиция и трактовала замок Монсегюр как след пребывания в здешних краях «добрых христиан» прошедших времен, поскольку катары не рассматривали себя реформаторами, а считали хранителями обычаев более древних, чем католические.

В 1223 году католики начали именовать Монсегюр «Синагогой Сатаны» – термин переключался из лексикона катаров, где он, напротив, обозначал римскую Церковь. Под угрозой смертельной опасности катарская Церковь Лангедока создала себе земную столицу, которая для них могла уравновесить своим сиянием мрак наползавшей на страну тени Рима. И в час, когда столько верующих насильно отправляли под полицейским надзором в места паломничества католиков, духовные лидеры катаров воздвигли в Пиренеях святыню, призванную стать для знати противовесом великолепию Рима, Сант-Яго де Компостелла, Нотр-Дам де Пюи и Нотр-Дам де Шартр.

Недолговечным было царство Монсегюра. Однако оно являло собой самую яркую попытку катарской Церкви обрести в Лангедоке статус Церкви национальной. Сама по себе инквизиция, может, и не заставила бы Монсегюр покориться, и замок, ставший для униженного и затравленного народа символом всех его надежд, мог бы долго влиять на историю Лангедока. Однако цитадель катаров вошла в легенду как опустошенный замок-мученик. От той интенсивной жизни, центром которой он был, осталось так мало следов, что населявшие его герои, несомненно, достойные восхищения, сейчас для нас не живее языков пламени, которое их поглотило.

3. Восстание и поражение Раймона VII

Пьер Селиа и Гильом Арно в тулузском диоцезе и Арно Катала с братом Ферье на королевских землях продолжали свою миссию с завидным упорством, несмотря на глухое сопротивление населения Лангедока. Мятеж назревал. Он разразился впервые в 1240 году: в апреле этого года Раймон Тренкавель во главе армии фандитов, изгоев и арагонских и каталонских солдат пересек горы и через долину Ода вошел в Каркассе. Оливье Термесский поднял на восстание Корбьеры, Журден де Сэссак взялся за оружие в Фенуйе.

Принятые как освободители в Лиму, Алете и Монреале, окситанские сеньоры в несколько недель сделались хозяевами в регионе. Пепье, Альзиль, Лор, Рье, Кон, Минерва открыли ворота, оказавший сопротивление Монтулье взяли штурмом, а гарнизон перерезали.

Каркассон, где укрылись сенешаль Гильом дез Орм, архиепископ Пьер-Амьель и епископ Тулузы, 7 сентября был окружен войсками Тренкавеля, проникшими в предместье. Восстание было так хорошо срежиссировано и направлено против Церкви и французов, что в предместьях население совершило самосуд и перебило тридцать три арестованных священника, несмотря на выданные им виконтом охранные грамоты. Осада длилась больше месяца. Несмотря на отважные атаки Тренкавеля, который пытался взять город подкопами и обстрелом, Каркассон держался. 11 апреля королевская армия под командованием Жана де Бомона броском вынудила осаждавших свернуть лагерь, и войско Тренкавеля с частью населения предместья отступило, спалив несколько кварталов и разорив монастырь доминиканцев и аббатство Нотр-Дам.

Отойдя в Монреаль и тоже будучи окружен, Раймон Тренкавель увидел, что переговоров не избежать. Раймон Тулузский не спешил: он выжидал дальнейшего развития событий. Пьер Амьель и Раймон дю Фога требовали от него немедленной помощи сенешалю, согласно обязательствам Меоского соглашения, и он запросил время на размышление. Он не собирался лететь очертя голову на помощь своему кузену: он ждал более удобного случая. Вместе с графом Фуа он ходатайствовал перед королевскими представителями об условиях мира, не бесчестящих Раймона Тренкавеля, которому в итоге было позволено отбыть в Испанию с оружием и багажом.

Восставшие города постигла суровая кара: предместье Каркассона спалили полностью, Лиму,

Монреаль и Монтулье разрушили, остальные заплатили крупную контрибуцию. Королевская армия двинулась на Корбьеры и заставила сдаться владельцев Пейрепертюзы и Кюкюньяна, а затем и Ниора.

Раймон VII, чье поведение по отношению к французам было более чем двусмысленно, счел необходимым отправиться в Париж, чтобы снова принести клятву верности королю, которому в ту пору было уже 25 лет. Он поклялся пойти войной на всех недругов короля, изгнать еретиков и фанатиков и взять и разрушить Монсегюр. Кроме того, граф засвидетельствовал свою лояльность по отношению к легату, заключив перемирие с графом Прованса, который служил интересам императора Фридриха II, заклятого врага папы.

По всей очевидности, Раймон VII вовсе не желал в данный момент ссориться с королем и старался сгладить досадное впечатление, которое могло произвести восстание Тренкавеля. Бунт случился слишком рано. Ни годы, ни беды не сгладили старинного соперничества домов Тулузы и Тренкавелей: юный Раймон вовремя не спросил совета у кузена, а тот его вовремя не поддержал. Он готовил более масштабную операцию.

Раймон VII отказался от надежды вернуть себе независимость с помощью локального сопротивления, заранее обреченного на провал. Он и так уже сделал невозможное, а его победа над Монфором довела его до Меоского соглашения. Вернуть его стране процветание и независимость могло лишь долговременное ослабление власти французского короля. Достигнуть этого собственными силами у него не было шансов. Он задумал более сложную политическую операцию. Ни Тренкавель, ни Оливье Термесский не могли выгнать французов из страны. В случае победы диктовать Франции свои условия могли только король Англии, германский император и лига крупных баронов. Чтобы усыпить подозрения папы и короля, граф Тулузский был готов на полную покорность и на любые доказательства своей ортодоксии. В конце концов все суверены, на чью помощь он рассчитывал, были католиками, и он менее, чем когда-либо, рисковал прослыть пособником ереси.

Кроме того, ему очень важно было получить от папы два разрешения: похоронить отца и развестись с женой. Бесплезно надеяться сбросить иго французов, если в любом случае после смерти графа Лангедок должен автоматически перейти в руки короля по праву наследования. Раймону VII никак не удавалось развестись с женой, бесплодной уже двадцать лет: папа остерегался разрешать развод, который мог повредить интересам короля Франции. Чтобы угодить папе, граф принес в жертву свой союз с императором (как покажет будущее – ненадолго) и оказался лучше оснащен, чтобы приступить к бракоразводному процессу, тем более, что его поддерживал Яков I, племянник графини. После двадцати лет брака Раймон решил открыть, что его отец, Раймон VI, был одним из крестных отцов принцессы Санси и что он женат на крестнице собственного отца. Он представил свидетелей, и брак был расторгнут, к большому негодованию епископа Тулузы и к еще большему неудовольствию Альфонса де Пуатье и его супруги Жанны, дочери Раймона VII.

Отделавшись от супруги, граф Тулузский мог теперь считаться блестящей партией для дочерей южнофранцузских вельмож. Раймон-Беранже, граф Прованский (сын Альфонса, младшего брата Педро Арагонского), воспользовавшись поддержкой французского короля в борьбе с притязаниями императора, теперь не знал, как отделаться от опеки французской короны. В 1239 году Раймон VII ходил войной на графа Прованского на стороне императора, но теперь предложил ему мир, убивая

одним ударом двух зайцев: с одной стороны, он ублажал папу, с другой – обретал союзника в будущей борьбе с королем.

У Раймона-Беранже были одни дочери, старшая вышла замуж за Людовика IX, младшая – за Генриха III Английского, еще двоих надо было пристроить. Еще меньше, чем Раймон VII, граф Прованский хотел видеть французского короля наследником своих доменов: десять лет владычества французов в Каркассе и Альбижуа должны были составить у южных баронов ясное представление о том, какая судьба ожидает их края, если королевская власть наложит на них руку. Третьим зятем Раймон-Беранже выбрал графа Тулузского, в надежде основать вместе с ним и со своим кузеном Яковом Английским лигу южных баронов, достаточно могущественную, чтобы посрамить королевскую власть. Для Раймона VII женитьба была делом жизненно важным, поскольку обеспечить независимость его владений мог (несмотря на все статьи Меоского договора) только наследник мужского пола...

В 1241 году графу было сорок четыре года, и он не имел никаких оснований предполагать, что не оставит потомства. Это обстоятельство могло поставить для Франции под угрозу все выгоды Меоского соглашения. Проще всего было искать невесту в Дании, потому что ни один из князей Европы не мог жениться без согласия папы, поскольку все знатные фамилии юга находились между собой в родственных связях. Раймон VII приходился родней дочерям Раймона-Беранже, так как они по иронии судьбы были внучатыми племянницами его разведенной супруги. Получить разрешение на брак казалось делом несложным, и король Яков I Арагонский был готов представлять графа Тулузского в Эксе на его бракосочетании с третьей дочерью графа Прованского Санси. Однако свадьбе не суждено было состояться: Григорий IX умер 21 августа 1241 года, а у его преемника, Целестина IV, не было времени заниматься разрешением на брак, так как его понтификат длился всего несколько недель. После его смерти в октябре 1241 года престол понтифика в течение двадцати месяцев оставался вакантным, и граф Прованский, рассудив, что опаздывающее решение может вовсе не прийти, выдал дочь за Ричарда, брата английского короля.

Граф Тулузский снова бросился искать себе нового тестя. Он остановил свой выбор на дочери Юга Лузиньянского, графа де ла Марш. И тут было нужно разрешение: Маргарита де ла Марш и Раймон VII являлись родственниками в четвертом колене, оба ведя свое происхождение от Людовика VI Толстого. Разрешение это, по иным соображениям, но получено не было.

Изабелла Ангулемская, вдова Иоанна Безземельного и супруга Юга Лузиньяна, сюзерена Пуату, давно подзуживала мужа найти союзников в борьбе против короля Франции. В 1242 году молодой Людовик IX понял, что против него формируется лига, в которой, прямо или косвенно, принимают участие герцог Бретани Пьер Моклерк, граф Тулузский, граф де ла Марш и граф Прованский, причем лигу поддерживают, с одной стороны, король Англии Генрих III, с другой – Яков I Арагонский. Коалиция выглядела внушительно, но не обладала ни единством, ни организованностью, чтобы одолеть молодую и боеспособную французскую монархию. В военной доктрине северные французы явно превосходили южных. Быстрое поражение Раймона Тренкавеля показало, что даже на чужой территории и с ослабленными военными отрядами французы всегда берут верх. Надежда Раймона VII окружить королевские домены и ударить по врагу на нескольких фронтах одновременно могла осуществиться только при условии, что все союзники проявят одинаковую волю и желание идти войной на короля Франции.

Однако наиболее заинтересованное лицо, граф Тулузский, был в то же время и самым уязвимым. Королевские гарнизоны стояли в нескольких десятках километров от его столицы, крепостные валы замков были скрыты, а недреманное око королевских властей и Церкви неотступно за ним следило. Курсируя из Прованса в Пуату, из Пуату в Испанию, Раймон VII посвятил два года (1240-1242) интенсивной дипломатической деятельности, соблюдая при этом всяческие предосторожности, чтобы не возбудить подозрений Бланки Кастильской. 19 и 26 апреля он подписал с королем Арагона союзный договор о совместной защите от произвола католической ортодоксии и Святого Престола. Затем он заключил оборонительно-наступательный союз с Югом Лузиньянским и, наконец, добился согласия на альянс у королей Наварры, Кастилии и Арагона, а потом и у Фридриха II. Нельзя сказать, что Раймону VII недоставало доброй воли или умения, просто его судьба зависела от союзников, а для них поражение Франции не было жизненно важным.

В Пен д'Ажене, по дороге из Арагона в Пуату, граф разболелся, да так тяжело, что 14 марта 1242 года его сочли умирающим. Болезнь приключилась очень некстати: граф де ла Марш не дождался выздоровления союзника и объявил о своем отказе от вассальных связей с французским королевским домом. В начале апреля, едва оправившись, Раймон спешно собрал своих вассалов, чтобы убедиться в их преданности. Бернар, граф д'Арманьяк, Бернар, граф де Коменж, Юг, граф де Роде, Роже IV, граф Фуа, виконты Нарбонны, Лотрека, Ломани и другие поклялись поддержать графа в борьбе против короля Франции и остаться с ним до конца. Это было объявлением войны.

Не теряя времени, молодой Людовик IX выступил со своей армией в Сентонж, где разбил войска графа де ла Марш. Война началась неудачно. Рассчитывая на силы короля Англии и других союзников, Раймон VII не помышлял об отступлении. Он знал, что другого такого случая не представится. Но стремительность королевской реакции поставила под угрозу успех операции, да и графские вассалы, всегда готовые биться за свои земли, не спешили бросаться на помощь Югу Лузиньянскому.

Как только распространилась весть о военных приготовлениях, народный бунт, дремавший, как пламя под слоем пепла, вспыхнул молниеносно. Сигналом послужила резня в Авиньонете.

Из показаний свидетелей, принимавших участие в операции, следует, что убийство произошло по наущению графа Тулузского. Вот что рассказала инквизиторам Фейида де Плень, жена Гильома де Плень: «Гильом и Пьер-Раймон де Плень, двое рыцарей из гарнизона Монсегюра, находились в замке Брам, когда появился некто Жорданет дю Мае и сообщил Гильому, что в Антиохском лесу его ждет Раймон д'Альфарио. Раймон д'Альфарио был приставом Раймона VII и баилем замка Авиньонет. Г. де Плень встретился с Р. д'Альфарио в назначенном месте, и д'Альфарио, взяв с него клятву хранить тайну, сказал: „Ни мой господин граф Тулузский, ни Пьер де Мазероль, ни другие шевалье, на которых можно положиться, не имеют возможности передвижения. Однако необходимо уничтожить брата Гильома Арно и его компаньонов. Я просил Пьера-Роже де Мирпуа и всех воинов Монсегюра явиться в замок Авиньонет, где теперь находятся инквизиторы. К тому же мне надо доставить письма Пьеру-Роже. Поспешите. В награду получишь лучшего коня, какой сыщется в Авиньонете после смерти инквизиторов“ [172].

Это свидетельство ясно указывает на графа Тулузского. Но, может быть, Фейида де Плень все представила таким образом, чтобы снять ответственность со своих близких? Во всех случаях в первую голову ответственен Р. д'Альфарио, который призвал людей из Монсегюра и подготовил

убийство. Сомнительно, чтобы он действовал по своей инициативе или, по крайней мере, не будучи уверен в согласии Раймона VII. Помимо звания баиля, д'Альфарио был тесно связан с графом, который приходился ему дядей (его матерью была внебрачная дочь Раймона VII, Гильеметта). Несмотря на свою ненависть к инквизиторам, граф не мог рисковать собственными рыцарями, подталкивая их к насилию. Шевалье из Монсегюра не были его подданными, зато слыли известными мятежниками и обитали в крепости, считавшейся неприступной.

Речь шла вовсе не о том, чтобы нанимать рыцарей Монсегюра. Напротив, для них это было неожиданной честью, праздником. Они ринулись на мрачное randevu с нетерпением влюбленных, жаждущих поскорее вновь увидеть свою милую. Гильом де Плен помчался во весь опор в Монсегюр, чтобы сообщить радостную новость командующему гарнизоном Пьеру-Роже де Мирпуа. Тот сразу же собрал своих шевалье и оруженосцев и сказал им: «Собирайтесь. Предстоит важное дело, которое нам принесет немалую пользу!»[173].

Их было шестьдесят, то есть почти половина гарнизона Монсегюра, пятнадцать шевалье и сорок два оруженосца. Все они принадлежали к небогатой местной знати и представляли Массабрак, Конгост, Плен, Монферье, Арзес, Ларок д'Ольм, Кастельбон, Сен-Мартен-ла-Ланд, все были верующими катарами во втором или третьем поколении, ибо в большинстве своем были молоды. Возможно ли предположить, что Пьер-Роже де Мирпуа скрыл от совершенных цель экспедиции? Мог ли он взять на себя такую ответственность, не посоветовавшись с главой общины Бертраном Марти? Может, совершенные и не посещали оружейных залов, но они должны были с жадностью прислушиваться ко всему, что происходило вне замка, поскольку сами без конца колесили по региону, поддерживая связи между окрестными верующими. Миссия, на которую Раймон д'Альфарио подвигал людей Монсегюра, противоречила христианскому милосердию, но нет оснований предполагать, что Бертран Марти ее не одобрял.

Гильом Арно находился в очередном инквизиторском турне, которое он предпринял совместно с францисканцем Этьеном де Сен-Тибери, присланным папой во удовлетворение требований графа Тулузского. Инквизиторам ассистировали двое доминиканцев, Гарсиас д'Ауре и Бернар де Рокфор, францисканец Раймон Карбонье, заседатель трибунала, представляющий епископальную власть, Раймон Костиран по прозвищу Раймон-писатель, старый трубадур, ставший архидиаконом Лезата (десятью годами раньше он защищал Бернара-Оттона де Ниора на судебном процессе) и четыре человека прислуги.

Авиньонет, расположенный в долине Лорагэ у самой границы графства Тулузского, слыл гнездом ереси. Все окрестности – Кассе, Ла Бессед, Лорак, Сорез, Сэссак, Сен-Феликс – придерживались еретических традиций, и Гильом Арно с приспешниками должны были обладать немалым мужеством, чтобы являться с инквизицией в момент, когда граф Тулузский объявил Франции войну. Они передвигались на лошадях, без эскорта, и останавливались там, где им указывали местные власти.

В Авиньонет они прибыли в канун Вознесения, и принимавший их Раймон д'Альфарио предоставил им дом, принадлежавший графу Тулузскому, поскольку сам являлся графским баилем. Он принял их с радостью, о причинах которой можно догадаться, если принять во внимание, что об их прибытии Раймон тут же доложил кому следует. Люди из Монсегюра, после долгой дороги в седле (от Монсегюра до Авиньонета около шестидесяти километров по прямой и около ста по дороге),

остановились в Гае, в доме Бернара де Сен-Мартена. Здесь к ним присоединился другой отряд, который составляли Пьер де Мазероль, Жордан дю Вилар и несколько оруженосцев. Затем в Мае Сен-Пюэль их догнал шевалье Жордан дю Мае. Больше не было нужды держать дело в тайне, уже само осознание того, что инквизиторы падут от их оружия, делало всех заговорщиками.

У въезда в Авиньонет, возле лепрозория, к отряду подъехал гонец от Раймона д'Альфарао и велел всем вооружиться секирами. Двенадцать секир были уже приготовлены, для исполнения операции выбрали восьмерых из Гае и четверых из Монсегюра. С наступлением ночи заговорщиков впустили в город, и сам Раймон д'Альфарао, одетый в белый камзол, освещая путь факелом, провел их через покои дома к двери, за которой расположились на отдых инквизиторы. С баилем пришли человек пятнадцать горожан, тоже желавших принять участие в заговоре.

Дверь рухнула под ударами секир, и семеро монахов, вскочив ото сна и сразу сообразив, в какую западню они угодили, упали на колени и затянули «*Salve, Regina*». Кончить молитвы им не дали: Раймон д'Альфарао с криком: «*Va be, esta be*» («Вот так, вот и славно») бросил свой отряд вперед, и все стали оспаривать друг у друга честь первого удара. Какая там была бойня, можно догадаться: потом каждый заговорщик хвалился тем, что именно его удар был смертелен. Черепа монахов были раскрыты секирами и дубинами, а тела истерзаны копьями и кинжалами, причем множество ударов наносили уже явно мертвецам.

А потом началась дележка добычи – реестров инквизиторов, ценностей, которые они возили с собой. Пожива была невелика: книги, подсвечник, ящик имбири, несколько серебряных вещей, одежда, одеяла, ладанки, ножи. Если бы кто поглядел в эту минуту на людей, явно не богатых, но и не нищих, с жадностью хватавших пустяковые предметы в комнате, заваленной трупами и забрызганной кровью, то решил бы, что, скорее, присутствует при распределении трофеев, чем при банальном грабеже. К ним присоединились те, кто не участвовал в убийстве: всем хотелось получить хоть что-нибудь.

Затем Раймон д'Альфарао раздал всем подсвечники и факелы, и процессия двинулась из города к дому прокаженных, где их ожидал остальной отряд. Гильом де Плень получил обещанного «лучшего коня» – парадного коня Раймона-писателя. Авиньонетский баиль отпустил заговорщиков со словами: «Славно было все сделано. Ступайте, и удачи вам». Потом вернулся в город сзывать народ к оружию. Погашенные факелы, означавшие смерть инквизиторов, послужили сигналом к восстанию. Пьер-Роже да Мирпуа поджидал своих людей в Антиохском лесу. Они появились с добычей, прикрученной к седлам. Семеро из них – Понс де Капель, П. Лоран, Г. Лоран, П. де Мазероль, П. Видаль, Г. де ла Иль, Г. Асерма – похвалялись своими смертельными ударами. Пьер-Роже, услышав Г. Асерма, крикнул ему: «Эй, приятель, где кубок Арно? – Он разбился! – Что же ты не принес мне осколки? Я бы их стянул золотым обручем и пил бы из кубка до конца моих дней!». Под кубком имелось в виду не что иное, как череп Гильома-Арно.

Утром на Вознесение отряд прибыл в Сен-Феликс. Грандиозная новость уже разлетелась по стране: кюре из предместья вышел во главе своей паствы приветствовать убийц, въезжавших в Сен-Феликс под ликующие крики толпы.

Граф начал освободительную войну. На другой день после резни в Авиньонете Пьер-Роже да Мирпуа отправил двух оруженосцев к Изарну де Фанжо узнать, все ли в порядке у графа Тулузского. У графа все было отлично: за два месяца, с помощью Тренкавеля, Раймон VII снова стал владельцем

Разе, Термене, Минервуа и с триумфом вошел в Нарбонну, которая выдала ему виконта Эмери. А чтобы подчеркнуть аннулирование Парижского договора, он снова торжественно принял титул герцога Нарбоннского [174]. Окситанцы на миг поверили в то, что пришел час освобождения.

Убийство Гильома-Арно и его компаньонов не было ни военной победой, ни актом героизма. Наоборот, если взглянуть на факты как таковые, история выходила довольно гнусной. Менее гнусной, чем костры, что пылали во имя Христа, однако легальное правосудие пользовалось прецедентами, которые подчас даже противники считали приемлемыми. Резня в Авиньонете тоже была актом правосудия, того народного правосудия, которое берет верх над законом, властями и временем. Церковь не признала Гильома-Арно мучеником, и убийцы, несмотря на явное торжество инквизиции, остались безнаказанными.

Восстание Раймона VII потерпело поражение. Граф, несомненно, недооценил военное мастерство и энергию французов и переоценил силы своих союзников. Ошибка вполне простительная: оказавшись в такой трагической ситуации, немудрено принять желаемое за действительное. Время работало на короля. Его господство в восточном Лангедоке быстро добилось ослабления сил сопротивления ужесточением контроля, увеличением числа французских чиновников и шевалье, обнищанием буржуазии и истреблением местной знати.

Раймон VII, не имевший сыновей, был для союзников отломанной ветвью, ради которой не стоило стараться. Графство Тулузское не воспринималось ни как территория дружественная или враждебная, ни как зона влияния. Оно уменьшалось соразмерно жизни самого графа, которой ему уже не хватит, чтобы родить сына и дожидаться той поры, когда мальчик станет мужчиной и сможет выстоять против французского короля.

После Юга Лузиньянского французская армия нанесла удар Генриху III, который вынужден был отступить в Бордо. Ни король Арагона, ни граф Прованса не явились на выручку злосчастным союзникам. Вассалы графа Тулузского, сознавая, что игра проиграна, думали только о том, как избежать появления королевской армии на их землях. В то время как Раймон VII, заключив очередной пакт с английским королем, осаждал в Ажене замок Пен, занятый французами, Роже де Фуа сдался королю и окончательно порвал все вассальные связи с графом Тулузским.

Видя, что все покинули его, Раймону VII ничего не оставалось, кроме как сдаться и просить королеву-мать Бланку Кастильскую о посредничестве. В доказательство своей покорности он отдал королю Брам, Саверден и весь Лорагэ и 30 октября 1242 г. подписал мир в Лоррисе.

Бунт закончился, и настолько удачно, что король даже не счел нужным строго наказывать вассалов, нарушивших клятву и поднявших на него оружие. В январе 1243 г. графы Тулузы и Фуа отправились в Париж принести новую клятву верности короне. Относительно мягкими условиями нового мира (согласно Гильому Пюилоранскому) Раймон был обязан Бланке Кастильской. Регентша вовсе не желала обнищания земель, предназначавшихся ее сыну. Лучшим способом сделать графа Тулузского беззащитным было помешать ему жениться снова, что в последующие годы Бланке Кастильской и удалось с успехом осуществить. А пока Раймон VII обещал – уже в который раз – окончательно очистить свои владения от ереси. Бланка Кастильская принимала близко к сердцу все, что касалось веры, а граф просил только об одном: чтобы ему позволили расправиться с еретиками самому.

Едва вернувшись в Лангедок, граф, хотя его снова отлучили брат Ферье после убийства инквизиторов и Пьер Амьель после въезда в Нарбонну, велел созвать Собор из епископов и видных

аббатов. На повестке дня стояло искоренение ереси, а председательствовал сам архиепископ Нарбоннский. Для графа истинной целью этого Собора было устранение инквизиторов в пользу епископального правосудия.

На этот маневр, направленный скорее против них, чем против ереси, доминиканцы ответили демаршем, который, в случае успеха, перекрывал все пожелания графа. Они просили папу освободить их орден от инквизиторских функций, доставлявших одни хлопоты и вызывавших к нему такую неприязнь. И верно, многие доминиканцы, даже не будучи инквизиторами, расплачивались за непопулярность своих собратьев, а их монастыри во многих городах подвергались нападениям. С другой стороны, участь Гильома-Арно не обескуражила доминиканцев, не ведавших страха, как, впрочем, и других человеческих чувств, а лишь подогрела их энергию. Как же могли эти неистовые бойцы выйти из игры, когда враг уже наполовину побежден, а король Франции торжествует? Они всего лишь хотели дать понять папе, насколько опасна их успешная миссия. Не обращая внимания на их просьбу, Иннокентий IV подтвердил все их полномочия, ни в коей мере не подчиняя их епископальной юстиции.

ГЛАВА XII

ОСАДА МОНСЕГЮРА

В мае 1243 г. Юг дез Арсис с отрядом французских рыцарей и оруженосцев раскинул шатры у подножия скалы Монсегюр. Надо было дождаться подкрепления, ибо взять в кольцо гору такой величины – дело очень трудное. Казалось, обитателей этой высоченной скалы ничем не проймешь, разве что голодом и жаждой. Оставалось только перекрыть все пути наверх и предоставить летнему солнцу опустошить водяные цистерны. В замке и в хижинах, прилепившихся под его стенами, обитало несколько сот человек: гарнизон (около 150 человек), семья гарнизона и сеньоров и около двухсот еретиков обоего пола.

1. Осада

Осада обещала быть гораздо дольше, чем все осады, предпринятые Симоном де Монфором (если не считать Тулузы, которую трудно сравнить по местоположению с Монсегюром). Каркассон продержался 15 дней, Минерва и Термес 4 месяца, Лаваур 2 месяца, Пен д'Ажене меньше 2 месяцев, Монгальяр 6 недель и т. д. Все эти замки были укреплены гораздо лучше Монсегюра. Такие замки, как Термес и Минерва, обладали великолепной природной защитой, делавшей их неприступными, и только жажда заставила их обитателей сдаться. Монсегюр, учитывая его небольшие размеры, был перенаселен, как никакой другой замок (за исключением Каркассона) во время любой из осад.

По логике вещей он должен был капитулировать к концу лета, но продержался до дождей, и осаждающие уже не могли рассчитывать на нехватку воды в замке. Заморить осажденных голодом тоже не выходило: из обильных приношений верующих в Монсегюре был создан огромный запас продовольствия. В замке всегда имели в виду возможность осады, и если в 1235 г. верующие организовали складчину, потому что отшельникам было нечего есть, то в 1243 г. питание не составляло проблем для осажденных. Пожертвования поступали, деревушка у подножия скалы превратилась в рынок, куда стекались все окрестные купцы; из Тулузы и Каркассона шли обозы с хлебом. Убийство инквизиторов только подняло престиж катарской цитадели, так как теперь в ней скрывались борцы за свободу. Во время осады замок снабжали продовольствием смельчаки, ухитрившиеся обойти блокпосты осаждавшей армии и поднять солидные припасы хлеба до самой

вершины скалы.

Гарнизон постоянно получал свежее подкрепление: преданные делу катаров люди по ночам пробирались сквозь неприятельский лагерь и карабкались до замка, чтобы присоединиться к защитникам. И пока длилась осада, не прекращались сношения с внешним миром: огромную, изрытую ущельями гору со скальными гребнями и уходящими до самой долины известняковыми обрывами было невозможно окружить целиком. Осаждавшая армия численностью около 10 тысяч человек не справлялась с круглосуточным контролем всех горных тропинок, по которым осажденные выходили и возвращались, получали провизию и последние новости, приводили друзей. И трудности осады заключались не только в необычной защите, дарованной Монсегюру природой, но и в крепком единении осажденных со всем окрестным населением.

Подойдя к подножию скалы, с вершины которой замок, казалось, дразнил неприятеля, армия Юга дез Арсиса ограничилась тем, что разбила лагерь в ущелье Трамбльман, оставив тем самым наиболее удобный спуск в долину открытым для осажденных, и заняла деревню. Больше она ничего не могла сделать, оставалось только ждать подкрепления. Архиепископ Нарбоннский прислал ополчение, набранное среди буржуа и простого люда.

У нас нет точных данных о численности французских рыцарей, приведенных сенешалем. Возможно, их было несколько сотен, поскольку Юг дез Арсис приготовился к серьезной осаде и должен был призвать изрядную часть армии, которой располагал. К тому же недавние поражения Тренкавеля и Раймона VII развязали французам руки. Рыцарство, не закаленное в кампаниях Симона де Монфора, не имело опыта войны в горах, зато представляло собой дисциплинированную и монолитную армию, способную, в случае неудачи при штурме, взять противника измором. Однако французы, даже вместе с пажам и оруженосцами, были не столь многочисленны. Местные же отряды, превосходя их по численности, формировались из пехотинцев, которых, согласно приказу архиепископа, города и предместья призывали и экипировали по своему усмотрению. Многие из них не были профессиональными солдатами, и большинство вовсе не горело желанием воевать со своими соотечественниками и несло службу против воли. Из них формировали подразделения, окружавшие гору и контролировавшие дороги, ущелья и перевалы. Несмотря на все усилия архиепископа, во время осады из этой армии непрерывно случались побег и все время чувствовалось, что ее контингент с осажденными заодно. А осажденные непрерывно и зачастую большими группами пересекали линию осады, практически сводя на нет все усилия Юга дез Арсиса блокировать гору. «Орлиное гнездо» можно было взять только штурмом, но, на первый взгляд, эта затея казалась безнадежной.

Нечего было и думать штурмовать скалу или ее открытый крутой склон, ведущий к замку от ущелья Трамбльман: отряд, рискнувший туда подняться, был на полпути обстрелян камнями. Французов вынудили, таким образом, держаться на расстоянии от замка и лишили возможности использовать вооружение и артиллерию.

До восточного гребня, единственного безопасно проходимого, можно было добраться только крутыми горными тропами и перелесками, которые прекрасно знали местные жители. Но и сам гребень просматривался часовыми, отделялся от замка десятиметровым уступом и не давал к нему подойти. Этот узкий стометровый гребешок, единственный подход к цитадели, защищали деревянные укрепления, и оттуда осаждавших могли запросто столкнуть в пропасть. В течение пяти

месяцев осажденные и осаждавшие не покидали своих позиций, одни, сидя на вершине горы, другие – в долине и по окрестным склонам. Видимо, замок все же штурмовали, хотя и безуспешно, ибо трое защитников Монсегюра были смертельно ранены еще до октября 1243 года. И это явилось, пожалуй, единственным результатом дорогостоящей и изнурительной осады.

Кто были обитатели и защитники осажденной крепости? В регистрах инквизиторов есть имена трехсот человек, находившихся в замке во время осады. Имена еще ста пятидесяти неизвестны, так как их не сочли нужным допрашивать, и позже мы объясним, почему.

Раймон де Перелла предоставил себя в полное распоряжение совершенных. Он был скорее интендантом и защитником замка, чем его владельцем. Он жил здесь с семьей: с женой, Корбой де Лантар, двумя дочерьми и сыном. Сын Жордан, видимо, был еще ребенком, так как не принимал активного участия в обороне. Старшая дочь, Филиппа, вышла замуж за Пьера-Роже де Мирпуа, средняя, Арпаида, – за Гиро де Равата, а младшая, Эсклармонда, инвалид от рождения, посвятила себя Богу, как и мать, которая, не будучи совершенной, впоследствии доказала свою горячую преданность вере катаров. Ее матушка, Маркезия де Лантар, тоже находилась в Монсегюре. Муж старшей дочери шателена, шеф гарнизона Пьер-Роже де Мирпуа, файдит, чей замок оккупировали наследники Ги де Левиса, происходил из семьи еретиков и считался одним из лучших рыцарей Лангедока. Форнерия, мать его родственника, Арно-Роже де Мирпуа была из когорты совершенных, обитавших в Монсегюре с 1204 года; ее дочь Аделаида жила там же в обители совершенных. Сыновья Аделаиды, Отон и Альзе де Массабрак, служили в гарнизоне. Дочь Аделаиды была замужем за уже упомянутым Гильомом де Плень. Беранже де Лавеланет приходился тестем сержанту гарнизона Имберу де Салас, а его сестра жила в Монсегюре в числе совершенных. Все шевалье и их оруженосцы принадлежали к небогатой местной знати и составляли, по существу, единую семью. У каждого из них среди родни был по крайней мере один совершенный.

В этой связи возникает вопрос, какова же на самом деле роль женщин в религии катаров? Многие знатные дамы, вдовы или престарелые замужние матроны, удалялись от мира, чтобы посвятить жизнь молитвам вместе с другими совершенными. Они воспитывали своих детей в абсолютной преданности вере, и многие лидеры катарской Церкви предназначались для этого поприща с детства материнским обетом (что, несомненно, объясняет некоторые случаи скандального отступничества среди совершенных). Но ни одна из этих женщин не играла роли, даже отдаленно сравнимой с ролью катарских епископов или диаконов. Хотя некоторые из них и вели в подполье активную деятельность, в иерархии катаров они занимали подчиненное место. Большинство из них жили отшельницами в уединенных гротах, постились и молились, призывая других следовать их примеру. Для нас очевидно то, что учение катаров, которое обвиняли в стремлении разрушать естественные человеческие чувства, являлось на самом деле весьма патриархальным, и как раз сильной его стороной были крепкие семейные связи. Передаваясь от бабушек к внукам, от тестей к зятям, от дядюшек к племянникам, учение формировало вокруг Церкви катаров единое, сильное общество, солидарное как в вере, так и в защите своих интересов. Вот почему так заметна роль женщин: хранительница семейного очага, женщина была и хранительницей религиозной традиции. Те рыцари и дамы, что отправлялись в Монсегюр на Рождество или на Пятидесятницу, приезжали еще и навестить своих почтенных матушек и тетушек и получить их благословение.

Кроме оруженосцев, что были, как правило, родственниками или друзьями детства рыцарей,

гарнизон насчитывал около сотни солдат и сержантов, по большей части местных, хороших бойцов, преданных своим командирам. У некоторых из них в крепости были жены. Жена и дочери Раймона де Перелла имели при себе служанок и компаньонов. Оба хозяина Монсегюра – поскольку власть в замке на самом деле была разделена между шателеном и его зятем, Пьером-Роже де Мирпуа – прекрасно понимали друг друга. Каждый имел своего баиля для надзора за доменами. Помимо людей, принадлежащих к рыцарскому званию, в Монсегюре укрывались те, кто опасался инквизиции: Раймон Марти, брат епископа Бертрана, или Г.-Р. Голоран, принимавший активное участие в авиньонетской резне.

Во время осады число обитателей замка достигало, как мы уже говорили, трехсот человек, включая совершенных. Совершенных было от ста пятидесяти до двухсот, и в этом нет ничего удивительного, так как Монсегюр являлся для их Церкви и официальным прибежищем, и святым местом. Те лидеры катарской Церкви, которые определились к 1232 году, не сочли нужным менять резиденцию, увидев у подножия горы французскую армию. В любом другом месте они еще больше рисковали быть арестованными, да и в глазах всех еретиков Окситании Монсегюр приобрел такое значение, что бегство совершенных было бы расценено как дезертирство. Эти люди, отрицавшие реальность во всех ее видах и не признававшие никаких материальных проявлений священной субстанции, ощущали таинственную связь своей судьбы с судьбой каменной чаши Монсегюра, величественного собора без креста, вознесенного в небо на вершине скалы. Катары защищали не просто человеческие жизни, они защищали свой храм, земной образ веры, и это придавало им необыкновенную силу духа.

Был ли замок на самом деле храмом? Как мы уже говорили, его конструкция как будто на то указывала. Но не более того, ибо никто никогда не упоминал об этой крепости как о церкви. Катары, что бы о них ни говорили, не делали из своих верований никакой тайны и никогда не связывали Монсегюр с каким-либо секретом, противоречащим их доктрине в применении к материи – ни с Голгофой, ни с Гробом Господним, ни с замком Грааля.

В этой крепости действительно было двое широких ворот, а донжон вместо бойниц по первому этажу опоясывали окна. Конечно, здесь службы могли бы проходить более торжественно, чем где бы то ни было. Однако мы знаем, что ритуалы катаров отличались простотой. Да и нижний зал донжона – единственное пригодное для церемоний и проповедей помещение – был очень мал: около 50 квадратных метров, то есть его площадь по нашим меркам едва соответствовала площади удобной квартиры для молодой четы. Такие пропорции не обеспечивали ни особой торжественности проповедей, ни толпы слушателей. Возможно, местом для проповедей служила также пятиугольная укрепленная галерея в нижней части донжона (600 квадратных метров), но она по большей части была занята запасами продовольствия, конюшнями, оружейными складами, метательными снарядами, кроме того, в ней жили защитники крепости. Короче говоря, храм был мал и неудобен. Похоже, что рассудительные катары выбрали это место для своей столицы исключительно за красоту и неприступность.

«Орлиное гнездо», обреченное Церковью на адское пламя, жило интенсивной религиозной жизнью, которой были чужды превратности жизни земной. Совершенные, обитавшие в хижинах под стенами замка, скорее занимались толкованием Евангелия и отправлением обрядов, чем следили за ходом осады. Ситуация, однако, была тяжелой: в мае месяце диакон Кламан с тремя другими совершенными спустился из Монсегюра и добрался до Коссона, без сомнения, чтобы установить

контакты с надежными друзьями, которым можно было бы в случае опасности доверить сокровища. Кламан и его спутники вернулись в Монсегюр без труда. Незадолго до них двое других совершенных, Р. де Косса с компаньоном, тоже спустились, чтобы отправиться в замок совершить обряды и преломления хлеба. Сопровождавшая их стража вернулась в Монсегюр без них.

В первую голову защитники замка должны были думать о том, чтобы обеспечить надежное убежище лидерам Церкви катаров, которых, в случае падения цитадели, ждала неминуемая гибель. Это не составляло особых трудностей, поскольку в течение месяцев осады вход и выход из замка оставались возможными, а совершенные, закаленные годами аскезы, не боялись крутых горных тропинок. Однако большинство из них остались в Монсегюре до конца.

Нам известно, что из крупных деятелей катарской Церкви в Лангедоке на момент осады в Монсегюре находились епископ Бертран Марти и Раймон Эгюйе, в 1225 году избранный «старшим сыном» епископа Раде (это он был оппонентом св. Доминика на диспуте почти 40 лет назад); диаконы Раймон де Сен-Мартен (или Санкто Мартино), Гильом Жоаннис, Кламан, Пьер Бонне – только первый из них известен как активный проповедник. Свидетельские показания на допросах инквизиции указывают еще на восьмерых диаконов, служивших в разных районах Лангедока после 1243 года, но они не имели прямых сношений с Монсегюром. След остальных тридцати диаконов, о которых упоминает в своей работе об инквизиции Жан Гиро, теряется незадолго до 1240-42 годов. Наиболее известные из них – Изарн де Кастр, Вигоро де Бакониа, Жан Камбьер – были сожжены, первый в 1233 г., двое последних соответственно в 1233 г. и в 1234 г. Гильом Рикар был арестован и сожжен в 1243 г. в Лорагэ. Диаконы Раймон де Сен-Мартен, Раймон Мерсье (или де Мирпуа), Гильом Турнье находились и служили в районе Монсегюра много лет, но точных указаний на то, что они находились там во время осады, нет. Раймон Мерсье, который в 1210 году пользовался огромной популярностью в стране, умер незадолго до 1243 года. Гильом Турнье в 1240 году был еще жив, как и Гийаберт де Кастр. В 1240 году следы Гийаберта де Кастра теряются. Возможно, он погиб в Монсегюре, хотя ни один документ его смерти не подтверждает. К этому моменту ему исполнилось около 80 лет, но он продолжал вести жизнь, полную ночных путешествий и тайных встреч, странствуя по замкам, деревням и лесам, и, видно, смерть должна была настичь его в разгар деятельности.

Кроме Раймона де Сен-Мартена, епископа Бертрана и Раймона Эгюйера, другие катарские лидеры не находились в Монсегюре во время осады. Большинство уже не было в живых, остальные продолжали свое апостольство втайне, день ото дня подвергая себя все большей опасности. Монсегюр не стал ни последним оплотом, ни последней надеждой для Церкви катаров. Он служил живым символом надежды для массы верующих.

Совершенные обою пола, укрывшиеся в Монсегюре, были в большинстве либо люди пожилые, либо мистики, целиком поглощенные изучением и толкованием Писания, либо неофиты, проходящие здесь период испытания. Для катаров Монсегюр являлся одной из последних обителей и семинарий.

В разгар осады, летом 1243 года, все они жили на тесном пятачке над скалистым склоном горы между высокой стеной замка и временными укреплениями, растянувшимися вдоль наклонной террасы, окружавшей крепость. Длинное каменное здание охватывал пояс деревянных хижин шириной местами в несколько десятков метров, открытый всем ветрам и в буквальном смысле не

имеющий другой защиты, кроме высоты и крутизны скалы. Такое поселение, попади оно в радиус обстрела катапульты, можно снести за несколько часов.

Выражение *infra castrum* (под замком)[175], которое встречается в свидетельских показаниях Беранже де Лавеланета и Р. де Перелла, наводит на мысль о существовании подземных обиталищ, куда можно было попасть только изнутри замка. И в самом деле, почему Гийаберт де Кастр хотел получить у Раймона де Перелла разрешение жить под замком, а не в замке, и каким образом шевалье Р. де Конгост во время осады мог находиться под замком в течение трех месяцев? Хотя нынешнее состояние развалин не обнаруживает никаких следов входа в подземелье, обилие пещер и рытвин в окрестностях вполне позволяет допустить гипотезу о наличии большого подземного грота, расположенного точно под замком, вход в который под конец осады замуровали изнутри. Однако предположить существование настоящего подземного замка с коридорами, лестницами, залами для тренировок, дортуарами, комнатами и похоронными пещерками (как это делает Н. Пейрат) было бы лишено основания дерзостью. Если бы это было правдой, об этом знали бы многие, но никто из современников об этом не упоминает.

Возможно, выражение «жить под замком» объясняется попросту тем, что крошечные хижины, прилепившиеся на крутом склоне к высоким – от пятнадцати до двадцати метров – стенам замка, создавали иллюзию, что они находятся под ним, а не рядом с ним. Нет, катарские отшельники селились на вольном воздухе, во времянках, по тесноте и неудобству очень напоминающих лачуги нашей бедноты, но никак не в неприступных подземных лабиринтах. До осады некоторые из них жили на той же горе, на лесистом восточном склоне, и переселились к замку, увидев приближение неприятельской армии. Считалось, что у каждого совершенного был свой «дом», и туда приходили верующие, люди гарнизона, жены шателенов поклониться совершенным и преломить с ними благословенный хлеб, туда же приносили умирающих, чтобы совершить обряд *consolamentum*. Дома епископов и диаконов, в отличие от жилищ остальных совершенных, находились за внешним каменным укреплением. Хижины за пределами этого укрепления были обитаемы вплоть до последних месяцев осады. Пропасть, простиравшаяся за ними, защищала их лучше всякого земляного вала.

Совершенные жили обычно по двое (принимая во внимание нехватку места), хотя есть упоминания и о нескольких обитателях одной хижины. Предполагалось, что мужчины жили отдельно от женщин. У большинства совершенных были родственники или близкие друзья среди гарнизона. Во время осады Монсегюр жил жизнью общины, в которой делят на всех и хорошее, и плохое.

Трудно представить себе, что такое жизнь более сотни человек, из которых добрая половина – кандидаты на костер. Даже в примитивной Церкви мученики составляли почетное исключение, им поклонялись, как героям. Для совершенных это мученичество было само собой разумеющейся обязанностью. Если они и не были уверены в исходе осады – а они, конечно, надеялись до последнего, – то глядя сверху на прибывающих, копошащихся в ущелье солдат, они, должно быть, заранее приготовились к смерти. Ничто не свидетельствовало о том, что они не знали боли и страха. Ясно одно: они остались наверху, предпочтя встречу с опасностью плечом к плечу, свободно исповедуя свою веру, сомнительному риску одинокой, унижительной жизни в подполье, с тем же костром в конце пути.

Защитники Монсегюра долго надеялись вывести противника из терпения: приближалась зима, а в

горах уже в октябре наступает сезон непогоды. Но как раз в октябре осаждавшим удалось добиться успеха, и шансы осажденных начали убывать. Юг дез Арсис нанял отряд рутьеров-басков, которые в горах были как дома и не боялись подходов к Монсегюру. Баски вскарабкались вверх по горе и добрались до узкой платформы на восточном склоне, метрах в восьмидесяти ниже замка.

Стычки между басками и гарнизоном, несомненно, возникали, так как были смертельно ранены сержант Гиро Кларет и шевалье Альзе де Массабрак. Баски держались твердо, и осажденные видели, что они отвоевали позиции, добравшись почти до высоты замка, и взяли под контроль большую часть горы и единственный удобный путь сообщения с долиной. Оставались еще пути, которыми осажденные пользовались неоднократно: тропинки на лесистом, изрезанном ущельями склоне, практически недоступном для наблюдения.

В ноябре к осаждавшей армии, прибодлившейся после успеха басков, явилось подкрепление. Его привел епископ Альби, Дюран, весьма энергичный прелат, который умел поднять боевой дух солдат и беседой, и личным примером. Но, кроме всего прочего, он был способным инженером, специалистом по военным машинам. Он заставил солдат затащить до самой занятой басками платформы доски и брус, а камнетесы принялись за работу, заготавливая каменные ядра. Как только смонтировали катапульту, французы получили возможность обстреливать деревянный барбакан [176], который, выдвигаясь над пропастью, защищал подходы к замку.

Положение осажденных пока еще не было отчаянным: хотя неприятелю и удалось поднять наверх людей и боеприпасы, его позиция была все же очень стесненной и опасной и не давала свободы маневра. Осажденные постоянно контролировали вершину горы и не теряли связи с долиной. Уразумев, что епископ Альби сконструировал катапульту, чтобы обстреливать Монсегюр, сторонники катаров – кто? вопрос спорный до сих пор – вызвали в цитадель инженера Бертрана де Баккалариа из Капденака. Преодолев блокпосты, он поднялся в замок и тоже соорудил катапульту, водрузив ее на барбакан. Теперь обе стороны могли обмениваться залпами, и позиции сравнялись. Однако у осажденных было одно серьезное преимущество: они могли укрыться в замке, в то время как французы на склоне возле своей катапульты страдали от холода, ветра и снега. Надо отдать должное мужеству епископа Дюрана, руководившего артиллерией, который умудрялся удерживать позицию и заставлял людей выстаивать под порывами ледяного ветра и снега. Приближался конец декабря, а обе стороны не сдвинулись с октябрьских позиций и обе катапульты продолжали с большей или меньшей частотой обмениваться залпами.

Преимущество крестоносцев состояло в том, что они постоянно получали свежее подкрепление. Монсегюр, напротив, потерял многих бойцов, а подкрепление было скудным – два-три солдата время от времени. Люди устали от многомесячной осады. Какими бы преимуществами они ни обладали, их было всего несколько сотен против шестидесяти тысяч. Никто не мог ни сменить их, ни дать передышки. Они были блокированы на смехотворно тесной территории с большим количеством женщин, стариков и прочего небоеспособного люда. В таких условиях, даже в компании самых святых людей, жизнь может стать невыносимой.

Но мужества этим солдатам было не занимать, они могли держаться еще очень долго. Однако усталость брала свое. В эти зимние месяцы Пьер-Роже де Мирпуа много раз посылал гонцов вниз узнать, «хороши ли дела у графа Тулузского» [177]. Ответ, присылавшийся, разумеется, не самим графом, а тем, кто поддерживал с ним связь, всегда был утвердительным. Гарнизон держался.

Означали ли графские «дела» готовящуюся попытку восстания, которое позволило бы Раймону VII прислать армию для освобождения Монсежюра? Он все время просил осажденных продержаться еще, хотя его официальное положение преследователя еретиков не позволяло ему связываться с крепостью напрямую.

Совершенные мало что могли сделать в помощь сопротивлению, от которого зависела их участь, зато они всячески старались скрасить суровую жизнь защитников. Нам известно, что некоторых шевалье и даже сержантов совершенные приглашали в свои дома, угощали их и дарили им подарки. Совершенный Раймон де Кюк приглашал к себе Пьера-Роже де Мирпуа, диакон Раймон де Сен-Мартен принимал Гильома Адемара, Раймона де Бельвиса, Имбера де Саласа и инженера Бертрана де ла Баккалариа. Позднее епископ Бертран Марти роздал сержантам перец и соль [178]. Даже те, у кого не было ни друзей, ни родни среди совершенных, в конце концов сблизились с ними в общей беде и стали считать их членами единой семьи, а не высшими существами, которым надо поклоняться. Нельзя же без конца кланяться и приседать перед людьми, с которыми сталкиваешься по двадцать раз на день. Многие сержанты впоследствии докажут свою преданность вере совершенных.

Измученные тяготами осады люди, конечно, были бы рады покончить со всем этим любой ценой. Известно, что Имбер де Салас беседовал с самим Югом дез Арсисом, но неясно, зачем и при каких обстоятельствах. Как бы там ни было, Пьер-Роже де Мирпуа упрекал его за это и в наказание отобрал доспехи шевалье Жордана дю Маса, убитого в одной из стычек возле барбакана [179]. Шеф гарнизона приказал ограничить общение с крестоносцами выстрелами из арбалетов, что говорит о том, что попытки установить с ними контакты имели место, и безуспешно.

Мораль гарнизона пошатнулась, но вопрос о капитуляции не стоял, и штурм крепости все еще казался невозможным. Под Рождество или сразу после Рождества осаждавшие перешли к решительным действиям: они захватили барбакан и оказались, таким образом, в нескольких десятках метров от замка. На самом деле замок остался для них таким же неприступным, как и был: чтобы его достичь, надо было пройти по гребню шириной в полтора метра между двумя пропастями. Но им все же удалось отбросить защитников барбакана и установить там свою катапульту. Теперь южная и восточная стороны крепости оказались под обстрелом, и жителей окружавших ее хижин пришлось эвакуировать. Разумеется, они должны были укрыться за крепостными стенами, но там практически не было места, где расположиться. Штурмующие контролировали теперь всю гору, они были почти у цели, и катапульта епископа Альби без усталости долбила восточную стену замка.

Как удалось крестоносцам занять и восточную башню, отделенную от их аванпоста трудным и хорошо защищенным проходом? Согласно Гильому Пюилоранскому, они воспользовались скальным маршрутом. Проводниками служили местные легковооруженные горцы, прекрасно знающие окрестности [180]. Очевидно, речь шла о тайном маршруте, поскольку баски, сами прекрасные скалолазы, его не нашли. И это была не тропа, а цепь скальных уступов, соединенных между собой выбитыми в камне ступенями. Маршрут должны были знать либо очень немногие обитатели поселения возле замка, либо проводники, сопровождавшие совершенных в это поселение.

Пользовались им редко: он проходил, как утверждает Гильом Пюилоранский, «над страшной пропастью», и солдаты, пролезшие его ночью, потом сознавались, что днем ни за что бы на это не отважились. Пройдя почти вертикальную стенку, они очутились у барбакана, который охраняли

осажденные, и их подпустили совсем близко, видимо, по голосам проводников приняв их за своих.

Получается, что восточную башню французы взяли, пользуясь внезапностью маневра: часовые успели подать сигнал тревоги, но штурмовавших было много и они отличались напористостью и нахальством. Неизвестно, сколько солдат охраняли барбакан, но, видимо, их перебили раньше, чем подоспела подмога из замка. Теперь крестоносцы целиком завладели горой, и их отряды могли спокойно подниматься на гребень, не боясь, что будут сброшены оттуда: узкий проход, отделявший замок от барбакана, защищал осажденных, но не оставлял свободы наступательного маневра. Возможно, на этот раз защитники Монсегюра стали жертвами предательства: среди проводников, явно польстившихся на золото крестоносцев, оказались люди, которые пользовались доверием осажденных. Иначе невозможно объяснить, отчего осаждавшие не узнали о секретном маршруте на несколько месяцев раньше.

Только лишь под конец этого дня защитники Монсегюра осознали, что дело проиграно. После взятия башни совершенные Матье и Пьер Бонне спустились из крепости, унося с собой золото, серебро и громадное количество монет (*resuniam infinitam*) – сокровище, которое надо было прятать. Имбер де Салас на допросе показал, что это удалось сделать при попустительстве солдат осаждавшей армии, которые охраняли последний доступный для осужденных проход. Солдаты были из фьефа Мирпуа, из Камона-сюр-Эрс. Вынести сокровище из крепости – дело очень рискованное, и путь, который при этом надо преодолеть, еще труднее и опаснее, чем ночное восхождение крестоносцев. Если уж защитники Монсегюра дождались дня, когда других путей для переправки сокровища уже не осталось, значит, раньше слишком были уверены в неприступности крепости. Золото и серебро на очень крупную сумму совершенные унесли в леса в горах Сабарте до той поры, пока не найдется более надежный тайник.

Осада продолжалась. Попытка французов заставить осажденных врасплох потерпела поражение. Восточная стена, короткая и очень массивная, не обрушилась и даже не была серьезно повреждена катапультай. Бертран де Баккалариа спешно монтировал другое орудие. В январе в замок вернулся совершенный Матье и привел с собой двух воинов, вооруженных арбалетами, – не бог весть какое подкрепление, но все же лучше, чем ничего. Идти в одиночку по маршруту через Портей (детали осады подробно описаны в работе Ф. Ниэля «Монсегюр, вдохновенная гора») могли решиться только отчаянные смельчаки. Одна беззаветная преданность своей вере могла в такой момент заставить их стремиться в Монсегюр. Матье еще раз спускался в долину в поисках подкрепления и на этот раз доставил только одного человека и множество обещаний, которые были невыполнимы из-за неусыпной бдительности оцепивших гору отрядов.

Тем не менее, осажденные продолжали надеяться. Сержантов, которых привел Матье, судя по сведениям, полученным на допросе Имбера де Саласа, прислал Изарн де Фанжо и велел передать Пьеру-Роже, что граф Тулузский просил его продержаться до Пасхи. Так ли было на самом деле? Сержанты утверждали, что граф собирается, при поддержке императора, поднять армию для освобождения Монсегюра. Сомнительно, чтобы Пьер-Роже де Мирпуа поверил таким зыбким и, в сущности, невыполнимым обещаниям. Скорее всего, информация Матье и двух сержантов не преследовала иных целей, кроме поднятия боевого духа гарнизона. Однако у графа были свои причины просить защитников Монсегюра продержаться как можно дольше. Повторная вылазка Матье принесла свои плоды: он убедил двоих сеньоров, Бернара д'Алиона и Арно д'Юссона,

связаться с человеком, способным спасти положение. Они пообещали 50 мельгорских ливров командиру арагонских рутьеров по имени Корбаро, если он приведет в Монсежур двадцать пять сержантов. Очевидно, речь шла об элитном отряде, где каждый испытанный в боях араговец стоил рыцаря. При содействии гарнизона они смогли бы прогнать французов с передовых позиций и сжечь их катапульту. Однако Корбаро не смог даже пройти через линию охраны осаждавшей армии. На этот раз Монсежур оказался полностью отрезанным от внешнего мира и не мог больше рассчитывать ни на кого.

Замок продержался весь февраль Гильом Пюилоранский пишет: «Осажденным не давали покоя ни днем, ни ночью»[181]. Катапульта стреляла непрерывно, и соорудить защитные укрепления на стене под обстрелом было невозможно. Внутри крепости люди буквально жили друг у друга на головах. Любопытно, что вплоть до последних дней осады многие защитники крепости – по крайней мере, командиры – имели свои «дома». Большинство из них располагалось возле северной и западной стен замка, недоступных при обстреле. В наши дни пространство, отделяющее крепостную стену от края почти отвесной скалы, резко сократилось, и скала сразу переходит в крутой склон. И теперь еще в этих местах можно видеть деревни, прилепившиеся к почти вертикальным стенкам, но в Монсежуре нет никаких следов развалин домов или других каменных строений, кроме останков стены, которая, несомненно, опоясывала и предохраняла замковый госпиталь. Здесь, на голой скале, в крошечных, неотопливаемых деревянных хижинах, либо в замке, в пристройках к складам и цистерне, под грохот каменных ядер, долбивших стену, обитали старики, больные и раненые.

Посоветовавшись с епископом Бертраном и Раймоном де Перелла, Пьер-Роже де Мирпуа решил предпринять ночную вылазку и попытаться занять барбакан, сбросить оттуда крестоносцев и сжечь их катапульту. Людям из гарнизона удалось, карабкаясь по выступающим скальным гребням, приблизиться к неприятельскому лагерю. Но эта отчаянная попытка была отбита, и многие из осажденных погибли в стычке над пропастью, сорвавшись вниз. Остальные продолжали драться, отступая по узкому проходу между замком и барбаканом, таща за собой раненых и отбиваясь от неприятеля, пытавшегося воспользоваться ситуацией и сломить последнюю защиту крепости [182].

Епископ и диаконы едва успевали среди грохота, лязга оружия и стонов раненых перебежать от одного умирающего к другому, чтобы совершить предсмертный обряд. Бернар Роэнь, каталонец Пьер Ферье, сержант Бернар из Каркассона, Арно из Венсы умерли в эту ночь «в утешении»[183]. Последним усилием гарнизон отбросил неприятеля назад к барбакану. Учитывая особенности расположения поля боя, буквально висевшего в пустоте, можно догадаться, что число погибших намного превышало число раненых, которым удалось добраться до замка.

Наутро после трагической ночи со стены крепости затрубил рог. Раймон де Перелла и Пьер-Роже де Мирпуа запросили переговоров.

2. Костер

Переговоры начались 1 марта 1244 года. После более девяти месяцев осады Монсежур капитулировал. Крестоносцы, сами измученные долгой осадой, долго не торговались. Условия капитуляции были следующие:

Защитники крепости находятся в ней еще 15 дней и освобождают заложников.

Им прощаются все преступления, включая авиньонетское дело.

Воины могут уйти, взяв оружие и вещи, предварительно исповедавшись у инквизитора. На них

будет наложено самое легкое покаяние.

Все остальные, находящиеся в крепости, тоже будут отпущены на свободу и подвергнутся легкому наказанию, если отрекутся от ереси и покаются перед инквизицией. Те, кто не отречется, будут преданы огню.

Замок Монсегюр переходит во владение короля и Церкви.

Условия были, в общем, неплохие, трудно было бы добиться лучших: благодаря стойкости и героизму, людям Монсегюра удалось избежать казни и пожизненного заключения. Участникам резни в Авиньонете гарантировали не только жизнь, но и свободу.

Почему же Церковь в лице своего представителя, принимавшего участие в осаде, согласилась простить столь страшное преступление? Ведь вину убийц Гильома-Арно следовало приравнять к вине еретиков. Скорее всего, почва была уже подготовлена, если обе стороны так быстро пришли к согласию в этом вопросе. Переговоры, которые посредством гонцов без конца вел с осажденными граф Тулузский, должны были касаться, среди прочих, и авиньонетского дела.

В действительности, граф в период осады вел активные переговоры с папой, добиваясь снятия отлучения, наложенного на него на другой день после резни, в которой он объявлял себя невиновным. В конце 1243 года папа Иннокентий IV отозвал сентенцию брата Ферье, заявив, что граф является его «верным сыном и преданным католиком». Отлучение, наложенное архиепископом Нарбоннским, было снято 14 марта 1244 года, двумя годами раньше взятия Монсегюра королевской армией. Возможно, совпадение дат случайно, но возможно, что существовала тесная связь между демаршами графа и судьбой людей Монсегюра, в особенности Пьера-Роже де Мирпуа, который был очень заинтересован в благополучном развитии графских дел. Граф просил осажденных держаться как можно дольше не для того, чтобы выслать им подкрепление (об этом он даже и не помышлял), а для того, чтобы заслужить прощение за Авиньонет. Показания людей Монсегюра могли скомпрометировать очень многих находящихся внизу (в том числе и самого графа), но никого из них не тронули.

С другой стороны, личная доблесть защитников и необходимость наконец покончить с осадой, которая растянулась бы еще, не получи осажденные прощение, могла заставить Юга дез Арсиса оказать давление на архиепископа и на брата Ферье. Французы явно не были склонны переоценивать политическое преступление, каковым являлось авиньонетское убийство. Быть может, они начинали понимать ситуацию в стране и чувства местного населения. Солдаты Монсегюра храбро сражались и имели право на уважение противника.

В Монсегюре заключили перемирие. Пятнадцать дней неприятеля не допускали в крепость; пятнадцать дней, согласно данному слову, обе стороны оставались на своих позициях, не пытаясь ни бежать, ни нападать. Катапульту епископа Дюрана демонтировали, часовые больше не вышагивали по земляному валу, и солдатам не надо было все время находиться в боевой готовности. Последние дни свободы Монсегюр прожил мирно – если можно назвать миром ожидание разлуки и смерти под неусыпным наблюдением неприятеля с башни в ста метрах от замка.

По сравнению с теми трагическими часами, что им пришлось пережить, для обитателей Монсегюра наступили дни покоя. Для многих из них они были последними. Остается только теряться в догадках, зачем оговорили эту отсрочку, только продлевающую невыносимое существование обитателей замка. Может, это объяснялось тем, что архиепископ Нарбоннский не мог взять на себя

ответственность за оправдание убийц инквизиторов и счел необходимым доложить папе? Скорее всего, отсрочку попросили сами осажденные, чтобы еще побыть с теми, кого они больше не увидят. А может (и этого мнения придерживается Ф. Ниэль), епископ Бертран Марти и его товарищи хотели перед смертью в последний раз отпраздновать праздник, который у них соответствовал Пасхе. Известно, что катары отмечали этот праздник, ибо один из великих постов у них предшествовал именно Пасхе.

Можем ли мы утверждать, что под этим названием подразумевался манихейский праздник Бета, тоже приходящийся на это время? Ни один документ не позволяет нам установить это с уверенностью, к тому же, как мы уже наблюдали, в ритуале катаров, настойчиво и щедро цитирующем Евангелие и Послания апостолов, нет ни одного упоминания имени Мани. Не имела ли эта религия двух различных Заветов и не являлся ли *consolamentum*, которое почиталось высшим таинством, религиозным актом, предназначенным лишь для непосвященных? С таким предположением трудно согласиться. Учение катаров, манихейское по доктрине, было глубоко христианским по форме и идейному выражению. Катары поклонялись исключительно Христу, и ни для какого Мани в их культе не оставалось места. И, тем не менее, у нас недостает данных, чтобы понять, что же представлял собой этот праздник – Пасху или Бему?

Очень вероятно и по-человечески понятно, что перед тем, как расстаться навсегда, совершенные и воины выговорили себе эту бесценную передышку. Ничего лишнего они не просили, но и большего добиться было бы очень трудно.

Заложников отпустили в первых числах марта. Согласно сведениям, полученным при допросах, это были Арно-Роже де Мирпуа, престарелый шевалье, родственник шефа гарнизона; Жордан, сын Раймона де Перелла; Раймон Марти, брат епископа Бертрана; имена остальных неизвестны, список заложников не был найден.

Некоторые авторы полагают, что Пьер-Роже де Мирпуа покинул замок незадолго до окончания перемирия, заранее подписав акт о капитуляции. Это предположение маловероятно, поскольку, согласно показаниям Альзе де Массабрака, 16 марта Пьер-Роже еще находился в крепости. Известно, что потом он уехал в Монгальяр, и далее его след теряется на десять лет. Молчание, которым было окружено его имя, послужило поводом для обвинений если не в предательстве, то в дезертирстве. Однако, для победителей было бы логично объявить нежелательным присутствие в крепости главного зачинщика авиньонетской резни и попросить его убраться как можно скорее. Человек, открыто высказавший желание выпить вина из черепа Гильома-Арно, мог рассчитывать на милость, так сказать, только по случаю. Одиннадцать лет спустя королевский судебный следователь упоминал его как «файдита, лишённого владений за пособничество еретикам и их защиту в замке Монсегюр». Гражданские права ему вернули не раньше 1257 года. Трудно поверить, чтобы такой человек мог вступить в какие-либо сношения с неприятелем.

Выходит, что Пьер-Роже де Мирпуа и его тесть Раймон де Перелла до окончания перемирия находились в крепости вместе с большинством гарнизона, семьями и еретиками, которые отказались отречься и, согласно условиям капитуляции, должны были взойти на костер. Свои пятнадцать дней они посвятили религиозным церемониям, молитвам и прощанию.

О жизни обитателей Монсегюра в эти трагические пятнадцать дней нам известно только то, что инквизиторам удалось выспросить у тотчас же допрошенных свидетелей: точные, скупые детали, чье

трогающее душу величие не может заслонить намеренная сухость изложения. Прежде всего – это раздача имущества осужденных на смерть. В знак признательности за заботу еретики Раймон де Сен-Мартен, Амьель Экарт, Кламан, Тапарель и Гильом Пьер принесли Пьеру-Роже де Мирпуа множество денье в свертке из одеяла. Тому же Пьеру-Роже епископ Бертран Марти отдал масло, перец, соль, воск и штуку зеленого полотна. Другими ценностями суровый старец не владел. Остальные еретики подарили шефу гарнизона большое количество зерна и пятьдесят камзолов для его людей. Совершенная Раймонда де Кюк подарила сержанту Гильому Адемару меру пшеницы (считалось, что хранившаяся в крепости провизия принадлежала не владельцам замка, а Церкви катаров).

Престарелая Маркезия де Лантар отдала все свое имущество внучке Филиппе, жене Пьера-Роже. Солдат одаривали мельгорскими су, воском, перцем, солью, башмаками, кошельками, одеждой, войлоком... всем, чем владели совершенные, и каждый из этих даров, несомненно, приобретал характер святыни [184].

Далее в свидетельствах допрошенных речь шла об обрядах, при которых им довелось присутствовать, – и единственное, о чем их спрашивали в подробностях, – это *consolamentum*. В этот день, когда сам факт соединения с Церковью катаров означал смертный приговор, по меньшей мере семнадцать человек сделали такой выбор. Их было одиннадцать мужчин – все шевалье или сержанты – и шесть женщин.

Одна из женщин, Корба де Перелла, дочь совершенной Маркезии и мать парализованной девушки, возможно, уже принявшей *consolamentum*, долго готовилась к этому серьезному шагу. Она решилась лишь на рассвете последнего дня перемирия. Предпочтя принять муку за веру, она расставалась с мужем, двумя дочерьми, внуками и сыном [185]. Эрменгарда д'Юссат была одной из знатных дам региона, Гульельма, Бруна и Арсендида – женами сержантов (две последних взошли на костер в одиннадцатом часу вместе со своими мужьями совершенно добровольно). Все они были молоды, как и их мужья. Возможно, постарше была жена Беранже де Лавеланета, Гульельма.

Из шевалье *consolamentum* во время перемирия приняли двое: Гильом де л'Иль – тяжело раненый за несколько дней до этого – и Раймон де Марсилиано. Остальные – сержанты Раймон-Гильом де Торнабуа, Бразийак де Калавелло (оба принимали участие в авиньонетской резне), Арно Домерк (муж Бруны), Арно Доминик, Гильом де Нарбонна, Понс Нарбона (муж Арсендида), Жоан Пер, Гильом дю Пюи, Гильом-Жан де Лордат и, наконец, Раймон де Бельвис и Арно Теули, поднялись в Монсегюр, когда положение было уже безнадежным, словно проделали такой опасный путь, чтобы стать мучениками. Все эти солдаты могли покинуть замок с военными почестями и с гордо поднятой головой, но они предпочли, чтобы их согнали, как скотину, привязали к вязанкам хвороста и заживо сожгли бок о бок с наставниками по вере.

Об этих наставниках нам известно немного, за исключением того, что епископ Бертран, Раймон де Сен-Мартен и Раймон Эгюйер совершали обряд *consolamentum* над теми, кто об этом просил, и раздавали свое имущество. Совершенных обоего пола насчитывалось около 190 человек, однако известно, что в Монсегюре сожгли 210 или 215 еретиков, и те, чьи имена мы можем назвать с определенностью, были простыми верующими, принявшими обращение в последний момент.

Потрясает то, что добрая четверть оставшихся в живых воинов гарнизона были готовы умереть за веру не в порыве энтузиазма, а после долгих дней осознанной подготовки. Мучеников потерпевшей

крах религии никто не канонизировал, но эти люди, чьи имена записали только для того, чтобы свидетелей их обращения занести в черный список, сполна заслужили статус мучеников.

По крайней мере трое из совершенных, находившихся в крепости в момент капитуляции, избежали костра. Это было нарушением договора, и узнали об этом только после оккупации замка французами. Ночью 16 марта Пьер-Роже велел еретикам Амьелю Экарту, его компаньону Юго Пуатвену и третьему человеку, чье имя осталось неизвестным, спуститься по веревке вниз с восточного края скалы. Когда французы вошли в замок, эти трое находились в подземелье и избежали участи своих братьев. Они должны были вынести и надежно спрятать то, что оставалось от сокровища катаров, и отыскать тайник с деньгами, спрятанными двумя месяцами раньше. В действительности Пьер-Роже де Мирпуа и его рыцари покинули замок последними, уже после катаров и после женщин и детей. Они должны были до последнего момента оставаться хозяевами крепости. Эвакуация сокровищ удалась, и ни троих еретиков, ни сами сокровища власти не обнаружили.

«Когда еретики покинули замок Монсегюр, который должны были вернуть Церкви и королю, Пьер-Роже де Мирпуа задержал в означенном замке Амьеля Экарта и его друга Юго, еретиков; и в то время как остальные еретики были сожжены, означенных еретиков он спрятал, а потом дал им уйти, и сделал это для того, чтобы Церковь еретиков не потеряла свои сокровища, спрятанные в лесах. Беглецы знали место тайника»[186]. Б. де Лавеланет также утверждает, что по веревке спустились А. Экарт, Пуатвен и еще двое, которые сидели в подземелье, когда французы вошли в замок. Монсегюр пал, но Церковь катаров продолжала борьбу.

За исключением этих троих (или четверых) человек, которым была поручена опасная миссия, никто из совершенных не смог, а, возможно, и не захотел избежать костра. Как только истек срок перемирия, сенешаль и его рыцари в сопровождении церковных властей появились у ворот замка. Епископ Нарбоннский незадолго до этого отбыл восвояси. Церковь представляли епископ Альби и инквизиторы брат Ферье и брат Дюранти. Французы сделали свое дело и обещали жизнь всем сражавшимся. Теперь судьба защитников Монсегюра зависела только от церковного трибунала.

Покидая крепость, Раймон де Перелла оставлял палачам жену и младшую дочь. Отцы, мужья, братья и сыновья так хорошо усвоили закон, в течение веков приводивший нераскаянных еретиков на костер и жестоко отрывавший их от близких, что научились воспринимать его как логический результат поражения и видеть в нем проявление слепого рока. Как же отличали тех, кому не было прощения? Возможно, они обозначали себя сами, держась в стороне от других. В такой ситуации бесполезно было подвергать их допросам и заставлять признавать то, что они и не пытались скрывать.

Гильом Пюилоранский пишет: «Напрасно призывали их обратиться в христианство»[187]. Кто и как их призывал? Скорее всего, инквизиторы и их помощники отдельной группой вывели из крепости двести с лишним еретиков, попутно для проформы высказав им порицание. На рассвете дочери Корбы де Перелла, Филиппа де Мирпуа и Арпаида де Рават, простились с матерью, которая на несколько коротких часов предстала перед ними уже в качестве совершенной. Арпаида, не осмеливаясь вдаваться в детали, дает нам почувствовать ужас момента, когда ее мать вместе с остальными вывели навстречу смерти: «...их выгнали из замка Монсегюр, как стадо животных...»[188].

Во главе группы приговоренных шел епископ Бертран Марти. Еретики были скованы цепью, и их безжалостно тащили по крутому склону к месту, где был приготовлен костер.

Перед Монсегюром, на юго-западном склоне горы – практически, это единственное место, куда можно спуститься, – есть открытая поляна, которая нынче зовется «полем сожженных». Это место расположено менее чем в двухстах метрах от замка, и тропа к нему очень крута. Гильом Пюилоранский говорит, что еретиков сожгли «у самого подножия горы», и, возможно, это и есть поле сожженных.

В то время как наверху совершенные готовились к смерти и прощались с друзьями, часть сержантов французской армии была занята последней осадной работой: надо было обеспечить надлежащий костер для сожжения двухсот человек – приблизительное число приговоренных им назвали заранее. «Из кольев и соломы, – пишет Гильом Пюилоранский, – соорудили палисад, чтобы отгородить место костра»[189]. Внутри снесли множество вязанок хвороста, соломы и, возможно, древесную смолу, поскольку весной дерево еще сырое и плохо горит. Для такого количества приговоренных, скорее всего, некогда было ставить столбы и привязывать к ним людей по одному. Во всяком случае, Гильом Пюилоранский упоминает только, что их всех согнали в палисад.

Больных и раненых попросту бросили на охапки хвороста, остальным, быть может, удалось отыскать своих близких и соединиться с ними... и хозяйка Монсегюра умерла рядом с матерью и парализованной дочкой, а жены сержантов – рядом с мужьями. Быть может, епископ успел среди стонов раненых, лязга оружия, криков палачей, разжигавших костер, и заунывного пения монахов обратиться к своей пастве с последним словом. Пламя вспыхнуло, и палачи отпрянули от костра, уберегаясь от дыма и жара. За несколько часов двести живых факелов превратились в груды почерневших, окровавленных тел, все еще прижимавшихся друг к другу. Над долиной и замком плыл жуткий запах горелого мяса.

Защитникам, оставшимся в замке, сверху было видно, как занялось и росло пламя костра, и клубы черного дыма покрыли гору. По мере того, как уменьшалось пламя, едкий, тошнотворный дым сгущался. К ночи пламя стало медленно угасать. Рассыпавшиеся по горе солдаты, сидя у костров возле палаток, должны были видеть красные сполохи, пробивавшиеся сквозь дым. В эту ночь и спустились на веревках со скалы четверо, отвечавших за сохранность сокровища. Их путь проходил почти над тем местом, где догорал чудовищный костер, накормленный человеческой плотью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Через пять лет после падения Монсегюра умер Раймон VII, дожив до пятидесяти двух лет и так и не оставив наследника. Графство Тулузское перешло в руки Альфонса де Пуатье, мужа единственной дочери графа. Оба супруга умерли в 1271 году, тоже не оставив потомства. После этих смертей французская корона окончательно присоединила к себе страну, за двадцать лет уже превратившуюся во французскую провинцию в старинном и традиционном смысле этого слова: в страну второстепенного значения, колонизованную и эксплуатируемую, административно и интеллектуально подавленную сильной метрополией, блюдущей свои интересы.

За двадцать два года Альфонс де Пуатье был в Тулузе всего дважды: в 1251 году, когда приезжал принимать присягу у новых вассалов, и в 1270-м, за год до смерти. Этот прекрасный администратор прежде всего был озабочен созданием эффективной фискальной системы, чтобы выжимать из доменов суммы, необходимые для осуществления его политических планов, а прежде всего – планов

его брата. Для Людовика Святого главной задачей французской политики было завоевание Святой Земли. Есть основания думать, что Альфонс никогда не принимал всерьез своего титула графа Тулузского и был всего лишь послушным исполнителем воли брата. Народ, который в 1249 году с рыданиями провожал гроб Раймона VII от Милло до Фонтеврота, знал, что оплакивает свое существование как нации.

За несколько месяцев до смерти граф приказал сжечь в Ажане 80 еретиков или людей, заподозренных в ереси, после скорого суда, который сами инквизиторы себе бы не позволили. Несомненно, тем самым он намеревался заслужить милость Церкви. А может быть, хотел заставить еретиков искупить то зло, которое они навлекли на его страну. Эта мера была излишней; уставший от преследований и унижений, деморализованный нарастающим удушением любой живой силы в стране, народ Окситании – по крайней мере, привилегированные классы, которым было что терять, – отошли от религии катаров и с горечью в сердце примкнули к рядам победителей.

Лангедок присоединился к Франции, и бесполезно спрашивать себя, отчего же этот союз, продиктованный и географическим, и политическим положением в стране, не мог осуществиться менее brutальным образом. Неужели на самом деле между северянами и южанами была такая несовместимость интересов и образа мыслей, что только жесточайшая из войн оказалась способной установить союз между французами? До 1209 года это могло быть взаимное непонимание, но никак не ненависть. После смерти Раймона VII окситанский народ, уставший от ненависти и страданий, постепенно – не без боли и протеста – начал мириться с тем, что его язык превращается в провинциальный диалект.

Кто и когда подсчитывал, что теряет народ, теряя независимость, и как провести грань между региональным сепаратизмом и национальными чаяниями? В конечном итоге победа сильнейшего всегда кажется наилучшим из вариантов, который на сегодня наиболее реален.

Королевская власть во Франции получила наиболее полное и осознанное, чем когда бы то ни было, доказательство своего божественного права: она смогла противостоять папству, которому всегда служила, и на этот раз заставить его служить себе. Ради истребления ереси Церковь постоянно подвергала себя опасности, наблюдая, как могущественный союзник покушается на ее мирскую власть.

Католическая Церковь прекрасно сознавала эту опасность: борьба с Империей и недавний опыт борьбы с Фридрихом заставил ее сполна эту опасность оценить. Ересь в ее глазах представляла собой опасность еще более ужасную. И если, благодаря инквизиции, папство одолело катаров и другие еретические движения XIII-XIV веков, эта победа дорого ему стоила. Пощечина в Ананьи не задела сокровенного достоинства Церкви и была лишь эпизодом в бесконечной битве, которую Церковь была вынуждена вести ради сохранения своей материальной и моральной независимости. Однако режим полицейского террора, который инквизиция на многие века установила среди западных народов, подорвал Церковь изнутри и привел к колоссальному падению морального уровня христианства и католической цивилизации.

До Альбигойского крестового похода, до инквизиции голоса епископов и аббатов еще поднимались, чтобы протестовать против сожжения еретиков, чтобы вымолить прощение заблудшим братьям. В XIII веке св. Фома Аквинский нашел для оправдания костров слова, недопустимые в устах христианина [190]. Злоупотребления, которые можно было бы отнести к невежеству и грубости

нравов эпохи, теперь были одобрены и освящены с кафедры теологии одним из величайших философов христианства. Этот факт слишком серьезен, чтобы можно было его недооценить по прошествии XIII века в католической Церкви уже не нашлось ни святых, ни ученых, которым хватило бы смелости заявить, что человек, заблуждающийся в вопросах религии, есть создание Божие (как утверждала еще в XII веке св. Хильдегарда)[191], и лишать его жизни – преступление. Церковь, решительно позабывшая такую простую истину, потеряла право называться католической, и в этом смысле можно сказать, что ересь нанесла Церкви удар, от которого она так и не оправилась. Победа досталась слишком дорого, если римская Церковь, жестоко карая, как в случаях с еретиками, и смогла уберечь западное христианство от тяжелых потрясений, которые могли бы разрушить все его социальное и культурное здание, она добилась этого ценой моральной капитуляции, последствия которой не преодолены до сих пор.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. РИТУАЛ КАТАРОВ

Сокращенный вариант перевода Л. Кледа. Полный текст находится в изданном им переводе Нового Завета, сделанного в XIII веке на провансальский язык (фотокопия рукописи, хранящейся в Лионской муниципальной библиотеке во дворце св. Петра, в IV т. Библиотеки Филологического факультета Лиона).

Принятие верующего в ряды христиан

Если верующий [192] прошел инициацию [193] и христиане [194] согласны его принять, то пусть они умоют руки и пусть умоют руки верующие, если таковые присутствуют. Затем пусть младший совершенный подойдет к старшему и трижды преклонит колена, затем приготовит стол и снова преклонит колена. И пусть скажет: «*Benedicite, parcite nobis*» [195]. Затем верующий должен совершить «*melioramentum*» [196] и взять Евангелие из рук старшего совершенного. Старший наставляет его согласно ритуалу [197].

Затем старший совершенный произносит молитву катаров [198], а верующий повторяет за ним. Далее старший должен сказать: «Мы даруем вам Святое Слово [199], воспримите его от Господа, всех нас и Церкви. Произносите его всю жизнь днем и ночью, в одиночестве и на людях, не ешьте и не пейте, не произнесите его. И да постигнет вас кара, если вы этим пренебрежете». Верующий должен ответить: «Я принимаю Святое Слово от Господа, от вас и от Церкви». Затем он снова совершает *melioramentum*, благодарит, и все верующие дважды читают «Отче наш...» с поклонами и коленопреклонением (*veniae*) и новый верующий вслед за ними.

Обряд «*consolamentum*»

Если случается так, что верующий вынужден удостоиваться *consolamentum* в дорожных условиях или на поле боя, он совершает *melioramentum* и принимает Евангелие из рук старшего совершенного. И тот наставляет его, ссылаясь на Новый Завет и произносит все, что соответствует обряду *consolamentum*...

Верующий говорит: «На то моя воля, молитесь Господа, чтобы Он дал мне Свою силу». Затем младший совершенный вместе с верующим подходит к старшему и говорит: «*Partite nobis*. Добрые христиане, просим вас во имя любви к Господу даровать Добро, полученное от Него, нашему другу, присутствующему здесь». Верующий снова совершает *melioramentum* и произносит: «*Partite nobis*. Я прошу у Господа, Церкви и всех вас прощения за все мои грехи, совершенные на деле, на словах и в

мыслях». И христиане отвечают: «От Господа, от Церкви и всех нас да будет вам прощение, и мы станем молить Господа, чтобы Он вам простил». Затем верующий получает «consolamentum»: старший совершенный берет Евангелие и прикасается им к голове неофита, а остальные совершенные держатся за Евангелие правой рукой и произносят *parcias* [200], трижды *Adoremus* [201] и затем *Pater* (Отец Пресвятой, поддержи раба Твоего в суде Твоем праведном и ниспосли на него милость Твою и Святой Дух)[202]. Затем все обращаются к Господу со Святым Словом, и тот, кто руководит обрядом, шепотом шестикратно читает *Pater noster* (*sixaine*). По прочтении *sixaine* нужно вслух трижды произнести *Adoremus*, *gratia* и *parcias*. Далее все должны совершить обряд примирения друг с другом [203] и с Евангелием [204]. Это же обряд совершают и простые верующие, если они присутствуют. Женщины также обмениваются «поцелуем мира» друг с другом и целуют Евангелие. Затем все дважды повторяют Святое Слово, совершают *veniae* [205] а потом снова «даруют» Святое Слово неофиту.

Правила поведения катаров

Произнесение дубля (дважды повторенной молитвы («Отче наш...»)) и Святого Слова нельзя доверять мирянину.

Если христиане направляются туда, где их может подстергать опасность, они должны молить Бога, произнося *gratia*.

Собираясь ехать верхом, надлежит читать дубль («Отче наш...» дважды). А еслиходишь на корабль, в город или ступаешь на непрочный мост, необходимо сказать Святое Слово.

Если христианин во время положенной молитвы встретит человека, с которым ему надо поговорить, он может заменить восьмикратное повторение молитвы однократным, а шестнадцатикратное – дублем.

Если нашел на дороге ценную вещь и не знаешь, кому ее вернуть, – не трогай ее. Если же ясно, что ее потерял тот, кто прошел перед тобой, – догони и отдай. Если не смог догнать – положи, где взял. Если же найдешь зверя в капкане или птицу в силке – не вмешивайся.

Если христианин хочет попить среди дня – пусть, поев, прочтет молитву дважды или более. А если после ночного дубля опять выпьет, надо сказать еще один дубль. Простые верующие произносят эту молитву стоя. Если христианин молится вместе с христианками, он должен руководить молением. Но если вместе с христианками окажется простой верующий, которому было даровано Святое Слово, пусть отойдет в сторонку и молится сам.

Обращение болящих

Получив вызов от больного верующего, христиане, которым Церковь доверила исполнение службы, должны отправиться к нему и спросить, каково было его поведение с той поры. Как он принял веру, не имеет ли он долгов перед Церковью, не причинял ли он ей ущерба. И если он задолжал и может заплатить, то пусть заплатит. Но если он не пожелает платить, то не будет допущен в Церковь, ибо молитва за виноватого и вероломного не дойдет до Господа. Если же он не может заплатить, его не оттолкнут. Христиане должны наставить его в новициате и в обычаях Церкви, а затем спросить, согласен ли он их выполнить. Если он твердо не решился, то не должен давать обещаний. Ибо в Евангелии от Иоанна сказано, что лжецам уготовано огненное серное озеро. И если он скажет, что согласен вынести все лишения новициата, и христиане согласны его принять, то пусть назначат ему испытание...

Затем пусть спросят его, готов ли он воспринять Святое Слово. Если он ответит «да», пусть наденут на него камизу и брэ [206] и посадят его в постели, если он может поднять руки. Пусть на колени ему постелят скатерть или другую ткань, а на нее положат Евангелие и скажут один раз *Benedicite* и трижды *Adoremus patrem et filium et spiritum sanctum* [207]. Больной должен принять Евангелие из рук старшего совершенного. Потом, если он способен внимать, тот, кто руководит службой, наставляет его и спрашивает, готов ли он исполнить данный обет. В случае утвердительного ответа его причащают: передают ему Святое Слово, которое он должен повторить. Старший из совершенных говорит ему: «Это Святое Слово Иисус Христос принес в мир, и этому молению Он научил совершенных. Без этого моления вы не должны отныне ни есть, ни пить. Не выполнив обета, вы навлекете на себя кару». Больной должен сказать: «Я воспринимаю Слово от Бога, Церкви и от вас». Христианам следует приветствовать его, как женщину [208]. Затем надлежит произнести дубль, совершить *veniae*, положить перед больным Евангелие и трижды прочитать *Adoremus*. Больной должен взять Евангелие из рук старшего совершенного, а тот – наставить его, привлекая свидетельства Писания, и произнести все, что полагается при обряде *consolamentum*.

Затем совершенный берет у больного книгу, а тот должен поклониться и сказать: «*Parcite nobis*. Прошу Бога, Церковь и вас простить мне все прегрешения, какие я совершил на деле, на словах и в мыслях». Христиане отвечают: «Господь, Церковь и мы прощаем вам, и будем молить Господа, чтобы Он вам простил». Затем его посвящают, возложив ему руки и Евангелие на голову. После этого все должны обменяться «поцелуем мира» и поцеловать Евангелие. Если при обряде присутствуют простые верующие, они тоже обмениваются «поцелуем мира». Затем христиане кланяются друг другу.

Если больной умирает и оставляет что-либо в дар совершенным, они не могут хранить наследство у себя или пользоваться им, а должны отдать его в распоряжение общины. Если больной поправляется, христиане должны представить его общине и молиться, чтобы он снова получил *consolamentum* как можно скорее и по доброй воле.

II. НАСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕГО СОВЕРШЕННОГО НЕОФИТУ

Пьер,[209] вы хотите получить духовное крещение Святым Словом и возложением рук совершенных, посредством которого в Божьей Церкви нисходит Святой Дух. Об этом крещении Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Матфея (XXVIII, 19-20) говорит ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учи их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». А в Евангелии от Марка (XVI) он говорит: «...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И в Евангелии от Иоанна (III, 5) он говорит Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не возродится от воды и Святого Духа, не сможет войти в царствие Божие». И об этом крещении говорил Иоанн Креститель (Евангелие от Иоанна, I, 26-27; Евангелие от Матфея, III, 11): «Истинно, что я крещу водою, но тот, кто должен прийти после меня, сильнее меня: я недостоин развязать ремни обуви Его. Он будет вас крестить Святым Духом и огнем». Иисус Христос в «Деяниях апостолов» (I, 5) сказал: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Святым Духом». Святое крещение наложением рук практиковал Иисус Христос, согласно св. Луке, и его ученики, согласно св. Марку (XVI, 18): «...возложат руки на больных, и они будут здоровы». И Анания («Деяния» IX, 17-18) крестил так св.

Павла, когда он принимал веру. И затем Павел и Варнава сами так крестили во многих местах. А св. Петр и св. Иоанн так крестили самаритян. Ибо св. Лука говорит в «Деяниях апостолов» (VIII, 14-17): «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на кого из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого».

Это святое крещение, при котором даруется Святой Дух, Церковь Господа сохранила со времен апостолов до наших дней, и оно до сих пор переходит от одних «добрых людей» к другим, и так будет до скончания веков. И вы должны знать, что Церкви Господа дана власть связывать и развязывать, прощать грехи и оставлять их, как говорит Христос в Евангелии от Иоанна (XX, 21-13): «...как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». А в Евангелии от Матфея (XVI, 18-19) он говорит Симону-Петру: «Я говорю тебе: ты – Петр [210], и на сем камне Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи от Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». И в другой главе (Матф., XVIII, 18-20): «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что развяжете на земле, то будет развязано на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас объединятся на земле, то, чего бы ни попросили, получают от моего Небесного Отца. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них». И в другой главе (Матф., X, 8): «Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте». В Евангелии от Иоанна (XIV, 12) он говорит «...верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит». И в Евангелии от Марка (XVI, 17-18): «...уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». И в Евангелии от Луки (X, 19): «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью; и ничто не повредит вам».

Если и вы хотите получить такую власть, вы должны по возможности соблюдать заповеди Христа и Нового Завета. Помните, что Он завещал вам не желать жены ближнего, не убивать, не отнимать, не воровать, не делать другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе; любить того, кто сделал тебе зло, любить своих врагов, молиться за своих обвинителей и благословлять их. Подставь другую щеку, если тебя ударили по щеке; если с тебя сняли плащ, отдай и рубаху; не клянись, не осуждай – и много других заповедей Господа и Его Церкви. Должно вам ненавидеть этот мир, его создания и все, что в нем есть. Ибо св. Иоанн говорит в Первом своем послании (I, 15-17): «Не любите мира, ни того, что в мире; кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но есть от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И Христос сказал народам (Евангелие от Иоанна, VII, 7): «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, ибо Я свидетельствую о нем, что дела его злы». И в книге Соломона (Екклесиаст, I, 14) написано: «Видел Я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа». Иуда, брат Иакова, сказал для нашего наставления в своем послании (стих 23): «Гнушайтесь даже одеждою, которая осквернена плотью». Согласно этим свидетельствам, и вы должны блюсти заповеди Господа и ненавидеть этот мир. Если вы до конца сможете им следовать, есть надежда, что ваша душа обретет вечную жизнь.

III. МОЛИТВА КАТАРОВ

(Перевод дается по сборнику «Духовные аспекты ереси. Учение катаров», опубликованному Рене Нелли в 1953 г. в издательстве «Приват» в Тулузе. В этом же сборнике напечатан текст молитвы на провансальском языке.)

Святой Отче, справедливый Бог Добра, Ты, Который никогда не ошибаешься, не лжешь и не сомневаешься, и не боишься смерти в мире бога чужого, дай нам познать то, что Ты знаешь и полюбить то, что Ты любишь, ибо мы не от мира сего, и мир сей не наш.

Фарисеи-обольстители, вы сами не желаете войти в Царство Божие и не пускаете тех, кто хочет войти, и удерживаете их у врат. Вот отчего молю я Доброго Бога, которому дано спасать и оживлять падшие души усилием добра. И так будет, пока есть добро в этом мире, и пока останется в нем хоть одна из падших душ, жителей семи царств небесных, которых Люцифер совлек обманом из Рая на землю. Господь позволял им только добро, а Дьявол коварный позволил и зло, и добро. И посулил им женскую любовь и власть над другими, и обещал сделать их королями, графами и императорами, и еще посулил, что смогут они птицей приманить других птиц и зверем – других зверей.

И все, кто послушались его, спустились на землю и получили власть творить добро и зло. И говорил Дьявол, что здесь им будет лучше, ибо здесь они смогут творить и добро, и зло, а Бог позволял им одно лишь добро. И взлетали они к стеклянному небу, и как только поднимались, тут же падали и погибали. И Бог спустился на землю с двенадцатью апостолами, и тень Его вошла в Святую Марию [211].

IV. РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ, ПРОВОЗГЛАШЕННЫЕ ПРОТИВ КАТАРОВ НА СОБОРАХ С 1179 ПО 1246 гг.

Одиннадцатый Вселенский и Третий Латеранский Собор, 1179 г.

Гл. 27

...Поскольку в Гаскони, в окрестностях Альби, в Тулузе и прочих местах сумасбродство еретиков, именуемых катарами, патаренами или павликианами, дошло до того, что они перестали держать в тайне свое зловерное учение, а заявляют о нем открыто и совращают простые и слабые души, мы произносим анафему против них и против всех, кто им следует и потворствует. Под страхом анафемы мы запрещаем оказывать им гостеприимство и торговать с ними... Кто вступит с ними в сношения, тот будет отлучен, и все долги и обязательства по отношению к нему будут признаны недействительными. Все правоверные должны энергично выступить против этой чумы и даже взяться за оружие. Имущество пособников будет конфисковано, а князья получают право брать их в рабство. Тот, кто последует совету епископов и пойдет на них с оружием, получит отпущение грехов на два года и будет, как крестоносец, взят под покровительство Церкви.

Выдержки из 45 постановлений Тулузского Собора 1229 года

1. В каждом городском и пригородном приходе епископы назначают одного священника и двух или трех, а если нужно, то и больше мирян с незапятнанной репутацией, которые дают клятву разыскивать еретиков, живущих в приходе. Они заходят в подозрительные дома, тщательно обыскивают комнаты, погреба и всяческие закоулки. Если они обнаруживают еретиков или тех, кто оказывает им доверие и уважение или дает пристанище, то прежде всего не должны позволить им скрыться, а потом как можно скорее донести епископу, сеньору или баилю.

2. Свободные аббаты производят те же действия на своих территориях, не подчиненных

епископальной юрисдикции.

3. Светские господа должны отдать приказы о розыске еретиков по городам, деревням и лесам, где они могут собираться, и о разрушении их убежищ.

4. Если кто позволил еретика поселиться на своей земле и скрыл это за взятку, по убеждениям или по другой причине, то навсегда теряет землю и, согласно степени вины, должен понести наказание от сеньора.

5. Так же будет наказан тот, на чьей земле часто встречаются еретиков, даже если это случается по недосмотру.

6. Дом, где укрывается еретик, будет скрыт, а земля конфискована.

7. Если баиль, на чьей территории подозревается наличие еретиков, не ищет их с должным усердием, то он теряет место и не получает компенсации.

* * *

Каждый имеет право производить розыск еретиков на территории соседа. Король может сделать на них облаву на землях графа Тулузского и наоборот.

10. Сановный еретик, решивший добровольно отойти от ереси, не должен оставаться в прежнем обиталище, если местность, где он живет, поддерживает ересь. Его следует переселить в католический район. Обращенные еретики должны справа и слева нашивать на одежду кресты, отличные от нее по цвету. Эта мера не освобождает их от обязанности иметь при себе письма, свидетельствующие об их примирении с Церковью и завизированные епископом. Они перестают быть вне закона и могут принимать участие в общественной жизни только после того, как принесут покаяние и их реабилитирует папа или его легат.

11. Тех же, кто вернулся в католичество не по доброй воле, но под страхом смерти или по иным соображениям, епископ да посадит в тюрьму, во-первых, чтобы наказать, а во-вторых, из предосторожности. Чтобы они не сбивали с пути других.

12. Все взрослые правоверные должны поклясться епископу блюсти католическую веру и преследовать еретиков всеми доступными средствами. Каждые два года клятву нужно обновлять.

* * *

14. Мирянам не дозволено иметь книги Ветхого и Нового Завета, исключая Псалтырь, Бревиарий и Житие Богородицы. Строжайше запрещено иметь переводы этих книг на простонародные языки.

15. Уличенный или заподозренный в ереси не может быть лекарем. Если больной получил от своего кюре Святое Причастие, надо неусыпно следить, чтобы к нему не приблизился еретик или заподозренный в ереси, ибо это может иметь печальные последствия.

* * *

18. Да будут считаться обесчещенными ересью те, кого глас народа объявит еретиками, или те, чью дурную репутацию засвидетельствуют перед епископом уважаемые люди.

* * *

42. Жены, вдовы или наследницы, владеющие крепостями или замками, не имеют права выйти замуж за врагов веры и спокойствия.

Распоряжения Собора в Безье, 1233 г.

1. Совершенные и верующие, а также те, кто их защищает, укрывает и поддерживает, должны отлучаться от Церкви каждое воскресенье. Виновный в укрывательстве, не раскаявшийся в

преступлении после наставления и отлучения в течение 40 дней, будет сам считаться еретиком.

2. Любой мирянин может задержать еретика и выдать его епископу.

* * *

4. Обращенный еретик, не нашивший на одежду крестов, считается обманщиком, и имущество его будет конфисковано.

Канон Арльского синода, 1234 г.

6. Еретики, только делающие вид, что обратились, становятся еще более опасны. Отныне те, кого уличили в ереси и не наказали смертью, будут приговорены к пожизненному заключению, даже если их обращение искренне. Содержать их следует с доходов, которые даст их имущество.

* * *

11. Тела совершенных и их верующих должны быть эксгумированы и преданы в руки мирского правосудия.

* * *

13. Всякий, пробывший под отлучением дольше месяца и обратившийся с прошением о помиловании, обязан заплатить 50 солидов дополнительно за каждый месяц просрочки. Половина этого штрафа пойдет сеньору, а другая – епископу на благочестивые нужды.

* * *

21. Завещания должны составляться в присутствии кюре или капеллана. В противном случае нотариус будет отлучен, а завещатель лишен христианского погребения.

Нарбоннский Собор, 1243 г.

I. Еретики, а также их сторонники и заступники, сами явившиеся в трибунал и представившие доказательства своего раскаяния и рассказавшие всю правду о себе и о других, будут тем самым избавлены от тюремного заключения, однако должны подвергнуться следующим наказаниям: они носят крест и каждое воскресенье, между чтением Посланий и Евангелия, являются к епископу с розгой для поучения. То же наказание они получают во время праздничных процессий.

* * *

4. Для бедняков, отвратившихся ереси, следует выстроить темницы. Заботиться об их содержании должны инквизиторы, чтобы епископы не утруждали себя этими расходами.

* * *

9. Число еретиков и верующих, которых надо заключить в тюрьму пожизненно, весьма велико, и не хватит камня, чтобы выстроить эти темницы, не говоря уже о других расходах на такое множество заключенных. А посему вопрос заключения в тюрьму следует консультировать с папой. Тем не менее те, кто находится под наибольшим подозрением, будут арестованы без промедления.

* * *

11. Тот, кто отрекся от ереси и снова в нее впал, будет отдан в руки светского правосудия и наказан.

* * *

17. Доминиканские инквизиторы не должны назначать штраф в качестве наказания. Это не в их компетенции, и они обязаны по этому поводу обратиться к епископу или легату.

* * *

19. Возраст, здоровье, факт состояния в браке, наличие детей или престарелых родителей не может быть основанием для освобождения от тюремного заключения.

* * *

22. Имена свидетелей обвиняемому не сообщают, однако он обязан назвать имена своих врагов.

23. Никто не может быть обвинен без достаточных доказательств или без соответствующего признания.

24. В вопросах ереси безразлично, кто именно выступает как свидетель. Обесчещенные, преступники и их соучастники исключением не являются.

25. Не принимаются во внимание показания, данные против врага.

Инструкции инквизиторам, разработанные на Соборе в Безье

1. Поскольку для инквизиторов затруднительно посещать каждый населенный пункт в отдельности, они должны, согласно распоряжению папы, выбрать себе резиденцию и оттуда осуществлять инквизиторский контроль над окрестностями. Им надлежит собрать клир и население, зачитать свой мандат и обязать каждого жителя, заподозренного в ереси или в контактах с еретиками, явиться и сознаться.

* * *

20. Осужденные еретики, а также вновь впавшие в ересь или не явившиеся в назначенный срок и заставившие прислать себе специальный вызов, будут, согласно апостольской инструкции, заключены в тюрьму пожизненно. Если виновные раскаются, инквизиторы могут впоследствии смягчить это наказание после совещания с прелатами, которым они подчиняются.

21. Но прежде виновные должны гарантировать, что исполняют до конца свое покаяние, и дать клятву бороться с ересью. Если же они снова впадут в ересь, будут наказаны без пощады.

22. Инквизиторы имеют право заново заключить в тюрьму тех, кого они ранее помиловали.

23. Согласно апостольской инструкции, заключенные должны быть строго изолированы, дабы не совращать друг друга и остальных.

24. Для полного освобождения от пожизненного заключения нужна очень веская причина, к примеру, когда в отсутствие осужденного его дети подвергаются смертельной опасности.

Жена может посещать пожизненно заключенного мужа и наоборот. Им не возбраняется жить вместе, если они заключены оба или заключен кто-то один.

(Печатается по кн. Эфеля-Леклерка. История церковных Соборов, т. V, ч. II).

V. ПРИГОВОРЫ ИНКВИЗИЦИИ

Осуждение повторно впавшего в ересь

Во имя Отца, Сына и Святого Духа да будет так. Мы, брат Жак, божественным соизволением епископ Памьера, имеющий специальное разрешение преподобного св. отца, Пьер, милостию Божьей епископ Каркассона, денно и ночью Его наместник в своем диоцезе, и мы, Жан де Прат из доминиканского ордена, инквизитор еретической скверны в королевстве Франции, посланный апостольской властью Каркассона на розыск всех, пораженных ядом ереси, выяснили, что вы, Гильеметта Торнье, жена Бернара Торнье, некогда жившего в Тарасконе, памьерского диоцеза, были осуждены на пожизненное заключение, но на суде торжественно отреклись от ереси, скрытой и явной, под страхом навлечь на себя кару, предусмотренную за повторное впадение в ересь.

Однако, несмотря на произнесенную вами на Евангелии клятву преследовать еретиков, их верующих и всех, кто их укрывает и защищает, доносить об их убежищах и, прежде всего, блюсти и хранить католическую веру, вы снова впали в мерзость ереси. Подобно тому, как собака вновь и

вновь начинает блевать, однажды отведав дурной пищи, вы опять следовали за Пьером и Гильомом Антерье, осужденными за ересь, слушали их, восхваляя их доброту, святость и примерную жизнь, их веру и паству, и твердили, что их секта несет спасение всем людям, а Их Святейшество папа и прелаты Святой Церкви – вероотступники. В желании содействовать секте и всеми средствами ее поддержать вы поносили католическую веру и всех, кто ее сохраняет.

Вот почему мы, означенные ниже епископы и инквизитор, после совещания с авторитетными людьми, священнослужителями и мирянами, сведущими в церковном и светском праве, только лишь Господа имея перед очами нашими..., постановляем и объявляем Гильеметту Торнье повторно впавшей в преступное покровительство ереси. Такую нераскаявшуюся еретичку Церковь может только отдать в руки мирского правосудия и молить, как требуют того канонические санкции, чтобы вам сохранили жизнь и не пытали до смерти, если вы, Гильеметта Торнье, полностью признаете все факты обвинения в ереси, если раскаяние тронет ваше сердце, и вы не будете больше упорствовать в отрицании святости покаяния и причастия... (Coll. Doat. T. XXVIII. C. 158).

О разрушении домов, «оскверненных» катарами

Во имя Господа да будет так. Проведя розыск и получив скрепленные клятвой показания свидетелей, мы нашли, что в дома юрисконсульта Гильома Адемара, Раймона Форе, Раймона Арона и во владения Пьера де Медена, что близ Реальмона, во время болезни означенных домовладельцев приглашали еретиков для совершения богомерзких обрядов проклятой секты.

Мы, делегированные от епископа Альби инквизиторы и викарии..., заслушав мнение разумных и уважаемых горожан и пользуясь вверенными нам апостольскими полномочиями, вынесли окончательный приговор. Да будут дома вышеперечисленных владельцев, со всеми примыкающими к ним постройками, разрушены до основания. Приказываем также не предавать огню весь материал, из которого построены дома, а использовать его в благочестивых целях.

Этот приговор вынесен в году 1329 от Рождества Христова, в воскресенье, на девятый день от Рождества Святой Девы Марии, на рыночной площади предместья Каркассона.

VI. ДИАЛОГ ИЗАРНА И СИКАРТА

Провансальская поэма XIII века, появившаяся сразу после падения Монсегюра и распространявшаяся службой католической пропаганды с целью как можно сильнее дискредитировать защитников Монсегюра. Текст был переведен, опубликован и снабжен комментариями в 1879 г. Полем Мейером в Ежегоднике Французского Исторического Общества. Здесь приведена сокращенная версия этого перевода.

– Еретик, прежде чем тебя поглотит пламя, если ты сегодня же к вечеру не обратишься в истинную веру, я хотел бы услышать, почему ты отказываешься от нашего святого крещения... Ты отвергаешь крестного отца и миропомазание и принимаешь, согласно твоей вере, посвящение наложением рук... Ты изрекаешь уйму лживых слов, из которых я не верю ни единому. Ты отделяешь человека от Бога и предоставляешь его Дьяволу, утверждая при этом, что он обманут, а его душа в ожидании спасения скитается из тела в тело. Всякое место, всякая земля, где ты прошел, будет страдать и сокрушаться от великого зла, которое ты сеешь повсюду, где тебе верят... Если ты тотчас же не отречешься, разведут огонь, пошлют в город глашатаю, и народ соберется, чтобы увидеть, как свершится правосудие, ибо тебя сожгут.

– Изарн, – сказал еретик, – если вы гарантируете, что меня не сожгут, не бросят в тюрьму и не

уничтожат, я безропотно снесу все другие мучения. И если вы оставите меня при себе и будете обращаться со мной уважительно и без насилия, вы сможете много узнать о нашей миссии. Между нами говоря, все откровения Бери и П. Разольца, ваших дознавателей, гроша ломаного не стоят в сравнении с тем, что я могу вам сообщить о еретиках и верующих. Но я нуждаюсь в убежище, поскольку, если я выдам их тайны, а вы потом предадите меня, обнарудете мои признания и не оставите меня под своей защитой и под защитой доминиканцев, то я пропал. И хочу, чтобы вы знали, почему. Все дело в том, что, став епископом, я вот этими руками спас около пятисот душ и помог им попасть в Рай. Если я теперь их покину и отойду от них, я отдам их демонам и обреку на адские мучения, лишив всякой надежды на спасение. И как же мне быть, если однажды я попадусь на глаза кому-нибудь из их друзей? И что мне делать, если вы в вашем трибунале не посчитаете меня своим и поднимете на смех? Ведь я не смогу уже вернуться туда, где меня действительно считали своим. Это было бы безумием. Вот почему с той минуты, как я явился с пропуском, мне нужны гарантии и на случай моего отказа, и на случай согласия. Прежде всего знайте, что меня заставили прийти не голод, не жажда и не лишения. Нас предупреждали, чтобы мы проследили за теми, кого вызывали в суд и кто добился на этом известных почестей, а также за любым, кто ради спасения собственной шкуры берется повсеместно выдавать всех еретиков подряд. Результаты наблюдений были так поразительны, что вы не поверите. Самые близкие друзья из богатых аристократов нас бросили и перешли в стан врагов. Они ловят нас, привязывая во время приветствия [212] и сдают в качестве платы за оправдание. Продавая нас, они думают искупить свои грехи. Но я принял решение самому явиться в трибунал раньше, чем меня сцапают. Это большое одолжение с моей стороны, учитывая комфорт, в котором я жил. Если вам еще не надоело меня слушать, я вам кое-что порасскажу. У меня много богатых и процветающих друзей, и все они рады доверить мне свои сбережения. Я располагаю огромным количеством подношений в виде мебели и всяческой утвари и могу наделять ими всех наших верующих, так что вряд ли среди них найдутся бедняки. У меня хватает одежды, одеял и покрывал, и я рад предоставить все это близким друзьям, когда их приглашаю. И если я часто пощусь, не спешите меня жалеть, потому что бывают и на моем столе отличные макароны, приправленные соусом с гвоздикой [213]. Хорошая рыба лучше дурно приготовленного мяса, доброе вино с гвоздикой не отдает бочкой, а хлеб из тонкой муки вкуснее монастырского. Да и быть сухим приятнее, чем мокрым; и ночью, пока вы мокнете под дождем на ветру, я спокойно сижу в укрытии со своими братьями и учениками, которые ищут на мне блох и чешут, где чешется. А если временами нападает на меня желание, то, будь это дружок или подружка, согрешить мне ничего не стоит: я удовлетворяю себя сам. Нет такого греха или бесчестья, от которого не было бы спасения, уж во всяком случае для меня и моего диакона. Вот в какой благодати я пребываю. И если я откажусь от нее, соглашусь считать ее грехом и приму римскую веру, уж, пожалуйста, запишите, что я сделал это по доброй воле. Хочу, чтобы меня приняли, как честного человека.

– Сикарт, да пребудет с тобой благословение и да причислит тебя Творец, создавший землю и воды, грозы, солнце и луну, к рядам тружеников, призванных возделывать его виноградники, и да восхвалит Он последнего из пришедших, как хвалил первых. И ты станешь одним из них, если будешь искренен, надежен и тверд в вере. Ибо нет надежды, что те, кто принял веру из страха и трудятся против воли, станут хорошими садовниками. Чтобы изгнать скверну и болезнь из человека, который был владельцем и хранителем закромов, полных дурных семян, нужны очень искусные

медики и очень сведущие аптекари, способные подобрать действенные лекарства, ибо скверна трудно излечивается. Сикарт, если ты не болен этой скверной, докажи свое здоровье на деле, да не ленись. И если ты будешь искренен, честен и тверд, получишь доброе воздаяние и славную награду...

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1002 Первые казни совершенных во Франции (в Орлеане и Тулузе). На костер всходят десять каноников коллегиальной церкви в Сен-Круа.

1049 Вопрос о новых еретиках, появившихся во Франции, впервые поставлен на Соборе в Реймсе.

1077 В Комбрэ один из катаров приговорен как еретик и сожжен.

1114 В Суассоне толпа выволакивает из тюрьмы множество еретиков и заставляет их сжечь.

1126 В Лангедоке в Сен-Жиле всходит на костер Пьер де Брюи.

1160 (Приблизительно) ЗАРОЖДЕНИЕ СЕКТЫ ВАЛЬДЕНСОВ В ЛИОНЕ.

1163 Собор в Туре отмечает угрожающий прогресс новой ереси (учения катаров).

1165 Собор в Ломбре против *boni homines* (добрых людей).

1167 АЛЬБИГОЙСКИЙ СОБОР В СЕН-ФЕЛИКС-ДЕ-КА-РАМАН ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЕПИСКОПА БОЛГАРИИ УЧРЕЖДАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И КУЛЬТ.

– Церковная ассамблея в Везелэ казнит огнем семерых катаров.

1172 В Аррасе сожжен священник, обвиненный в ереси.

1177 Раймон V, граф Тулузский, сообщает в генеральный капитул Сито об «ужасающем развитии» ереси катаров.

1179 Одиннадцатый Вселенский Собор (третий Латеранский) провозглашает, по инициативе папы, анафему против альбигойских еретиков.

1180 Папа велит своему легату Анри, кардиналу Альбано, объявить крестовый поход против еретиков на юге Франции.

1181 Взятие Лаваура.

1184 Папа Лука III отлучает вальденсов. 1194 Раймон VI наследует своему отцу, Раймону V.

1198 ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ ПАПЫ ИННОКЕНТИЯ III.

– Папа назначает комиссию по судебным делам против еретиков в составе цистерцианцев Ренье и Ги. По существу, это первая инквизиция, именуемая епископальной, или легатской.

1200 В Труае пятеро мужчин и трое женщин сожжены по обвинению в ереси.

1201 В Невере сожжен рыцарь из свиты графа Неверского. (Преследования против колонии катаров в Шарите-сюр-Луар).

1203 Назначение легатом Педро де Кастельно.

1204 Раймон де Перелла по просьбе местных катаров реконструирует Монсегюр.

– Арагонский король Педро II организует в Каркассоне религиозный диспут между католиками и катарами (февраль).

1206 Эскармонда, сестра графа Фуа, принимает *consolamentum*.

– Св. Доминик основывает в Пруйе обитель для обращенных катарских женщин.

1207 Папа подписывает приговор об отлучении графа Тулузского, оглашенный Пьером де Кастельно (29 мая).

1208 УБИЙСТВО ПЬЕРА ДЕ КАСТЕЛЬНО (15 января).

– Канонизация Пьера де Кастельно (10 марта).

- Св. Франциск Ассизский принимает решение посвятить свою жизнь апостольству.
- 1209 РАЙМОН VI ПОКОРЯЕТСЯ ЦЕРКВИ И ПУБЛИЧНО ВЫСЕЧЕН В СЕН-ЖИЛЕ (18 июня).
- Армия крестоносцев движется на Лангедок (начало июля).
- РАЗГРАБЛЕНИЕ И ПОЖАР В БЕЗЬЕ (22 июля).
- ВЗЯТИЕ КАРКАССОНА (15 августа).
- Симон де Монфор принимает от легатов титул виконта Каркассона и Безье (конец августа).
- Собор в Авиньоне принимает декрет из 21 канона против еретиков и евреев (сентябрь).
- Смерть Раймона-Роже Тренкавеля, виконта Каркассона и Безье (10 ноября).
- В руках крестоносцев оказываются: Альби (сдался), Кастр, Коссад, Фанжо, Гонто, Мирпуа, Пюиле-Рок, Саверден, Тоннейн и т. д.
- 1210 Взятие Минервы; сожжено 140 катаров (22 июля).
- Папские легаты вызывают графа Тулузского на Собор в Сен-Жиле и во второй раз его отлучают (сентябрь).
- Падение Термеса после 9 месяцев осады (23 ноября).
- Создание ордена францисканцев.
- Филипп-Август приказывает сжечь в Париже последователей Амори де Бена (20 декабря).
- Крестоносцы овладевают крепостями Алайрак (гарнизон перебит), Брам (гарнизон изувечен), Пенотье и др.
- 1211 Взятие Лаваура; сожжены 400 катаров (3 мая).
- Взятие Кассе; сожжены 94 катара. Первая осада Тулузы (конец мая).
- Осада Кастельнодари (сентябрь).
- Крестоносцы берут Каюзак, Кустосс, Гэйак, ла Гард, ла Грав (гарнизон перебит), ла Гепи, Монтэрю, Монкюк, Монферран, Монгей (разрушен полностью), Пюи Сельси, Рабастан и т. д.
- 1212 Около 80 еретиков осуждены в Страсбурге. Большинство из них сожжены.
- Петр Сернейский отправляется в Альбигуа.
- Симон де Монфор созывает в Памьере ассамблею, призванную установить политический и юридический статус побежденных.
- Крестоносцы берут Ананкле (резня), Отерив (сожжен), Бирон, Кастельсаразен, Каюзак, Отпуль (осада и резня), Иль, Муассак (осада и избиение рутьеров), Монтот, Мюрет, Пен д'Ажене (осада), Пен д'Альбигуа (осада), Сент-Антонен (разграбление предместья), Сен-Годан, Сен-Марсель, Сен-Мишель, Сама-тан, Верден-сюр-Гаронн.
- 1213 Принц Людовик, сын Филиппа-Августа, принимает крест (начало года).
- БИТВА ПРИ МЮРЕТЕ (12 сентября).
- Осада Касснея; взятие, резня, разрушение стен.
- 1214 Битва при Бувине (27 июля).
- Взятие замка Дон в Перигоре (разрушен донжон) и замка Монфор.
- 1215 Первый крестовый поход принца Людовика и въезд в Тулузу Симона де Монфора (апрель-октябрь).
- Богатый тулузский буржуа Пьер Селиа дарит св. Доминику множество домов в Тулузе. Они становятся базой инквизиции.
- ОТКРЫТИЕ ЛАТЕРАНСКОГО СОБОРА (11 ноября).

- Травля еретиков в Кольмаре.
- 1216 Симон де Монфор получает королевскую инвеституру на Лангедок (10 апреля).
- ОСАДА БОКЭРА И ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ КРЕСТОНОСЦЕВ (май-август).
- Смерть Иннокентия III (16 июля).
- Водворение Симона де Монфора в Тулузе, подавление восстания и разрушение городских стен.
- Орден, основанный св. Домиником, торжественно утвержден буллой папы Гонория III.
- 1217 Избиение еретиков в Комбрэ.
- Взятие Симоном де Монфором замков. Крест в Дофине, ла Бастид, Монтей, Монгренье, Пейрепертюзы.
- Начало осады Тулузы (октябрь).
- 1218 ГИБЕЛЬ СИМОНА ДЕ МОНФОРА (25 июня).
- Смерть Петра Сернейского (конец декабря).
- 1219 Второй крестовый поход принца Людовика и неудачная осада Тулузы (май-июнь).
- 1220 Гонения на еретиков в Труайе.
- 1221 Смерть св. Доминика (6 августа).
- 1222 Смерть Раймона VI (август).
- 1223 Смерть Раймона-Роже, графа Фуа (апрель).
- Смерть Филиппа-Августа (14 июля).
- Коронация Людовика VIII в Реймсе (6 августа).
- 1224 АМОРИ ДЕ МОНФОР ПОКИДАЕТ ЛАНГЕДОК (15 января).
- 1225 Ассамблея катарских Церквей в Пьессе.
- Смерть Арно-Амори, архиепископа Нарбонны (29 сентября).
- 1226 Отлучение Раймона VII на Соборе в Бурже (28 января).
- КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ЛЮДОВИКА VIII (июнь-ноябрь).
- Смерть св. Франциска Ассизского (3 октября).
- Смерть Людовика VIII в Монпансье (5 ноября).
- 1227 Восшествие на престол папы Григория IX.
- 1229 ПОДПИСАНИЕ МЕОСКОГО ТРАКТАТА. БИЧЕВАНИЕ РАЙМОНА VII ПЕРЕД СОБОРОМ НОТР-ДАМ В ПАРИЖЕ (12 АПРЕЛЯ).
- Тулузский Собор (ноябрь).
- 1231 МОНСЕГЮР СТАНОВИТСЯ УКРЕПЛЕННЫМ ОПЛОТОМ ВЕРЫ КАТАРОВ.
- Смерть Фулька Марсельского, епископа Тулузы.
- 1232 Гийаберт де Кастр собирает синод в Монсегюре.
- 1233 ГРИГОРИЙ IX ОКОНЧАТЕЛЬНО ОСВЯЩАЕТ ИНКВИЗИЦИЮ И ПОРУЧАЕТ ЕЕ ОРДЕНУ ДОМИНИКАНЦЕВ (13 апреля).
- Он подписывает документ о создании Университета в Тулузе, «дабы расцвела католическая вера...» (29 апреля).
- Трое доминиканцев сброшены в колодец в Корде.
- 1234 Раймон VII публикует свое Постановление против еретиков.
- В Альби толпа побивает инквизитора Арно Катала, который велит эксгумировать умерших еретиков.

- Инквизиторы Гильом Арно и Пьер Селиа приговаривают к сожжению в Муассакке 210 человек.
- В Нарбонне народ разоряет доминиканский монастырь.
- 1235 По приказу графа и консулов доминиканцев изгоняют из Тулузы (ноябрь).
- 1239 В Монвимере, в присутствии графа Шампанского, сожжены 83 катара.
- 1240 Осада Каркассона Раймоном Тренкавелем (сентябрь).
- 1241 Раймон VI обещает Людовику IX разрушить Монсегюр.
- 1242 Восстание Раймона VII (апрель-октябрь).
- РЕЗНЯ В АВИНЬОНЕТЕ (28 мая).
- 1243 СОГЛАШЕНИЕ В ЛОРРИ (январь).
- Собор в Безье постановляет уничтожить Монсегюр.
- НАЧАЛО ОСАДЫ МОНСЕГЮРА (13 мая).
- Рамон Дамор доставляет Бертрану Марта в Монсегюр послания от катарского епископа Кремоны (до ноября).
- Епископ Альби Дюран присылает подкрепление осаждающим Монсегюр (ноябрь).
- Папа Иннокентий IV утверждает оправдание Раймона VII (2 декабря).
- Командиров армии, осаждающей Монсегюр, приглашают на Собор в Нарбонне.
- 1244 Ночной штурм Монсегюра (5 января?).
- Из крепости ночью удается выйти нескольким осажденным (1 марта).
- Мирный договор между осажденными и осаждающими (2 марта).
- Капитуляция Монсегюра (14 марта).
- КОСТЕР МОНСЕГЮРА (16 марта).
- 1246 Людовик Святой предписывает возведение специальных тюрем для еретиков в Каркассоне и Безье.
- 1249 Граф Тулузский приказывает сжечь в Барлейже 80 катаров.
- СМЕРТЬ РАЙМОНА VII (27 сентября).
- 1255 Падение Кверибуса, последнего пристанища катаров в Лангедоке.
- 1271 Смерть Альфонса де Пуатье и его жены Жанны Тулузской. Лангедок переходит под власть французской короны (21-24 августа).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- АВРААМ – еврейский философ из Бокэра (конец XII в.).
- АДАЛАИС ДЕ МАССАБРАК – совершенная, принимала участие в защите Монсегюра.
- АДЕЛАИДА ТУЛУЗСКАЯ – дочь Раймона V Тулузского, жена Роже II Тренкавеля, мать виконта Раймона-Роже.
- АДЕМАР ДЕ ПУАТЬЕ – граф Валентинуа.
- АГНЕС ДЕ МОНПЕЛЬЕ – жена Раймона-Роже Тренкавеля.
- АЛЕН ДЕ РУСИ – шевалье из Шампани, компаньон Симона де Монфора; убит при Мюрете Арагонского короля; убит в 1221 г.
- АЛЬБЕРИХ – епископ Остийский, папский легат.
- АЛАМАН ДЕ РОЭ – тулузский буржуа, его дом служил прибежищем катарам после 1230 г.
- АЛЕКСАНДР III – папа с 1159 по 1181 гг.
- АЛИСА ДЕ МОНМОРАНСИ – жена Симона де Монфора, сестра коннетабля Монморанси.

АЛЬФОНС ДЕ ПУАТЬЕ – второй сын Людовика VIII и Бланки Кастильской, женатый на Жанне, дочери Раймона VII, граф Тулузский с 1249 г.

АЛЬЗЕ ДЕ МАССАБРАК – шевалье-катар, защитник Монсегюра.

АМОРИ ДЕ КРАОН – крестоносец с 1218 г.

АМОРИ ДЕ МОНФОР – сын Симона де Монфора, его наследник с 1218 г.

АМОРИ ДЕ ПУАССИ – компаньон Симона де Монфора.

АМВРОСИЙ – поэт-хронист.

АМИСИ ДЕ МОНФОР – дочь Симона де Монфора.

АМЬЕЛЬ ЭКАР – катарский диакон, или совершенный, бежал после взятия Монсегюра.

АНДРЕ БУРГУНДСКИЙ – граф Дофине.

АНДРЕЙ II – король Венгрии.

АНДРЕ ШОВЕ (КАЛЬВЕТ) – сенешаль короля Франции в Лангедоке, убит в 1231 г.

АРНО-АМОРИ – аббат из Сито, командир крестового похода, с 1212 г. архиепископ Нарбоннский, умер в 1225 г.

АРНО АРИФАТ – катарский проповедник.

АРНО БРЕШИАНСКИЙ – реформатор римской религиозной политики.

АРНО КАТАЛА – доминиканец, инквизитор в Каркассоне.

АРНО ДЕ КАСТЕЛЬВЕРДЕН – лангедокский аристократ, верующий катар.

АРНО ДОМЕРК – сержант гарнизона Монсегюра, сожжен.

АРНО ДОМИНИК – сержант гарнизона Монсегюра, сожжен (возможно, Доминик и Домерк – одно и то же лицо).

АРНО ГИРО – диакон катаров.

АРНО ХОТ – диакон катаров, участвовал в дискуссионных конференциях 1206-1208 гг.

АРНО ДЕ ОБО – лангедокский аристократ, верующий катар.

АРНО ТЕУЛИ – сержант, сожжен в Монсегюре.

АРНО ДЕ ВЕНСА – сержант гарнизона Монсегюра, убит во время осады.

АРНО-РОЖЕ ДЕ МИРПУА – лангедокский аристократ, защитник Монсегюра.

АРНО Д'ЮССОН – южный аристократ.

АРНАЛЬДА – одна из катарских верующих.

АРПАИДА ДЕ РАБАТ – дочь Раймона де Перелла, жена Арно де Равата, сержанта гарнизона Монсегюра.

АР АНЖЕ – епископ Рагузы, поддерживал богомилов.

АРСАНДИДА (ИЛИ АРЗАН) – жена Понса Нарбоннского, сержанта из Монсегюра, сожжена.

БАЙОНА – одна из катарских верующих.

БАРТЕЛЕМИ КАРТЕС – эмиссар болгарских катаров, посланный в Лангедок в 1223 г.

БОДУЭН – диакон катаров.

БОДУЭН ТУЛУЗСКИЙ – сводный брат Раймона VI, повешенный за предательство в 1214 г.

БОЛЬЕ – аббат, английский священник, принявший сторону Раймона VI на Латеранском Соборе.

БЕАТРИС БЕЗЬЕРСКАЯ – вторая жена Раймона VI.

БЕАТРИС БУРГУНДСКАЯ – дочь Андре Бургундского, жена Амори де Монфора.

БЕК ДЕ ФАНЖО – верующий катар.

БЕЛИСМАНСА – катарский епископ в Витербе.

БЕНУА ТЕРМЕССКИЙ – диакон катаров, на Соборе в Пьессе в 1225 г. избран епископом Разе.

БЕРБЕГУЭРА – жена владельца Пюилорана.

БЕРАНЖЕ II – архиепископ Нарбонны, низложенный в 1210 г.

БЕРАНЖЕ ЛАВЕЛАНЕТСКИЙ – аристократ-катар, защитник Монсегюра.

БЕРАНЖЕ ДЕ ПЮИСЕРГЬЕ – катарский аристократ.

БЕРАНЖЕ ДЕ ВИЛЛАКОРБЬЕ – верующий катар.

БЕРНАР (СВ.) – аббат из Клерво.

БЕРНАР, граф Арманьяк.

БЕРНАР Д'АЛИОН – южный аристократ.

БЕРНАР ДЕ ЛА БАРТ – архиепископ Ошский, низложен по обвинению в симпатиях к еретикам.

БЕРНАР КОЛЬДЕФИ – диакон катаров.

БЕРНАР V, граф Коменжа.

БЕРНАР VI, сын Бернара V.

БЕРНАР – аббат из Фонткода.

БЕРНАР ГИ – инквизитор XIV в., автор статей об инквизиции.

БЕРНАР ДЕ ЛА МОТ – катарский епископ Тулузы, сожжен.

БЕРНАР ДЕ ПОРТЕЛЛА – испанский аристократ, участвовал в казни Бодуэна Тулузского.

БЕРНАР ДЕ РОКФОР – доминиканец, убит в Авиньонете.

БЕРНАР СЕГЮИЙЕ – консул в Тулузе.

БЕРНАР ДЕ СЕРВИАН – комендант гарнизона Безье в 1209 г.

БЕРНАР ДЕ СОЛАРО – тулузский буржуа, обвиненный в ереси.

БЕРНАР ДЕ ВИЛЬНЕВ – лангедокский аристократ.

БЕРНАР ОТОН НИОРСКИЙ (или ДЕ ЛОРАК) – лангедокский аристократ, верующий катар, дважды осужденный за ересь.

БЕРНАР-РАЙМОН ДЕ РОКФОР – епископ Каркассона, низложен в 1212 г., восстановлен в 1224 г., изгнан в 1226 г.

БЕРНАРДА – одна из катарских верующих.

БЕРТРАН – кардинал, священник церкви св. Петра и Павла, легат; принимал участие в осаде Тулузы.

БЕРТРАН ДЕ ЛА БАККАЛАРИА (или ДЕ БАШЕЛЕРИ) – инженер, посланный графом Тулузским в Монсегюр для организации обороны крепости.

БЕРТРАН МАРТИ – катарский епископ, сожжен в Монсегюре.

БЕРТРАН ДЕ СЭССАК – владелец Каркассе, катар, опекун Раймона-Роже Тренкавеля.

БЛАНКА КАСТИЛЬСКАЯ – дочь Альфонса Кастильского, жена Людовика VIII, мать Людовика Святого.

БЛАНКА ДЕ ЛОРАК – знатная дама катаров, мать Эмери Монреальского и Геральды де Лорак; настоятельница женской обители катаров.

БОФИС – диакон катаров.

БОГОМИЛ – предполагаемый основатель секты богомилов.

БОНЕТА – одна из катарских верующих.

БУШАР ДЕ МАРЛИ – компаньон Симона де Монфора.
БРАИДА ДЕ МИРПУА – знатная дама катаров, принимала участие в обороне Монсегюра.
БРАЗИЙАК ДЕ КАЛАВЕЛЛО – сержант из Монсегюра, сожжен.
БРУНА – одна из катарских верующих, жена Арно Доминика де Ларок д'Ольм, сожжена.
ВАЛЛИБЮС – совершенный из вальденсов, врач.
ВИГОРО ДЕ БАКОНИА – диакон катаров.
ВАЗОН – епископ Льежа.
ГАЛЬЯР ДЕ ФЕСТ – шевалье-катар.
ГАЛЬВАНЮС – вальденс, совершенный, эксгумирован для сожжения.
ГАРСИАС Д'АУРЕ – доминиканский монах, убит в Авиньонете.
ГАСТОН – виконт Беарна.
ГОСЕЛЬМ – катарский епископ Тулузы.
ГОШЕ ДЕ ШАТИЛОН – граф де Сен-Поль, принял крест в 1209 г.
ГОШЕ ДЕ ЖУАНЬИ – французский аристократ, принял крест в 1209 г.
ГОТЬЕ ЛАНГТОН – английский аристократ, компаньон Симона де Монфора.
ГОТЬЕ ДЕ ТУРНЕЙ – легат.
ГОБЕР Д'ЭССИНЬИ – шампанский шевалье, компаньон Симона де Монфора.
ГОЛЕЙРАН – обитатель Авиньонета, принимал участие в убийстве инквизиторов.
ГРИГОРИЙ VII – папа с 1073 по 1085 гг.
ГРИГОРИЙ IX – папа с 1227 по 1241 гг., создатель доминиканской инквизиции.
ГИШАР ДЕ БОЖЕ – французский шевалье, принял крест в 1209 г.
ГИЙАБЕРТ ДЕ КАСТР – епископ катаров с 1223 по 1240 гг.
ГИЛЬЕМ ДЮМЬЕ – шевалье из южан.
ГИЛЬОМ – архидиакон Парижа, участвовал в крестовых походах 1210 и 1211 гг.
ГИЛЬОМ – совершенный или диакон катаров, сожжен в Тулузе в 1229 г.
ГИЛЬОМ АСЕРМА – шевалье-катар, принимал участие в авиньонетском убийстве.
ГИЛЬОМ АДЕМАР – сержант из Монсегюра.
ГИЛЬОМ-АРНО – доминиканец, инквизитор в Тулузе до 1223 г., убит в Авиньонете.
ГИЛЬОМ Д'АЙРОС – совершенный, врач.
ГИЛЬОМ ДЕ БАРР – тесть Симона де Монфора, принял крест в 1214 г.
ГИЛЬОМ БРЕТОНСКИЙ – хронист.
ГИЛЬОМ КАТ – шевалье из южан, сначала сторонник, затем враг крестоносцев.
ГИЛЬОМ ДЕ КОНТР – компаньон Симона де Монфора, убит в ходе крестового похода.
ГИЛЬОМ ДЕНАНС – баиль Лаваура в 1243 г.
ГИЛЬОМ ДЕ ЛА ИЛЬ – шевалье-катар, принял участие в авиньонетской резне, сожжен.
ГИЛЬОМ «ИОАННИС» – совершенный из Монсегюра, сожжен.
ГИЛЬОМ МЕШЕН – шевалье из южан.
ГИЛЬОМ РИКАР – диакон катаров, сожжен в 1243 г.
ГИЛЬОМ ДЕ РОШЕ – сенешаль Анжу, принял крест в 1209 г.
ГИЛЬОМ МИНЕРВСКИЙ – владетель Минервы.
ГИЛЬОМ НАРБОННСКИЙ – сержант из Монсегюра.

ГИЛЬОМ НИОРСКИЙ – брат Бернара-Оттона Ниорского, был преследуем за ересь.

ГИЛЬОМ ДЕЗ ОРМ – сенешаль Каркассона, оборонял город от Раймона Тренкавеля в 1240 г.

ГИЛЬОМ ПЕЛИССОН – доминиканец, помощник инквизиторов в Тулузе.

ГИЛЬОМ ПЬЕР – катар, совершенный, сожжен в Монсегюре.

ГИЛЬОМ ДЕ ПЛАНЬЯ (или ДЕ ПЛЕНЬ) – шевалье из Монсегюра, принимал участие в авиньонетском убийстве.

ГИЛЬОМ ДЕ ПУАССИ – шевалье Иль-де-Франса, компаньон Симона де Монфора.

ГИЛЬОМ ДЮ ШОИ – сержант из Монсегюра.

ГИЛЬОМ ПЮИЛОРАНСКИЙ – капеллан графов Тулузских, историк Альбигойских войн.

ГИЛЬОМ РАЙМОН ДЕ ЛА РОК – верующий катар.

ГИЛЬОМ ДЕ РОКСЕЛЬ – епископ Безье, убит в 1205 г.

ГИЛЬОМ САЛОМОН – диакон катаров.

ГИЛЬОМ (или ГИЛЬЕМ) ДЕ СОЛЬЕ – совершенный, обращенный в католичество.

ГИЛЬОМ ТЕОДОРИХ (ТЬЕРРИ) – катарский диакон, бывший декан капитула Невера.

ГИЛЬОМ ТУРНЬЕ – катарский диакон района Монсегюра.

ГИЛЬОМ ТЮДЕЛЬСКИЙ – переписчик-трубадур, автор первой части «Песни об альбигойском крестовом походе».

ГИЛЬОМ ВИДАЛЬ – катар, совершенный.

ГИЛЬОМ ВГЮИЙЕ – верующий катар.

ГИЛЬОМ-ЖАН ДЕ ЛОРДАТ – сержант из Монсегюра, сожжен.

ГУЛЬЕЛЬМА – жена сержанта Арно Экара из Монсегюра, сожжена.

ГУЛЬЕЛЬМА ДЕ ЛАВЕЛАНЕТ – жена шевалье Беранже де Лавеланета из гарнизона Монсегюра, сожжена.

ГУЛЬЕЛЬМА ДЕ ЛА МОТ – совершенная, сожжена.

ГУЛЬЕЛЬМИНА ДЕ ТОННЕЙН – знатная дама катаров.

ГИЛЬЕМЕТТА – внебрачная дочь Раймона VI, жена Юга д'Альфара.

ГИРО НИОРСКИЙ – брат Бернара-Оттона Ниорского, верующий катар.

ГИРО ДЕ РАБАТ – сержант из Монсегюра, муж Арпаиды, дочери Раймона де Перелла.

ГИРАЛЬДА ДАРАВА МОНРЕАЛЬСКАЯ – одна из верующих катаров.

ГИРАЛЬДА ДЕ ЛОРАК – владелица Лаваура, сброшенная в колодец после взятия города.

ГИ ДЕ КАВЕЛЛОН – провансальский аристократ.

ГИ ДЕ ЛЕВИС – шевалье Иль-де-Франса, компаньон Симона де Монфора, получил во фьеф Мирпуа.

ГИ ДЕ МОНФОР – брат Симона де Монфора, крестоносец, убит в Вариле в 1227 г.

ГИ ДЕ МОНФОР – второй сын Симона де Монфора, убит при Кастельнодари в 1220 г.

ГИ СЕРНЕЙСКИЙ – епископ Каркассона, дядя хрониста Петра Сернейского.

ГЕНРИХ II ПЛАНТАГЕНЕТ – король Англии с 1154 по 1189 гг.

ГЕНРИХ III – король Англии с 1216 по 1272 гг.

ГЕНРИХ АЛЬБАНСКИЙ – аббат из Клерво, затем кардинал Альбанский.

ДАНИИЛ – епископ Боснии, покровитель богомилов.

ДИЭГО ДЕ АСЕБЕС – епископ Осмаский, вместе со св. Домиником организовывал в 1206 г.

религиозные диспуты.

- ДОМИНИК ДЕ ГУЗМАН (СВ. ДОМИНИК) – осмаский каноник, основатель ордена доминиканцев.
- ДУМАНЖ – тулузский горожанин, доносил на катаров.
- ДУЛЬСИЯ – одна из верующих катаров.
- ДЮРАН – епископ Альби, принимал участие в осаде Монсегюра.
- ДЮРАН ДЕ ХУЭСКА – вальденс, обращенный в католичество, основатель движения «Бедных католиков».
- ДЮРАН ДЕ СЕН-БАР – пристав в Тулузе.
- ДЮРАНТИ – инквизитор, присутствовал на казни в Монсегюре.
- ДЖОВАННИ ДИ ВИЧЕНЦА – доминиканец, инквизитор в Ломбардии.
- ЖАН ДЕ БОМОН – камергер короля, командир королевской армии в Лангедоке в 1240 г.
- ЖАН БЕЛЕСМЕН – архиепископ Лиона.
- ЖАН БЕНЕВАНТИ – катарский епископ, сожженный в Витербе в 1235 г.
- ЖАН ДЕ БЕРЗИ – французский шевалье, компаньон Симона де Монфора, обезглавлен в 1220 г.
- ЖАН ДЕ КАМБЬЕР (КАМБИТОР) – катарский диакон, сожжен.
- ЖАН ДЕ САЛИСБЮРИ – шартрский епископ.
- ЖАН, владетель Сирми.
- ЖАН ТИССЕЙРЕ – тулузский горожанин, сожжен в 1234 г.
- ЖАННА АНГЛИЙСКАЯ – дочь Генриха II и Элеоноры Аквитанской, четвертая жена Раймона VI, мать Раймона VII.
- ЖАННА ТУЛУЗСКАЯ – дочь Раймона VII и Санси Арагонской, жена Альфонса де Пуатье, графиня Тулузская с 1249 по 1270 гг.
- ЖОРДАН КАЛЬВЕНТ – шевалье-катар.
- ЖОРДАН ДЮ МАС – шевалье-катар, участвовал в авиньонетском убийстве, убит во время осады Монсегюра.
- ЖОР ДАН ДЮ ВИЛАР – лангедокский шевалье, принимал участие в авиньонетском убийстве.
- ЖОРДАН ДЕ ПЕРЕЛЛА – сын Раймона де Перелла.
- ЖУРДЕН ДЕ РОКФОР – верующий катар.
- ЖУРДЕН ДЕ СЭССАК – лангедокский аристократ, принимал участие в восстании 1240 г.
- ЖУРДЕН САКСОНСКИЙ – доминиканец, брат крестоносца Симона Саксонского, после смерти св. Доминика возглавлял орден.
- ЖОФФРУА – епископ Шартрский.
- ИМБЕР ДЕ САЛАС – сержант из Монсегюра.
- ИННОКЕНТИЙ III – папа с 1198 по 1216 гг., инициатор Альбигойских крестовых походов.
- ИННОКЕНТИЙ IV – папа с 1243 по 1254 гг.
- ИЗАБЕЛЛА АНГУЛЕМСКАЯ – вдова Иоанна Безземельного, жена Юга X Лузиньянского.
- ИЗАРН ДЕ КАСТР – совершенный катар.
- ИЗАРН ДЕ ФАНЖО – аристократ-южанин.
- ИАКОВ – раввин, ученый еврей в Сен-Жиле, XII в.
- ИВАН-АСЕНЬ – болгарский царь.
- ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ – король Англии с 1199 по 1216 гг.

ИОАНН ВИЛЬДЕШУЗЕН – доминиканец, епископ Боснии в 1227 г.
КАЛОЯН – болгарский царь.
КОЗЬМА – болгарский священник X в., автор трактата против богомилов.
КУЛИН – боснийский бан (князь).
ЛАМБЕР ДЕ КРУАССИ (или ДЕ ТЬЮРИ, или ДЕ ЛИМУ) – аристократ из Иль-де-Франса, компаньон Симона де Монфора, получивший Лиму во фьеф.
ЛЕОПОЛЬД IV – герцог Австрийский, крестоносец.
ЛЮDOVIK VII – король Франции с 1137 по 1180 гг.
ЛЮDOVIK VIII – король Франции с 1223 по 1226 гг.
ЛЮDOVIK IX (СВЯТОЙ) – король Франции с 1226 по 1270 гг.
ЛЮЦИЙ III – папа с 1181 по 1185 гг.
МАНСИП ДЕ ГЭЙЯК – баиль графа Тулузского.
МАНИ – основатель манихейства.
МАРГАРИТА ДЕ ЛА МАРШ – дочь Юга Лузиньянского.
МАРИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ – графиня Шампанская, дочь Людовика VII и Элеоноры Аквитанской.
МАРИ ДЕ МОНПЕЛЬЕ – дочь Гильома де Монпелье, жена Бертрана Коменжского, а затем Педро II Арагонского, мать Якова I.
МАРКЕЗИЯ ДЕ ЛАНТАР – совершенная, сожжена в Монсегюре.
МАРТЕН Д'АЛЬГЭЗ – капитан рутьеров, казнен в 1212 г.
МАТЬЕ – диакон катаров, связной во время осады Монсегюра.
МАТЬЕ ДЕ МАРЛИ – королевский лейтенант в Лангедоке в 1230 г.
МАТЬЕ ДЕ МОНМОРАНСИ – коннетабль Франции.
МЕРСЬЕ – каиарский диакон.
МЕФОДИЙ (СВ.) – болгарский миссионер, сподвижник св. Кирилла.
МИШЕЛЬ ДЕ АРН – французский аристократ, крестоносец.
МИШЕЛЬ ДЕ ЛУЭЦИЯ – арагонский шевалье из свиты Педро II, убит под Мюретом.
МИЛОН – церковный нотариус, легат в Лангедоке в 1209 г.
МОНЕТА ДЕ КРЕМОНА (брат) – доминиканец, автор трактата против ереси.
НАМЮР (граф) – крестоносец.
НАВАРР – епископ Кузеранский.
НИКИТА – богомильский епископ, председатель Собора катаров в Сен-Феликс-де-Караман.
НИКОЛА – епископ Вивьера, отрешен от должности за сочувствие ереси.
НИНОСЛАВ – боснийский князь.
НОЭЛЬ (брат) – доминиканец, один из первых приоров Пруйе.
НУНО САНЧЕ – сын Гастона Беарнского.
ОРЛАНДО ДЕ ТРЕССЕНО – миланский подеста (бургомистр), сжег катаров в 1240 г.
ОЛИВЬЕ ДЕ КЮК – шевалье, верующий катар.
ОЛИВЬЕ ДЕ ТЕРМЕС – владетель Термеса, принимал участие в восстании 1240 г.
ОТОН ДЕ МАССАБРАК – один из защитников Монсегюра.
ПАГАН (ПАЙЕН) БЕССЕДСКИЙ – шевалье-катар, сожжен.
ПАТЕРНОН – катарский епископ во Флоренции.

ПАВЕЛ (брат) – миссионер в Боснии.

ПЕТРОНИЛЛА КОМЕНЖСКАЯ – наследница Бигора, дочь Бернара Коменжского, жена Нуно Санче Руссильонского, затем Ги де Монфора (младшего).

ПЕТР – верующий катар.

ПЕЙРЕ – донат капитула Сен-Сернен, эксгумирован за ересь.

ПЕЙРОНЕЛЛА из Монтобана – обращенная девочка-еретичка.

ПЕЙТАВИ – тулузский буржуа.

ПЕЙТАВИ БОРСЬЕ – верующий, связной катаров.

ПЕДРО II – король Арагона с 1196 по 1213 г., убит при Мюрете.

ПЬЕР – кюре в районе Фанжо.

ПЬЕР-АМЬЕЛЬ – архиепископ Нарбонны после Арно-Амори.

ПЬЕР БЕЛЛОК – верующий катар.

ПЬЕР БЕНЕВАН – папский легат в Лангедоке с 1212 по 1215 гг.

ПЬЕР БЕРМОН ДЕ СОВ (Д'АНДЮЗ) – зять Раймона VI.

ПЬЕР БОННЕ – диакон катаров, сожжен в Монсегюре.

ПЬЕР ДЕ КАСТЕЛЬНО – цистерцианский монах, архидиакон Магелонский, затем легат; убит в 1208 г.

ПЬЕР ДЕ СИССЕЙ – норманнский шевалье, компаньон Симона де Монфора.

ПЬЕР ДЕ КОЛЬМЬЕ (ДЕ КОЛЛЕМЕЦЦО) – вице-легат Галлии.

ПЕТР ДАМИАНСКИЙ (СВ.).

ПЬЕР ФЕРЬЕ – сержант из Монсегюра. Убит во время осады.

ПЬЕР ИЗАРН – катарский епископ Каркассона, сожжен.

ПЬЕР МОКЛЕРК – герцог Бретонский.

ПЬЕР МОРАН (по прозвищу Иоанн-Евангелист) – богатый тулузский буржуа, верующий катар; высечен в 1179 г.

ПЬЕР ДЕ МАЗЕРОЛЬ – шевалье-катар, участвовал в авиньонетском убийстве.

ПЬЕР ПАРЕНЦИО – правитель Орвьето.

ПЬЕР ДЕ СЕН-ХРИЗОГОН – легат понтифика в Лангедоке.

ПЬЕР СЕЛИА – тулузский буржуа, один из первых учеников св. Доминика, инквизитор.

ПЬЕР ВАЛЬДО – богатый лионский буржуа, основатель движения «Лионских бедняков».

ПЕТР СЕРНЕЙСКИЙ – цистерцианский монах, историк Альбигойского крестового похода.

ПЬЕР ВЕРОНСКИЙ – инквизитор, обращенный катар, убит в 1252 г.

ПЬЕР ВИДАЛЬ – сержант, верующий катар, принимал участие в авиньонетском убийстве.

ПЬЕР ДЕ ВИЛЬНЕВ – южный аристократ.

ПЬЕР-ГИЛЬОМ ДЕ ФОГАР – верующий катар.

ПЬЕР-РАЙМОН ДЕ КОРНЕЛЬЯН – южный аристократ.

ПЬЕР-РАЙМОН ДЕ ПЛАНЬЯ – шевалье из гарнизона Монсегюра, принимал участие в авиньонетской резне.

ПЬЕР-РОЖЕ ДЕ МИРПУА – зять Раймона де Перелла, комендант гарнизона Монсегюра.

ПУАТВЕН – диакон катаров, бежал из Монсегюра.

ПОНСИЯ РИГОД – одна из верующих катаров.

ПОНС АДЕМАР – тулузский шевалье.
ПОНС ДЕ КАПЕЛЬ – сержант из Монсегюра, принимал участие в авиньонетском убийстве.
ПОНС ЖОРДАН – катарский проповедник.
ПОНС НАРБОНА – сержант из Монсегюра, сожжен.
ПОНС Д'ОРЛАГ – аристократ из южан.
ПОНС РИВЬЕР – верующий катар.
ПОНС ДЕ СЕН-ЖИЛЬ – доминиканский приор в Тулузе.
ПОНС РОЖЕ ДЕ ТРЕВИЛЬ – обращенный катар.
ПОНС ДЕ ТЕЗАН – аристократ-южанин.
РАЙМУНДА – верующая.
РАУЛЬ (брат) – легат в Лангедоке.
РАУЛЬ Д'АСИ – шампанский аристократ, компаньон Симона де Монфора.
РАТЕРИЯ – верующая.
РАТЬЕ ДЕ КАСТЕЛЬНО – аристократ из южан, арестовал Бодуэна Тулузского.
РАЙМОН ЭГЮИЙЕ – диакон катаров, сожжен.
РАЙМОН Д'АЛЬФАРО – организатор авиньонетской резни.
РАЙМОН БАРТ – шевалье, верующий катар.
РАЙМОН-БЕРАНЖЕ – граф Прованса.
РАЙМОН ДЕ БЕЛЬВИС – сержант из Монсегюра.
РАЙМОН КАРБОНЬЕ – ассистент инквизиторов, убит в Авиньонете.
РАЙМОН КОСТИРАН (по прозвищу Раймон-Писака) – архидиакон Лезатский, убит в Авиньонете.
РАЙМОН ДЕ ФОГА (ФАЛЬГАР) – доминиканец, наследовал Фульку на епископальном престоле в Тулузе.
РАЙМОН ГРО – обращенный совершенный.
РАЙМОН-ПИСЕЦ – архидиакон Вьельмора.
РАЙМОН ДЕ МАРСИЛИАНО – шевалье, защитник Монсегюра, сожжен.
РАЙМОН МАРТИ – брат епископа Бертрана Марта.
РАЙМОН МОРАН – сын Пьера Морана, тулузского нотабля.
РАЙМОН МЕРСЬЕ – диакон катаров в Мирпуа.
РАЙМОН ДЕ МИРАВАЛЬ – трубадур.
РАЙМОН ДЕ ПЕРЕЛЛА – владетель Монсегюра.
РАЙМОН ДЕ РАБАСТАН – епископ Тулузы.
РАЙМОН ДЕ РОКФЕЙ – аристократ из южан.
РАЙМОН ДЕ СЕН-МАРТЕН – диакон катаров, сожжен.
РАЙМОН ДЕ САНЧАС – верующий.
РАЙМОН ДЕ ТЕРМЕС – владетель замка Термес.
РАЙМОН V – граф Тулузский, отец Раймона VI.
РАЙМОН VI – граф Тулузский с 1194 по 1222 гг.
РАЙМОН VII – сын Раймона VI и Жанны Английской, последний граф Тулузский.
РАЙМОН-ГИЛЬОМ ДЕ ТОРНАБУА – сержант из Монсегюра.
РАЙМОН РОЖЕ – консул Тулузы, обвинялся в ереси.

РАЙМОН-РОЖЕ – граф Фуа.
РАЙМОН-РОЖЕ ТРЕНКАВЕЛЬ – виконт Безье и Каркассона, сын Роже II Тренкавеля.
РАЙМОН ТРЕНКАВЕЛЬ – сын Раймона-Роже Тренкавеля, виконт Безье, лидер восстания 1240 г.
РАЙМОНДА ДЕ КЮК – совершенная, сожжена в Монсегюре.
РЕНЬЕ САККОНИ – инквизитор, обращенный катар, автор трактата против ереси.
РЕНО – архидиакон Лиона.
РЕНО ДЕ МОНПЕЙРУ – епископ Безье после Гильома де Роксея.
РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ – король Англии с 1189 по 1199 гг.
РИГО ДЕ МОНРЕАЛЬ – верующий катар.
РОБЕР ЛЕ БУГР – инквизитор.
РОБЕР ДЕ КУРСОН – легат Галлии.
РОБЕР ДЕ МОВУАЗЕН – компаньон Симона де Монфора.
РОБЕР ДЕ ПИКИНЬИ – компаньон Симона де Монфора.
РОБЕР ДЕ ПУАССИ – компаньон Симона де Монфора.
РУДОЛЬФ – аббат из Когешаля.
РОЖЕ II ТРЕНКАВЕЛЬ – виконт Безье и Каркассона, отец Раймона Роже.
РОЖЕ-БЕРНАР – граф Фуа, сын Раймона-Роже де Фуа.
РОЖЕ IV – граф Фуа, сын Роже-Бернара.
РОЖЕ ДЕЗ АНДЕЛИС – компаньон Симона де Монфора.
РОЖЕ ДЕЗ ЭССАРТ – компаньон Симона де Монфора, убит в Тулузе после пыток.
РОЛАН КРЕМОНСКИЙ – инквизитор.
РОМЕН ДЕ СЕНТ-АНЖ – кардинал-легат, советник Бланки Кастильской.
САНЧЕ – граф Прованса и Руссильона.
САНСИ АРАГОНСКАЯ – сестра Педро II Арагонского, жена Раймона VII, мать Жанны Тулузской.
САНСИ ПРОВАНСКАЯ – дочь Раймона-Беранже Прованского.
СОРИНА – верующая.
СЕРРОНА – верующая.
СИКАР ДЕ ДЮФОР – верующий.
СИКАР СЕЛЛЕРЬЕ – диакон катаров.
СИКАР ДЕ ФИГЕЙРАС – диакон катаров.
СИКАР ДЕ МАРВЕЙОЛЬ (БЕРНАР) – трубадур.
СИКАР ДЕ ПЮИЛОРАН – сеньор из южан.
СИМЕОН (МУДРЕЦ) – еврейский философ.
СИМОН ДЕ МОНФОР – лидер крестового похода с 1209 по 1218 гг.
СИМОН САКСОНСКИЙ – компаньон Симона де Монфора.
ТАПАРЕДЬ – диакон катаров, сожжен.
ТЕРРИК – катарский отшельник в Шарите-сюр-Луар, сожжен.
ТЕДИЗ – папский легат, епископ Агда в 1212 г.
ТИБО, граф ДЕ БАР – крестоносец.
ТИБО, граф ШАМΠΑНСКИЙ – посредник при подписании Меоского соглашения.
ТОМАС БЕККЕТ (СВ.) – епископ Кентерберийский.

ФОМА АКВИНСКИЙ (СВ.)

ФИЛИППА ДЕ МИРПУА – старшая дочь Раймона де Перелла, жена Пьера-Роже де Мирпуа.

ФИЛИПП АВГУСТ – король Франции с 1180 по 1223 гг.

ФИЛИПП IV КРАСИВЫЙ – король Франции с 1285 по 1314 гг.

ФИЛИПП ДЕ ДРЕ – епископ Бове, крестоносец.

ФИЛИПП ДЕ МОНФОР – сын Ги де Монфора.

ФАБРИССА ДЕ МАЗЕРОЛЬ – одна из катаров.

ФАЙИДА ДЕ ПЛАНЬЯ (ДЕ ПЛЕНЬ) – одна из женщин-катаров, жена Гильома де Планья, сержанта Монсегюра.

ФЕРРАН ДЕ ПОРТУГАЛЬ – граф Фландрии.

ФЕРРАНДА – верующая.

ФЕРЬЕ (брат) – доминиканец, инквизитор в Нарбонне.

ФЛОРАН ДЕ ВИЛЬ – крестоносец, один из убийц короля Арагона.

ФОРНЕРИЯ – совершенная.

ФУКАР ДЕ БЕРЗИ – крестоносец, приговоренный к смерти графом Тулузским.

ФУЛЬК МАРСЕЛЬСКИЙ – трубадур, затем епископ Тулузы.

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (СВ.).

ФРИДРИХ II ГОГЕНШТАУФЕН – германский император.

ХИЛЬДЕГАРДА (СВ.).

ЭМЕРИК ДЕ СЕРЖАН – верующий.

ЭСКЛАРМОНДА ДЕ ФУА – сестра графа Раймона-Роже, жена Журдена де л'Иля; поддерживала катаров; овдовев, стала совершенной.

ЭСКЛАРМОНДА НИОРСКАЯ – мать братьев Ниорских, совершенная.

ЭСКЛАРМОНДА ДЕ ПЕРЕЛЛА – дочь Раймона де Перелла, сожжена в Монсегюре.

ЭТЬЕН – монах из Сен-Женевьев, затем епископ Турнея.

ЭТЬЕН Д'АНС – лионский буржуа, друг Пьера Вальдо.

ЭТЬЕН ДЕ БЮРНЕН – епископ Вены, папский легат.

ЭТЬЕН ДЕ МИНИА – испанский монах, компаньон св. Доминика.

ЭТЬЕН ДЕ СЕН-ТИБЕРИ – испанский монах, компаньон св. Доминика.

ЭТЬЕН ДЕ САЛАНЬЯК – доминиканский историк XIV в.

ЭД II, герцог БУРГУНДСКИЙ – один из лидеров Альбигойского крестового похода.

ЭВРАРД ДЕ ШАТОНЕФ – один из руководителей катарской общины в Шарите-сюр-Луар.

ЭКЗЮПЕР (СВ.) – епископ Тулузы в V веке.

ЭРАКЛЬ ДЕ МОНЛАУР – аристократ из южан.

ЭРВЕ IV – граф Невера, крестоносец.

ЮГ – епископ Рицкий.

ЮГ – граф Родесский.

ЮГО – совершенный.

ЮГ Д'АЛЬФАРО – сенешаль в Ажене.

ЮГ ДЕЗ АРСИС – сенешаль Каркассона, осадил и взял Монсегюр.

ЮГ ДЕ ДЮФОР – верующий.

ЮГ ФОРЕ – верующий.

ЮГ ДЕ ЛАЙСИ – английский шевалье, компаньон Симона де Монфора.

ЮГ Х ЛУЗИНЬЯНСКИЙ – граф де ла Марш.

ЮГ ДЕ НУАЙЕР – епископ Оксерский.

ЮГ ДЕ РОЭ – богатый тулузский буржуа.

ЮГ ДЕ СЕН-ПЬЕР – основатель общины катаров в Везелэ.

ЮМБЕР ДЕ БОЖЕ – лейтенант короля Франции в Лангедоке.

ЯКОВ I КОНКЕРАН – король Арагона с 1213 по 1276 гг.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Страница ритуала катаров. Язык «ок».

Рис. 2. Лангедок 1-ой половины XIII в.

Рис. 3. Ластурс. Замок Кабаре.

Рис. 4. Памятник крестоносцу в Авиньонете.

Рис. 5. Замок Фуа.

Рис. 6. Вершина горы с замком Монсегюр.

Рис. 7. План замка Монсегюр.

А – Главный юго-западный вход;

В – Дополнительный северо-восточный вход (ведет в средневековую деревню);

С – Ступени, вырубленные в скале;

D – Постройки нижнего двора;

Е – Вход во внутренний двор;

F – Внутренний двор;

G – Сооружение из каменной кладки, назначение которого до сих пор неясно, но есть предположение, что оно выстроено позже, чем сам замок;

H – Наружная стена;

I – Скальная стенка, когда-то покрытая каменной кладкой;

J – Водяная цистерна, закрепленная при главной башне замка (донжоне);

K – Центральное (главное) помещение (зал) в башне;

L – Винтовая лестница.

Рис. 8. Замковый двор и донжон.

Рис. 9. Нижний зал.

Рис. 10. Каркассон. Изваяние владетельницы Каркассе (Дамы Каркассе).

Легенда гласит, что во время осады города Дамы Каркассе Карлом Великим владетельнице пришла в голову неожиданная идея: она велела силком накормить последнюю свинью последней мерой зерна и сбросить ее с земляного вала под ноги осаждавшим. Ударившись о землю, бедное перекормленное животное лопнуло. Воины Карла были поражены: если жители города так легко разбрасывают потенциальную пищу, то у них очень много припасов, и осада теряет смысл! И Карл снял осаду. Дама Каркассе торжествовала и велела трубить в трубы. Вот откуда пошло название Carcass-sonne, т. е. Каркассов звук.

Рис. 11. Термес: место сбора.

Окно в виде креста принадлежало замковой церкви. По окончании крестового похода, когда

авторитет французского короля, будущего Людовика Святого, начал быстро расти, владельцы Термеса перешли на его сторону. Оливье Термесский сопровождал благочестивого суверена в походах против неверных.

Рис. 12. Дом Св. Доминика в Фанжо.

Проходя по тихим улочкам Фанжо, трудно представить себе, что когда-то он являлся крупным рассадником ереси катаров. В те времена в городе была собственная знать, имелись «Дома совершенных». Св. Доминик устроил в Фанжо резиденцию и превратил город в миссионерский центр.

Рис. 13. Винтовая лестница в Кверибусе, ведущая в сторожевую башню. Нынче посетители могут на себе испытать, каковы были условия жизни обитателей неприступных крепостей.

Рис. 14. После того, как Симон де Монфор был убит во время осады Тулузы, его тело перевезли в Каркассон и погребли в соборе Сен-Назер. И по сей день там можно видеть его надгробие.

Рис. 15. Мемориал в Монсегюре. Этот камень служит памятником последним катарам, сожженным на костре после падения Монсегюра.

Рис. 16. Пейрепертуза. Смотровое окно сторожевой башни Сен-Жорже со специальным сидением.

Рис. 17. Безье. Интерьер собора, восстановленного после пожара во время осады.

Рис. 18. Кассе. Эту странную статую молящегося Христа ученые называют одним из немногих оставшихся изображений катарского культа.

Рис. 19. Пейрепертуза. Замок естественно вписывается в очертания камня (скалы). Вид скалы Сен-Жорж и венчающего ее замка с внешней стены.

Рис. 20. Мюрет. Мемориал жестокой битве, произошедшей на этом месте 13 сентября 1213 г.

Рис. 21. «Ткаческий крест» в Мас-Кабарде (департамент Од). Еретики иногда называли «ткачами».

Примечания

1

См. также: Дюби Ж. Воскресенье в Бувине.

2

Письмо датировано 10 марта 1204 года.

3

Петр Сернейский. Гл. III.

4

Гильом Пюилоранский. Гл. XV.

5

Иными словами – не запишется в армию крестоносцев.

6

«Песнь об альбигойском крестовом походе». Гл. VI. С. 131-134.

7

Происхождение названия Лангедок – язык «ок», южное наречие. Северное наречие – тот язык, который мы называем французским, – именовался Лангедуаль, язык «уаль».

8

Письмо Иннокентия III Филиппу Августу от 9 февраля 1209 года.

9

Петр Сернейский. Гл. VI.

10

Письмо Иннокентия III Раймону VI от 20 мая 1207 года.

11

Петр Сернейский. Гл. XIII.

12

Письмо Иннокентия III Раймону VI.

13

Речь идет о Великом переселении народов (Прим. Издателя).

14

...Иже от Отца рожден прежде всех век...

15

Катехумен (древнегреч.) – уже оглашённый, т. е. объявленный, но не принятый в лоно древней Церкви новообращенный (Прим. перев.).

16

Диакон – низший чин церковной иерархии, появившийся, по апостольскому преданию, для исполнения общественного служения («Деяния апостолов», гл. 6, назначение «семерых пещись о столах»). Во время богослужения диаконы исполняют вспомогательные функции, самостоятельно же службу вести не могут... Описание функций диаконов у катаров говорит о том, что в их традиции акцент ставился не на сам обряд, а на общественное служение, и потому, видимо, диакон играет большее значение, чем это принято в христианской Церкви.

17

Console (фр.) – утешенный (Прим. перев.).

18

Socius (древнегреч.) – двойник (Прим. перев.).

19

Bonhomme (фр.) – миляга, компанейский малый. Первоначальное значение – добрый человек (Прим. перев.).

20

Петр Сернейский. Гл. IV.

21

Болгарский священник X века, автор «Трактата против богомилов» (издан о. Жозефом Гафором, «Theologia antibogomilistica Cosmae presbyter». Roma, 1942).

22

Гильом Пюилоранский. Пролог.

23

Одним из наиболее уважаемых катарских проповедников в Лангедоке считался Гильом, бывший ранее старшим в капитуле Невера (был известен под именем Теодориха).

25

Улучшение себя (Прим. перев.).

25

Представление (Прим. перев.).

26

См. приложение III.

27

Песнь об альбигойском крестовом походе. CXIV. С. 3292-3293.

28

Doat. Т. XXIV. С. 59-60.

29

Бернар Ги. Практика инквизиции. С. 130.

30

Тулузская библиотека, ms. 609. Doat. Т. XXII. Р. 15.

31

Собор в Буке, «Хроника» Родольфа, аббата Коджесхолла. Т. XVIII Р. 59.

32

Дон Вессет. История Лангедока, изд. Молинье. Т VI, С 227.

33

Петр Сернейский. Гл. VI.

34

Петр Сернейский. Гл. 2.

35

Mansi Consil. Т. XXII, col. 447.

36

Дуэ. Т. II. С. 109.

37

Письмо 365.

38

Послание 241. Минь, PL. Т. 182. col. 434.

39

См. Приложение IV.

40

Иордан Саксонский. Сочинения. Фрибург, 1891 г.

41

Гильом Пюилоранский. Гл. X.

42

Иордан Саксонский. Указ. соч. С. 549.

43

Гильом Пюилоранский. Гл. IX.

44

Гильом Пюилоранский. Гл. VIII.

45

Бальм и Леледье. Cartulaire de St. Dominique.

- 46
Юмбер де Ромен. Тулузская анкета по канонизации св. Доминика Гл. XIII.
- 47
Данте. «Рай» Песнь IX.
- 48
Песнь... Гл. IX. С. 193-202.
- 49
Песнь... Гл. XVII. С. 395-400.
- 50
Песнь... Гл. XVIII. С. 430-440.
- 51
Песнь... Гл. XIX. С. 450-455.
- 52
Песнь... Гл. XXI. С. 467-471.
- 53
Песнь... Гл. XXI. С. 471-476.
- 54
Песнь... Гл. XXI. С. 481-489.
- 55
Песнь... Гл. XXI. С. 500-505.
- 56
Песнь... Гл. XXII. С. 523-526.
- 57
Песнь... Гл. XXIII. С. 532-536.
- 58
Песнь... Гл. XXX. С. 685-702.
- 59
Песнь... Гл. XXXII. С. 742-743.
- 60
Камиза – цельнокроеная рубаша; брэ – штаны, надевавшиеся под доспехи (Прим. перев.).
- 61
Песнь... Гл. XXXIII. С. 774-776.
- 62
Песнь... Гл. XXXIII. С. 769-770.
- 63
Песнь... Гл. XV. С. 343-352.
- 64
Песнь... Гл. XXXIV. С. 796.
- 65
Петр Сернейский Гл. XVII.
- 66

Петр Сернейский. Гл. XXI.

67

Песнь... Гл. XXXVI. С. 826-828.

68

Песнь... Гл. XXXV. С. 800-802.

69

«Песнь об альбигойском крестовом походе» имеет двух авторов – Гильома Тюдельского и его безымянного продолжателя.

70

Петр Сернейский. Гл. XIX.

71

«...Однажды, – повествует Петр Сернейский, – (дело было в осажденном Кастельнодари) наш граф, выехав из замка, направился к одной из осадных машин, чтобы разрушить ее, так как неприятель окружил ее рвом и заграждениями, и наши не могли до нее добраться. Этот доблестный воин (так я дальше хочу именовать графа де Монфора) хотел с размаху перескочить на коне весьма глубокий и широкий ров и смело атаковать каналью. Но увидев, что для многих наших этот прыжок был бы сопряжен с опасностью, придержал коня за узду...» Петр Сернейский. Гл. LVI.

72

«Ныне отпускаеши...».

73

Петр Сернейский. Гл. LXXXVI.

74

Гильом Пюилоранский. Гл. XIX.

75

Петр Сернейский Гл. XXXIV.

76

Петр Сернейский. Гл. XXXVII.

77

Петр Сернейский. Гл. XXXVII.

78

Петр Сернейский. Гл. XXXX.

79

Петр Сернейский. Гл. XXXIII.

80

Письмо Иннокентия III аббату из Сито.

81

Петр Сернейский. Гл. XXXIX.

82

Песнь... Гл. LXVIII. С. 1552-1553.

83

Песнь... Гл. LXVIII. С. 1560-1561.

- 84
«С радостью в сердце» (Прим. перев.).
- 85
Гильом Пюилоранский. Гл. XI.
- 86
Гильом Пюилоранский. Гл. XI.
- 87
Петр Сернейский. Гл. LI.
- 88
Письмо Иннокентия III к Арно-Амори от 15 января 1213 г.
- 89
16 июля 1212 г.
- 90
Письмо Иннокентия III Арагонскому королю от 21 мая 1213 г.
- 91
«Хроника и комментарии правления короля Якова». Барселона, новое издание.
- 92
Петр Сернейский. Письмо тулузских консулов. Указ. соч. Приложение IV.
- 93
Петр Сернейский. Гл. LI.
- 94
Песнь... Гл. CXXXI. С. 2756-2765.
- 95
Гильом Пюилоранский. Гл. XXI.
- 96
Петр Сернейский. Гл. LXXXI.
- 97
Песнь... Гл. CXXXIX. С. 3046-3047.
- 98
Гильом Пюилоранский. Гл. XXII.
- 99
«О, легаты-притворщики! О, притворное благочестие!» (лат). Петр Сернейский. Гл. LXXVIII.
- 100
Здесь, как и ранее в 1179 г., Латеранский собор 1215 г. назван Вселенским и признается таковым Западной церковью. Восточная церковь в них никакого участия не принимала и за Вселенские не почитает (Прим. Издателя).
- 101
Петр Сернейский. Гл. LXXXI.
- 102
Петр Сернейский. Гл. LXXXII.
- 103

Имеются в виду латинские патриархи этих городов, самим же папою и назначенные. Собственно греческие патриархи, представляющие Восточную церковь и православное население, на Соборе не присутствовали и даже не были представлены кем-либо (Прим. Издателя).

104

Петр Сернейский Гл. XXXIII.

105

Песнь... Гл. CXLIV.

106

Песнь... Гл. CXLV. С. 3265-3274.

107

Песнь... Гл. CL. С. 3547-355.

108

Декрет Собора, опубликованный 14 декабря 1215 г.

109

Петр Сернейский. Гл. LXXXIII.

110

Песнь... Гл. CLIII.

111

Петр Сернейский. Гл. LXXXIII.

112

Петр Сернейский. Гл. LXXXIII.

113

Гильом Пюилоранский. Гл. XXIX.

114

Песнь... Гл. CLXXII. С. 5112-5113.

115

Песнь... Гл. CLXXVIII. С. 5532-5537.

116

Песнь... Гл. CLXX.

117

Песнь... Гл. CLXXIX. С. 5640-5647.

118

Песнь... Гл. CLXXXII. С. 5861-5868.

119

Песнь... С. 5833-5858.

120

Песнь... Гл. CLXXXIII. С. 5952-5963.

121

Песнь... Гл. CLXXXIX. С. 6486-6488.

122

Песнь... Гл. CC. С. 7913-7917.

- 123
Гильом Пюилоранский. Гл. XXX.
- 124
Песнь... Гл. CCV. С. 8452-8456.
- 125
Песнь... Гл. CCV. С. 8479-8484.
- 126
Песнь... Гл. CCVIII. С. 8681-8693.
- 127
Песнь... Гл. CCXII. С. 9306-9321.
- 128
Гильом Бретонец. *Boucuet* XVII, 11d.
- 129
Тулузский епископ, спасавший город от вандалов в V веке.
- 130
Гильом Пюилоранский. Гл. XXXIII.
- 131
Гильом Пюилоранский. Гл. XXXIV.
- 132
Гильом Пюилоранский. Гл. XXXVIII.
- 133
Песнь... Гл. 115.
- 134
Монжейское дело было единственным массовым избиением крестоносцев и пилигримов. По свидетельству Кателя (его цитирует Дон Вессет, изд. 1878 г. Т. VI. С. 355), «...убито было около тысячи». В отместку замок и предместье Монжей были стёрты с лица земли.
- 135
Песнь... Гл. CLIV. С. 3823.
- 136
Гильом Пюилоранский. Гл. II.
- 137
Таких, к примеру, как уже упоминавшийся Бернар-Раймон де Рокфор, чьи мать и брат тоже были катарами.
- 138
П. Донден. Ритуал катаров. Фрагмент. «Трактаты манихеев XIII в.», «*Liber de duobus principiis*», Доминиканский исторический институт. Сабина, Рим.
- 139
Список файдитов: *Dom Bouquet, Resuel des histonens des Gaules et de France*. Т. 24.
- 140
П. Бальм и Леледье. *Cartulaire de saint Dominique*.
- 141

Тъери де Апольда и Константен д'Оривьето.

142

Константен д'Оривьето сообщает, что этого человека звали Раймон Гро. В 1236 году совершенный по имени Раймон Гро был обращен в католичество и выдал инквизиции многих верующих.

Возможно, речь идёт о разных людях.

143

Тибо Шампанский. Стихотворения.

144

Бернар де ла Барт, «...patz forsada...». Cf. Дон Весетт, изд. 1885. Т. X. С. 337.

145

Текст Меоского соглашения.

146

Гильом Пюилоранский. Гл. XXXIX.

147

Марсель Фурньею. Статус и привилегии французских Университетов до 1789 года. Т. I. С. 439.

148

См. приложение IV.

149

Собрание сочинений галльских историков. Т. XXI. С. 599.

150

Гильом Пюилоранский. Гл. XXXX.

151

Г. Пелиссон. Хроники. Изд. Дуэ С. 84.

152

Гильом Пюилоранский. Гл. XL.

153

Г. Пелиссон. Указ. соч. С. 92.

154

Гильом Пюилоранский. Гл. XLII.

155

Письмо легату Готье де Турнею от 18 февраля 1232 г.

156

Г. Пелиссон. Указ. соч. С. 95.

157

Г. Пелиссон. Указ. соч. С. 98.

158

Г. Пелиссон. Указ. соч. С. 98.

159

Бернар Ги. *Libellis de Ordine Praedicatorum*. Сборник по истории Галлии. Т. XXI. С. 736-737.

160

Г. Пелиссон. Указ. соч. С. 98.

- 161
Г. Пелиссон. Указ. соч. С. 98.
- 162
Г. Пелиссон. Указ. соч. С. 98.
- 163
Вот что заявил о себе мельник из Белькэра: женщины-заказчицы пожелали его мельнице покровительства Господа и св. Мартина, на что он ответил, что это он сам, а не Господь Бог, построил мельницу и на ней работает.
- 164
Булла Иннокентия IV. Ad extripanda, датированная 15 мая 1252 года.
- 165
Бернар Ги. Указ. соч. Гл. I, V.
- 166
Бернар Ги. Указ. соч. Гл. XXIII. С. 165.
- 167
Бернар Ги. Указ. соч. Гл. XXIII. С. 2-39.
- 168
Несмотря на утверждение анонимного переводчика «Песни...», непохоже, чтобы крестоносцы брали Монсегюр. Скорее всего, Монфор, разрушив окрестности Лавеланета, сжег деревню Монсегюр.
- 169
Песнь... Гл. CXLV. С. 3265.
- 170
Он родился в 1207 году.
- 171
Дон Весетт. Указ. соч. Т. VI. С. 768.
- 172
Показания Фейиды де Плень брату Ферье. 18 марта 1244 г. Т. XXII. С. 293-294.
- 173
Показания Фейиды де Плень брату Ферье. 18 марта 1244 г. Т. XXII С. 293-295.
- 174
8 августа 1242 года.
- 175
Doat. Т. XXIV. Лист 44П показания Раймона де Перелла. Там же. Лист 58, показания Беранже де Лавеланета.
- 176
Барбакан (фр.) – небольшая фортификационная постройка в виде продолговатого прохода, огражденного с двух сторон стенами с бойницами, а в конце – башней (Прим. перев.).
- 177
Doat. Т. XXIV. С. 170-181.
- 178
Doat. Т. XXIV. С. 180.

- 179
Doat. Т. XXIV. С 174.
- 180
Гильом Пюилоранский. Гл. XXXXVI.
- 181
Гильом Пюилоранский. Гл. XXXXVI.
- 182
Гильом Пюилоранский. Гл. XXII.
- 183
Гильом Пюилоранский. Гл. XXII.
- 184
Об этих дарах см. Гильом Пюилоранский. Гл. XXIV. С 180, 200.
- 185
Существует мнение, что Корба к этому времени была больна и умирала. Среди воинов тоже были, несомненно, тяжелораненые.
- 186
Свидетельство А.-Р. де Мирпуа со слов Альзе де Массабрака Гл. XXII. С. 129.
- 187
Гильом Пюилоранский. Гл. XLVI.
- 188
Гильом Пюилоранский. Гл. XLVI. Показания Арпаиды де Рават. С. 259.
- 189
Гильом Пюилоранский. Гл. XLVI.
- 190
Summa, Secunda Secundae. II, 46, II, 50; исследование 12, арт. 2.
- 191
Св. Хильдегарда, послание 139.
- 192
Сочувствующий, находящийся в стадии инициации, но ещё не принятый.
- 193
Подготовительное испытание неопита.
- 194
Так катары между собой называли друг друга.
- 195
«Благословите и помилуйте нас» (лат.).
- 196
Ритуальное действие почитания, состоящее в троекратном коленопреклонении и испрашивании благословения.
- 197
См. Приложение II.
- 198

См. Приложение III.

199

Видимо, Святое Слово (saint oraison) представляет собой главную, ключевую молитву катаров (см. Приложение III).

200

Название одной из молитв катаров.

201

Также молитва катаров.

202

Данный текст «Отче наш...» является специфическим, нетрадиционным, т. к. далее упоминается традиционный текст Pater noster (Прим перев.).

203

Обменяться «поцелуем мира».

204

Поцеловать Евангелие.

205

Коленопреклонение и поклон.

206

Цельнокроеная рубаша и штаны из полотна (прообраз нашего нижнего белья) (Прим перев.).

207

Взываем к Отцу, Сыну и Святому Духу (лат.).

208

Приветствия неофитов различаются в зависимости от их пола. Приветствовать больного мужчину, принявшего consolamentum, следует женским приветствием, а больную женщину – мужским.

209

Предположительное имя неофита.

210

Камень.

211

Дословный перевод текста последней фразы звучит так: «...и вотенился в Святую Марию (...s'adombra en Sainte Marie)». Вариант точный и очень интересный, благодаря возникающей оппозиции вотенился – воплотился, но с позиций русской грамматики непривычен и потому неубедителен. Пришлось прибегнуть к выражению тень его вошла (Прим. перев.).

212

Для ритуального приветствия совершенного нужно трижды преклонить перед ним колена. Видимо, авторы данного пасквиля намекают на то, что момент коленопреклонения удобен для того, чтобы схватить и связать еретика (Прим. перев.).

213

В те времена специи (гвоздика, корица, перец) считались большой роскошью и были доступны только очень богатым (Прим. перев.).

Bottom of Form